ПИСЕМСКІЙ

Алексей Феофилактович Писемский

Взбаламученное море

Роман в шести частях

Часть первая

1. Басардины

По улицам и полям усадьбы Спирова мела и передувала бестолковейшая декабрьская вьюга: то зачем-то несла целое облако снегу и, выйдя за ворота, тотчас же клала его на огромнейший и без того сугроб; то точно сверлом сверлила и завывала в разбитое слуховое окно на барском доме, то с каким-то упорством дула в зад скотнику Климу, рубившему перед скотным двором дрова и не обращавшего на это никакого внимания. На крыльце избы стояла старуха Михайловна, и с ней ветер как-бы заигрывал, крутя и завивая ее истасканный передник.

– Чьи такие, дедушко, это проехали? – окликнула она Клима.

– Басардины, надо быть… к тестю едут.

– И то дело. Да, да!

– На балтировку, видно, ладят, – заключил Клим.

– Да, да! – согласилась опять с этим Михайловна; а потом, о чем-то звонко вздохнув, вернулась в избу.

На Спировском поле, по переметенной и ухабистой дороге, действительно тянулся целый обоз. На передней лошади ехал молодой дворовый малый, Митька. Он сидел спокойно, как истукан, и только, когда его очень уж тряхнет в ухабе, он моргнет носом и ткнет лошадь кнутовищем, на что та обыкновенно отмахнет ему хвостом.

В тех же санях, за спиной у Митьки, сидела горничная девица Дарья, закутанная по самый нос в какие-то лохмотья. Странное явление представляли собой эти два молодые существа: жизнь ли их очень заколотила, или их организмы, питаемые круглый год постными щами и мякинным хлебом, содержали в себе более лимфы, чем крови, но только пятидесятую версту они ехали вдвоем и во все это время хоть бы переглянулись, пошутили бы между собой, переговорили слова два-три. Митька, положительно можно сказать, даже ничего и не думал; а Дарья всю дорогу смутно соображала, куда это она положила барышнины чулки: старая барыня, как приедут на место, непременно их спросит, а она и не помнит, куда их засунула.

За передней ехал сам барин, в розвальнях, парой гусем. Заложенный у него на вынос сивый меренок, по прозванью Репейник,

обнаруживал удивительное старание. Он вез, потел, обтирался и все-таки вез, как будто бы сотни начальнических глаз смотрели на него и любопытствовались его усердием, между тем как шедшая в корню сухопарая саврасая кобыла решительно парализовала все его старания. Лошадь эта, пока дорога шла еще прямая, везла кое-как; но чуть-чуть встречался крутой поворот, или надобно было обойти какую-нибудь рытвину, так сейчас же и терялась: не понимала она, как это сделать надо, или ей трудно было ладить со своим неуклюжим телом, только непременно сядет в хомут, начнет болтаться из стороны в сторону и по крайней мере с полверсты не уставится. На подобное неравенство в распределении трудов сидевший кучером задельный мужик Потап, так как настоящих дворовых кучеров уже не хватало, не обращал ни малейшего внимания: все его старание было направлено на то, чтобы самому как-нибудь примоститься на облучке, к которому он скорее изображал собой касательную линию, чем сидящего на нем человека. Едва позаберется несколько поспокойнее, как сани занесет в его сторону, и поехал вниз; опять начнет забирать вверх, – да так всю дорогу, даже пот прошиб!

На все эти проделки с Потапом барин, мужчина с проседью, но довольно еще молодцеватый, в потертой медвежьей шубе и шапке с собачьим околышком, надетой несколько набекрень, смотрел не без удовольствия.

– Опять съехал? – говорил он, слегка улыбаясь, когда Потап, спустившись с саней до самого горла, отчаянно хватался за передок.

– Ты сиди крепче! – советовал он ему.

На все это Потап отвечал сердитым взглядом и забирался на передок почти с ногами.

Барин между тем переносил свое внимание на другие предметы.

«Ишь, как дугу-то погнуло», – думал он, глядя, как сбившаяся с панталыку коренная шла совершенно боком.

На закраине поля замелькали какие-то черные пятна.

«Кусты это или деревья, чорт знает?» – продолжает он соображать с заметным вниманием.

«Кусты!» – решал он мысленно и самодовольно.

Налетевшая вьюга заслепляла ему глаза. Он повертывался и начинал смотреть в другую сторону.

Волновали ли в настоящую минуту какие-либо иные, более серьезные мысли и более раздражительные чувствования этого, как мы увидим впоследствии, отца довольно многочисленного семейства, – мы не знаем и даже имеем все основания подозревать, что как к

совершенному им теперь пути, так и вообще ко всей громаде плывущей на него жизни он относился довольно созерцательно и совершенно спокойно.

Ехавшая за розвальнями тройка, в крытых санях, представляла собой гораздо больший порядок: лошади все в ней были одной масти, коренная шла даже с некоторой гордостью. Молодой кучер Михайла, с черкесским лицом, стройный, перетянутый ремнем с посеребренным набором, ловко сидел на облучке. Пожилой лакей, хоть и в очень старинной, но заметно сбереженной гороховой шинели, с несколькими воротничками и со светлыми пуговицами, тоже привычно сидел рядом с ним и, при малейшем наклонении саней на его сторону, сейчас же соскакивал и подпирал их плечом. Видно, он понимал, что едет с дамами, из которых одна, молоденькая, с прелестным, свежим личиком, беспрестанно выглядывала из-под опущенного фордека и, оглянув окрестность, снова опускалась в глубь саней, приговаривая с досадой: «нет еще, далеко».

Сидевшая с ней пожилая дама, казалось, и не слыхала этих восклицаний.

Если бы какой-нибудь художник захотел изобразить идею житейской озабоченности в виде женщины, то лучшего образца не нашел бы для себя, как эта дама, с впалыми, желтоватыми щеками, с довольно еще светлым, умным взглядом черных глаз, но который весь был погружен в себя и ушел в глубь души. В противоположность своему на все спокойно взиравшему супругу, своей пятнадцатилетней дочери, чем-то своим, должно быть, занятой, в противоположность наконец вялой и далеко не заботливой прислуге, – она одна тут обо всем думала и над всем бодрствовала.

Трудно перечислить, сколько забот, предположений, надежд и опасений проходило в ее бедной женской голове, а тут еще – смешно даже сказать – от дорожной ли езды, или от несущегося со всех сторон свежего воздуха, перед ней, как нарочно, начали восставать так давно уж, кажется, забываемые воспоминания…

2. Вельможи-благодетели

Надежда Павловна Басардина была чуть ли не пятая дочь секунд-майора Рылова, который, еще на ее памяти, ходил в кафтане с бортами, в чулках и башмаках и, как что-то, вероятно, очень умное, любил выделывать перед гостями палкой, как павловским эшпатоном. Потом она воспитанница в доме князя Д… Целый верх огромного

московского дома отведен был для десяти питомиц, все почти прехорошеньких собой девочек… Как живой стоял перед ней князь, всегда в синем фраке, в белом галстуке и с тремя звездами. Каждое утро они гуртом сходили к нему вниз делать реверанс, целуя при этом его белую и благоуханную руку… Шли потом к его дочери, величественной, бойкой красавице, Графине N., авантюристке по жизни, вышедшей сначала за французского эмигранта, бросившей его потом в Париже для итальянского тенора и теперь жившей, как знали все, даже маленькие воспитанницы, почти в открытой связи с правителем дел отца, безобразным, рябым, косым, но умным и пронырливым поповичем, грабившим всю Москву и при этом сохранившим какую-то демонскую власть над старым князем и его дочерью. Помнила Надина и огромную классную комнату с длинным столом, на председательском месте которого всегда восседала m-lle Dorothee, высокая, плоская швейцарка, скорей бы допустившая, чтобы мир перевернулся вверх дном, чем которая-нибудь из воспитанниц произнесла при ней русское слово. Помнила и танцовального учителя, ставившего их всех в ряд и довольно нецеремонно вытягивавшего их маленькие ножки для довольно трудных менуэтных па. Помнила наконец и многознаменательный день: в доме шум, беготня; это приехал сын князя, юный дипломат, любимец двора. Надине было уже пятнадцать лет, она все внимательней и внимательней прислушивалась к шепоту подруг о непонятных и в тоже время как будто бы и знакомых ей вещах. В тот же день, на petite soirée, все воспитанницы были представлены молодому князю. Он их благосклонно, хоть несколько и свысока, опривествовал. Никогда уже, во всю свою жизнь, ни прежде ни после, Надина не видала мужчины красивее, умнее и любезнее. Не давая себе хорошенько отчета, она обыкновенно засматривалась на князя, когда он стоял где-нибудь вдали и рисовался почти еще юношеским станом. Раз князь, именно в это самое время, обернулся к ней; Надина сконфузилась, покраснела. Он все это видел и улыбнулся ей.

Вскоре после того в довольно темноватую залу, где воспитанницам обыкновенно давали музыкальный урок, вошел князь. Надина сидела вдали от прочих девушек. Он прямо подошел и сел рядом с нею. Она сконфузилась и поотодвинулась от него.

Князь ласково посмотрел на нее.

– Avez-vous des parents? – спросил он ее, вероятно, затем, чтобы только заговорить с нею.

– Non, mes parents c'est votre père, – отвечала Надина, совершенно

сконфуженная.

– Donc, je suis votre frère, – подхватил князь: – так?

– Non, non! – повторяла шопотом Надина.

Все прочие воспитанницы, окружавшие рояль, стояли к ним спиной.

– Et vous embrasser? – заключил тем же шопотом князь, наклоняя свое лицо к лицу Надины.

– Monsieur! – произнесла та, отодвигаясь от него.

Голос учителя, позвавшего Надину, прервал эту сцену. Она проворно встала и подошла к фортепиано.

Князь, хоть и вдали, но стал против нее.

Надина пропела свой урок дрожащим голосом и почти со слезами на глазах.

На другой день ее остановила графиня.

– Chère enfant, un mot! – сказала она. Надина стала перед ней навытяжку. – Je veux voir votre figure et votre taille!

Надина потупилась.

– Vous êtes charmante! – продолжала графиня с улыбкой. – Mon frère est amoureux de vous.

– Non, madame, – произнесла Надина, вся вспыхнув.

– Comment non? – спросила графиня, устремляя на молодую девушку почти любострастный взгляд.

В доме между тем приготовлялось новое торжество.

Молодой князь, по величайшей милости государя и в уважение к знаменитому роду, каких-нибудь двадцати семи лет назначен был уполномоченным при одном из маленьких дворов. Сама графиня-сестра взялась устраивать по этому случаю праздник. Все воспитанницы, одетые тирольскими пастушками, должны были поднести юному амфитриону цветы, а Надина, как более умненькая, была выбрана сказать ему поздравительное стихотворение. Князь, в свою очередь, имел у себя в запасе для прелестных тиролек целую коллекцию довольно ценных безделушек: милый век имел и милые обычаи!

– Vous rècitez si bien, qu'il m'est difficile de trouver quelque chose à vous offrir, – говорил молодой посланник, торопливо роясь в безделушках, когда Надина нетвердым сконфуженным голосом произнесла ему свое восьмистишие.

– Je vourdais bien avoir votre portrait, – отвечала она почти уже шопотом и не помня сама, что говорит.

– Vrai? Je vais vous l'apporter, – воскликнул князь и бросился в

кабинет отца, сорвал там со стены свой очень дорогой медальон на кости и подал его Надине. Та проворно спрятала его за корсет и, вся пылающая, убежала к себе наверх. Вечером, на бале во вкусе Трианона, все юные смертные были обращены в богов. Надина изображала Минерву. Князь танцевал с ней котильон и бесцеремонно жал ей руку. За ужином он сел против нее, кидал в нее шариками, выбирал ей лучшие конфеты и цветы и заставлял пить много вина. Сидевшая тут же рядом m-lle Dorothee на все это только улыбалась своим широким ртом. В доме старого князя все дышало одним воздухом: даже строгая швейцарка, позабыв целомудренные нравы родины, любила шаловливые и слегка скандалезные сцены.

После ужина, детей, а в том числе и шестнадцатилетних воспитанниц, отправили спать раньше. Дежурная горничная, чего прежде не бывало, повернула и затушила ночную лампу.

– Что ты делаешь? – закричали было ей со всех сторон.

Но она, ни слова не ответив, ушла.

– Mesdames! Мы во мраке! – говорили с хохотом маленькие шалуньи, но вскоре потом, разумеется, и заснули.

Надина тоже уже спала… Вдруг она почувствовала на щеке чье-то горячее дыхание. Она в испуге открыла глаза… Перед ней стоял князь.

Надина приподнялась с постели.

– Que voulez-vous, monsieur? – проговорила она устрашенным голосом и закрывая руками обнаженную шею.

Князь хотел обнять ее. Надина движением руки остановила его и сейчас же вскочила на окно дортуара.

– Si vous m'approchez, je me précipite de la fenêtre! – проговорила она.

– De grâce, ma petite, retirez-vous de là, – молил ее князь.

– Monsieur, sortez! – сказала Надина.

Голос ее был тверд и громок.

– Vous êtes cruelle! – проговорил князь и, сделав ручкой, удалился.

Как ни грациозно была разыграна эта сцена, но она сильно поразила Надину: дрожавшая от страха, униженная, оскорбленная, она сошла с окна. Нравственный инстинкт женщины заговорил в ней; ей как бы сразу представилось, где она и что она такое тут. Загадочная история с m-lle Горкиной, чудо какой хорошенькою и двумя годами старше ее воспитанницей, стала для нее ясна. Ту, как сама она рассказывала, каждый вечер водили в кабинет к старому князю, и тот, несмотря на ее слезы, посыпал ей на грудь табаку и нюхал его.

Родители Горкиной ужасно рассорились за это с князем и взяли

дочь к себе.

Надина тоже решилась написать отцу и сестре. В тысяче выражений она умоляла взять ее. Она писала: «Sauvez moi, ma sœur, de moi-même. Le jeune prince est amoureux do moi et je puis perdre ma pudeur».

Старый майор в это время находился окончательно забранным в строгие и благочестивые руки старшей своей дочери, оставшейся при нем в девках, Бог знает когда-то и кем-то названной Биби и до сих пор сохранившей это имя между родными и знакомыми. Секунд-майор, слушал письмо своей московки, только хлопал глазами; пожилая девственница, сама некогда воспитанница Смольного монастыря и недоучившаяся там единственно потому, что в петербургском климате ее беспрестанно осыпала золотуха, поняла все. Пиши сестра, что ее не кормят, не одевают, что каждый день ее мучат, колесуют, – сердце Биби не дрогнуло бы: но тут угрожала опасность чести их фамилии.

– В нашем семействе не было еще таких! – проговорила она почти с ужасом и настояла, чтобы в тот же день за сестрой в Москву была послана на паре, в кибиточке, подвода, на которой отправила любимого своего кучера Ивана Горького. Вместе с ним также поехала и приближенная к секунд-майору девица Матрена. Старик, был в таких уже летах, все еще не мог оставить своих глупостей, и Биби терпела их, помня только великое правило, что дети родителям не судьи.

Майор, под диктовку дочери, нацарапал князю письмо, которое начиналось так: «Ваше высокопревосходительство, господин генерал-аншеф и сиятельнейший князь!» – форма, которой научил его еще в полку писарь и которую он запомнил на всю жизнь.

Прописав титул, он просил отпустить к нему дщерь его Надину, так как сам он приближается к старости, а старшая дочь его, и без того уж посвятившая ему всю жизнь, желает подумать и о себе и себе что-нибудь сделать для будущей жизни.

Диктуя последние строки, Биби решительно думала поразить ими все семейство князя и внушить к себе огромное уважение.

В заключении письма старик вопиял к именитому вельможе излить на свою питомицу последние милости и благословить ее образом Иверской Божией Матери, которая вечно будет ей заступницей в жизни, а затем подписался, слегка размахнувшись: «Вашего сиятельства нижайший раб, секунд-майор Рылов».

Несколько странно было видеть, когда Иван Горький, с удивленным лицом и растопыренными ногами, очутился на княжеском дворе, а Матрена, в пестрорядинной шубенке и валеных сапогах, –

между накрахмаленными и раздушенными горничными в княжеской кофишенской. Надина чуть не умерла со стыда, когда увидела посланных за нею: такие они были оборванные.

Старый князь, занятый в это время планами женитьбы сына чуть ли не на принцессе Брауншвейгской, несколько удивился, прочитав письмо секунд-майора; но, впрочем, величественным наклонением головы изъявил свое согласие и в день отъезда подарил Надине на приданое бриллиантовое ожерелье в десять тысяч ассигнациями. Что же касается до благословения, то православной иконы в доме не нашлось, и князь благословил свою рыдающую питомицу копией с Рафаэлевой Мадонны.

3. Совсем дичь

Дней через шесть Надина, вся разбитая от непривычной езды в нерессорном экипаже, приехала к родительскому крову и как бы чудом каким была перенесена из французского, фоблазовским духом преисполненного дома в самый центр деревенского православия.

Если бы пришлось подробно описывать жизнь секунд-майора и пожилой его дочери, то беспрестанно надобно было бы говорить: «Это было, когда поднимали иконы перед посевом; это – когда служили накануне Николы всенощную; это – когда на девках объарывали усадьбу кругом, по случаю появившегося в соседних деревнях скотского падежа».

Въезжая в усадьбу, Надина еще издали увидела старого отца, в том же чепане и с развевавшимися по воздуху седыми волосами, а за ним сухощавую фигуру сестры в черном платье и белом платочке на шее.

Она хотела было броситься к ним в объятья; но Биби движением руки остановила ее и указала на вынесенную чудотворную икону. Надина приложилась к ней и затем уже почувствовала на щеках своих сморщенное, плачущее и заскорблое лицо отца и сухие, тонкие губы сестры. В комнатах ее поразил сильный и совершенно незнакомый запах ладана и деревянного масла, и к ней как-то раболепно и суетливо стали подходить горничные девицы, одна другой пожилее и некрасивее. Биби не любила выдавать замуж свою женскую прислугу, и ее девки годам к тридцати страшно худели и старились, а потом так засыхали в этом виде на всю остальную жизнь.

На другой день Биби возила сестру к приходу и заставила там подать за упокой всех умерших родных, а по матери отслужить панихиду, непременно требуя, чтоб она за все это заплатила из своих

карманных денег. Образ, которым благословили Надину, тоже немало занимал Биби: она все недоумевала, какого он во имя, и советовала, по этому случаю, с заехавшим к ним невдолге настоятелем Редчинской пустыни.

– Это вряд ли не католический образ, – заметил ей тот.

Биби была удивлена и огорчена, и как потом ее монах ни уверял, что это ничего, что это все-таки образ, она поставила его в киоте ниже православных икон.

О причине, заставившей сестру бежать из княжеского дома, Биби не сказала с ней ни слова: о подобных вещах она не только что говорить, но даже думать не любила.

Для Надины таким образом началось все, что и прежде делалось в доме отца ее: более полугода скудный, на постном масле, стол, почти каждую неделю какая-нибудь церковная служба в доме; Биби целый день или принимала и угощала разных странниц, или тихо, но злобно хлопотала по хозяйству. Старый отец, по ее приказанию, тоже все был больше в поле и смотрел за рабочими. Первое время Надина, по своему несколько идиллическому воспитанию, мечтала было о прогулках по полям, о разговорах с добрыми поселянами и поселянками. Но из всего этого ее артистический взгляд только и увидал, как весной задельные мужики, по большей части все старики, с перекошенными от натуги лицами взрывали неуклюжими косулями глинистую почву, а вечером ужинали одним квасом с хлебом, и хорошо-хорошо когда холодными щами с забелкой, – или как дворовые женщины, а в том числе и ходившие последнее время беременности, не чувствуя собственной спины, часто, после заката солнца, дожинали отмеренные им десятины, и их же потом бранили, что они высоко жнут, – или как наконец эти же самые добрые мужички, при первой же Никольщине, напивались, как звери дикие, и в этом виде ругались такими словами, что слушать было невозможно.

Самым живым развлечением для Надины было ходить, в сопровождении горничных, за грибами и ягодами; но сестра и в этом ей всегда препятствовала, говоря, что неприлично девкам бегать по лесам: мало ли на что они там могут наскочить? Из прежних ее элегантных занятий у нее только и осталось, что вышивание бесконечного ковра, который Биби заранее назначила для приношения в церковь.

Так прошли год, два, три, наконец десять. Скука и бездействие (из хозяйства Надине только и предоставлено было разливать чай), беспрестанное созерцание какого-то бессердечного богомольства

сестры и, наконец, совершенно бессмысленная любовь отца, делали свое: Надина худела, дурнела; но в то же время умнела!.. Трудно передать ту степень неуважения, которое она чувствовала к своему ничего не могшему для нее сделать родителю, того ожесточения, которое питала против занятой какими-то неземными целями сестры.

В доме шла постоянная, хоть и сдерживаемая и скрываемая под наружным видом ласковости, борьба: Надина и приближенная к майору девица Матрена тянули в одну сторону, а Биби – в другую и, по высоте своей исходной точки, всегда одерживала над ними верх.

Женихов у Надины все это время не было никого: всем молодым соседним помещикам, по большей части кутилам и собачникам, она, по своему умению одеться, ловко держать себя, по своему отвращению от разных деревенских блюд, казалась уж очень образованною. «Жидка, братец ты мой, ничего с ней не поделаешь!» – говорил иной. «Поди-ка женись на ней: таких супе и фрикасе потребует!» – рассчитывал другой.

Часто, гуляя по саду до полуночи, с пылающим лицом и сильно бьющимся пульсом, Надина хватала себя с отчаянием за голову и думала: «Господи! хоть бы за чорта да выйти замуж!». И это решительно было в ней не движением крови, а просто желанием переменить свое положение.

4. Самец

В благородных строях кирасирского Его Величества Короля В…го полка, конечно, уж было немного таких скромных и молодцеватых офицеров, как ротмистр Басардин.

По формулярному его списку значилось: «родом из бедных дворян; воспитание получил домашнее (то-есть никакого); на службу поступил рядовым и через два месяца, по своей превосходной выправке, ехал уже ординардцем на высочайшем смотру». Закройщик Швецов про него говорил: «Вот на корнета Басардина шить любо: грудь навыкат, кость прямая, тонкая!». Невежа! Понимал ли он, что одеваемый им корнет по правильности своих форм был статуя античная. Даже в настоящем его чине, с начинавшею уже несколько полнеть талией, когда Басардин шел по расположенной на горке деревне, в расстегнутом вицмундире, в надетой набекрень фуражке, или когда где-нибудь сидел на бревнах, по большей части глядя себе на сапоги и опустив на нижнюю губу свои каштановые усы, между тем как при вечернем закате с поля гнали коров, по улицам бродили лошади, –

глядя на него, невольно приходилось подумать: «Да, человек – красивейшее создание между всеми животными, и он один только может до такой степени оживлять ландшафт».

Здоровьем Басардин пользовался замечательным: он мог не спать три ночи, и при этом нимало не воспалялись его большие красивые глаза; зато и спал, после каждого утомительного перехода, часов по пятнадцати сряду. Курить мог всегда: утром, за обедом, после обеда, даже ночью, если б его разбудили для этого.

Другое дело для ротмистра было думать: мышление у нас все-таки есть, как хотите, болезнь, усиленная деятельность мозга насчет других органов. Но жизненная сила была слишком равномерно распределена в теле Басардина, и едва только позаберется ее несколько больше во вместилище разума и начнет там работать, как ее сейчас же потребуют другие части. Таким образом ротмистр не то что был глуп, напротив того: он судил очень здраво, но только все мысли его были как-то чересчур обыкновенны, ограничены и лишены всякого полета; а между тем по этому проклятому командованию эскадроном стали случатся следственные дела, надобно было отписываться, приходилось кое-что и по счетной части, а тут, пожалуй, пошли и распеканья за нестрогость характера. Все это весьма утомляло Басардина, и в последнее время, приехав в свою маленькую деревеньку, соседнюю с имением секунд-майора, он уже сильно тяготился службой.

Надина и прежде еще слыхала о красивом соседе-офицере. В первый раз они встретились в церкви, и она тут же принялась за него, как за якорь спасения: сама пригласила приехать к ним обедать. Басардин, на своей полковой тройке, молодцевато приехал, промолчал весь визит, потом через неделю, по приглашению той же молодой хозяйки, опять был и опять промолчал весь день. Надина безбожно кокетничала с ним. «Он недалек, но он добр!» – решила она мысленно, и почти сама объяснилась с ротмистром в любви. Тот при этом слегка вспыхнул, и свадьба состоялась. Что потом последовало из сочетания этих двух организмов: одного, если можно так выразиться, могуче-плотского, а другого – душевного и нервного, угадать нетрудно. Басардин, быв еще женихом, подал в отставку, и молодые поселились в деревне. Надина к концу же года родила ребенка мальчика и, к ужасу, с такими же большими глазами и прямыми ушами, как и у отца; на другой год опять ребенок, и опять с прямыми ушами. Супруга своего она уже совершенно понимала и видела, что он ей не помощник. Он обыкновенно целый день ходил по комнате, курил, молчал, после обеда спал; но когда жена сказала ему, что ей противен

его храп, он и не спал. Между тем родился еще ребенок. Нужда в доме росла: Надина хозяйничала на своих тридцати душонках как только умела, сама устраивала кирпичный завод, сама откармливала свиней, и все-таки, по свойственному женщинам самолюбию, не желая мужа обнаружить перед обществом, рассказывала, что будто бы все это придумывает и всем этим заправляет ее Петр Григорьевич; а потом, воспользовавшись первою же подошедшею баллотировкой, свезла его в губернский город, и там, чисто из уважения к ней, его выбрали в судьи.

Бывшему воину снова была задана в жизни задача. Напрасно он часов по семи сидел в присутствии, читал всякое дело от начала до конца, тер себе лоб, потел: ничего из этого не выходило. К концу трехлетия плутишка-секретарь успел-таки подвернуть такую бумажку, за которую их обоих отдали под суд. Басардин выразил при этом только небольшой знак удивления на лице.

– Как это тебя угораздило? – спросила его почти с отчаянием Надина.

– Не прочел… совершенно нынче не могу читать без очков, – отвечал он спокойно.

– И прочел бы, немного толку прибавилось бы, – заметила ему на это Надина и говорить больше не стала.

Затем снова последовала деревня… снова бедность… хлопоты по грошовому хозяйству и снова ребенок, но уж девочка и – о счастье! – не с огромными ушами, а с быстрыми и умными, как у матери глазами. Надина привязалась к этому ребенку с первых же дней и, стоя на коленях перед председателем уголовной палаты, своим родственником, она выхлопотала, что мужа оправдали, определила его потом в лесничие, вникала в его должность, брала за него взятки, но ничего не помогало: года через два Басардина, за обнаруженное перед начальством совершенное незнание лесной части, удалили снова от должности. Надина на этот раз ничего уже не сказала, а сама между тем высохла до состояния щепки и начала подозрительно кашлять.

И не одну, не двух, а сотни и тысячи мы знаем подобных тружениц-матерей, которые на своих скорбных плечах, часто под колотками и бранью, поднимают огромные семьи, и не безнравственных прав требуют они у общества, а чтобы хоть сколько-нибудь подсобили им нести труды, которые возложили на них самцы-супруги.

Спихнув кое-как своих старших сыновей в корпуса, Надина на сколоченные с грехом пополам гроши стала воспитывать свою

дочурочку. Она ее мыла, наряжала, сама учила говорить по-французски, приседать, танцовать. Обрывая потом себя до последней нитки, отдала ее в пансион и беспрестанно ездила к ней, чтоб она не скучала… Соня действительно была прелестный ребенок: высокенькая, грациозная, с прекрасным и уже недетским выражением на лице, она, видимо, наследовала душу матери и тело отца. Но Надине, в ее материнском увлечении, казалось в красоте дочери некоторое сходство с красотой князя, медальон которого до сих пор еще хранился далеко-далеко запрятанным в старом комоде, в потайном ящике: в жизни ее была одна поэтическая минута, и она осталась ей верна до гроба.

Из Петербурга между тем пришло известие, что двое старших сыновей ее, очень добрые мальчики, но очень плохо учившиеся и сырой комплекции, умерли от скарлатины. Надежда Павловна даже не огорчилась: бедность иногда изменяет и чувства матери! «Что ж! Соне больше достанется», – шевельнулась в голове ее нечистая мысль.

Впрочем, в корпусе у нее оставался еще младший сынок, Виктор; но лучше бы было и не вспоминать о нем. Только по великой доброте благодетеля-директора он не был выгнан, потому что, кроме уж лености, грубости и шалостей, делал такие вещи, от которых у бедной матери сердце кровью обливалось!

Соня, наконец, кончила курс, и Надежда Павловна везла ее теперь к деду и тетке, перед которыми, как это ей ни было тяжело, в последнее время ужасно унижалась, все надеясь, не сделают ли они Соню своей наследницей.

5. Молодые отпрыски

Ковригино, усадьба секунд-майора, было уже видно. В наугольной комнате господского дома светился огонек. Все очень хорошо знали, что это от лампадки перед иконами. Направо, в окнах кухни, пылало целое пламя: значит, готовился ужин. День был канун 1843 года, и, вероятно, ожидали священников.

Почуяв знакомые места, даже Митька оживился и начал бить беспрестанно свою клячу кнутовищем по заду. Потап едва поворотил на гору саврасую кобылу, до того она расскакалась. Шаркуны на тройке Михайлы весело звенели. Первая их услыхала и узнала выбежавшая было за квасом горничная девка Прасковья, добрейшее и глупейшее существо в мире. Она воротилась в девичью, как сумасшедшая.

– Надежда Павловна приехала, чертовки! – объявила она весело своим товаркам, сидевшим за прялками.

– Перины приготовлять надо! Где у тебя перины-то? Поди, чай, на холоду! – сказала заботливо другая девица, Федора, третьей девке.

– Принесу!.. – отвечала та, и тоже не без удовольствия.

Приезд гостей для этих полузатворниц всегда был чем-то вроде праздника.

– Что сидите! Барышне сказать надо! – сказала наконец каким-то холодным, металлическим голосом, вставая и уходя, четвертая девушка, Иродиада, молодая, красивая и лучше всех одетая.

Митька прокатил Дарью к девичьему крыльцу, а Басардин остановился у переднего и, вылезши из саней, хотел подслужиться к жене и высадить ее; но та даже не заметила его и прошла, опершись на руку лакея. Соня, как птичка, порхнула вслед за матерью.

Биби, в сопровождении двух-трех горничных девиц со свечами, дожидалась их в передней и со свойственной ей проницательностью сейчас же заметила, что на самой Надежде Павловне салопишко веретеном встряхни, а на дочке новый атласный, на лисьем меху. Соня сейчас же бросилась к тетке и начала целовать ее руки – раз-два-три… Биби сама целовала ее в лицо, в шею. У ней при этом даже навернулись слезы на глазах. Между собой сестры поцеловали одна у другой руку.

– Здравствуй, друг мой, – отнеслась потом Биби к зятю, не допуская его целовать у ней руку и сама целуя его в губы.

Она любила Петра Григорьевича за его кроткий и богомольный нрав.

По зале в это время ходил молодой человек в студенческой форме. Глаза его, кажется, искали молоденьких глаз девушки, и, когда они переглянулись, Соня сейчас же потупилась и начала как будто бы поправлять платье, а студент, со вспыхнувшим лицом, продолжал на нее смотреть и только через несколько секунд сообразил и подошел к руке Надежды Павловны.

– Ах, Саша! Ты как здесь? – невольно воскликнула та.

– Так-с, приехал… – отвечал Александр сконфуженным тоном.

– Его мать сюда нарочно прислала, – произнесла Биби с заметным ударением на последних словах.

Это был единственный сын их родной племянницы, богатой женщины: Надежда Павловна бесконечно завидовала всему этому семейству и считала их соперниками по наследству от Биби.

Студент подошел также и к руке Сони. Она проворно подала ему свою ручку, и что-то беленькое, вроде свернутого клочка бумажки, осталось в его руке.

Он проворно спрятал ее в карман.

– Что батюшка?.. – спросила Надежда Павловна печальным голосом сестру.

– Слаб, – отвечала та в том же тоне и, когда все было пошли за нею, она прибавила: – не ходите все вдруг.

Секунд-майору в это время было без году сто лет, но он сохранил все зубы и прекрасный цвет лица; лишился только ноги и был слаб в рассудке. С седою как лунь бородою, совсем плешивый, с старческими, слезливыми глазами, в заячьем тулупчике и кожаных котах, он сидел в своей комнатке, в креслах у маленького столика, на котором горела сальная свеча.

Перед ним стоял дворовый мальчик в рубашке и босиком. Биби только в недавнее время успела удалить от отца его приближенную мерзавку, и то уж уличив ее почти на месте преступления в пьянстве и воровстве. Старик более полугода печалился о своей няньке, но воспротивиться дочери не смел.

Теперь он целые дни играл с дворовыми ребятишками в карты в дурачки, в ладышки, и с настоящим своим собеседником они в чем-то, должно-быть, рассорились.

– Ты зачем у меня кралю-то украл? – говорил он мальчику.

– Что ты? Где украл? Она у тебя, барин, на руках, – отвечал тот дерзко.

– Где на руках? – повторял старик, плохо уже разбиравший и карты.

В это время вошла Биби, и мальчик сейчас же вытянулся в струнку.

– У вас в руках-с!.. – отвечал он вежливо и показал на действительно находившуюся в руках майора даму.

– Батюшка, Надина приехала, – объявила Биби отцу почтительным тоном, и потом первая бросилась к деду Соня. Она схватила его грязную руку и целовала.

– Ну вот!.. – говорил он, в одно и то же время плача и смеясь.

– Я вам, дедушка, конфект привезла… Мне их подарили в пансионе, а я их вам сберегла, – продолжала Соня, проворно вынимая из своего кармашка целую кучу конфект.

– Ну вот!.. – повторял старик, совсем довольный. Лучше этого для него ничего не могло быть. Сахар и конфекты он обыкновенно клал во все, даже в щи.

– Чай до службы или после службы будете пить? – спросила Биби своих гостей.

– Я думаю, после службы, – отвечала Надежда Павловна, чтобы угодить сестре. – Переодеться только Соне надобно!.. – прибавила она робко и не желая, чтобы дочь хоть на минуту явилась перед посторонними глазами не мило-одетою.

– Ну, ну, поди, принарядись, козочка! – сказала ей тетка ласково.

Соня с жаром поцеловала ее в грудь.

Биби на этот раз до того простерла свою ласковость к племяннице, что сама пошла и показала отведенную для нее комнату, где, заметив, что у Сони башмачки худы (единственная вещь, которую мать не успела сделать ей), она сейчас же позвала дворового башмачника Сережку и велела ему снять с барышни мерку и из домашней замши сделать ей ботиночки крепкие, теплые и просторные.

– Можно это… – отвечал Сережка, по обычаю своего звания, с ремнем на голове, несколько кривобокий, перепачканный в купоросе и саже и сильно, должно быть, пристрастный к махорке.

Басардин, между тем, ходил по зале с Александром.

– Вот, как это рассудить? – говорил он с глубокомысленным видом и доставая длинною бумажкой от образов огня: – грех от лампадки закуривать или нет?

– Нет!.. что ж? – отвечал студент. – Нынче вот электричеством изобрели закуривать… При химическом соединении обнаруживается электричество… если теперь искру пропустить сквозь платину, то при соприкосновении ее с воздухом дается пламя…

Студент заметно подделывался к родителю Сони и, желая ему рассказать что-нибудь интересное, толковал ему вещь, которую и сам не совсем хорошо понимал.

– Не знаю-с, не видал! – отвечал Басардин.

Приехали священники. Отец Николай, начав еще в санях надевать рясу, в залу входил, выправляя из-под нее свои волосы. Басардин сейчас же подошел к нему под благословение и движением руки просил его садиться. Студент поклонился священнику издали.

Оставшиеся в передней дьячки тотчас же попросили у ключницы барского квасу и выпили его стакана по четыре.

– Что, перемело дорогу-то? – заговорил Петр Григорьевич первый.

Он умел и любил поговорить с духовенством.

– И Господи как! – отвечал священник. – Я, признаться сказать, собачку держу, так бежит вперед, поезжай за ней, никогда не собьешься… – прибавил он и, вероятно, занятый каким-нибудь своим горем, задумался.

Петр Григорьевич некоторое время как бы недоумевал.

– А что, отец Петр все еще при церкви? – проговорил он наконец с улыбкой.

Видимо, сделанный им вопрос был несколько щекотливого свойства.

– Все еще тут, – отвечал отец Николай.

– И все по-прежнему неудовольствия идут?

– Все так же и то же, idem per idem!

– Хуже этих неудовольствий ничего быть не может! – заключил Басардин. По своему миролюбивому нраву, он искренно полагал, что все несчастия происходят от того, что люди ссорятся.

Священник ничего на это не отвечал: перед тем только начальство выдержало их обоих под началом и все-таки не помирило.

Вошли: Биби, несколько чопорной походкой, Надежда Павловна, в своем том же дорожном капоте, и Соня, вся блистающая своим свежим личиком и новым, с иголочки, холстинковым платьицем. Все они, по примеру хозяйки, подошли к благословению отца Николая, который после того стал надевать ризы, а из лакейской появились, с раздутым кадилом и с замасленными книгами, дьячки. Петр Григорьевич пододвинулся к ним, чтобы подпевать во время службы: он до сих пор имел еще довольно порядочный тенор. Надежда Павловна, Соня и Биби поместились в дверях гостиной. Из девичьей и из лакейской стали появляться горничные девицы, дворовые бабы с ребятишками и мужики. Биби непременно требовала, чтобы вся ее прислуга ходила на

каждую в доме церковную службу, и если при этом хоть какая-нибудь даже трехлетняя девочка, поклонившись в землю, позазевается, она непременно заметит это и погрозит ей пальцем. Запах от мужицких тулупов и баб, пришедших с грудными младенцами, сделался невыносимым. Горничные девицы, в угоду госпоже, молились до поту лица. Соня тоже ужасно усердно молилась и постоянно старалась быть на глазах у тетки. Студент со сложенными руками стоял посреди народа. Всенощная и молебен с акафистом в Ковригине обыкновенно продолжались часов по пяти.

«С Новым годом, с новым счастьем», – раздалось после службы. В самом деле, было уже двенадцать часов. Затем следовал наскоро чай, которого однако отец Николай успел выпить чашек пять, а дьячки попросили было и по шестой, но им уже не дали. За ужином господам подавали одни кушанья, а причту другие: несмотря на свою религиозность, Биби почему-то считала для себя за правило кормить духовенство еще хуже, чем других гостей; но те совершенно этого не замечали.

Александр во все это время был взволнован. Он только после службы улучил минуточку и прочел полученный им лоскуток бумаги. Там было написано: Любите меня и будьте осторожны. К концу ужина он, наконец, осмелился и обратился к Соне, сидевшей с потупленными глазами около тетки.

– Что вы желаете этому шарику? – сказал он, показывая ей на скатанный кусочек хлеба.

– Быть скромным! – отвечала скороговоркой Соня.

– Это я! – сказал, краснея, студент.

Через час в Ковригине все улеглось по своим комнатам: молодость – с какой-то жгучею радостью в сердце, а старость и зрелость – с своими обычными недугами и житейскими заботами, и вряд ли не одни только во всем селении Митька и барин его Петр Григорьевич заснули, ничего не думав.

6. Подставленная шпилька

Невысоко стоявшее зимнее солнце тускло светило в нечистые с двойными рамами окна ковригинской гостиной, в которую на этот раз выкатили на креслах и старого майора, в новом нанковом, по случаю праздника, чепане, причесанного и примазанного. Вчерашний дворовый мальчишка, тоже в новой рубахе, но по-прежнему босиком, стоял перед ним на вытяжке. Соня сидела около дедушки и беспрестанно подавала ему то табакерку, то платок. Надежда Павловна была погружена в приятные мысли, что неужели же Биби не подарит Соне, по случаю выхода ее из пансиона, хоть рублей сто, а Петр Григорьевич, напротив, был грустен и, сидя на диване, чертил на пыльном столе какие-то зигзаги: жена ему только сегодня поутру сказала, что они действительно едут на баллотировку.

«Опять этот город, незнакомые люди, а может быть, и эта служба проклятая!» – думал он: деревенскую свободу и уединение Петр Григорьевич предпочитал всему на свете.

Стали подавать закуску, и вошла Биби. Она была, как заметно, в дурном расположении духа: ее сейчас только встревожила ходившая за ней и отчасти уже знакомая нам девица Иродиада.

Девка эта представляла собой довольно загадочное создание: лет до шестнадцати она, по мнению Биби, была ветреница и мерзавка, и дошла наконец до того, что имела дитя. Случаи эти, бывавшие, разумеется в Ковригине не часто, всегда имели несколько трагический характер.

Когда преступница не имела долее возможности скрывать свой грех, то обыкновенно выбиралась какая-нибудь из пожилых и более любимых госпожою девиц, чтобы доложить ей, и по этому случаю прямо, без зову, входила к ней.

– Что тебе? – спрашивала Биби несколько встревоженным голосом.

– Насчет Катерины пришла доложить-с, – отвечала протяжно пришедшая.

– Что такое? – спрашивала госпожа, уже бледнея.

– В тягости изволит быть, беременна-с.

Преступница, стоявшая в это время за дверьми, распахивала их и, ползя на коленях, стонала:

– Матушка, прости! государыня, помилуй!

– Прочь от меня, мерзавка!.. Видеть тебя не хочу! – восклицала

Биби с ужасом и омерзением.

Девка продолжала ползти на коленях.

– Я любила твою мать, твоего отца… и чем ты меня за все это возблагодарила? Тебе еще мало, что на конюшне выдерут, что косу обрежут, тебе этого мало, – продолжала госпожа, все более разгорячаясь.

И у девки, действительно, обстригали косу, а иногда и подсекали ее. Ребенок по большей части умирал, и бедная грешница, с обезображенной головой, в затрапезном сарафанишке, прячась от господ, ходила ободворками на полевую работу, и часто только спустя год призывалась в горницу; но и тут являлась какою-то робкою, старалась всегда стоять и сидеть в темных местах и на всю жизнь обыкновенно теряла милость госпожи. То же самое повторилось и с Иродиадой; но только она после своего несчастья как бы окаменела и, призванная снова в горницу, прямо явилась к барышне.

– Простите меня, сударыня, я исправлюсь и заслужу вам, – проговорила она.

Видно было, что в голосе ее прозвучало что-то особенное, так что даже Биби это заметила.

– Я ходить бы, сударыня, за вами желала, – продолжала между тем смело Иродиада.

– Хорошо, там увидим, – отвечала ей Биби и через две недели, сверх всех своих правил, надумала и допустила Иродиаду ходить за собой. Та начала служить ей нелицемерно: ни с одним мужчиной после этого она уже не пошутила; никто никогда не смел бранного звука произнести при ней про госпожу; спав всегда в комнате Биби, она, как это видали почти каждую ночь, уходила в образную и, стоя на коленях, молилась там до утренней зари; когда приезжали гости и хоть на минуту оставались одни, без хозяев, Иродиада подслушивала у дверей, что они говорят. В настоящем случае она доложила барышне, как Надежда Павловна и Софья Петровна, ложившись вчера почивать, изволили между собою разговаривать, что-де в Ковригине из такого все запасу и так все скверно готовится, что они ничего в рот не могут взять.

Биби на это только хмыкнула.

Войдя в гостиную и усевшись на диван, она прямо обратилась к зятю.

– Петр Григорьевич, выпей водочки и скушай что-нибудь. Не побрезгуй хоть ты-то нашим хлебом-солью.

В последних словах ее послышалось что-то зловещее для Надины.

Но Петр Григорьевич, ничего этого, конечно, не понявший, положил себе не без удовольствия на тарелку два куска пирога и, отправившись в угол, начал там смиренно есть.

– Саша, покушай, друг мой! – обратилась Биби к Александру и нарочно необыкновенно ласковым голосом.

Студент тоже, со свойственным его возрасту аппетитом, наложив себе на тарелку не совсем свежей печенки, сухой икры и трехгодовалых рыжиков, принялся все это уничтожать. Надежда Павловна и Соня намазали себе только немного масла на хлеб.

Биби решительно шипела.

– Виктор ваш скоро должен выйти в офицеры, – отнеслась она к сестре.

При этом уж Надежда Павловна вспыхнула; Биби всегда колола ее тем, что в отношении к сыновьям она дурно исполняет свои обязанности.

– Да, если выдержит экзамен, – отвечала она коротко, чтобы прекратить этот разговор.

– Я получила от него довольно странное письмо, – продолжала Биби с расстановкой. – Вот оно, не хочешь ли полюбопытствовать, – прибавила она, вынимая из кармана и подавая Надежде Павловне кругом исписанный лист почтовой бумаги. Та взяла его дрожащею и сконфуженною рукой. Она заранее предчувствовала, что тут заключается; но, с продолжением чтения, гневный румянец все больше и больше выступал на ее щеках. Молодой Басардин, несмотря на кадетский почерк и обильное число грамматических ошибок, владел, как видно, пером. «Дражайшая тетушка! – писал он, – я еще помню вас маленьким и драгоценный образ ваш навсегда сохранил в моей памяти. Простите великодушно, почтеннейшая тетушка, что никогда не писал к вам. Причиной тому мои родители, которые отвергнули меня еще от груди матери, но теперь я скоро буду офицер и хочу сам себе пробить дорогу в жизни или умереть на поле чести»…

– Боже, как он глуп! – почти простонала бедная мать.

«Я, вероятно, по успехам в науках буду выпущен в гвардию, – продолжал кадет, – но, к несчастью моему, не имею не только что на обмундировку, но даже купить получше смазных сапогов для выхода из корпуса по праздникам. На вас теперь, высокоуважаемая тетушка, вся надежда молодого несчастливца, который после многих писем к родителям, на которые не получал даже ответа…»

Далее Надежда Павловна не в состоянии была читать.

– Он врет, мерзкий мальчишка! Я недавно послала ему пятьдесят

рублей, и никогда он не будет выпущен в гвардию! – проговорила она гневно и с полными слез глазами.

– Я ничего того не знала и не знаю, и, конечно, пособила ему, сколько могла… – произнесла Биби напыщенным тоном.

– Напрасно! – возразила Надежда Павловна, – вам бы лучше следовало это письмо прислать ко мне.

– Ну, уж извините, этого я не сообразила, – отвечала ядовито-покорно Биби.

– Потому что, – продолжала Надежда Павловна рыдающим голосом, – ссорить мать с детьми…

– Кто же это вас ссорит? – перебила ее строго Биби. Надежда Павловна несколько приостановилась. – Кто же это ссорит? – повторила Биби, – а что то, что видят все добрые люди, того скрыть нельзя… – заключила она многознаменательно.

– Ну да, все видят… вы всегда были против меня во всем… а хотя бы немного пощадили меня, – произнесла окончательно разрыдавшаяся Надежда Павловна и ушла.

Соня последовала за матерью.

– Я же виновата! – сказала Биби и преспокойно принялась за свою работу.

Огорчение, которое причинила она на этот раз сестре, было очень сильно. Надежда Павловна, позабыв всякий расчет на наследство, прислала через несколько минут Соню в гостиную.

Та первоначально подошла к отцу.

– Папаша! Мамаша велела вам сказать о лошадях… После обеда мы поедем.

Что-то в роде улыбки промелькнуло на лице Биби. Соня подошла к ней.

– Мамаша велела вас спросить, сколько вы послали братцу, и вот она деньги прислала вам, – говорила она, протягивая к тетке руку с пачкой ассигнаций.

Биби покраснела.

– Я не беру назад того, чем дарю, – сказала она, хоть бы одним членом пошевелившись.

Соня на некоторое время осталась сконфуженною.

Сначала она, с потупленною головой, пошла было к матери, потом тотчас же вернулась оттуда и села опять около дедушки. Петр Григорьевич, не совсем понявший переданное ему от жены приказание, обратился к дочери.

– Да-с, – отвечала Соня, и в это время какая-то мгновенная игра во

взорах произошла между нею и Александром, который сейчас после того встал и пошел за Басардиным.

Тонкий слух Биби донес ей, что и он тоже велел себе закладывать лошадей.

– Ты это куда? – спросила она, когда Александр возвратился.

– Нужно, бабенька; мне в городе еще надобно пробыть; потом к маменьке заехать; в дороге тоже дня четыре пробудешь… – говорил он, краснея и путаясь.

– Врешь все! – сказала Биби и, по самолюбию своему, ничего больше не прибавила. Она очень хорошо видела, что внук оказывал в этом случае Басардиным предпочтение против нее, но об истинной тому причине вряд ли догадывалась. Обоих молодых людей она еще считала за совершенных детей.

Перед самым отъездом Соня выкинула маленькую и не совсем, кажется, искреннюю штуку. Оставшись случайно с теткой вдвоем, она вдруг бросилась к ней на шею и проговорила:

– Тетенька, простите маменьку!

– Я ничего не имею против нее, – отвечала сухо Биби, и затем, объявив племяннице, что ботиночки она вышлет ей в город с первою же оказией, повесила ей на шею маленький образок Митрофания на золотой цепочке, но и только!

При расставании все пошли первоначально проститься со стариком, который и не уразумел, что это такое, и по-прежнему повторил свое: «ну вот! ну вот!». Биби простилась с некоторым чувством с одним только Петром Григорьевичем и сказала ему: «прощай, мой друг!» Все тронулись. Александр на своей щеголеватой тройке, которую мать дала ему в распоряжение, поехал впереди. Он упросил также сесть с собой и Петра Григорьевича, а паре его и Митьке с Дарьей велено было ехать сзади.

Надежда Павловна, сев в экипаж, дала полную волю своему гневу и горю.

– Этакое зелье… змея!.. – повторяла она несколько раз.

– Кто это, мамаша? тетенька? – спросила Соня.

– Да, – отвечала Надежда Павловна и продолжала: – этакая чертовка… ведьма!

Бедная женщина так была взволнована, что совершенно забыла свой обычно-приличный тон и всякую осторожность в присутствии дочери.

Мороз, между тем, с закатом солнца страшно свирепел; лошади, сплошь покрытые инеем, бежали быстро; полозья скрипели, как будто

бы ехали по льду. Кучера, а в том числе и флегматический Митька, беспрестанно соскакивали с передков и бежали около повозок. Потап, забравшись на барское место, хоть бы чорт все побрал, перестал уж и править лошадьми. У Надежды Павловны, от холода и душевных волнений, до сумасшествия болела голова. Даже Петра Григорьевича, несмотря на капитальный запас собственной теплоты, сильно пробрало. Его потертые медведи как бы совсем отказались служить ему. «Шубой тоже называется, шваль этакая!» – начинал он думать с некоторой досадой.

Таким образом только два существа были тут счастливы: студент, который с каким-то опьянением думал, что с ним будет сегодня же вечером, и Соня в своем теплом салопчике, мечтавшая, как и с кем она будет танцовать на балах. Перед ними обоими мысли расстилались длинною и заманчивою пеленой.

7. Блаженнейшие минуты

Басардины всегда останавливались ночевать в Захарьине у Никиты Семенова, мужика зажиточного, несколько дерзкого и грубого на язык, но правдивого и решительно всех своих постояльцев – и мужика, и барина – одинаково разумевшего…

В большой избе его была зажжена огромная лучина и не было ни души. Сам он только сейчас возвратился с базара и, в одной рубахе, с железным подсвечником в зубах, что-то не совсем ловко возился с запором, который никак не входил у него в скобку. Погнуло ли ее, проклятую, или у самого Никиты косило в глазах, прах ее знает!

Хозяйка его, большуха, поила в коровьей избе теленка, который никак не хотел совать морду в крынку, но, приняв, наконец, ее палец за материнский сосок, принялся тянуть молоко. Бабушка-старуха, со внучатами, давно уже спала в третьей избенке.

В окно большой избы громко застучали кнутовищем… Никита, услыхав это, выглянул со свечой за калитку и, узнав своего старого приятеля, сивого меренка, тотчас же отпахнул ворота и поднял одною рукой длинную подворотню.

– Въезжайте! – проговорил он.

Первый из саней выскочил Петр Григорьевич: едва сняв с себя шапку и сбросив шубенку, он прямо полез на печь.

– Этакого чорта мороза еще и не бывало, – объяснил он оттуда, скидая с себя сапоги и ставя свои ноги на самое горячее место печи.

Студент тоже, сам не зная как, отморозил два пальца.

Дарья, совершенно окоченевшая от холоду, ввела барыню под руку. Надежда Павловна сейчас же стала распоряжаться о чае. Ее по преимуществу беспокоило, не прозябла ли Соня; но та только пылала румянцем, и с ее улыбки и розовых щечек как бы летели мириады амурчиков.

– Ничего, мамаша, – говорила она, когда мать вытирала ей лицо холодною водой и советовала не снимать теплых ботинок.

– Ничего!.. – повторила Соня и в дорожном капотце, с выпущенными белыми зарукавничками, положила ручки на стол и стала лукаво глядеть на студента, давно уже поместившегося невдалеке от нее и жадно на нее смотревшего.

Надежда Павловна, напоив молодежь чаем, наконец вспомнила о муже.

– Где же Петр Григорьевич? – спросила она.

– Я здесь… озяб ужасно, – отозвался тот с печи.

– Какой нежный, скажите! – заметила ему на это Надежда Павловна.

– Чего нежный!.. Шуба никуда не годится…

Шуба в самом деле до сих пор еще стояла колом. Надежда Павловна послала на печку стакан чаю, а у самой в тепле так разболелась голова, что она и сидеть не могла: встав, как пьяная, с места, она сказала:

– Я пойду, прилягу!

Им с Соней было постлано за перегородкой.

– А ты еще посидишь? – прибавила она, обращаясь к дочери.

– Посижу! – отвечала та.

Надежда Павловна осталась как бы в недоумении несколько минут, но потом, приговоря: «хорошо!», ушла.

В этом заключалось целое море материнской нежности. Она очень хорошо видела, что дочери хочется посидеть со студентом, и хоть, может быть, считала это со своей стороны не совсем приличным, но не в состоянии была воспрепятствовать тому.

Оставшись вдвоем, молодые люди несколько конфузились друг друга.

– Ах, какие у этого господина ужасные усы! – проговорила Соня, показывая на ползшего по столу таракана.

– А вот я его заключу сейчас, – сказал студент и обвел кругом таракана водяную жидкость.

Таракан действительно засовал рыльцем туда и сюда и не мог ниоткуда вылезти.

– Ну что, освободите его! – возразила Соня и протянула было ручку, чтоб обтереть воду.

Студент не допускал ее. Руки их встретились.

– Отпустите его! – сказала наконец Соня строго и серьезно, и Александр сейчас же ей повиновался.

После того она обратила внимание на висевшее перед образом яйцо.

– Ах, какое большое яйцо! – сказала она.

– Это, должно быть, лебединое, – объяснил ей студент.

– Зачем же оно тут висит?

– У крестьян всегда так, – отвечал Александр нехотя.

Видимо, оба они говорили совершенно не о том, о чем бы им хотелось.

С печки в это время начал уже явственно слышаться храп Петра Григорьевича.

– Опустите вашу ручку под стол, – проговорил вдруг Александр, наклоняясь низко-низко над столом.

Соня сделала движение, чтобы в самом деле опустить ручку; но в это время дверь скрипнула. Молодые люди вздрогнули и пораздвинулись.

В избу вошел хозяин с еще более всклокоченною головой и бородой и стал оглядывать избу.

– Где ваша девушка-то тут? Шла бы ужинать!.. Дашутка! – крикнул он.

И Дарья действительно появилась откуда-то из-за печки, где она было прикурнула.

– Она была здесь! – сказала, закусив губки, Соня.

– Да, – прошептал и студент, не менее ее сконфуженным голосом.

Дарья однако, ни в чем, кажется, неповинная, смиренно ушла, а Никита не уходил.

– Я вот все на молодого-то баринка гляжу, признать никак не могу, чей такой? – сказал он, не спуская с Александра глаз.

– Я Аполлинарии Матвеевны Баклановой сын, – отвечал тот.

– Слыхал… Папенька-то у тебя ведь ныне помер?

– Да!

– Ты сам-то из военных, что ли, али, может, межевой? – продолжал Никита, уже садясь на лавку.

Он заметно был выпивши.

– Я студент, – отвечал Александр.

– В ученьи еще, значит. По росту-то, словно бы и службу тяпать

пора.

– Это все равно, что на службе: нам дают два чина.

– За что ж это?

– За ученье.

Никита покачал головой.

– Плохо что-то, паря, ваше ученье-то, – сказал он, – много тоже вот вашей братьи этаких проезжает из кутейников, и из дворянства; пустой народ, хабальный… офицеры не в пример подбористее будут, складнее.

Александр на это счел за лучшее только усмехнуться.

– В женихи, что ли, к барышне-то ладишь? – не отставал от него Никита, показывая головой на Соню.

– Нет, не в женихи, – ответил ему насмешливо Александр.

– Нам нельзя, мы родня, – подхватила Соня.

– Родня! Ишь ты, а! – произнес Никита, как бы удивившись. – Коли родня, значит, нельзя теперь.

– Отчего ж? – спросил уж Александр.

– В законе не показано.

– Что ж, что не показано! Это вздор!

– Как вздор!.. нет!.. Счастья при том не бывает. Коли тоже, где этак вот повенчаются, так опосля, чу, и не спят вместе, все врозь… опротивеет! – объяснял Никита откровенно, и Бог знает, до чего бы еще договорился; но в это время в дверях показалось лицо Михайлы, кучера Надежды Павловны.

– Что те? – спросил он его.

– Сена-с! – отвечал тот вежливо.

– А не хочешь ли полена-с? – отвечал ему Никита, впрочем, сейчас же встал и пошел.

Глядя на его огромную курчавую голову, двухаршинные плечи и медвежью спину, неудивительно было, что он куражился над прочим человечеством.

– Какой он гадкий! – сказала по уходе его Соня.

– И несносный! – прибавил студент.

Ручки Сони в это время были под столом, Александр и свою протянул туда и осмелился взять ее за кончики пальчиков… Ему ответили полным пожатием. Он захватил уже всю ручку и потом, наклонившись как бы поднять что-то с полу, поцеловал ее.

– Перестаньте, – шепнула Соня.

– Отчего же? – спросил Александр.

– Так, я и то уже сделала три ступени к пороку, – говорила Соня.

– Нет, отчего же? – повторил студент.

Блаженству их не было пределов!

Часто, глядя на казармоподобные дома городов, слыша вечные толки о житейских, служебных и политических дрязгах, глядя по театрам на бездарных актеров, слушая музыку, которая больше бьет вас по нервам, чем по душе, невольно приходилось думать: «где ж поэзия в наше время?» А вот где! На постоялом дворе Никиты Семенова!.. В каком-нибудь маленьком домике, где молодая мать, с обнаженною шеей и распущенною косой, глядит на своего милого ребенка: кругом ее нищета, а она на небе… На небольшой холм вышел труженик мысли, изведавший своим разумом и течение вод земных, и ход светил небесных, а теперь с каким-то детским восторгом глядит на закат солнца и на окружающий его со всех сторон пурпур облаков!.. Сонный тапер в большой, грязной, но позолоченной комнате играет на нестройной рояли; полупьяные пары нетвердою поступью танцуют холодный и бесстрастный канкан; разбитые и выпитые бутылки катаются у них под ногами; но тут же, в полусвете, рисуется стройный стан молодой женщины и черный профиль мужчины, и они говорят – говорят – говорят между собой! Посреди этой душной атмосферы винных паров, бесстыдных и нахальных речей, посреди смрада болезни и разврата, их искреннее чувство, как чистый фимиам, возносится к небу… Где поэзия? Выкинуть ее из жизни все равно, что выкинуть из мира душу, мысль.

Сальная свечка, освещавшая Соню и студента, очень однако нагорела и только что не гасла. Храп Петра Григорьевича раздавался по избе. Из комнаты Надежды Павловны не слышно было не звука. Дарья все еще не возвращалась. Молодые люди уже несколько минут держали друг друга в объятиях и тихо, тихо целовались.

– Соня! – окликнула наконец мать.

– Сейчас, мамаша, – отвечала та и, вырвавшись из робко распустившихся рук Александра, ушла за перегородку, и через несколько минут, вся пылающая, но по-видимому спокойная, лежала около матери.

Александр влез на полати.

Думали ли они, что это были последние для них счастливые минуты, и что они долго потом не сойдутся, а если и сойдутся, так далеко не полною рукой будут срывать розы счастья, и хорошо еще, если в душах их останутся от них лепестки, не разбитые бурями и непогодами.

8. Александр совсем на небе

Губернский город, по случаю сошедшихся в одно и то же время баллотировки и рекрутского набора, значительно пооживился: на его длинных и заборами исполненных улицах стало попадаться, во всевозможных деревенских экипажах, много помещичьих физиономий. По лавкам более обыкновенного толпились дамы, по большей части полные и с закругленными, красноватыми лицами. Петр Григорьевич тоже ездил по визитам, сидя чопорно и прямо на своих пошевнях, и не на саврасой кобыле, а на жениной коренной. Легче было бы для этого бедняка ворочать жернова, чем делать то, что заставляла его Надежда Павловна. Хорошо еще, где говорили: «дома нет!», а в других местах и принимали.

– Как здоровье вашей супруги?.. ваших деточек? – говорил он обыкновенно в этих случаях, и потом, заключив все это фразой: «имею честь поручить себя вашему расположению», заканчивал тем свое посещение.

Пот уж градом катился с его лба, и мысли его были в самом дурном настроении.

«Выдумали эти окаянные баллотировки, съезжаются тоже, толкуют, беснуются, а из чего, чорт знает!» – думал он, подъезжая к своей квартирке, которую нанимали они у Покровского священника во флигельке.

В небольшой комнатке, оклееной чистенькими обоями и сейчас же следовавшей передней, на небольшом кожаном диванчике сидела Соня. В своей утренней блузе, с завитыми в папильотки волосами, она была олицетвореннная прелесть и свежесть.

Будь у Петра Григорьевича хоть капля эстетического чувства, он, возвратясь с визитов и увидев свою дочурочку, непременно бы почувствовал желание привлечь ее к своей груди и расцеловать ее в губки, в глазки, в голову; но он только и есть, что робко спросил ее:

– А что, мамаша дома?

– Дома, – отвечала Соня.

Басардин сел: ему всего бы больше хотелось поскорей стянуть с себя проклятый мундир, но он не смел этого, не зная, не пошлют ли его еще куда-нибудь.

Александр, обыкновенно забиравшийся к Басардиным с раннего утра, был тут же. Лицо его сияло счастьем. Каждым своим словом,

каждым движением Соня исполняла его каким-то восторгом. В соседней комнате Надежда Павловна все хлопотала с бальным нарядом дочери, которая в этот день должна была в первый раз выехать в собрание; но Соня, напротив, оставалась совершенно спокойна, она даже смеялась над хлопотами и беспокойством матери. Будущая пожирательница мужских сердец заранее предчувствовала, что выйдет оттуда победительницей.

Надежда Павловна, утомленная, нечесаная, наконец вышла.

– Что ж стол не накрывают? – спросила она усталым голосом.

Александр сейчас же начал раскланиваться. Чтобы не стеснять Басардиных в их хозяйстве, он никогда не оставался у них обедать.

– Adieu! – сказала ему Надежда Павловна, сама хорошенько не помня, что говорить. Соня посмотрела на студента с нежностью. Петр Григорьевич пошел проводить его до передней.

– Славный конь! – сказал он, когда Александр подкрикнул своего извозчика, на сером в яблоках жеребце, с медвежьею полостью на санях. Чтобы представить собою вполне губернского денди, молодой человек не ездил на своих дорожных лошадях, а нанимал лучшего в городе лихача-извозчика. Усевшись в сани и завернувшись несколько по-офицерски в свою, с бобровым воротником, шинель, он крикнул: «пошел!».

Извозчик сразу продернул его мимо басардинских окон, причем студент едва только успел приложиться рукой к фуражке, а Соня – кивнуть ему через стекло головой.

– Славный конь! славный! – повторял ему вслед Петр Григорьевич.

Старый кавалерист до сих пор любил еще считать себя большим знатоком в лошадях, и вряд ли это была не единственная вещь, которою он гордился в жизни. Александр между тем, через две, три улицы, подъехал к большому деревянному дому. Это был их собственный дом. Покойный отец его был какой-то несменяемый председатель уголовной палаты. Он-то обыкновенно, из сожаления к Надежде Павловне, выцарапывал Петра Григорьевича из-под суда и считал его в то же время дураком набитейшим. В прежние годы он и побирал порядочно; но перед смертью только и жил, что в еду и комфорт. Дом у него был отделан на барскую руку. Александр вошел с переднего крыльца. Его встретил губернского закала мрачный и грязный лакей и, проводив барина до кабинета, хотел было тут же подать обедать.

– Накрой в столовой! – сказал ему Александр сколько мог строго, и лакей, в насмешку ли, или из угодливости, размахнул там дубовый

столище, на котором прежде обедывало человек по двадцати, покрыл его длиннейшею скатертью и, поставив перед прибором миску с плоховатым супом собственного приготовления, доложил барину: «готово-с!». Александр пошел и сел не без удовольствия на занимаемое прежде отцом его место.

Припомните, читатель, ваше юношество, первое, раннее юношество! Вы живете с родителями. Вам все как-то неловко курить трубку или папироску в присутствии вашего отца. К вам пришли гости, и вы должны итти к матери, сказать ей: «maman, ко мне пришло двое товарищей, прикажите нам подать чаю наверх!». Вам на это, разумеется, ничего не скажут, но все-таки, пожалуй, сделают недовольную мину. Вам ужасно захотелось маленький голубой диван, что стоит в зале, перенести в вашу комнату, и вы совершенно спокойно просите об этом отца, и вдруг на вас за это крикнут… О, как вам при этом горько, обидно и досадно! Но вот – родители ваши собрались и уехали, и вам не только что не грустно об них, напротив, вам очень весело! Вы полный господин и самого себя, и всех вещей, и всего дома. Вы с улыбкой совершеннолетнего человека ходите по зале; посматриваете на шкап с книгами, зная, что можете взять любую из них; вы поправляете лампу на среднем столе, вы сдуваете наконец пыль с окна. Вам кажется, что все это уж ваше.

То же, или почти то же самое, чувствовал и мой девятнадцатилетний герой.

– Там в погребе должно быть вино, – сказал он, стараясь придать своему голосу повелительный тон.

– Есть, – отвечал лакей протяжно.

– Принеси мне бутылку сен-жюльена.

Лакей неторопливо пошел и принес вино вместе с подгорелым жареным. Александр налил себе целый стакан и стал из него самодовольно прихлебывать.

– Затопи камин! – распорядился он еще раз.

Лакей повиновался и, возвратясь, притащил целую охапку сырых дров.

– Затопи каменным углем; разве нет каменного угля? – воскликнул Александр.

Лакей, ни слова не ответив, унес дрова назад и вместо них принес, в поле собственного сюртука, около пуда угля и, ввалив все это в камин, принялся, с раскрасневшимся и озлобленным лицом, раздувать огонь.

Александр ушел в кабинет и там, сев за письменный стол отца, к

которому прежде прикоснуться не смел, написал записочку:

«Любезный друг! Я приехал и затеваю ужасную вещь! Если ты свободен, приезжай поболтать, с сим же посланным. Мне нужно обо многом с тобой поговорить».

Надписав на конверте: «Венявину», он это письмо велел свезти извозчику, а сам, надев бархатный, с талией и шелковыми кистями, халат, нарочно сшитый им в Москве для произведения в провинции эффекта, возвратился в столовую.

Там огонь уже ярко пылал в камине, зимние сумерки совершенно потухли, и стекла окон сделались как бы покрыты сзади сажей. Александр пододвинул к огню козетку и прилег на нее. Окружающие его предметы все более и более принимали какой-то странный вид: длинная, отделанная под дуб комната казалась бесконечною; по ней как-то величественно протягивался обеденный стол, покрытый белою скатертью. Черный буфет рококо имел какую-то средневековую, солидную наружность. Картины на стенах, изображавшие разрезанный арбуз, дыню, свеклу, мертвого зайца, свиной окорок, скорей представляли собой какие-то цветные пятна, чем определенной формы рисунки. Толстая драпировка, висевшая на дверях в кабинете, слегка, но беспрестанно колебалась.

Александру начало делаться немного страшно. Он живо припомнил покойного отца, как тот, шлепая туфлями, сходил сверху из спальни в кабинет, и теперь в самом деле в коридоре раздались как будто чьи-то шаги… Александру так и чудилось, что вот-вот над головой его раздастся гробовой голос!.. Он еще не был чужд детских ощущений. Шаги наконец явственно стали слышны. Он не вытерпел и закричал:

– Семен, кто тут?

– Это я, друг мой милый, – произнес чей-то необыкновенно добрый голос.

В комнату входил привезенный извозчиком Венявин, белокурый студент, с широким лицом, с торчащими прямо волосами и весь как бы погнутый наперед.

– Здравствуй! Садись! – произнес Александр, не переменяя положения и не совсем успокоившимся голосом.

Венявин сел на ближайшее кресло.

– Как у тебя тут чудесно! Точно какая-нибудь таинственная ниша! – говорил он, оглядываясь.

Александр молчал.

– Ну скажи однако, давно ли сюда прибыть изволил?

– Дня три.

– С нею, значит, уже виделся?

Последние слова Венявин произнес, устремляя на приятеля лукаво-добродушный взгляд.

– Разумеется, – отвечал Александр и закинул как бы в утомлении голову назад.

– В таком случае извольте рассказать, как и что было, – продолжал Венявин, самодовольно упирая руки в колени и не спуская с приятеля доброго взгляда.

– А было, – отвечал тот (он все еще не спускал глаз с драпировки, которая не переставала шевелиться), – что я стал к ней в такие отношения, при которых уже пятиться нельзя! – прибавил он с расстановкой.

Венявин даже побледнел.

– Как так?

– Так!

И Александр еще дальше закинул голову назад.

– Она была, – продолжал он, закрывая глаза, – грустна, как падший ангел… Только и молила: «что вы со мной делаете?..» Но я был как бешеный! – прибавил он, сжимая кулаки.

Далее Александр не продолжал и, повернувшись вниз лицом, уткнулся головой в спинку козетки.

– Но где же и когда это было, безумный ты человек! – воскликнул Венявин, сгорая любопытством и удивлением.

– В Захарьине, на постоялом дворе, – отвечал Александр глухим голосом.

Читатель очень хорошо видит, что молодой человек тут лгал безбожно, немилосердно! Но что делать? Это была не ложь, а скорее чересчур разыгравшаяся мечта!

Огонь в камине, между тем, горел красноватым пламенем. Фантастическому характеру беседы стал несколько подпадать и Венявин: он сидел, как ошеломленный.

– Я всегда боялся одного, – начал он каким-то наставническим голосом: – что ты увлечешься, наделаешь глупостей и погубишь твою даровитую, скажу более, гениальную натуру!

На последнем слове он сделал ударение, как бы говоря непреложнейшую истину.

– Но из чего ты это видишь? – отозвался Александр насмешливо.

– Из всего. И как теперь эта девушка ни прелестна, в чем я нисколько не сомневаюсь, но все-таки ты должен оставить ее.

Александр молчал и не переменял положения.

– А что же с ней после будет? – проговорил он наконец.

О выдуманном им положении он рассуждал, как будто бы это была полнейшая действительность.

Венявин пожал плечами.

– Пускай винит самое себя, – сказал он с мрачным выражением лица.

«Бум!» – раздалось в эту минуту.

Александр взмахнул головою.

– Часы, должно-быть, – заметил Венявин.

В комнате в самом деле пробили полугодовые часы, заведенные еще рукою покойного старика, и Александру почудился в них его голос. В какой-то непонятной для него самого тоске, он опять прилег. Нервы его были сильно возбуждены.

– Что ж, однако, ты намерен делать? – не отставал от него Венявин.

– Ничего… Останусь здесь… Напишу матери и женюсь, – отвечал Александр.

– И не кончишь курса?

– Конечно.

Венявин схватил себя за голову.

– О, безумие! безумие! – воскликнул он и, очень уж огорченный, встал и отошел к окну.

В комнате воцарилось молчание, и только ходил не то треск, не то шелест, который часто бывает в нежилых, пустых покоях. На горизонте вдали, как бы огромным заревом пожара, показывалось красноватое лицо луны.

– Ты этого, друг любезный, не имеешь права сделать, – бормотал Венявин, – тебя, может быть, ждет министерский портфель; тебя ждет родина, Александр! Ты перед ней должен будешь дать ответ за себя.

Говоря это, добряк нисколько не льстил. Он был товарищ Александра по гимназии, и теперь они вместе учились в университете. Умненький, красивый собою и получивший несколько светское воспитание, Бакланов решительно казался Венявину каким-то полубогом.

– Господи, Боже мой! – продолжал он в своем углу, – сама девушка, если бы только растолковать ей, не потребовала бы этой жертвы. Женщины рождены на самоотвержение, а не на то, чтобы губить нас.

Александру в это время, перед его умственным оком, представлялось, что Соня уже живет с ним в этом доме, и вот она, в

белой блузе, вся блистающая, входит и садится около него на козетке. Он чувствует, как она прикасается к нему теплой грудью и с стыдливым румянцем шепчет ему.

– А что, если она будет матерью? – проговорил он, вдруг оборачивая к приятелю лицо.

У того при этом волосы и уши заходили на черепе.

– И в таком случае ты должен оставить ее, – сказал он, не шевелясь с места.

Ему было слишком тяжело произносить эти суровые приговоры; но что делать! – надобно было спасать приятеля, и спасать еще для блага отечества.

– Хорошо так говорить, – отвечал Александр со вздохом. – Семен! – крикнул он.

Тот вошел.

– Одеваться!

– Покажи ты мне ее, я хочу ее видеть! – проговорил Венявин, выходя наконец из угла.

В том, что приятель во всей этой истории прилыгал, он и тени не имел подозрения: он верил в его силу и могущество во все стороны.

– Поезжай сегодня в собрание и увидишь, – отвечал Александр.

– В собрание-то, братец, ехать как-то не того… не привык я!

– Поезжай на хоры.

– На хоры еще пожалуй.

Семен в это время принес Бакланову его бальную форму.

– Какой ведь, чертенок, стройненький, – говорил Венявин, когда Александр затягивал ремнем свои мундирные брюки. – А воротник, брат, чудный. Чудо как вышит! – любовался он.

Все, что принадлежало Александру, Венявину казалось необыкновенно каким-то прекрасным.

– Ну, так прощай! Зайду к матери и явлюсь, – сказал он.

– Хорошо, – отвечал Александр.

Раздраженно-нервное состояние в нем еще продолжалось. Совсем уже собравшись и выходя, он сказал в передней человеку:

– Ты ляжешь у меня в кабинете, дворнику тоже вели, как и вчера, лечь в столовой, а кучеру – в лакейской!

– Кучер говорит, ему надобно-с быть около лошадей, – объяснил было ему лакей.

– Чтобы чорт все побрал! – крикнул Александр и сел в сани.

На улице луна осветила его фигуру, экипаж, кучера и лошадь ярким белым светом.

9. Спущен на землю

Дом дворянского собрания горел всеми своими двадцатью пятью окнами. Публики ожидалось довольное число. В каждую баллотировку обыкновенно говорили: «Ну, сегодня вся Таганка в собрание тронется». Дамы высшего общества, то есть жены мужей пятого класса, за исключением губернаторши, бывавшей тут почти по обязанности своей службы, обыкновенно не ездили в эти собрания и даже дам и кавалеров, бывавших там, называли вторничными кавалерами и вторничными дамами (собрание всегда бывало по вторникам). Надежда Павловна по своему состоянию могла вывезти дочь только в собрание. Бывать же с ней на балах и на вечерах она не имела ни средств, ни знакомств.

Проиграли уже ритурнель перед кадрилью, когда Александр, с воодушевленною физиономией, вошел в залу, и первое, что взмахнул глазами на хоры: добродушное лицо Венявина уже виднелось оттуда. Александр, надев на нос pinse-nez и закинув несколько голову назад, начал обводить глазами залу. Он не был близорук, но носил это орудие собственно для того, чтобы представить из себя человека мыслящего и занимающегося. Около балюстрады, на самом видном месте залы, он увидел Надежду Павловну с дочерью; Петра Григорьевича, к величайшему его блаженству, покинули дома.

Соня, выше почти всех других девиц, с развитою вполне грудью (Александр в первый еще раз видел ее в бальном наряде), в белом роскошном платье, на котором с удивительным умением было брошено несколько розанов, с черной косой, в которую тоже впивались два розана, – весело разговаривала с высоким, стройным полковником в белых серебряных эполетах и с белым аксельбантом. В некотором расстоянии от него, но как бы стремясь к нему всем телом, стояла губернаторша. Начальник губернии, несмотря на свою гордость, тоже заметно старался держать себя невдалеке от этой группы.

Все это Александра сильно удивило.

Разговаривавший с Соней был присланный по наборам флигель-адъютант Корнеев. До какой степени он с первых своих шагов сделался любимцем всех дам, автор даже затрудняется сказать. От большей части дам только и слышно было: «У меня был Корнеев!», «Корнеев тоже рассказывал!», «Корнеев говорит, что он знаком с m-me Виардо!». И хорошо еще, если бы в этом случае прекрасным полом руководствовала любовь к изящному (Корнеев, действительно, был

красив собою); но нет: тут лежало в основании гораздо более ничтожное, чтобы не сказать – холопское чувство.

Когда музыканты заиграли кадриль, Соня преспокойно подала руку флигель-адъютанту и пошла с ним. Это уж совершенно озадачило студента. Первую кадриль она еще в Ковригине обещалась танцовать с ним. Несколько сконфуженный, но заложив руку за борт мундира и выпячивая грудь, он гордо подошел к ней.

– Вы обещались эту кадриль танцовать со мной, – сказал он.

– Ах, да, pardon!.. Я и забыла… Ну, ничего, все равно, следующую, – проговорила она скороговоркой и, как ни в чем не бывало, обернулась к своему кавалеру.

– Да как же это? – забормотал было Александр.

– Не могла ж она отказать флигель-адъютанту, какой ты глупый! – объяснила ему напрямик находившаяся невдалеке Надежда Павловна.

Александр этим окончательно обиделся. Сделав презрительную мину, он отошел и сел на дальний стул. Наверх, на хоры он не смел и взглянуть, до того ему было стыдно Венявина. Но это было еще только начало его мучений: Соня беспрестанно разговаривала с своим кавалером, вскидывала на него свои чудные глаза и мешалась в кадрили. Чтобы не видеть этого, Александр отвернулся и с упорством школьника стал смотреть на одну точку совершенно в противоположной стороне.

Наконец подали сигнал ко второй кадрили.

Он встал и пошел. Соня в это время рассеянно стояла посреди залы.

– Надеюсь, что эту кадриль я с вами танцую, – проговорил он ей мрачно.

– Да, – отвечала Соня, а между тем глаза ее кого-то искали по зале.

Александр, став около нее, даже не предложил ей стула. Он решился быть дерзким с ней.

– Вы с таким удовольствием танцовали с вашим кавалером. Вот, я думаю, рассыпал перед вами перлы ума! – сказал он насмешливо.

– Да, он премилый, – отвечала Соня, как бы не поняв.

Александр закусил губы.

– Я все теперь вспоминаю о Захарьине! – продолжал он, переменив тон.

– Что? – спросила Соня, как бы не расслышав.

– О Захарьине! – повторил студент и вздохнул.

В лице Сони промелькнуло что-то вроде насмешливой улыбки, но потом она вдруг вся засияла радостью. К ней, пробираясь между

парами, ловкою, но осторожною походкой подходил Корнеев. Это превышало всякую меру терпения. Александр решился наговорить ему дерзостей, толкнуть его и вызвать на дуэль. Корнеев выразил Соне просьбу, чтоб она представила его матери.

– Ах, да, да! – почти воскликнула Соня и беспрестанно стала обращаться к нему то со взглядом, то с вопросом.

Корнеев отвечал ей, но стоял в некотором отдалении. Александр никаким образом не мог придраться к нему.

После кадрили Корнеев представился Надежде Павловне. У той от радости рот расплылся до ушей. Она улыбалась, кланялась, пылала румянцем. На нее Александр сердился еще более, чем на Соню.

«Презренная тварь, торгующая своей дочерью», – шевелилось в его душе.

Между тем внимание блестящего петербургского кавалера к бедной, но прекрасной собою девушке сейчас же возымело свои последствия. Отпускной конно-пионер, лучший полькер в городе, пригласил ее на польку. Эффект, который Соня произвела при этом своим высоким, грациозным станом, был выше всякого описания. Один из самых светских молодых людей, чиновник особых поручений и вряд ли не камер-юнкер, пригласил ее на кадриль, наконец сам губернатор провальсировал с нею, причем фалды на его армейском заду ужасно смешно раздувались. Но Соня и с ним была прелестна. Александр сам, своими ушами, слышал, как флигель-адъютант, ходя с губернаторшей, говорил ей:

– Она первая здесь красавица.

– Поздравляю, вы уже, значит, влюблены? – замечала ему та.

– Решительно, – отвечал он, пожимая плечами.

У Александра недостало более сил переносить всей этой, по выражению его, гадости. Он вышел в другие комнаты и начал без всякой цели шляться около игроков. К нему подошел клубный лакей.

– Вас просит какой-то господин на хоры, – сказал он.

– Скажите, что не пойду, – отвечал было сначала Александр с досадою; но, сообразив, что это будет совсем уже неловко, остановил лакея. – Погоди, постой! Я пойду!

И действительно вышел на хоры.

Венявин встретил его там с своим добродушно-улыбающимся лицом.

– Которая она? Та что с тобой кадриль танцовала? – спросил он.

– Да, – отвечал Александр.

– Прелесть какая, братец, а! Чудо! Делает честь твоему вкусу. Я вот

давеча тебя укорял, а как теперь посмотрел на вас в паре, так бы сейчас поставил вас под венец.

Слова эти острым ножом резали сердце Александра.

– Только за ней что-то флигель-адъютант очень уж приударяет, – продолжал Венявин.

Александр ничего не отвечал.

– Да и она что-то к нему льнет! – не отставал мучить его Венявин.

– Это все нарочно… маска! – едва нашелся Александр.

– Вот оно что! – произнес добродушно добряк.

– Я с ней больше и танцовать не буду, – сказал Александр и, взглянув в это время вниз и видя, что Соня становится с флигель-адъютантом в мазурке, он прибавил: – я сейчас уеду домой.

– А я так посижу еще, полюбуюсь ею.

– Любуйся, сколько хочешь; а мне, признаться, немножко уж и это наскучило! – произнес Александр и пошел: в голосе его слышалось целое море горя и досады.

Ревность, говорят, есть усиленная зависть; в ней мы и оплакиваем потерянное нами счастье и завидуем, что им владеет другой.

Возвратившись домой, Бакланов изрыгал проклятья, рвал на себе волосы, дрыгал на постели ногами. Избалованный, а отчасти и по самой натуре своей, он любил страдать шумно.

10. Выборы

В той же самой зале, где беспечная младость танцовала и веселилась, совершалось и серьезное дело жизни – баллотировка. Если бы надобно было сказать, какая в ней преобладала партия, я не задумавшись бы сказал: губернаторская. Начальник губернии, обыкновенно очень просто и без всякой церемонии, призывал к себе несколько дворян повлиятельней и прямо им говорил: «Пожалуйста, господа, на такое-то место выберите такого-то!» И когда выбирали другого, он его не утверждал, а если нужно было предоставить на утверждение, так делал такого рода отметки: неблагонадежен, предан пьянству и картам; но чаще всего и всего успешнее определял так: читает иностранные журналы и прилагает их идеи к интересам дворянства, и выбранного, разумеется, отстраняли. В настоящую баллотировку, впрочем, все шло благополучно: по уездам она была кончена, и выбирались губернские власти. Около стола губернского предводителя толпилось дворянство в отставных военных, а еще более того в дворянских мундирах.

Басардин, в своем белом кирасирском колете, в своих лосинах и ботфортах, сохраненных им еще от полковой службы, тоже стоял у окна. Лицо его не выражало ничего. Он уже баллотировался и в исправники, и в судьи, даже в заседатели; но никуда не попал. Надежда Павловна не помнила себя с горя и к тому же, ко всем ее радостям, получила письмо от сына, который начинал и оканчивал тем, что просил у нее денег.

«Как сын русского кавалериста, – писал он, – я считаю унизительным посвятить себя пехотной службе; а потому хочу выйти офицером в кавалерию. Прошу вас, маменька, прислать мне реверс, что вы обеспечиваете мне содержание».

– Ну да, я тебе дам, пришлю тебе реверс, сын русского кавалериста! – говорила бедная женщина, чуть не рвя на себе волосы.

Мужа своего она не могла видеть без нервного раздражения. Чтобы испытать последнее и почти безнадежное средство, она велела ему баллотироваться в депутаты в дорожную комиссию и сегодня, ради этого, еще до свету разбудила его и отправила. Петр Григорьевич в мундире и ботфортах с семи часов утра стоял уже в собрании. Когда он заявил о своем желании баллотироваться, губернский предводитель даже усмехнулся.

– Везде и на все считаете себя способным, – проговорил он.

– Не оставьте! – сказал как-то односложно Басардин и отошел на свое место.

При баллотировании его вышел такого рода случай, что большая часть, кладя ему шары, думали: «этому дуралею все, вероятно, положат налево, положить уж ему направо». Другие подсыпали ему белков по доброте душевной, имея привычку всем класть белые шары; третьи, наконец, вотировали за него, чтобы как-нибудь не выскочил на это место его конкурент, прощелыга Колоколов.

Губернский предводитель, сосчитав шары, звучным, но не лишенным удивления голосом произнес:

– Г. Басардин выбран и все почти белыми.

При этом многие не могли удержаться и, разведя руками, проговорили друг другу: «Вот вам и баллотировка наша!»

Сам же Петр Григорьевич, все продолжавший стоять у окна, слегка только вспыхнул и, раскланявшись перед дворянством, объяснил:

– Постараюсь заслужить…

– Да, да, постарайся, Петруша! – заметил ему Неплюев, сосед его по деревне и совершенно без церемонии с ним обращавшийся: – прежде только пять дураков тебе клали направо, а теперь набралось их

пятьдесят. Слава Богу, совершенствуемся!

Общий хохот распространился по зале; но Петр Григорьевич нисколько этим не обиделся и сам улыбался. Он, кажется, хорошенько и не понял, в чем тут соль-то заключалась, и затем спокойнейшим манером, достояв всю баллотировку, сошел с лестницы степенною, неторопливою походкой, сел в свои розвальни и прибыл домой.

– Выбрали… в депутаты в комиссию, – сказал он совершенно не взволнованным голосом.

– Боже мой! – вскрикнула Надежда Павловна и, истерически зарыдав, бросилась перед образом на колени. – Благодарю Тебя, Царица Небесная! Благодарю, Иисусе Христе, что не дал несчастным совершенно погибнуть!.. – бормотала она, всплескивая руками, и потом обратилась к мужу: – Да встань и ты, помолись, бесчувственный ты человек!

Петр Григорьевич повиновался. Став на одно колено и делая, по обыкновению своему, маленькие крестные знамения, он начал молиться.

Соня, слышавшая все это из соседней комнаты, тоже прибежала.

– Мамаша! Папаша, вероятно, выбран! – вскричала она.

Последние дни она еще как-то больше развилась и стала похожа на взрослую девицу.

– Выбран, друг мой, выбран! – отвечала Надежда Павловна, а у самой слезы так и текли по впалым щекам.

Мать и дочь бросились друг другу в объятья. Соня после того бросилась на шею отцу. Петра Григорьевича наконец пробрало, и у него навернулись слезы.

– Ну, папаша, смотри же, служи хорошенько! – говорила ему Соня.

– А вот я наперед говорю, – сказала Надежда Павловна, – что если он и в этой должности что-нибудь набедокурит или проротозейничает, я разойдусь с ним… Пускай живет где хочет и на что хочет.

– Я буду служить, – отвечал Петр Григорьевич.

– Там вон, говорят, – продолжала Надежда Павловна настоятельно: – берут с каждого подрядчика по десяти процентов, и этих доходов упускать нечего: другие не попадаются же, и ты попадаться не должен.

– Я буду не упускать, – отвечал и на это пятидесятилетний ребенок и принялся стягивать с себя свой мундир.

– Постой, папа, я тебе помогу, – говорила Соня, очень уж довольная, что отец выбран, и что она останется в городе.

– Ф-фу, хомут проклятый! – говорил Петр Григорьевич, с наслаждением растегивая свой, чересчур уж узкий ему, мундир.

Затем последовала довольно умилительная сцена.

– Людям дать водки!.. водки!.. – говорила радостно-хлопотливо Надежда Павловна, и потом, когда в комнату пришла Дарья, она сказала ей:

– Дура!.. Дарья!.. барина на службу выбрали!

– Вот, матушка! – отвечала та и почему-то поцеловала у Петра Григорьевича руку.

После обеда Надежда Павловна предложила мужу отдохнуть на ее постели, а сама от волнения не знала, где уж себе и место найти; Петр Григорьевич, конечно, сейчас же этим воспользовался и отхватал часов до девяти. Во все это время Надежда Павловна и Соня, чтобы не разбудить его, разговаривали между собой шепотом: такого почета от семьи он во всю жизнь свою еще не видал.

11. Герой теоретик, а героиня практик

Наболевшее сердце недолго верит счастью. Надежда Павловна на другой же день начала клохтать и охать: «Ну, как Петра Григорьевича губернатор не утвердит… Ну, как он уж кого-нибудь имеет на это место…»

Соне, наконец, наскучило это.

– Я самого его, мамаша, попрошу, – сказала она.

– Что ты попросишь?.. – возразила ей мать с досадой.

Петр Григорьевич тоже попробовал было успокоить жену; но на него она прямо прикрикнула:

– Хоть ты-то уж не говори! Вон на дворе: день или ночь? Видишь ли хоть это-то?

В это время Соня вдруг проговорила: «ай, мамаша!» – и убежала.

Надежда Павловна, взглянув в окно, тоже начала проворно поправлять на себе чепец и накинула на плечи свой единственный нарядный синелевый платок. К крыльцу их подъезжал на щегольской паре председателя казенной палаты флигель-адъютант. Он в первый еще раз делал им визит, хотя в собрании и на балах с одною Соней только и танцовал.

Войдя в приемную комнату и видя, что Надежда Павловна перекидывает с дивана за ширмы какую-то ветошь, Корнеев несколько сконфузился.

– Pardon! – сказал он своим слегка картавым голосом.

– У нас такая маленькая квартирка… По случаю баллотировки не могли найти лучше… – отвечала Надежда Павловна, сгорая от стыда, и

потом, пригласив гостя садиться, сама поместилась на диване.

По тому, какую она приняла позу, как завернулась в свой синелевый платок, можно было видеть, что когда-то и она была, или, по крайней мере, готовилась быть светскою женщиной: в ее сухощавом теле было что-то аристократическое, – свойство, которое наследовала от нее и Соня.

Петр Григорьевич, между тем, помня военное правило, что чин чина почитает, продолжал стоять навытяжку, так что Корнеев заметил это и, пододвигая ему стул, проговорил: «Пожалуйста». Петр Григорьевич сел, но все-таки продолжал держать себя прямее обыкновенного.

– M-lle Sophie? – обратился Корнеев к Надежде Павловне.

– Она сейчас выйдет! – отвечала та и продолжала уже с грустью: – мужа моего выбрали в депутаты в комиссию, и теперь мы в такой нерешительности: не знаем, утвердит ли губернатор, или нет!

– Отчего же? Им так нравится m-lle Sophie! – возразил Корнеев.

– Да, но… – произнесла Надежда Павловна.

– Если позволите, я ему скажу, – присовокупил Корнеев.

– Ах, пожалуйста! – воскликнула Надежда Павловна униженно-просительским тоном.

– А вы в первый раз меняете шпагу на перо? – обратился Корнеев к Петру Григорьевичу.

– Нет, он уже несколько раз служил в штатской службе, – поспешила ответить за мужа Надежда Павловна.

Она боялась, что он, пожалуй, не поймет фразы флигель-адъютанта.

– Но все как-то не могу привыкнуть! – объяснил сам Петр Григорьевич.

– О, да! – согласился Корнеев.

Вошла Соня. Трудно понять, когда она успела поправить свой туалет, а главное, как-то удивительно эффектно завернуть свою толстую косу под одну гребенку.

– Bonjour! – сказала она развязно и, пройдя за столом мимо матери, села рядом с гостем.

Корнеев сначала как бы не находился.

– А что m-me Михреева будет у губернаторши на бале? – спросила его Соня.

– Не думаю, – отвечал он, пожимая плечами: – по крайней мере Марья Николаевна (имя губернаторши) очень не любит, когда она у нее бывает.

Соня нарочно намекнула на эту даму, имевшую привычку влюбляться во всех даже генеральских адъютантов и теперь безбожно ухаживавшую за Корнеевым.

– Вообразите, говорят, она каждое воскресенье ездит к архимандриту в гости… прилично ли это? – повторила за дочерью Надежда Павловна.

Корнеев на это молча улыбнулся: не любил ли он сплетен, или вообще насмешливый разговор считал не совсем приличным для общества, но только каждый раз, когда губернские дамы начинали его очень сильно пробирать по этой части, он обыкновенно принимался крутить усы и произносить скорее какие-то звуки, чем слова.

После нескольких минут молчания Соня как бы вдруг встрепенулась вся и подвинулась на диване. К ним подъезжал, тоже на щегольской серой лошади, новый гость, Александр. Увидев в передней ильковую военную шинель, он позеленел от досады. Войдя, он небрежно поклонился хозяевам и сел.

Бедный мальчик не в состоянии был скрыть волновавших его чувствований.

– Что вы у нас так давно не были? – спросила его Соня.

– Я был болен.

– Чем?

– Так, ничем!.. Как вас это беспокоит!.. – отвечал Александр и таким тоном, что все, не исключая и Петра Григорьевича, посмотрели на него, а Соня сейчас же отвернулась и начала говорить с Корнеевым.

– Покажите, пожалуйста, фокус, который вы показывали у Марьи Николаевны… Я никак не могла рассказать его мамаше.

– Ну, что! – возразил Корнеев, потупляя глаза.

– Пожалуйста! – повторила Соня.

– Но надобно карты.

Надежда Павловна сейчас же пошла и принесла карты.

Корнеев с улыбкой разложил их в форме четвероугольника на восемь кучек, по три карты в каждой.

– Тут девять… тут, тут и тут! – пересчитал он их своим красивым пальцем. – Беру четыре карты и перекладываю так: тут девять, тут, тут и тут!

Мать и дочь с удивлением посмотрели друг на друга. Петр Григорьевич тоже смотрел на фокус с глубокомысленным вниманием.

– Возвращаю прежние четыре карты, – продолжал Корнеев: – и прибавляю к ним еще четыре, перекладываю и считаю: тут девять, тут, тут и тут!..

– Но как же это? – воскликнула как бы вышедшая наконец из терпения Надежда Павловна.

– Удивительно! – сказала Соня.

– Прибавляю к этим картам еще восемь, – продолжал удивлять их Корнеев: – раскладываю и считаю, девять, девять и девять.

– Вы зачем боковые-то считаете по два раза?.. Ужасно как замысловато!.. – вмешался вдруг в разговор Александр. Голос его был в одно и то же время голосом разъяренного тигра и цыпленка. Корнеев ничего не отвечал ему, а Соня и Надежда Павловна потупились; но Петр Григорьевич окончательно дорезал молодого человека.

– Давно ли вы получали письма от вашей маменьки? – спросил он его вдруг.

– Давно-с… я сам к ней завтра еду… – отвечал грубо Александр.

Соня при этом вскинула на него свои глаза и несколько времени не спускала их с него… Вскоре потом Корнеев взялся за каску и поднялся; все хозяева устремились к нему.

– Если Марья Николаевна ужо поедет кататься и заедет за вами, вы примете участие в нашем partie de plaisir? – сказал он Соне.

– Да, – отвечала та, выпрямляясь своим тонким станом и складывая ручки на груди.

– Она сочтет это за счастье для себя! – подхватила Надежда Павловна. «Дочь поедет кататься с губернаторшей; право, недурно для первых разов!» – подумала она в припадке материнского честолюбия.

По отъезде Корнеева, Александр тоже встал, у него готовы были слезы брызнуть из глаз, так что Надежда Павловна, вряд ли не догадавшаяся об его чувствах к дочери, сжалилась над ним.

– Куда же вы?.. Оставайтесь обедать, – сказала она, когда он брался за фуражку.

– Оставайтесь, – повторила и Соня.

Студент, при этом магическом голосе, не мог устоять. Рука его как бы невольно опустила фуражку, и он сел. За обедом он протянул было ногу, чтобы, по обыкновению, пожать ею ножку Сони, и уже коснулся конца ее башмака; но ножку сейчас же отняли. Вообще Соня была заметно церемонна и только после стола, когда они остались вдвоем, она сказала Александру:

– Зачем вы так скоро уезжаете?

– Что ж мне здесь оставаться… очень весело!

– А, так вам скучно здесь; я и не знала! – сказала жестокая девочка.

У Александра дыхание застывало.

– Не всем здесь так весело, как вам! – сказал он дрожащим

голосом.

Соня грустно усмехнулась.

– Желаю вам, – продолжал он, снова берясь за фуражку, – выйти замуж, народить кучу детей…

– Ну да, выйду замуж, нарожу кучу детей, – повторила за ним Соня.

– Adieu! – сказал Александр и, когда Соня подала ему ручку, он крепко сжал ее и проговорил несколько трагическим тоном: – Если я не нашел в прекрасном, так найду в дурном.

– Не понимаете вы меня! – сказала ему на это со вздохом Соня.

Александр шибко хлопнул дверьми и ушел.

Через минуту серый рысак пронесся мимо окон, с седоком.

Соня села. На глазах ее навернулись слезы. Это были первые розы, которые она вырвала из своего сердца.

12. Взор героя устремляется в другую сторону

Возвратясь домой, Александр увидел, что дорожный экипаж его был уже вывезен из сарая, а в комнатах он застал Венявина.

– Помилуй, братец, – говорил тот, топорщась, по обыкновению, волосами и руками: – после того приятного вечера… уж именно приятного, за который я тебе душевно благодарен!.. (при этом он пожал у приятеля руку) я захожу к тебе раз, два… дома нет… Сам тоже не присылаешь…

Александр нарочно не присылал и не принимал Венявина. Ему казалось, что тот непременно заметил его унижение в собрании.

– Я сейчас совсем уезжаю, – сказал он, садясь в мрачной позе.

– Как так? А разные эти намерения и планы? – сказал Венявин, изобразив из своей особы удивление.

Александр грустно усмехнулся.

– Какие тут планы! Такие пошлости и гадости пошли!

– Что такое? – спросил Венявин.

– Мать тут все крутит и мутит, – отвечал Александр.

Он был совершенно уверен, что причиной всему была Надежда Павловна.

– Да кого же, какого еще чорта им после этого надобно? Ах, они дураки этакие! свиньи!.. Извини меня, пожалуйста! – вспылил Венявин.

Александр сидел, погруженный в глубокую задумчивость.

– Родители! – начал он как бы сам с собой. – Для собственного

своего удовольствия, может быть, вследствие выпитой лишней рюмки вина, они родили меня и, по чувству инстинктивной привязанности, выкормили… Да это все животные, все самки имеют к своим птенцам, и за это мы должны всю жизнь им повиноваться, уважать их!..

– Именно так! – подтвердил Венявин.

Из угождения приятелю, он не прочь был и повольнодумничать.

– Что ж, неужели она так-таки совершенно и подчинилась матери? – прибавил он с глубокомысленным видом.

– Разумеется!.. Показали ей впереди пряник с сусальным золотом, и побежала за ним.

– Да, вон они, женщины-то! Все они тут, как на ладони! – воскликнул Венявин. – Впрочем, – прибавил он, пожимая плечами, – все-таки нельзя их не любить!

Интересно было бы знать, кого этот добряк не любил, начиная с своего черного, с отбитым задом, пуделя до старухи-матери, к которой он каждую вакацию, святки, святую, на последние свои грошишки, приезжал повидаться.

– Печалиться тут нечего… я даже рад, что так случилось, – утешал он Александра.

– Я и не печалюсь, – отвечал тот, – я в жизни столько перенес, что одним больше и одним меньше щелчком от судьбы – разница небольшая.

Какие Александр получал от судьбы щелчки, это одному ему было известно.

– Я знаю, что ты – сила! – поддакнул приятель.

Вошел мрачный лакей.

– Лошади готовы-с, – проговорил он.

Александр встал и сейчас же стал одеваться. Ему поскорей хотелось оставить этот город, Соню и даже Венявина.

– Прощай, друг любезный! – говорил тот с чувством.

– Прощай! – отвечал Александр скороговоркой и, сев в повозку, торопливо и небрежно мотнул приятелю головой.

– Да, этот человек – сила! – повторил тот еще раз сам с собою.

Бакланов между тем быстро проезжал одну за другой улицы большого города, и чем дальше он ехал, тем больше появлялось огней в окнах. Когда он выехал за заставу, небо совершенно вызвездилось; кругом была бесконечная снежная поляна; в воздухе, наполненном мелькающим снегом, стали обрисовываться точно очерки каких-то фигур; колокольчик от быстрой езды заливался не переставая.

Александру было досадно и грустно.

Он усиленно старался думать о Москве, о том, как в сереньком домике, в серенькой зальце, он с панной Казимирой, дочерью хозяйки, под игру ее матери на плоховатом фортепиано, танцует вальс, и Казимира держит на него нежно-нежно устремленными свои голубые глаза, наконец он сажает ее, и сам, став против нее, заметно кокетничает всею своею фигурой, а Казимира сидит в робкой и грустной позе.

Бакланов торжествует и смеется в душе.

Соня, таким образом, отодвинулась более чем на задний план.

У молодости никогда нельзя взять всего, богатства ее в этом случае неистощимы!

13. На распутьи

У губернаторши, по случаю отъезда флигель-адъютанта Петербург, собственно для него и для самых близких ему знакомых, был назначен вечер. В наугольной комнате, обитой голубыми бархатными обоями и убранной двумя огромными горками с фарфором, хрусталем и серебром, сидела Соня. Последнее время она решительно сделалась царицею всех балов и съездов: в настоящий вечер конно-пионер вертелся перед ней, как флюгер; некто князь Шлепкохвостов убежал для нее за мороженым; наконец сам хозяин, в расстегнутом нараспашку генеральском сюртуке, помещался все время около нее и как-то кровожадно на нее смотрел. Соня приехала на вечер без матери: Надежда Павловна, сшившая дочери седьмое платье, не имела на что купить ни башмаков, ни перчаток. Чистое, ясное чело моей героини было на этот раз омрачено легким облачком грусти. В городе про нее Бог знает что рассказывалось. Даже в этом самом обществе две дамы, одна блондинка, с ангелоподобным лицом, а другая шатенка, тоже с чрезвычайно благообразною физиономией, ходившие вдвоем по большой зале, изливали про нее такого рода яд, что будто бы она ездила к флигель-адъютанту на квартиру. Но это было совершенно несправедливо: к нему действительно приезжала, но только не она, а m-me Михреева, которая как-никак и хоть на короткое время, но успела овладеть петербургским гостем. Соня же делала гораздо более невинные вещи. Она ему говорила:

– Вот вы уезжаете в Петербург, оставляете здесь нас бедных.

– Что делать! – отвечал Корнеев, пожимая плечами.

Соня при этом от досады пристукивала слегка и незаметно ножкой. Она видела, что этот человек неравнодушен к ней и отделывается

фразами.

– Жалко ли вам здесь кого-нибудь?.. Пожалеете ли вы кого-нибудь? – спрашивала наконец она его.

– Я буду жалеть всех моих знакомых, – отвечал и на это Корнеев.

Соня сегодня приехала с надеждой, что неужели же он и при прощанье не скажет ей чего-нибудь: обещается, может быть, опять приехать; но Корнеев целый вечер играл в карты и с дамами почти не разговаривал.

– Яков Назарыч здесь? – спросила наконец Соня конно-пионера.

– Здесь-с.

– Что он делает?

– В карты играет с Корнеевым.

– Променад, вероятно, желаете сделать? – сказал ей начальник губернии, тоже вставая и идя за ней.

– Да, – отвечала Соня, обертываясь к нему с улыбкой.

Яков Назарыч Ленев был богатый подгородный помещик, холостяк. У него были своя музыка, псовая охота, дом огромный. Не выезжая шагу из своей губернии, он был действительный статский советник, так как постоянно служил то предводителем, то попечителем разных учебных заведений, а между прочим, и того пансиона, в котором училась Соня.

По наружности своей, Ленев был коротенький, кругленький толстячок, не столько с старческим, сколько с дряблым лицом, с маленькими красивыми руками. Всегда почти во фраке, с огромным солитером на пальце, он ходил, слегка притряхивая животом, и тяжело сопел, когда сидел на месте.

Соня подошла к нему и стала около него так, что очутилась прямо напротив Корнеева.

– Дедушка, вы в карете приехали? – спросила она Ленева.

– В карете-с.

– Вы возьмете меня?

– С величайшим блаженством.

– А вы дорогой меня не скушаете?

– Нет, не скушаю, – отвечал Ленев и покраснел.

Он, говорят, когда еще Соня находилась в пансионе, был влюблен в нее и даже делал об этом декларацию одной классной даме.

Во весь этот разговор Корнеев хоть бы раз приподнял глаза от карт, как будто бы все его состояние было поставлено на них.

Соня отошла и пошла к губернаторше.

– Марья Николаевна, дайте мне конфетку, хорошенькую,

хорошенькую, – говорила она, как избалованный ребенок.

– Изволь, моя милочка, изволь! – отвечала та, подавая ей из стоявших на столе конфет самую лучшую (Марья Николаевна была очень добрая женщина).

– Не хотите ли потанцовать? Я сейчас пошлю за музыкантами, – спросил любезно губернатор.

– Ах, да… или нет, нет! – воскликнула Соня.

Как ни старалась она скрыть, но она заметно была грустна. Корнеев стал собираться. Он почти по-родственному распрощался с Марьей Николаевной, взял от нее несколько поручений в Петербург; с губернатором он ушел в кабинет и долго с ним разговаривал шопотом; но Соне только мимоходом, и то как-то рассеянно, сказал:

– Adieu, mademoiselle!

– Adieu! – отвечала она ему, не вставая и не подавая руки. – «Дурак!» – подумала она про себя, когда скрылся за драпировкой кончик его сабли.

Корнеев, впрочем, так же небрежно поклонился в зале и другим дамам. Он, по самой натуре своей, был несколько фат.

– Дедушка, что же вы? – прикрикнула Соня на Ленева, который тыкался из угла в угол и искал шляпы.

– Готов-с, ожидаю, – произнес он наконец.

Соня начала прощаться с Марьей Николаевной.

– Смотрите же, довезите ее у меня бережно! – говорила та, грозя Леневу пальцем.

– Пять ведь лет уже няньчился с ней в пансионе, – отвечал тот дребезжащим голосом.

– Ну, уж нечего сказать: хорошу и выняньчили, – сказала Соня, сходя с лестницы и мило потряхивая головкой.

– Еще бы не хорошу! Ну, может ли быть что-нибудь прелестнее этого личика! – говорила Марья Николаевна, когда Соня надевала капор.

– Да! – подтвердил и начальник губернии.

Яков Назарыч от удовольствия и от стыда весь горел румянцем. Когда они сели в карету, Соня поместилась в один угол, а Ленев придвинулся в другой.

– У вас это свои лошади, Яков Назарыч? – спросила Соня.

– Свои.

– А что вы за них заплатили?

– За пару три тысячи.

– Ах, какие славные! Как бы я желала иметь таких.

Яков Назарыч на это ухмыльнулся.

– Как здоровье вашей маменьки? – спросил он.

– Так себе… все она в хлопотах: папенька… вы знаете, что он может… Вот он служить теперь будет, а как, еще Бог знает.

– Да! – произнес Яков Назарыч с грустью.

Он решительно не догадывался, к чему плутовочка вела разговор.

– Право, – продолжала Соня после нескольких минут молчания: – сейчас бы вышла замуж, только бы у жениха состояние было.

– Даже бы и за старика?

– Что ж такое старик!.. Стариков я люблю еще более, чем молодых.

Карета в это время подъехала к квартире Басардиных.

– Что вы, дедушка, никогда к нам не заедете? Какой вы, право! – говорила Соня, отворяя двери.

– Обеспокоить боюсь.

– Чего беспокоить!.. Приезжайте хоть завтра… послезавтра, когда хотите, – говорила она, уходя.

– Непременно-с, – отвечал Ленев и, с каким-то восторгом откинувшись на задок кареты, поехал домой.

Надежда Павловна, как обыкновенно, не спала и дожидалась дочери. По выражению ее лица, она сейчас же заметила, что та была не в духе.

– Ты устала? – спросила она ее с беспокойством.

– Нет, – отвечала Соня, садясь и запрокидывая голову на спинку кресел. – Корнеев совсем распрощался… завтра уезжает… – прибавила она после короткого молчания.

– Ну, и что же? – спросила с полуулыбкой Надежда Павловна.

– Разумеется, ничего! – отвечала Соня тоже с улыбкой.

Разговор на несколько времени прекратился.

– Меня сюда Ленев подвез! – сказала Соня как бы к слову.

– А, – произнесла Надежда Павловна не без удовольствия: – славный он человек! – прибавила она.

– Отличный! – подтвердила Соня и пошла раздеваться.

Личико ее снова повеселело и точно говорило: «ничего, поправимся!»

14. Милый мальчик

Уж рассветало. На почтовой станции, последней перед губернским городом, в сырой, холодной комнатке, по искривленному полу ходил молодой офицер, в прапорщичьих эполетах, в летних калошах и в

весьма легко подбитою ватою, с холодным воротником, шинели. На столе стоял кипящий самовар, чашки и раскрытый чайник, но ни чаю, ни сахару не было… В углу виднелась мрачная физиономия станционного старосты, в бараньем тулупе и с тем злым лицом, которое обыкновенно бывает у непроспавшихся с похмелья мужиков. Он с пренебрежением клал на стол подорожную.

– Как ты смеешь не давать мне лошадей! – говорил офицер, горячась.

– Кто не дает? Вам дают… Давайте деньги-то! – отвечал ему настойчиво мужик.

– Деньги, говорят тебе, мерзавец, что там отдадут…

Мужик злобно усмехнулся.

– Велено платить вперед, не от нас эти распоряжения-то идут.

– А если меня губернатор ждет… Я адъютант губернатора!

Мужик мрачно посмотрел на него.

– У меня вот тут, – начал он, протягивая обе руки к окну, – через пять минут почта пойдет… Пишите туда. Хоть шестериком откачу, коли предпишут-то.

– Где здесь становой живет? Где?.. – говорил офицер, окончательно выходя из себя.

– Станового здесь нету, – отвечал спокойно мужик.

– Да ведь есть же какое-нибудь начальство, скотина ты этакая! – говорил офицер, уже наступая на мужика.

– Да какого вам еще начальства надо?.. Вон, есть бурмистр, с краю живет, – отвечал тот, нисколько не струся.

Офицер в бешенстве схватил свой сак, в котором состоял весь его багаж, и убежал из комнаты.

– Чаю тоже спрашивал! – проговорил ему мужик вслед насмешливо и стал убирать чашки.

Офицер между тем шел по деревне. На горизонте показалось солнышко, и точно яхонтом подернуло поля, деревья и крыши изб. По дороге ехал мужик в дровнях. Офицер вдруг остановился и, как бы сообразив что-то, обратился к нему.

– Ты, мужичок, в город едешь? – спросил он.

– В город, батюшка, в город.

– Довези меня, пожалуйста, за целковый или за два. Почтовых лошадей нет, а мне крайне там надо быть.

– Садися! – отвечал мужик добродушно и подвинулся.

Офицер, не задумавшись, бросил к нему в сани свой сак и сам сел. Мужик прихлестнул лошадку, и она весело побежала.

– Что это у тебя, мужичок, хлеб, верно? – сказал офицер, показывая на несколько открывшуюся котомку мужика.

– Хлебушко, батюшка, хлеб!

– Что ж, ты есть себе это везешь?

– Да, батюшка!.. В харчевне-то тоже дорого.

– Ты в харчевню, значит, не пойдешь?

– Ну, как не пойти, схожу: чайку тоже попьешь и щей похлебаешь.

– Зачем же хлеб-то тебе?

– Да так, на закусочку; ну, да и лошадке коли даю.

– Дай мне, пожалуйста, немного: я очень люблю черный хлеб.

– Покушай, батюшка, покушай! – отвечал мужик, торопливо развязывая свою котомку и подавая из нее целую краюшку, которую седок его в несколько минут и уничтожил.

Совершающий таким образом свой путь был не кто иной, как юный Басардин. Он два дня перед тем ничего не ел. Выпущенный около месяца в офицеры, он, подписавшись под руку матери, собрал со всех ее мужиков, проживающих в Петербурге, за год оброк – рублей триста; от тетки получил сначала сто рублей, потом, по новому кляузному письму, еще сто рублей – сумма, казалось бы, образовалась порядочная, – но, желая воспользоваться удовольствиями своего звания, он первоначально с товарищами покутил в Екатерингофе, где они перебили все стекла и избили до полусмерти какого-то немца, и за все это, конечно, порядочно заплатили; потом пожуировали в Гороховой, и наконец, чтобы не отстать от прапорщиков гвардейской школы, пообедали у Дюме. Таким образом, когда Басардин выехал в отпуск, у него оставалось только на прогоны. Содержал и питал себя в дороге он не столько деньгами, сколько искусством и расторопностью. В каждом побольше городе он обыкновенно с почтовой станции уходил в лучший трактир, спрашивал там лучший обед и потом, съев два-три блюда, вдруг, как бы вспомнив что-то, вставал: «Я, — говорил, — сейчас приду», и преспокойно уходил, а потом и совсем уезжал. В некоторых местах ему это не вполне удавалось: в Переяславле, например, половые за ним гнались, и он от них отбился уже вооруженною рукою, обнажив саблю. Теперь перед ним, посреди превосходнейшего зимнего ландшафта, в каком-то молочном от мороза свете, открывались колокольни и дома города, в котором он, после такой продолжительной разлуки, увидит мать, отца, сестру. Но из всего этого ничто не шевелило души его. Суровое корпусное воспитание и не совсем хорошие природные качества так и лезли в нем во все стороны! Въехав в город, молодой человек сейчас встал с

дровень.

– Ты поезжай около меня, будто так этак едешь, а я пойду пешком, – сказал он мужику.

Видимо, он имел стыд, но только не в ту сторону, в которую следовало бы.

Перед попавшеюся, наконец, будкой Басардин остановился.

– Где тут Басардины живут? – спросил он, толкая ногой будочника, который нагнулся было, чтобы набрать охапочку дровец.

Тот поднялся.

– Где тут Басардины живут? – повторил строго офицер.

– Я не знаю, – отвечал было солдат.

– Как ты не знаешь, и как ты смеешь стоять передо мной в фуражке, а? – произнес, вспыхнув, Басардин, и трах будочника по зубам.

Тот, видя, что шутить нельзя, повытянулся немного и притянул руки ко швам.

– Их много тут, ваше благородие: где мне их всех тут знать.

– Где тебе знать? А вот где! – объяснил Басардин и съездил солдата по второй уж скуле.

– Басардины у меня стоят, – отнесся к нему проходивший мимо священник, видевший с самого начала всю эту сцену. – Вы кто такие?

– Я сын ихний.

– Через два дома извольте итти на двор, – указал священник.

– И ты тоже, братец! Под носом у тебя живут, а ты не знаешь! – укорил священник будочника.

– Поученный я, что ли? – отвечал тот сердито.

Такому беспричинному мгновенному гневу молодого офицера, конечно, много способствовало, во-первых, его звание, а во-вторых, и перенесенный им холод и голод.

15. Милый мальчик у матери, и он же у тетки

– Кто там? Ах, Витя! – воскликнула Надежда Павловна, увидя входившего офицера.

– Здравствуйте, маменька! – сказал тот.

– Петр Григорьевич! Соня! Виктор приехал! – продолжала Надежда Павловна, целуя и обнимая сына. Чувство матери невольно в ней проснулось.

– Витя! – произнесла, входя и тоже непритворно радостным голосом, Соня.

– Вот кто! Ну, поздравляю! – говорил Петр Григорьевич, идя за нею. Несмотря на радушный прием, Виктор смотрел на родных мрачно.

– Там, маменька, – начал он небрежно, садясь на диван, – с мужиком надо рассчесться… Сам я приехал на почтовых, а он вещи мои привез, рубль или два дать ему, – у меня мелких нет.

– Сейчас, сейчас! – отвечала Надежда Павловна и, подозвав дочь, что-то шепнула ей.

Та пошла.

Стыдно сказать, но у Басардиных в доме рубля не было. Надежда Павловна послала Соню, чтоб она, Бога ради, выпросила у попадьи хоть сколько-нибудь; а сама между тем своими руками притащила для сына тяжелый самовар, залила ему самого крепкого чаю, поставила сливок, булок.

Соня, вся пылая от стыда, исполнила поручение матери и достала денег, которых рубль серебром попадья отсчитала ей медными пятаками. Она со смехом высыпала их перед братом. Тот отсчитал полтину.

– Прикажите, – начал он, – это отдать мужику, а если станет говорить, что мало, велите по шее прогнать.

Распорядясь таким образом, Басардин остальные деньги положил себе в карман, и затем, уткнув нос в горячий стакан чая и почти мгновенно поглощая его с огромными кусками булки, ни на что уж более не обращал никакого внимания.

Соня села напротив него и старалась ласково смотреть на него.

– Какие у него кудри славные! – говорила Надежда Павловна, перебирая волосы сына.

Виктор даже не оглянулся на эту ласку, и до самого обеда почти не

отвечал на беспрерывные вопросы, которые делали ему мать, сестра и отец.

За столом он по-прежнему мрачно и жадно ел и, встав, сейчас же отыскал себе местечко и отправился спать.

Выспавшись, он как будто бы сделался несколько подобрее и, придя к матери, стал показывать ей свой гардероб и хвастаться им.

– Хорошо, прекрасно все это, – отвечала та ему в тон.

– Однако у тебя все это пехотное платье-то! – угораздило вдруг сказать Петра Григорьевича.

Виктор сейчас же вспыхнул.

– Что делать! Я писал-писал маменьке об реверсе, – отвечал он с гримасой.

– Не успела еще, помилуй, – отвечала было ему ласково Надежда Павловна.

– Вы для меня никогда не успеваете, – пробурчал Виктор, а потом громко прибавил: – а что, тетенька Биби далеко отсюда живет?

– Верст пятьдесят, – отвечала Надежда Павловна сухо.

Виктор заложил руки в карманы и начал с важностью ходить по комнате.

– Надобно к ней ехать! – сказал он, как бы соображая что-то такое.

Надежда Павловна при этом невольно вспомнила обиду, которую нанесла ей Биби, и письмо, которое писал к ней Виктор.

– Прежде, я полагаю, тебе следовало бы побыть у отца с матерью, – заметила она.

– А почему это следовало бы? – спросил тот.

Надежда Павловна горько улыбнулась и пожала плечами.

– Если ты этого не понимаешь, так я толковать тебе не намерена.

– Да и толковать-то вам нечего! – произнес Виктор.

Надежда Павловна начинала краснеть от гнева.

– Ты, кажется, за тем только и приехал, чтобы с первых же слов делать мне неприятности.

Виктор насмешливо посмотрел на мать.

– А вы от меня приятного ожидали?.. Вот это странно, право.

– Никогда я от тебя, по твоему уму, ничего приятного не ожидала; но, как мать, я имею право требовать от тебя уважения! – произнесла Надежда Павловна с ударением.

– Требовать могут родители, которые что-нибудь сделали для детей… Вот с нее требуйте, а с меня – нет!

И Виктор указал на сестру.

Надежда Павловна, чтобы смягчить колкость этого ответа,

усмехнулась.

– Думала я, что ты глуп, но все не до такой степени! – сказала она более насмешливым, чем сердитым голосом.

Петр Григорьевич, бывший немым зрителем всей этой сцены, вдруг встал.

– Не смей так грубить матери! Не смей! – закричал он сверх всякого ожидания и погрозил сыну пальцем.

– Полноте, папенька! – прикрикнул тот на него: – ничего вы, видно, не знаете: потому я и глуп и дурак, что на вас похож и ваш сын…

– Молчи, говорят тебе!

Петр Григорьевич уже топал на него ногой.

– Погоди, постой! – сказала Надежда Павловна, растирая себе горло, в котором начиналось удушье: – он говорит, что он твой сын; кто же у меня дети не от моего мужа?

– А вот она! – хватил Виктор, показывая на сестру.

Надежда Павловна рассмеялась.

– Ах ты, мерзкий пащенок! Клеветник! – воскликнула она.

– Братец, что ты! – воскликнула и Соня, вскидывая на него свои большие глаза и вся покраснев.

– Что ты, братец! Да, любимица! – передразнил он ее. – Не хочешь ли вот этого? – прибавил он и показал сестре кулак.

Когда они еще росли, так их невозможно было пустить вместе: один, пользуясь своей силой, а другая – покровительством матери, сейчас и кинутся друг на друга. Великая история Каина и Авеля вряд ли не повторяется в каждой семье.

Последних угроз сына было достаточно, чтобы Надежда Павловна вышла из себя.

– Вон из моего дома! Вон! – закричала она истерически.

Виктора, кажется, нисколько это не поразило.

– Али, вы думаете, не уйду? И уйду! – говорил он совершенно кадетским тоном.

– Ступай! Ступай! – повторил за женой и Петр Григорьевич.

– Иду-с! Слушаю-с! – отвечал Виктор, собирая пожитки и ядовито раскланиваясь перед отцом и матерью.

По двору он прошел бойко и с гордо приподнятыми плечами.

Надежда Павловна взглянула в окно.

– Боже мой, он в холодной шинелишке и без калош! – воскликнула она, да так без чувств и упала на диван.

Виктор, впрочем, преспокойно отправился на постоялый двор и нанял там извозчика, с тем, чтобы тот прокормил и свез его в долг до

Ковригина.

К тетке он явился ниже травы и тише воды и, подъехав к дому, велел сначала доложить о себе. Биби даже взвизгнула, услыхав его имя. Выбежав к нему навстречу, она обняла его и несколько минут держала у груди.

– Что папенька, маменька? – спросила она, несколько поуспокоившись, заставив племянника прежде всего помолиться и сводив его к дедушке, который, увидав внука, заревел диким голосом.

– Маменька, – отвечал Басардин скромным голосом, – меня прогнала.

Биби даже попятилась назад.

– Я приехал, разумеется, без средств, кроме тех, которые вы, по доброте вашей, прислали мне… (При этом он поцеловал у тетки руку). Я стал просить у них заплатить за извозчика: они раскричались.

Биби развела руками и печально склонила голову.

– Я говорю… «Маменька, говорю, я вам восемь лет ничего не стоил, можно же вам помочь мне чем-нибудь». Она еще больше рассердилась: «вон из моего дома!» закричала…

– Да простит ей Бог! – сказала со вздохом Биби.

– Вот и теперь, тетушка, я буду просить вас заплатить извозчику.

Виктор при этом опять поцеловал у тетки ручку.

– Ах, Боже мой, сделай милость! – воскликнула она и сейчас же велела извозчика расчесть, а племянника напоила, накормила, положила его спать в лучшей комнате, велела, без всякой осторожности, прислуживать ему любимице своей Иродиаде, сама потом пришла посмотреть, хорошо ли ему.

Сердце старой девы стремилось еще любить, но только она не знала – кого.

Виктор, всем этим очень довольный, как будто бы с ним ничего неприятного не случилось, сейчас же беззаботно заснул. Он грубил матери, а к тетке подделывался по весьма простому расчету: зная, что мать бедна, и как-никак, но, по своей обязанности, будет ему помогать; а к тетке, чтобы вытормошить у нее что-нибудь, надобно было подлизываться. Лишенный всяких нравственных правил, восторгающийся только паркетом, по которому ходил в корпусе, тонким сукном, которое видел на мундирах у офицеров, и в то же время с головой, набитою какой-то бессмысленной протестацией против всего, что имело над ним какую-нибудь власть, он и в помыслах не имел, до такой степени были безобразны его настоящие поступки.

16. Причины, побудившие жениха и невесту к браку

После свидания с сыном, у Надежды Павловны сделалось кровохарканье; к вечеру она чуть не умерла, а потом обнаружилось воспаление в груди. Первое пришло ей в голову: что будет с Соней, если она умрет? Оставить ее на руках подобного папеньки и злодея-братца, – от одной этой мысли бедная мать едва не сходила с ума, а тут, как нарочно, приехал Яков Назарыч.

– Попроси его ко мне, попроси! – скороговоркой сказала дочери Надежда Павловна, под влиянием какого-то тайного предчувствия.

Соня пригласила гостя, а сама осталась в другой комнате, села и задумалась. Молоденький ум ее начинал понимать и оглядывать свое положение; с отъездом флигель-адъютанта роль ее в обществе сразу понизилась; даже добрейшая Марья Николаевна, показывавшая к ней такую пылкую дружбу, как будто бы охладела. Семь платьев ее очень хорошо были известны всем ее знакомым, а сшить в нынешнем году еще новое, она знала, нет ни малейшей возможности, а между тем, блистать в обществе нарядами и общим вниманием к себе – как это приятно! Соня даже не слыхала, чтобы что-нибудь могло быть лучше этого. Тысячи планов приходили в голове ее, чтобы как-нибудь все это поправить и устроить.

– Что это вы? А? Как вам не стыдно? – говорил Яков Назарович, входя к Надежде Павловне.

Та, закутавшись в свой синелевый платок, села на постели.

– Умираю! – произнесла она, хватая себя за грудь.

– Полноте, чтой-то! – хотел ее утешить Яков Назарович, садясь невдалеке от нее.

– Да, батюшка, я не о себе! – воскликнула капризно Надежда Павловна: – Давно мне, окаянной, пора на тот свет. А вот о Соне, – что с нею будет, когда я умру?

– Замуж выдавать надо! – сказал полусерьезно и полушутя Яков Назарович.

– Рада бы я была, Господи, как! – проговорила, разведя руками, Надежда Павловна. – Да где нынче женихов-то возьмешь! Где они, прах их знает!

– Да хоть бы я!.. Как это вы, сударыня, при женихе, молодом человеке, такие речи говорите! – шутил Яков Назарович.

– Женишься ли уж ты? – сказала ему тоже в шутку Надежда Павловна.

Она была очень дружна с Яковом Назаровичем и постоянно

говорила ему «ты».

– Попробуйте только, отдайте! – повторил старый холостяк.

Лицо его начинало краснеть, пот градом выступал на лбу.

Надежда Павловна усмехнулась.

– Не знаю, правду ли ты говоришь, или шутишь? – произнесла она.

– Какое шучу!.. Давно уж влюблен!

– Слышала это я…

И Надежда Павловна сомнительно покачала головой.

Якова Назаровича точно кто кольнул в спину. Он привскочил с места.

– Так что же? – заговорил он каким-то необыкновенно одушевленным голосом: – состояние, слава Богу, у меня есть… Всех бы вас я устроил. Что мне оставаться холостяком-то… Надоели уж эти Миликтрисы-то!..

– Чтобы ни одной их не было; всех вон! – проговорила в раздумье Надежда Павловна.

– Всех прогоню.

– Ой, какой ты смешной! – сказала она, слегка простонав.

Несмотря на шутливый тон, мысль выдать дочь за Якова Назаровича исполнила Надежду Павловну неимоверного восторга: измученная бедностью, она богатство считала единственным счастьем в жизни и, сделавшись от болезни своей неугомонно-нетерпеливою, сказала гостю:

– Ну, так поезжай домой: я переговорю с ней.

– Не может быть!.. Будто! – восклицал толстяк, целуя из восхищения ее костлявую руку, потом расшаркался с ней и вышел в другую комнату.

– Куда же это вы, дедушка? – спросила его Соня.

– Нужно-с, – отвечал он ей с лукавою улыбкой и уехал.

– Милочка, душечка! – говорил он, сидя в карете и делая странные телодвижения: – всю тебя расцелую! Тут ямочка, тут возвышение!.. О, ангельчик!.. – говорил он, нежно целуя пустое место и тыкая пальцем в воздух.

Соня между тем продолжала сидеть на прежнем месте. Мать, наконец, ее окликнула. Соня перешла к ней и, взяв свою работу, поместилась на обычном своем месте. Разговор между ними начался издалека и как бы случайно склонился на Якова Назаровича.

– Что он у вас мало посидел? – спросила Соня.

– Приедет еще!.. Такой он странный, так удивил меня, – отвечала довольно нерешительно Надежда Павловна.

Она никак не предполагала, что дочь сама некоторым образом подготовила объяснение Якова Назаровича.

– А что же?

– Да сватается к тебе!

После этой фразы Надежда Павловна едва перевела дыхание.

Соня тоже вспыхнула.

– Что же вы? – спросила она с улыбкой.

– Что же я могла ему сказать! Ты знаешь, что я в этом случае не только принуждать тебя, но даже советовать считаю себя не в праве.

По суеверной любви своей, Надежда Павловна действительно дала себе слово даже не советовать дочери в этом случае.

Выражение лица у Сони было очень серьезное.

– Конечно, чем терпеть эту вечную нужду и бедность, лучше выходить замуж, – проговорила она.

– Но будешь ли ты его любить?.. Немолод он!

– Я ничего к нему особенного не чувствую, ни любви ни нелюбви, – отвечала Соня.

В это время Надежде Павловне подали ее бульон. Когда она, покушав его и чувствуя себя гораздо лучше, спокойно улеглась, Соня спросила ее:

– Что же он за ответом, стало, приедет?

– Да!

Соне, по-видимому, хотелось продолжать этот разговор, но только она немного конфузилась.

– Не знаю, что и отвечать ему! – проговорила мать в раздумье.

– Да скажите, что да! – отвечала Соня.

– Хорошо, – произнесла Надежда Павловна протяжно.

Так необдуманно и так ветренно упала для Сони завеса, навсегда отделившая непроницаемой стеной одну половину ее жизни от другой. Соня, кажется, первое слово в жизни услыхала: «О, Господи! Денег нет!» Кругом нее всюду и везде говорили: «Вот женились, ни у того, ни у другого, ни села, ни перегороды. Вот дура, нашла за кого выйти, ни чина ни должности». В самом простом быту какая-нибудь крестьянская девка, которая позвонче других поет, покрасивей, подородней других, поумней и складней на словах, и та пользуется почетом и уважением; а Соня дома, в пансионе, в свете, насколько она успела в него заглянуть, только и видела, что почитается знатность и богатство: за дурами, ее подругами, отвратительными собой, молодежь ухаживала, начальство дарило им книги за успехи в науках. Даже красоте своей Соня, после поступка с

ней флигель-адъютанта, перестала давать цену. Об Александре она иногда подумывала; но он был такой еще мальчик: любви его невозможно было придать никакого практического значения!

Вечером приехал Яков Назарович, расфранченный, раздушенный донельзя и, в то же время, робеющий. Стараясь быть любезным, он был порядочно смешон. Петру Григорьевичу, не бывшему поутру дома, не сочли за нужное и сказать, что произошло в семействе. Впрочем, он, видя дружеское и бесцеремонное обращение Надежды Павловны с Яковом Назаровичем, нисколько тому не удивился, так как и прежде еще в разговорах своих с деревенскими знакомыми, священниками и управляющими он обыкновенно объяснял: «У меня ведь жена министр по уму; с этими, там, директорами и попечителями, так за панибрата и режет!» Сам же он Якова Назаровича всегда называл «ваше превосходительство». В настоящий вечер он только обратил внимание на то, когда Соня отнеслась к Леневу и сказала:

– А что, вы подарите мне лошадей, на которых мы с вами ехали?

– Подарю, подарю, целую четверку!

– А сани à jour у вас будут, как у губернатора?

– У меня уже есть такие, вдвое лучше только!

Соня, разумеется, говорила шутя, хотя, в то же время, нельзя умолчать, что и эта причина была одною из побудительнейших… Бедная птичка! Она замужество представляла не совсем так, как оно есть, не во всех еще подробностях.

17. Губернская тетеха

Весть о замужестве Соне за Ленева дала Надежде Павловне возможность взять по лавкам в долг всевозможных материй, и только было они со всем этим расклались, как на двор въехала карета. Соня и мать вопросительно посмотрели друг на друга.

Здоровый лакей едва вытащил из кареты потолстевшую, в трауре, барыню, которая, войдя запыхавшись в маленькую переднюю, сейчас же закричала:

– Не могла, тетушка… родная моя!.. Не могла утерпеть!..

– Ах, Аполлинария Матвеевна! – сказала Надежда Павловна, встречая гостью и целуя ее в румяную и пухлую щеку.

– Как только услыхала, что вы здесь, – везите, говорю… – продолжала та, не переставая тяжело дышать и усаживаясь на диване.

Это была мать Александра, некогда стройная и хорошенькая собой девушка, а теперь какое-то чудовище. Покойный Бакланов, женясь на

ней, отчасти обманутый ее наружностью, а еще более того прельщенный ее состоянием, впоследствии иначе и не называл ее, как тетехой. Сына своего Аполлинария Матвеевна боготворила, хотя и возмущалась многими его поступками и словами.

В настоящем случае, впрочем, она нашла более приличным сначала заговорить о муже.

– Горе-то, нуте-ка, тетенька, какое у меня наделалось! – начала она, помахивая длинными оборками своего траурного чепца.

– Слышала, слышала, – отвечала ей Надежда Павловна.

– Все вот, бывало, говорил: «ишь, говорит, как тебя дует горой, скоро лопнешь»; а вот сам наперед и убрался.

Находясь у мужа в страшно-ежовых рукавицах, Аполлинария Матвеевна решительно была рада, что он умер.

– А это Соня моя! Вы, верно, не узнали ее, – отнеслась было к ней Надежда Павловна.

– Ай, нет!.. Как это возможно! Здравствуй, душечка! – проговорила она, проворно целуясь с Соней, Бакланова и снова принялась за свое! – В гробу-то, родная моя, говорят, лежал такой черный да нехороший.

– Замуж выходит! – попробовала было еще раз пояснить ей Надежда Павловна.

– Ну, вот, поздравляю! – сказала и на это полувнимательно Аполлинария Матвеевна.

– Не прикажете ли кофею? – отнеслась к ней Соня.

– Ой, пожалуй! – отвечала Аполлинария Матвеевна каким-то сентиментальным голосом.

Сколько эта дама пила и ела, представить себе даже невозможно.

Соня принесла ей огромную чашку кофе и целый ворох сухарей.

– А Саша-то мой, нуте-ка, тетенька, – продолжала Аполлинария Матвеевна: – послала я его к тетушке: ну, тоже, думаю, может и наследство от нее быть… – объяснила она откровенно.

Надежда Павловна незаметно, но злобно улыбнулась.

– Только слышу, что он вместо того здесь, а там и в Москве… Я так и обмерла: в глазах у меня потемнело… (при этом Аполлинария Матвеевна в самом деле закатила несколько свои глаза). Писала уж и жаловалась на него братцу, Евсевью Осипычу… Он, спасибо, нарочно своего московского управляющего посылал разузнавать, тот все и описывает, все их каверзы…

На последних словах Аполлинария Матвеевна, в полнейшем отчаянии, развела руками.

Соня все внимательней и внимательней к ней прислушивалась.

– Что же такое? – спросила Надежда Павловна.

– Пьют, родная! В пору большим таким пить (Сашу своего Аполлинария Матвеевна считала до сих пор еще чуть ли не десятилетком). Управляющий-то прямо за ними в трактир и прошел: дым коромыслом стоит… двоим уж там в сенях голову холодной водой обливали… «речи говорят»… сам уж братец в письме своею ручкой прибавляет: «такие говорят, что ныне времена строгие, пожалуй, того и гляди, улетят куда-нибудь».

– Но, может быть, это другие, и не ваш Александр, – попробовала было утешить ее Надежда Павловна.

– О, полноте-ка, тетенька! – воскликнула Аполлинария Матвеевна, махнув рукой: – первый, говорят, коновод на все. Он ведь у меня умный: не в меня, а в покойника. Как орел, говорят, так и ходит. Больно боюсь, тетенька, чтоб он распутничать не начал!

– Чтой-то, какие глупости! – произнесла Надежда Павловна, показывая Аполлинарии Матвеевне глазами на дочь, но та ничего не поняла.

– Говорят, уж и есть это… очень боюсь. Научите меня, тетенька, вы у нас умная этакая, что мне делать-то?

– Напишите ему письмо построже.

– Писала, родная… Священника и сочинить-то просила, чтобы поскладней вышло. Таково чувствительно написал… Так ведь что они, балбесы? Только то и отвечает: «Вольно вам, маменька, говорит, всяким глупостям верить».

Надежда Павловна, чтобы как-нибудь поскорей прекратить этот визит, ничего ей не отвечала.

– Сама, тетенька, думала ехать в Москву-то, да тоже думаю: они там меня совсем засмеют! – заключила Аполлинария Матвеевна и затем, видно, выболтав все, что ей нужно было, поднялась.

– Прощайте, тетенька! Неужели в этих конурах вы свадьбу-то станете делать!.. Наняли бы дом у меня… И то уж с полгода стоит без постояльцев, разоренье такое! – прибавила она, уходя и по-прежнему небрежно прощаясь с Соней.

Мать и дочь, оставшись вдвоем, молчали.

Соня стояла у окна. В светлых глазах ее блестели слезы. Печальный образ прощавшегося с ней Александра невольно восстал перед ней.

Слова, сказанные им при прощаньи: «Если я не нашел в прекрасном, то найду в дурном», значит, были не фраза.

– Мамаша, я поеду прокатиться! – проговорила она.

– Поезжай! – отвечала та.

Яков Назарович, зная наклонности невесты, подарил ей чудесные чухонские саночки, с красивым кучером и с превосходным вороным рысаком.

Соня почти каждый день ездила кататься в своем экипаже, и теперь, сев в него и уставив свое хорошенькое личико против морозу, велела себя везти скорей, скорей. Ей хотелось как-нибудь поразмыкать свое горе. Она пролетела таким образом площадь, Ивановскую улицу, Калязинскую, но потом вдруг, как бы встрепенувшись, закричала кучеру:

– Постой! стой!

Тот остановился.

– Monsieur Венявин! – крикнула Соня студенту в плоховатой шинели, смиренно проходившему по снежному тротуару.

Тот обернулся и, узнав, кто его кличет, подошел — улыбаясь, краснея, застегивая свой вицмундир и приглаживая волосы.

– Pardon, monsieur Венявин, что я вас беспокою! – сказала Соня (Александр неоднократно говорил ей о своем приятеле и даже показывал ей его). – Parlez-vous français? – прибавила она.

– Oui, madame! – отвечал Венявин, страшно конфузясь и варварски произнося.

– Aves-vous l'adresse de monsieur Бакланов?

– Oui, madame! – отвечал Венявин, сделав все умственное усилие, чтобы понять то, что ему сказали.

– Je vous prie de lui envoyer un petit billet de ma part… Нет ли с вами карандаша? – последние слова Соня нарочно сказала по-русски.

– Oui, madame! – отвечал торопливо Венявин и выхватил из бокового кармана карандаш.

Соня от обертки, в которую завернута была материя, взятая ею, чтобы переменить в лавках, оторвала клочок бумаги и написала на нем: «Вы безумный человек! Вас любят, но что же делать!.. Того не велит Бог и люди, и если теперь выходят замуж, так, может быть, затем, чтобы посмеяться над святым таинством. Прощайте, не делайте глупостей и забудьте душой всю вашу Софи».

– Votre parole d'honneur que vous ne lirez pas mon billet et m'en garderez le secret! – говорила Соня, подавая ему бумажку.

Само небо, кажется, осенило голову Венявина, что он понял эту фразу и даже ответил на нее, таким образом:

– Oui, madame, je prendrai moi cette… j'ai retardé ici; mais aujourd'hui je partirai à Moscou!

– Mercі! – сказала Соня и, пожав красную и неуклюжую руку студента своею хорошенькою ручкой, затянутою в французскую перчатку, сказала кучеру: «В гостиный двор!», и как стрела скрылась из глаз. Венявин тут только сообразил свою ошибку.

«Ах, я болван, болван! Ей ведь еще следует говорить mademoiselle, а я бухнул madame!» – думал он? и с досады готов был прибить себя.

Придя домой, он тотчас запрятал драгоценное послание, сначала в карман своих лучших брюк, а потом брюки эти засунул в треугольную шляпу, и ту положил на самый низ чемодана.

18. Сын, возвращающийся с раскаянием

Юный Басардин начал преприятно жить у тетки. Она ему нашила белья, велела навязать карпеток, и наконец, от имени дедушки, подарила старинные золотые часы. Виктор, в свою очередь, стал входить и помогать ей несколько по хозяйству. У Биби был один задельный мужик, ужасный грубиян: как только напивался он пьян, сейчас же с пеной у рта являлся перед барышниными окнами.

– Барыня!.. барыня!.. угорела барыня в нетопленой горнице… – напевал он, приседая и делая другие глупости.

Иногда даже он ловил ее в церкви, когда она выходила оттуда.

– Сторонитесь, сторонитесь — улита едет, наша барыня… госпожа… – говорил он, расталкивая перед ней народ.

Биби его за это наказывала, возила в рекруты отдавать; но не проходило и полугода, как он снова повторял свои штуки, которые вздумал выкинуть и при Викторе. Тот его, на месте же преступления, схватил за шивороток, пригнул к земле и, из собственных рук, так отзвонил плетью, что даже другие мужики, стоявшие невдалеке при этом, почесав в затылке, проговорили: «Это уж, брат, видно, по-настоящему, по-военному!», а сам наказанный ничего не объяснял, а только слезливо моргал носом.

Очень довольная всем этим, Биби начала говорить про племянника:

– Преумный и превнимательный… На что я, кажется, глазом посмотрю, и то он видит!

Когда она постыдила Виктора, что как это он, такой большой, не умеет читать по-славянски, он сейчас же подучил и, уже довольно бойко разбирая титлы, стал по вечерам читать тетке, по ее указаниям, некоторые места из четьи-минеи. Происходившие при этом сцены были довольно оригинального свойства: зеленая гостиная обыкновенно освещалась двумя сальными свечками; молодой офицер,

с самым смиренным выражением, глядел, не поднимая глаз, в книгу и произносил:

– И бе Афанасию страх велий!

Биби при этом как-то порывисто нюхала табак и принималась торопливо распускать свое вязанье. Это означало, что она сильно была тронута.

Дедушка-майор, тоже вывезенный на своих креслах слушать, начинал понемногу высовывать язык, а потом все больше и больше, и наконец вытягивал его почти что до половины.

– Папенька, опять язык! – вскрикивала на него Биби.

Старик сейчас же убирал орган слова в надлежащее место, но потом, через минуту, начинал его снова выпускать понемногу: зачем он это делал, никто у него допроситься не мог.

«И приидоша к нему беси», – продолжал между тем Басардин, невольно улыбаясь. У него самого в это время были порядочные бесенята в голове.

«Коли так все пойдет, так с тетки-то рублей пятьсот сорвать можно будет!» – думал он и продолжал читать: – «Отъидитие от меня, окаянные, рек Афанасий».

«А Иродиадка все отвертывается!» – вертелось в это время в голове молодого человека, и голос его делался совершенно невнимателен.

– Ну, будет, друг мой! – говорила Биби, думая, что он устал.

Виктор закрывал книгу, осторожно подавая ее тетке, и сам, усевшись смиренно в кресло, задумывался. В эти минуты его волновали самосильнейшие страсти: с некоторого времени он решительно не в состоянии был равнодушно видеть стройного стана Иродиады и ее толстой косы, красиво расположенной на затылке.

– Иродиада, куда ты! Постой! – говорил он ей, когда она, вечером после ужина, приходила и ставила ему графин на стол.

Первоначально Иродиада отвечала на это одним холодным взглядом, но Виктор простер свои искательства и дальше.

– Погоди, постой! – говорил он, встретив ее раз в темном коридоре.

– Барин, что вы? Перестаньте… Право, тетеньке скажу! – проговорила Иродиада, стараясь поскорее пройти мимо него.

– Ну да! как же! скажешь! – говорил Виктор и сделал чересчур смелое движение.

Иродиада сердито оттолкнула его и прошла.

Биби она в самом деле, должно быть, рассказала, потому что та была день или два очень суха с Виктором. Злоба в душе его забушевала. Поймав снова Иродиаду в коридоре, именно после

описанного нами чтения, он остановил ее.

– А, так ты ябедничать! – произнес он, и так распорядился, что Иродиада, для спасения себя, сначала толкалась, а потом укусила ему плечо.

– Ты еще кусаться! – проговорил Виктор и схватил ее за косу.

Иродиада закричала на весь дом:

– Батюшки, бьют!

На этот крик со всех сторон высыпали девки со свечами и сама Биби.

– Она мне грубит! – сказал Виктор, указывая на Иродиаду.

– Матушка, вся ваша воля, – отвечала та, поправляя свою косу и куда-то мгновенно скрываясь от стыда.

– Виктор Петрович, что это такое? – произнесла Биби.

– Виктор Петрович!.. – передразнил ее Виктор: кадетская натура его не выдержала при виде сморщенного и сердитого лица тетки. Кроме того, он был очень уж взбешен.

– А, так вы так! – произнесла Биби, и сейчас же удалилась.

Из всей этой сцены она очень хорошо поняла, что это за господин, и просто струсила его. Он, пожалуй, до того дойдет, что и ее приколотит; а потому на другой же день, не входя с ним ни в какие объяснения, когда Виктор еще спал, она, запрятав старого отца и Иродиаду в возок, сама села с ними и уехала на богомолье, верст за триста, захватив с собою все ключи от чая, сахару и погреба. Молодой человек остался таким образом снова без всякого содержания. Первоначально он стал было всего требовать от ключника, но тот отвечал, что у него нет ничего. Басардин, делать нечего, решился ехать обратно в город, хватить там по боку дедушкины часы и с этой суммой прямо отправиться в Петербург. Но на постоялом дворе, у Никиты Семенова, он встретился с одним помещиком, возвращавшимся из города.

– Ваша фамилия? – спросил тот.

– Басардин.

– Это не ваша ли сестрица выходит замуж?

– Должно быть, моя! Я не знаю, я только еще еду к ним. За кого же она идет?

– За очень хорошего человека.

– И богатого?

– Да, с большим состоянием. И она-то ведь прелестная. С вами вот имеет немалое сходство.

– Да, она премилая, – отвечал Виктор, и в голове его сейчас же

изменился план.

Приехав в город и остановясь в номере, он тотчас же сел и написал к матери письмо.

«Дражайшая маменька! Я сознаю теперь вполне, что я блудный сын, но когда тот сказал отцу своему: „Отче! я согрешил на небо и пред тобою“, отец сказал: „Иди в дом мой! Заколите тельца и празднуйте: сын, которого я считал мертвым, – жив“. Сделайте, маменька, и вы то же!»

Начитавшись у Биби книг духовного содержания, Виктор хотел посильнее поразить мать примером из Священного Писания, и затем, по своей всегдашней методе в письмах к одному побранить другого, прибавил:

«Тетенька, хоть Богу и молится, но дела ее далеко тому не соответствуют, и великую поговорку: что нет такого дружка, как родная матушка, я узнал теперь вполне».

Отправив это письмо, Виктор заранее был уверен в его успехе.

Чему другому, а некоторым практическим соображениям и тому, как в известных случаях действовать, его понаучили в корпусе.

19. Сын, еще не чувствующий никакого раскаяния

Надежда Павловна в этот вечер, как нарочно, была совершенно счастлива. Мало того, что Петра Григорьевича утвердили в должности, – но сама губернаторша обещалась к ним приехать посидеть вечером. Хлопот, и самых, разумеется, приятных, было, по этому случаю, немало. Дарья еще с раннего утра все мыла: полы, окна, двери, а потом, часам к семи, и сама нарядилась в накрахмаленную юбку и в подаренное ей барыней старое шерстяное платье, и как пава ходила в нем из кухни в горницу и обратно. На вощеном столике, покрытом камчатною скатертью, зажжены были две стеариновые свечи, а на столике под зеркалом еще две, так что свету было, пожалуй, пущено более, чем следует. Накурено Сониным одеколоном на горячем утюге тоже достаточно. Для десерта куплены были яблоки и виноград, так как Марья Николаевна обещалась приехать не одна, а с маленьким сыном своим Колей, который, как смеялись сама мать и все близкие знакомые, был не на шутку влюблен в Соню, называл ее своею невестой и все хотел застрелить из ружья Ленева, который, говорили, отнимает ее у него.

Когда губернаторша, дама в таком ранге, в своем шумящем шелковом платье, в своем дорогом блондовом чепце и наконец с своим

ангелоподобным сыночком Колей приехала и уселась в маленькой квартирке Басардиных, – так эту сцену несколько даже трудно вообразить себе. Надежде Павловне было необыкновенно совестно и приятно. Петр Григорьевич, начавший умываться и обряжаться чуть ли не раньше всех и при этом обнаруживавший такое фырканье и отхаркиванье, что даже дочь ему заметила: «Что это, папенька, вы точно бегемот!» – Петр Григорьевич сильно трусил. В продолжение всего вечера, каких жена не делала ему знаков руками и глазами, он ни за что не хотел сесть.

Надежда Павловна как-то подобострастно занимала губернаторшу. Соня играла с Колей. Милый ребенок изобрел такого рода забаву: он целовал у Сони руку взасос, то-есть хватал ее ртом своим и втягивал в себя воздух, так что на руке появились пятна.

– Перестань, – говорила ему Соня.

Но влюбленный крошка не унимался и хотел было насосать ей и лицо.

– А, когда так, так ступайте же! – сказала Соня сердито и спуская его с колен.

Она не на шутку испугалась, что он испортит ей и лицо. Игру эту Коля изобрел с одною из горничных.

– Пусти! пусти! – говорил он, хватая Соню за платье.

– Ну, так я и совсем уйду! – сказала она, в самом деле уходя в соседнюю комнату, и, притворив дверь, заперла ее задвижкой..

Коля стал плечиком и ножками стучать что есть силы в дверь.

– Коля! Коля! перестань! – полуунимала его мать.

Марья Николаевна принадлежала к тем нежным матерям, которые воспрещать что-либо птенцам своим считают за какое-то святотатство.

– Чего этому ангелу, в котором все чувства так еще чисты, можно не позволять! – говорила она.

Коля до сих пор жил так, как будто весь мир был создан для услуги ему: у него были игрушки, маленькие лошадки, конфекты. Даже сам кровожадный родитель ни в чем не препятствовал: ненавидя почти весь род человеческий, он свой собственный кусок мяса, отторгнутый от него и получивший отдельное существование, боготворил.

Коля у дверей наконец заревел.

Надежда Павловна начинала сильно конфузиться и хотла было послать Петра Григорьевича, чтоб он велел Соне выйти занимать маленького гостя, но Дарья в это время внесла на подносе яблоки и виноград. Коля сейчас же устремился к этим любезным ему предметам. Мать и хозяйка сейчас же поспешили усадить его и

надавали ему всего, чтобы только он не плакал. Соня, таким образом, получила возможность выйти и села уже подальше от шалуна, который однако не переставал на нее плутовски посматривать: протянет и будто дает ей яблоко, а потом сам и возьмет его назад. Соня делала вид, что ничего этого не замечает.

Надежде Павловне подали письмо. Сначала она, взглянув на адрес, несколько сконфузилась, но, прочитав, улыбнулась и, подавая его дочери, проговорила:

– Посмотри!

– Да! – отвечала и та с улыбкой.

Надежда Павловна встала и, извинившись перед губернаторшей, сама вышла к посланному.

– Скажи Виктору Петровичу, что мне писать к нему некогда и нечего: у меня гости… губернаторша… пускай бы сам приезжал.

Виктор через пять же минут явился, прифранченный, в шпаге и каске. У матери он поцеловал руку с нежностью, с сестрой поцеловался с улыбкой и поцеловал также руку у Петра Григорьевича, который от удивления не знал куда и глядеть: как сын тут попал, откуда, и почему его пустили, ничего он этого не понимал.

Губернаторше Виктор раскланялся модно.

Надежда Павловна поспешила его отрекомендовать.

– Старший сын мой!

– Вот уже какой! – произнесла Марья Николаевна, осматривая молодого человека: – как приятно для матери дождаться детей в таком возрасте! Вот вы теперь офицер: сколько, я думаю, удовольствия и радости доставляете вашим родителям.

– Да, разумеется! – отвечал совершенно бесстыдно Виктор.

«Много от него удовольствия и радости!» – подумала Надежда Павловна.

– Вот у меня так еще мал… мне долго не дождаться. А может быть, и совсем не дождусь, – произнесла, почти со слезами на глазах, Марья Николаевна.

«Немного, кажется, и ты-то от своего пострелёнка радости получишь!» – подумала Надежда Павловна, а потом, обратясь к сыну, она спросила:

– Хорошо погостил у тетеньки?

– Да-с, она теперь на богомолье уехала.

– Что такое? Прежде она в такую распутицу никогда не ездила.

– Не знаю-с!.. А мне на станции рассказывали, что Соня помолвлена, – прибавил Виктор скромно.

– Да, за богача и за генерала… за прекрасного человека, – ответила Надежда Павловна.

– Бесподобный человек! бесподобный! – подтвердила Марья Николаевна.

– Ну, так вот, значит, поздравляю! – проговорил Виктор, нежно смотря на сестру.

Коля между тем, заметив у нового гостя саблю, перебрался к нему.

– Что это у тебя, сабля? – спросил он его дерзко.

– Сабля, душенька! – отвечал Виктор.

– Дай мне!

Виктор вынул.

– Не беспокойтесь: она не отпущена, – успокоил он Марью Николаевну.

– Это каска? – спрашивал Коля.

– Каска!

– Дай мне ее.

Виктор сейчас же ловко подвернул в каску платок и надел ее на голову Коле. Мальчик, с обнаженной саблей, стал ходить и маршировать по комнате.

– Ах, да он отлично марширует!.. Прекрасно! прекрасно!.. раз, два!.. раз, два!.. – командовал Виктор. – Чудесно! – прибавил он, обращаясь к Марье Николаевне, которая была в упоении.

Петр Григорьевич, думая, что сын в самом деле искренно хвалит Колю, тоже повторял: – «Отлично! бесподобно!».

– Удивительный ребенок! – восклицал Виктор.

Марья Николаевна, наконец, начала собираться домой, но Коля никак не хотел оставить ни каски, ни сабли.

– Полно, душечка, как это возможно! – заикнулась было мать.

– Нет, нет, мамаша!.. – закричал он, задрыгав руками и ногами.

– Боже мой! оставьте у него, – говорил Виктор.

– Но мне, право, совестно! – произнесла жеманно Марья Николаевна.

– Нет, нет, мамаша, – повторял Коля и разревелся так, что его едва сунули в карету, не взяв у него ничего.

Когда проводили губернаторшу до сеней и все возвращались в комнаты, Виктор подошел к матери.

– Маменька, я могу у вас остаться? – проговорил он не совсем твердым голосом.

– Останься, тебе комната приготовлена, – сказала Надежда Павловна, показывая на видневшуюся через сени комнату, и затем,

ничего больше не сказав, ушла к себе.

Виктор на несколько мгновений попризадумался, а потом повернулся и пошел в показанное ему место.

20. Капелька поэзии и море прозы

Последнее время у Сони гостила дочь их хозяина – священника, Маша – молоденькая, прехорошенькая собою девушка, преумненькая, но в то же время пресмешная: повеселиться, похохотать, а пожалуй, и поплакать была охотница. Сначала она робко ходила к Соне, а потом все чаще и чаще, и теперь выпросилась у Надежды Павловны шить Соне свадебное белье. Дела этого она была великая мастерица: точно по линейке, по размеру, ее маленькая ручка выводила мельчайшие строчки на белье. Сама Соня не умела иголки взять в руки.

Они уже с час сидели вдвоем. Соня, чем ближе подходила ее свадьба, тем становилась грустней и грустней. Маша между тем все что-то егозила на стуле.

– Софья Петровна, можно свадебную песенку спеть? – проговорила, наконец, она робко.

– Спой, – отвечала та.

Маша звонким, но в то же время мягким голосом запела:

«Не на девичье гулянье
Собирается, снаряжается
Наша Сонюшка».

– Ох, полно – перестань, не надсажай ты меня, – воскликнула вдруг Соня и залилась горькими слезами.

– Чтой-то, барышня, вы все плачете? Хорошо ли это! – утешала ее Маша, сама готовая расплакаться.

– Тошно мне, Маша, тошно! – говорила Соня, пересаживаясь к подруге и обнимая ее.

Маша была совсем счастлива.

– Что же вам тошно-то? – спросила она.

– Замуж не хочется итти… – Соня не кончила.

– Али вам не люб жених-то?

– Да… Я люблю другого! – прибавила Соня уже шопотом и скрывая свое лицо на груди Маши.

– Дело-то какое! – произнесла та, качая головой: – для-че ж вы, барышня, за того-то нейдете?

– Молод он очень, да и мать у него скверная! – произнесла Соня.

– Поди ты! – удивлялась Маша.

– А тебе, Маша, нравится кто-нибудь? – спросила Соня, уставляя на подругу свое пылающее лицо.

– Нету еще, – отвечала та наивно: – вон к папеньке семинаристы ходят, да нехороши только: нескладные такие!

– А что, Маша, как выйдешь замуж, другого любить грех?

– О, что за важность, ничего! Вот в нашем званьи, так нельзя!

– Отчего же у вас нельзя?

– Ну, батюшку-то расстригут, как попадейка-то полюбит другого.

– Стало быть и нам нельзя! – проговорила Соня печально.

Так журчали их тихие голоски, как бы чистый, маленький ручеек среди неприступных скал и гор окружавшей их действительности.

Но дверь распахнулась, и вошел Виктор, тоже один из порядочных обломков, задерживающих в человеке всякое искреннее чувство. Соня сейчас же поспешила обтереть слезы и сделала вид, будто бы смотрит на работу Маши. Та, в свою очередь, не смела глаз поднять: Виктор и ее, как Иродиаду, ловил в сенях. На этот раз, впрочем, он был очень серьезен и важен. Вслед за ним приехала Надежда Павловна. Виктор отнесся к ней как-то свысока.

– Что Яков-то Назарыч так долго делает в Москве? – спросил он ее вдруг.

Надежда Павловна посмотрела на него.

– Известно что!

– Он, говорят, там лечится?

Надежда Павловна еще с большим удивлением взглянула на сына.

– Кто ж это тебе сказывал?

– Водой, говорят, лечится; хорош жених! – отвечал Виктор насмешливо.

При всем старании, он никак не мог скрыть ненависть к сестре, и, кажется, величайшим бы счастием его было ее несчастие.

Надежда Павловна сейчас же поняла, к чему он это говорил.

«Этакое ехидное животное!» – сказала она мысленно себе и спросила его вслух суровым голосом:

– Что, долго ты здесь пробудешь? Долго еще продолжится твой отпуск?

Виктор, заложив руки в карманы, отвечал с важностью:

– Я здесь совсем остаюсь… поступлю к губернатору в адъютанты.

Надежда Павловна почти затрепетала от страха.

– Разве тебя берут? – спросила она.

– Вероятно! – отвечал Виктор.

Он, действительно, после первого же знакомства с Марьей

Николаевной, начал беспрестанно ездить к ним в дом, ужасно как умел подделываться, взялся учить Колю гимнастике, и для этого были нарочно, по его рисунку, сделаны гимнастические орудия: лестница и козел.

Виктор был мастер производить все эти штуки и так увлекательно это делал, что, не говоря уже о Коле, который за ним лазил как сумасшедший, даже сама Марья Николаевна, несмотря на свою полноту, увлеклась и полезла было на лестницу. Виктор при этом слегка поддерживал ее и умел так это сделать, что Марья Николаевна несколько даже сконфузилась, и когда слезла с лестницы, то проговорила:

– Какой вы шалун!

Начальнику губернии тоже нравилось это удовольствие. Часто, сидя у себя в кабинете и занимаясь подписыванием бумаг, он вдруг вставал, приходил в залу и начинал там прыгать на козла взад и вперед, а потом, как бы ничего этого не делав, возвращался к себе в комнату и снова начинал подписывать.

– А что, в губернаторских адъютантах есть доходы или нет? – спросил после неоторых минут размышления Виктор, обращаясь к матери.

– Не знаю! – отвечала Надежда Павловна. – «На что другое, а на это видно есть толк, этакий мерзавец!» – невольно подумала она.

В комнату вбежала Дарья.

– Яков Назарыч приехали-с! – объявила она, а вслед за ней входил и сам Яков Назарович.

– Сейчас только въехал в город и сейчас, не выходя из повозки, к вам! – проговорил он. В руках он держал огромнейший поднос, на котором грудами были навалены бриллиантовые и золотые вещи, разные фантастические корзинки и дорогие конфекты.

Двое лакеев несли за ним свертки дорогих материй, кружев и куньи меха.

Все, не исключая и наивной Маши, как бы преклонились перед ним с благоговением, а Виктора от зависти даже подергивало.

21. Невольный протест

Церковь Николы Явленного, самая аристократическая в городе, виднелась своею черной массой на огромной площади. По всем ее карнизам горели, колеблясь пламенем во все стороны и воняя скипидаром, плошки. В самой церкви, сырой и холодной, стояла толпа певчих, в своих голубых, обшитых галунами, кафтанах. Между ними происходил легкий говор, как бы вроде перебранки.

– Где у тебя Бортнянский-то? – говорил совсем низкой октавой бас, и при этом у него изо рта вылетал пар.

– Там, в нотах! – отвечал ему тоненькою фистулой дискант, тоже испуская пар из ротика.

– Там только альтовая партия, дъявол! – заключал бас и давал бедному ребенку такой подзатыльник, что тот взмахивал на него свои голубые глазенки и удивленным личиком как бы говорил: «Ну, брат, этакого еще никогда не бывало».

Три мужика, с помощью высочайших лестниц, зажигали три главные паникадила, свеч по сту в каждом. Жених, с приподнятою на накрахмаленном галстуке головой, завитой, раздушенный, в белых генеральских штанах и в синем ученом мундире, был уже в церкви и, как петушок, вертелся около Марьи Николаевны (она была почетною дамой с его стороны).

– Будуар у меня обит белым атласом, а мебель розово-светлою материей, и из белой слоновой кости трюмо, – рассказывал он.

– Да, да, – говорила с чувством Марья Николаевна.

– В гостиной рытые под бархат голубые обои, а зала под мрамор, – объяснял Яков Назарович.

– Да, да, – подтверждала добрая губернаторша.

Между тем сынок ее, Коля, непременно хотевший быть в церкви и в качестве шафера привезший образ, теперь в одном из дальних углов возился со своею гувернанткой-англичанкой, которая напрягала все свои почти неженские силы, чтобы удержать его: он все рвался у нее, чтобы раскачать одну из перед-иконных лампад и посмотреть, как она треснется об стекло, что он перед тем и сделал раз.

«Невеста!» – раздалось наконец в церкви.

Жених повытянулся и еще как-то больше засеменил ножками. Двери распахнулись, и Соня, в сопровождении Аполлинарии Матвеевны, разодевшейся во всевозможные цвета – синий, красный,

желтый, вошла в церковь. Ее вел под руку, с перетянутою, как у осы, талией и гремя по церковному полу саблей, Виктор. Соня, по-видимому, употребляла все усилия над собой, чтобы не рыдать. Лицо ее было бледно и судорожно: она окончательно уже понимала, что продает себя, и хотела по крайней мере сделать это так, чтобы было за что: одно подвенечное платье ее стоило тысячи три, на лбу ее горела бриллиантовая диадема в пять тысяч.

«Гряди!» – запели верховые басы. «Гряди!» – выводили за ними дисканты. «Гряди!» – поддавали октавы, и одна из них, дольше других протянувшаяся, как бы падучею звездой прокатилась по церковному своду. Соня невольно затрепетала всем телом и затем, устремив взор на символическое изображение Святого Духа, делаемое обыкновенно над церковными вратами, не спускала с него глаз. Сделать это умоляла ее ехавшая с ней в карете Аполлинария Матвеевна, говоря, что будто бы это необходимо для будущего семейного счастья. Вслед за тем приехал к губернаторше адъютант ее мужа и привез ей теплую мантилью; за ним приехал сам начальник губернии, за которым явился, разумеется, полицеймейстер. По дружбе к Якову Назаровичу, приехали губернский и уездный предводители. Вице-губернатор, живший против самой церкви, тоже пришел полюбопытствовать на венчанье. Вышли священник и дьякон, в самых дорогих ризах, – один с евангелием, другой с кадилом; по церкви распространился запах самого чистого, ливанского ладана. Начался обряд. На вопрос священника: «не обещалась ли?..» Соня отвечала: «нет». Голос ее при этом слегка задрожал. Когда надели на них венцы, Яков Назарович был решительно смешон, а Соня, напротив, была царственно хороша: как белая лебедь, ходила она в своем венчальном вуале, с потупленною головкой и с обнаженными руками, вокруг налоя.

После венчания двери церкви снова распахнулись, молодая вышла и села уже с мужем в его дормез, преисполненный шелку и пружин. Широкие, лаковые козлы кучера имели решительно характер королевских экипажей; шестеро серых жеребцов, в серебряной сбруе, могли быть уподоблены баснословным коням. Яков Назарович вез молодую супругу в свою подгородную деревню, расположенную сейчас же за рекой, на красивейшем противоположном берегу. Проехав площадь, надобно было спускаться под гору. Экипаж окружила со всех сторон темнота. С реки, как из пропасти, потянуло сырым, порывистым, апрельским ветром. На самом льду, чтобы как-нибудь экипажи не сбились с дороги и не попали в полыньи, их встретили, по приказанию Якова Назаровича, человек двенадцать

верховых людей, с зажженными факелами. Свадебный поезд как бы превратился в погребальную процессию.

– Что это, меня точно хоронят! – проговорила Соня испуганным голосом.

– Нету, моя душечка, нету, моя кралечка! – говорил супруг, нежно целуя ее ручки.

Но Соня дрожала.

Лошади потом дружно внесли экипаж в гору и остановились перед освещенным крыльцом, где молодых встретила целая толпа лакеев, в белых галстуках и жилетах, а в зале под мрамор стояли Надежда Павловна и Петр Григорьевич с образами и стриженая, помешанная сестра Якова Назаровича, Валентина, лет шестидесяти девица, проживавшая с ним и воображавшая, ни много ни мало, что она пленяет всех мужчин. Ее тоже вывели благословить брата.

– Покажи-ка, покажи свою молодую! – говорила она, прищуривая глаза.

Яков Назарович подвел к ней Соню.

– О, недурна! Черна только! – произнесла помешанная.

Соня была бела как мрамор, но Валентина совершенною красавицей считала только самое себя, и потом, когда начали приезжать губернатор, вице-губернатор, предводитель – мужчины все видные, она то на того, то на другого стала кидать нежные взоры, раскланивалась, расшаркивалась перед ними, так что ходившая за ней горничная девушка сочла за нужное увести ее.

– Полноте, барышня, ступайте! Пора к себе в комнату, – сказала она, беря ее под руку.

– Но должна же я занять этих господ! – отвечала помешанная, кидая на служанку гордый и гневный взгляд.

– Чего тут занять! Ведь Кузьма Иваныч дожидается.

– Ах, да! – воскликнула Валентина, сейчас же переменив тон, и, уходя к себе, все повторяла: — Ах, несчастный! несчастный!

Кузьма Иванович был совершенно вымышленное лицо, но она воображала, что от любви к ней он потонул; его спасли, и он идет к ней. Что б она ни делала, как бы ни дурачилась, достаточно было сказать: «Кузьма Иваныч идет к вам!» – она сейчас же отправлялась в свою комнату и дожидалась его. – «Как странно однако, так долго нейдет!» – повторяла она до тех пор, пока не засыпала от усталости.

Гости между тем перешли в гостиную. Стали подавать шампанское, и музыка заиграла туш. Соня в каком-то утомлении села на диван и невольно склонила на его спинку свою чудную головку.

Марья Николаевна тоже была расстроена и почти со слезами на глазах, так что Надежда Павловна спросила ее:

– Что с вами?

Достойная эта женщина сначала ничего не отвечала, но потом, взяв Басардину за руку и крепко сжав ее, проговорила:

– Я любила ваше семейство и теперь люблю, но я была ужасно оскорблена!

Из церкви Марья Николаевна взяла к себе в карету Виктора, и что уже у них произошло там – неизвестно, но только и тот как-то совался из стороны в сторону, был заметно чем-то встревожен и наконец, улучив минутку, он остановил мать.

– Мне, маменька, надобно завтра ехать в Петербург.

– Это что такое?

– Отпуск выходит!..

И Виктор в самом деле показал ей отпуск, которому всего оставалось дня три.

– Что ж здесь-то не останешься на службе? – спросила насмешливо Надежда Павловна.

– Очень нужно, со скотами этакими, – возразил Виктор обыкновенным свои тоном. – Мне, маменька, дайте денег-то!

– Дам, – отвечала Надежда Павловна. Она была рада, как бы нибудь, только отвязаться от него.

Свадебный ужин начался баснословной величины рыбой, сопровождаемою соусами из сои и омаров. Повар Якова Назаровича, по искусству, был первый в городе. Надежда Павловна, сидевшая на самом почетном месте и глядя на стоявшие в хрустальных вазах дорогие фрукты, на двухпудовые серебряные блюда под кушаньями, на богемский, тонкий как бумага, хрусталь, блаженствовала. Подобной роскоши, оставив дом князя, она уже не видывала. И все это теперь принадлежит ее Соне.

А Петр Григорьевич, напротив, был грустен. Неизвестно, по какому инстинкту, он лучше и яснее, чем его супруга, понимал, что они делали нехорошо, выдавая таким образом дочь: Бог умудряет иногда и младенцев.

Но вот шафера провозгласили последний тост – здоровье какого-то восьмилетнего внука Якова Назаровича; стулья задвигались, и гости стали вставать, прощаться и разъезжаться. Аполлинария Матвеевна и две другие дамы отвели Соню в спальню.

Яков Назарович прошел туда с другой стороны. Огни в доме погасали, и все стало мало-помалу затихать. Не спал только Виктор,

мрачно ходивший по совершенно темной бильярдной; вдруг промелькнула чья-то тень.

Виктор повгляделся. Оказалось, что это был молодой, в халате и с подушкой в руках.

– Что вы? – спросил его Виктор.

Яков Назарович грустно усмехался.

– Прогнала… Плачет… Не велит оставаться мне там! – проговорил он и прошел в свою прежнюю холостую спальню.

– То-то дурак-то! – сказал ему вслед Виктор.

На другой день Надежда Павловна была очень встревожена, во-первых, тем, что у Сони заметно дрожала ручка и голова, и она уже без ужаса, кажется, видеть не могла мужа, а кроме того к ней вдруг прибежала горничная помешанной Валентины.

– У нас несчастье-с, – табакерка барышнина пропала, – объявила она.

– Каким это образом? – спросила Надежда Павловна сначала совершенно покойно. Она перед тем только проводила Виктора, который уехал на почтовых в Петербург.

– Не знаю-с, – отвечала горничная каким-то нерешительным голосом. – Дорогая табакерка очень… Мы им только когда по праздникам и даем из нее нюхать.

Надежда Павловна пошла к Валентине.

– Только и всего… Ко мне пришел этот молодой офицер – прекрасный, прекрасный молодой человек!.. Поцеловал у меня руку!.. Только и всего!.. – рассказывала сумасшедшая.

Надежда Павловна ее больше не расспрашивала и, возвратившись в свою комнату, опустилась на кресла.

– Господи! Только этого недоставало! – воскликнула она.

«А кто в этом виноват?» – шевельнулось в ее мыслях. – «И он, и я, и люди, и Бог!» – произнесла мысленно бедная мать.

Часть вторая

1. Британия

Огромные часы на угловом здании старого университета показывали два часа. Из нового университета, по его наклоненному двору, выходили уже студенты. Внизу юридических аудиторий молодцеватый студент надевал на себя калоши и шинель, а со спиральной лестницы, с самой верхней ее площадки, другой студент, свесив голову за перила, несколько знакомым нам голосом, кричал ему:

– Бакланов, вы в Британию?

– В Британию, – отвечал старый наш приятель.

– И я приду!

– Ну да! – подтвердил Александр, и когда он торопливо проходил через средний подъезд, швейцар Михайла дружелюбно заметил ему:

– Что, не сидится, видно, на лекции-то!

– Дела есть поважней лекций! – отвечал ему Бакланов серьезно.

Михайла усмехнулся ему вслед.

С тех пор, как мы расстались с нашим героем, он значительно возмужал: бакенбарды его подросли, лицо сделалось выразительней. Во всей его походке, во всех движениях было что-то мужественное, смелое… Видно, что он решился смело и бойко итти навстречу жизни.

Перейдя улицу, он, прямо напротив манежа, повернул в трактир с грязноватою вывеской и начал взбираться по деревянной, усыпанной песком лестнице. Это-то и была Британия. Стоявший за прилавком приказчик несколько модно и с улыбкой поклонился ему. Бакланов мотнул ему головой, пройдя залу, повернул в комнату направо. В чистой, белой рубахе половой, с бледным и умным лицом, с подстриженною небольшою бородой и с намасленною головой, почти дружески снял с Бакланова шинель и положил ее на давно, как видно, приуроченное для нее место.

– Бирхман и Ковальский были? – спросил Бакланов, садясь на диван.

– Нет еще-с, не приходили, – отвечал половой.

Бакланов приподнял ногу на стул, при чем обнаружил тончайшие, франтовские шаровары. Его сюртук, с маленьким голубым воротником, тоже сидел на нем щеголевато.

Половой подал ему трубку и растрепанный номер Репертуара.

– А кто в бильярдной есть? – спросил Бакланов.

– Проскриптский, кажется-с…

– О, чорт с ним! – произнес с досадой Бакланов.

Половой усмехнулся.

– Вчера у них с Варегиным и была же пановщина.

– В чем?

– Да все о душе-с.

– И кто же кого?

Половой пожал плечами.

– Бог их знает: Варегин-то словно бы правильнее на словах говорил.

– Варегин – умница!

– Да-с, – согласился и половой, – господин большого рассудка. Говорят, он из нашего, из простого звания-с.

– Он мещанин. Тогда Наследник с Жуковским путешествовал. Ему его и представили: задачи он в голове, самоучкой, решал. Тот велел его взять в гимназию, в два месяца какие-нибудь, читать не умевши, в третий класс приготовился.

Половой с удовольствием улыбался.

– Что оно, значит, природное-то! – произнес он с каким-то благоговением, а потом, торопливо подав порцию чаю вновь пришедшим посетителям, опять подошел к Бакланову.

– Проскриптский этта-с… может, изволите знать, из Думы сюда ходит чиновник… чин тоже получил и ходил к Иверской молебен служить… он на него и напал: «у червяка, говорит, голова, и у вас: червяку отрежь голову и вам, и оба вы умрете!». Так того, бедного, пробрал…

– Пиявка! ко всем льнет!.. – отвечал Бакланов.

Вошли Бирхман и Ковальский. Первый из них был длиннейший немец. Голубые глаза его имели несколько телячье выражение, но очертания лица были довольно тонки, и сквозь белую, нежную кожу просвечивали на лбу тоненькие жилки. Одет он был в нескладный вицмундир и в уродливейшую, казенную, серо-синюю шинель, подбитую зеленой байкой с беленькими лапками. Ковальский, напротив, был маленький, приземистый мужчина, сутуловатый, с широкими, приподнятыми вверх, как на статуе Геркулеса, плечами. Он

как пришел, так сейчас же взял с комода щетку и начал ею чистить свой сюртук, полы которого, в самом деле, были страшно перепачканы в грязи.

– Где это ты так вывалялся? – крикнул ему Бакланов.

– Это он меня вез! – отвечал за него и совершенно спокойно Бирхман, садясь на стул к столику против Бакланова.

– Что ж, заказывай по условию-то!.. – произнес угрюмо Ковальский, подходя и тоже садясь около столика.

– Сосисок дай! – сказал Бирхман, по-прежнему равнодушным образом и не повертывая даже головы к половому.

– Если сам будешь есть, так заказывай две порции, – прибавил Ковальский.

– Ну, две! – сказал и на это тем же тоном немец.

Оба эти молодые люди были из Александровского сиротского института и жили вместе в казенном доме. Бирхман, имевший кое-когда деньжонки, нередко, особенно в темные осенние вечера, приезжал в Британию верхом на приятеле и угощал его за это водкой, пивом, кушаньями.

– Как у тебя силы хватает нести этакую дубину? – спросил его Бакланов.

– Да ничего бы, – отвечал Ковальский, передернув слегка плечами: – болтается только, не сидит никак крепко.

– Это меня ветром сдувает, – отвечал Бирхман, хотя бы с малейшим следом улыбки на лице, но прочие все, не выключая и полового, засмеялись.

– Чорт знает, что такое! – говорил Бакланов. – А что, господа, – прибавил он, – в пятницу мы в театре?

– В театре, – отвечал равнодушно Бирхман.

– О, разумеется, – подхватил Ковальский. Он надеялся и назад протащить приятеля на своих плечах и получить за это с него билет в раек.

– Надобно, господа, надобно, – говорил Бакланов, – а то этот господин теперь приехал, привез свою мерзавку; эту несчастную гонят. Они дойдут, наконец, до того, что вытурят и Щепкина, и Садовского, и Мочалова, и пришлют нам братьев Каратыгиных.

Бирхман сделал движение головой, которым как бы говорил: «нет, они у меня этого не сделают!».

– Во-первых, – продолжал Бакланов, – эту госпожу надо освистать, – она дрянь, а та – божество, талант!

– Освистать! – произнес Бирхман.

– Можно сделать такую машину… как ее поставишь сейчас промеж колен, подавишь – шикнет, как сто человек! – подхватил Ковальский. Кроме необыкновенной силы, он был еще и искусник на все механические работы.

– Финкель, портной, приходил, – вмешался в разговор половой: – он говорит, если господам, говорит, угодно, я пришлю в театр своих подмастерьев. Один, говорит, так у меня свистит, что лошади на колени падают, и теперь, если ему – старого, говорит платья у меня много – дать ему фрак, и взять только, значит, ему надо билет в кресла.

– Это можно будет, но главное вот что… – продолжал Бакланов, одушевляясь: – этой нашей госпоже надобно у них, канальев, под носом подарить венок или колье какое-нибудь брильянтовое… У меня моих собственных сто целковых готовы – нарочно выпустил мужика на волю… Вы, Бирхман, сколько дадите?

– Я дам тоже столько, сколько у меня в то время в кармане будет, – отвечал положительно Бирхман.

– Я дам тоже, сколько у него будет! – подхватил и Ковальский.

– Мы дадим оба, сколько у нас тогда будет, – сказал еще определительнее Бирхман.

– Превосходно! – воскликнул Бакланов. – Венявина я послал за подписным листом… Там, на первом курсе, пропасть аристократишков поступило… посмотрим, сколько отвалят и поддержат ли университет!

На эти слова его, в комнату, как бы походкой гиены, вошел сутуловатый студент, с несколько старческим лицом и в очках. Кивнув слегка нашим приятелям головой, он пришел и сел у другого столика.

– Дай мне Отечественные записки! – проговорил он пискливым голосом.

Половой молча подал ему.

Между тем у Бакланова, с приходом этого лица, как бы язык прилип к гортани.

– Вы видели ее в Гризельде? – продолжал он гораздо тише и как-то не так бойко.

– Видел! – отвечал по-прежнему громко Бирхман.

– Ведь это чорт знает что такое! Летучая мышь! – говорил Бакланов, не возвышая голоса.

В это время явился Венявин – усталый, запыхавшийся; волосы его торчали в разные стороны…

– Как нельзя лучше все устроилось, – говорил он, подходя прямо к Бакланову: – юристы подписались на семьдесят пять рублей,

математики тоже изъявили согласие, и медиков человек двадцать будет в театре.

– Ну, умница! паинька! – сказал Бакланов: – дай ему за это чаю! – обратился он к половому.

– Нет, лучше водочки дайте! – говорил Венявин, как бы начиная уж кокетничать, а потом, так как около Бакланова не было места, он сел рядом с Проскриптским. Тот ядовито на него посмотрел.

– Что это вы так хлопочете? – проговорил он своим обычным дискантом.

Венявин, по своему добродушию, сейчас же сконфузился.

– Что делать, нельзя! – отвечал он.

– Хлопочет, как и все порядочные люди! – обратился, наконец, Бакланов к Проскриптскому, гордо поднимая голову.

– Вы бы уж лучше в гусары шли, – обратился тот опять к Венявину.

– А вы думаете, что нас и гусаров одно чувство заставляет? – перебил его Бакланов.

– У тех оно естественнее, потому что оно чувственность, – возразил Проскриптский.

– Искусством актера, значит, наслаждаться нельзя? – сказал Бакланов.

– Хи-хи-хи! – засмеялся Проскриптский. – Что же такое искусство актера?.. Искуснее сделать то, что другие делают… искусство не быть самим собой – хи-хи-хи!

– В балете даже и этого нет! – возразил Бакланов.

– Балет я еще люблю; в нем, по крайней мере, насчет клубнички кое-что есть, – продолжал насмехаться Проскриптский.

– В балете есть грация, которая живет в рафаэлевких Мадоннах, в Венере Милосской, – говорил Бакланов, и голос его дрожал от гнева.

– Хи-хи-хи! – продолжал Проскриптский: – в риториках тоже сказано, что прекрасное разделяется на возвышенное, грациозное, милое и наивное.

– Ну, пошел! – проговорил Бакланов, старясь придать себе тон пренебрежения. – А, Варегин! – прибавил он, дружелюбно обращаясь к вошедшему, лет двадцати пяти, студенту, с солидным лицом, с солидной походкой и вообще, всею своею фигурой, внушающему какое-то почтение к себе.

– Gut Morgen! – проговорил пришедшему приветливо и Бирхман, который, во время спора Бакланова с Проскриптским, отчаянно и молча курил, хотя в то же время его нежное лицо то краснело, то

бледнело. Не надеясь на свое вмешательство словом, он, кажется, с большим бы удовольствием отдубасил Проскриптского кулаками.

– Здравствуйте! здравствуйте! – говорил между тем Варегин, подавая всем руку. – Здравствуйте уж и вы! – прибавил он, обращаясь к Проскриптскому.

– Здравствуйте-с! – отвечал тот и опять постарался засмеяться.

– В грацию уже не верит! – сказал Бакланов, показывая Варегину головой на Проскриптского.

– Во вздор верит, а в то, что перед глазами – нет! – отвечал Варегин, спокойно усаживаясь на стул.

– Что такое верит? Я не знаю, что такое значит верить; или, в самом деле, вера есть уповаемых вещей извещение, невидимых вещей обличение! хи-хи-хи!

– Мы говорим про веру в мысль, в истину, – подхватил Бакланов.

– А что такое мысль, истина? Что сегодня истина, завтра может быть пустая фраза. Ведь считали же люди землю плоскостью!

– Стало быть, и Коперник врет? – спросил уж Варегин.

– Вероятно!

– Но как же пророчествуют по астрономическим вычислениям?

– Случайность!

– Случайность, вы полагаете? – произнес протяжно Варегин.

Студентов, так как уж было около четырех часов, набиралось все больше и больше. Дым густыми облаками ходил по комнате. Меньше всех обнаруживали участие к спору двое студентов-медиков. Они благоразумно велели подать себе, на одном дальнем столике, водки и борщу, и только молча показывали друг другу головой, когда, по их расчету, следовало пропустить по маленькой. Около Проскриптского поместились двое его поклонников, один – молоденький студент с впалыми глазами, а другой – какой-то чрезвычайно длинноволосый, нечесаный и беспрестанно заглядывающий в глаза своему патрону. Бирхман с досады пил с Ковальским седьмую бутылку пива. Бакланов тоже ел ростбиф и пил портер.

– Вот ведь что досадно: зачем же вы верите в социализм-то, в кисельные берега и медовые реки? – говорил он Проскриптскому.

– Э, верить! Разговоры только это! упражнение в диалектике! – подхватил Варегин.

– Что ж такое диалектика? Человечество до сих пор только и занималось, что диалектикой, – подтвердил Проскриптский.

– А железные дороги тоже диалектика? – спросил Варегин.

– Полезная слесарям и инженерам! Хи-хи-хи! – смеялся

Проскриптский.

– Но ведь, чорт возьми, они связывают людей, соединяют их! – воскликнул Бакланов.

– А зачем человечеству нужно это? Дикие, живущие в степях, конечно, счастливее меня! – возразил, как бы с наивностью, Проскриптский.

– Именно! – подхватил, почему-то вдруг одушевившись, студент с впалыми глазами.

– Ну да, разумеется! – подтвердил за ним и длинноволосый.

Венявин, выпивший две рюмки и совсем от этого захмелевший, толковал Ковальскому:

– Я люблю науку… люблю…

– Отчего же вы из римского права единицы получаете? – окрысился на него Проскриптский.

– Ну да, что ж такое! И получаю, а все-таки люблю науку! – говорил Венявин.

В другом месте между кучками студентов слышалось:

– Редкин чудо как сегодня говорил о колонизациях.

– Что ж, в чем это чудо заключалось? – обратился вдруг к ним Варегин.

– Да он говорил в том же духе, как и Грановский! – отвечали ему.

Варегин усмехнулся.

– Тех же щей, да пожиже влей! – произнес он.

– Грановский душа-человек, душа! – подтвердил Венявин.

– Старая чувствительная девка! – сказал Проскриптский.

Варегин при этом только посмотрел на него.

Бакланов, которому надоели эти споры, встал и, надев шинель, проговорил:

– Кто ж, господа, будет в театре?

– Мы! и мы! – отозвались почти со всех сторон, но потом вдруг мгновенно все смолкло.

– Тертиев поет! – воскликнул Венявин и, перескочив почти через голову Ковальского, убежал.

Бакланов пошел за ним же.

В бильярдной они увидели молодого, белокурого студента, который, опершись на кий и подобрав высоко грудь, пел чистым тенором:

«Уж как кто бы, кто моему горю помог».

Слушали его несколько студентов. Венявин шмыгнул с ногами на диван и превратился в олицетвореннное блаженство.

В соседней комнате Кузьма (знакомый нам половой), прислонившись к притолоке, погрузился в глубокую задумчивость. Прочие половые также слушали. Многие из гостей-купцов не без удовольствия повернули свои уши к дверям. Не слушал только – Проскриптский, сидевший уткнув глаза в книгу, и двое его почитателей, которые, вероятно, из подражания ему, вели между собою довльно громкий разговор.

Начали, наконец, засвечать огни.

Бакланов пошел домой и на лестнице встретился с Проскриптским.

– И вы уходите? – проговорил было он ему довольно вежливо.

– Да, ухожу-с! – отвечал тот обыкновенным своим смешком.

Сойдя с лестницы, они разошлись: Бакланов пошел к Кремлевскому саду, а Проскриптский на Арбат.

– Кутейник! – проговорил себе под нос Бакланов.

– Барченок! – прошептал Проскриптский.

А из трактира, между тем, слышалось пение Тертиева: «Руки, ноги скованы, его красная рубаха вся-то поизорвана!»

2. Милое, но нелюбимое существо

Луна, точно гигантов каких, освещала кремлевские башни. Дорожки сада она покрывала белым светом. Еще не совсем облетевшие кусты деревьев представлялись черными кучами. Бакланов шел быстро и распустив свою шинель. Его благородная кровь (предок Александра, при Иоанне Грозном, был повешен; другой предок, при Петре, отличился под Полтавой, а при Екатерине Баклановы служили землемерами), – его юношеская кровь легко и свободно текла в здоровом теле. Пройдя сад, он повернул в один из переулков и вошел в калитку небольшого деревянного домика. Эта была его квартира, которую он нанимал, с самого своего поступления в университет, у пожилой польки-вдовы, пани Фальковской. Если уж непременно необходимо что-нибудь сказать о свойстве этой дамы, то, во-первых, она очень любила покушать.

– Цо то значе, яко мало едзо млоды людзи! – говорила она, относя эти слова к постояльцу и к дочери, и если в супе оставался хоть один маленький кусочек мяса, она его сейчас же вытаскивала и доедала.

После обеда она любила заснуть и при этом так засыпала свои маленькие глазки, что, встречаясь в таком виде с Баклановым, даже совестилась.

– Ой, не глядите, не глядите, стыдно! – говорила она, закрывая

лицо руками и отвертываясь.

На каждом окне у нее были цветы и канарейки, а по всему дому, не выключая и сеней, постланы ковры.

Бакланов, собственно, занимал две комнаты. Одна из них была убрана стульями и маленьким фортепьяно; а в другой стояли в порядке: прибранный письменный стол, перед ним вольтеровское кресло, по стене мягкий, покойный диван, на котором лежала прелестно вышитая шерстями подушка, подарок хозяйкиной дочери, панны Казимиры, о которой я упоминал уже в первой части моего романа. В углу комнаты, на нарочно постланной подстилке, лежала лягавая собака, которая, при появлении хозяина, сейчас же вскочила и начала прыгать.

– Здравствуй, Пегасушка, здравствуй! – говорил Бакланов, раскланиваясь перед ней.

Собака тоже перед ним раскланивалась, опускаясь на передние лапы и слегка полаивая.

Благообразный лакей, которого Александр нарочно выбрал для себя из дворовых мальчиков, снял с него сюртук, подал ему надеть вместо него черный стеганый архалук и зажег на столе две калетовские, в серебряных подсвечниках, свечки.

Вообще во всем этом обиходе домашней жизни молодого человека была заметна порядочность и некоторое стремление к роскоши и щегольству.

– Александр Николаевич, вы пришли? – послышался из соседней комнаты женский голос.

– Пришел-с.

– Можно к вам?

– Сделайте одолжение.

Дверь отворилась, и в комнату вошла девушка лет девятнадцати, скромная на вид, не красавица собой, но и не дурная, довольно со вкусом одетая в холстинковое платье: это была панна Казимира. Она сейчас же села на вольтеровское кресло. Лягавая собака не замедлила подойти к ней. Казимира приласкала ее.

– Что вы не приходили обедать?.. Мамаша ждала, ждала вас, – говорила она.

– А теперь она спит?

– Спит…

– Вверх брюшком?

– Да, – отвечала Казимира с улыбкой: – но где же вы были целый день? – прибавила она.

– Возился все с театром, – отвечал Бакланов.

– Ну, что это! Что вам за охота! – проговорила девушка и покачала головой.

– Как, что за охота! Надобно же показать, что мы дорожим нашими талантами, а то это проклятое чиновничество чорт знает что наделает! – отвечал Бакланов, беря лежавшую на диване красную феску и надевая ее себе на голову.

Казимира невольно потупилась. Молодой человек, в этой надетой несколько набекрень красной шапочке, которая еще более оттеняла его черные, вьющиеся волосы, был очень красив.

Он уселся на диване в небрежной позе.

– Вы, верно, влюблены в эту Санковскую? – начала опять Казимира.

– Хм… – усмехнулся Бакланов. – Вы, кажется, должны хорошо знать, что я ни в кого не могу быть влюблен, – прибавил он, бросая на девушку выразительный взгляд.

Существующие в настоящее время между молодыми людьми отношения были довольно странны: Казимира влюбилась в Бакланова с первых же дней, как он поселился у них. Со своею богатою обстановкой, со своим крепостным лакеем, он, умный, добрый и красивый, казался ей каким-то миллионером и в то же время полубогом, более даже чем Венявину. Бакланов, со своей стороны, особенно после его неудачной любви к Соне, тоже шутил с ней… любезничал… смеялся… Все это, как бы напитанные ядом стрелы, входило в сердце пылкой панны. Раз – это было в полутемноватом московском гостином дворе, где они, в сопровождении старухи Фальковской, ходили кое-что закупать, Казимира шла под руку с Баклановым и все старалась оставить мать позади, а потом вдруг крепко-крепко оперлась на его руку.

– Скажите мне, – говорила она: – что это такое со мной?.. С тех пор, как вы у нас живете, я так счастлива, так всех люблю!..

Бакланов на это только усмехнулся.

– Неужели я в вас влюблена? – прибавила Казимира.

Александр покраснел.

– Послушайе, – начал он, голос его слегка дрожал: – вы чудная, прекрасная девушка, и я хочу быть в отношении вас благороден: не любите меня… я люблю другую… – проговорил он и вздохнул.

– Кого же? – спросила Казимира, совсем уничтоженная.

– После… после вы все узнаете, – отвечал Александр и остановился, чтобы подождать старуху Фальковскую.

После это настало невдолге. В одни сумерки они остались вдвоем. Казимира, под влиянием своих тяжелых дум, сидела тихо за работой, а Бакланов ходил взад и вперед по комнате.

– Вы видели у меня эту вещь? – заговорил он, останавливаясь перед ней и вынимая из-под жилета висевший на груди его маленький медальон.

– Что такое тут? – спросила Казимира, устремляя на него невольно нежный взор.

– Посмотрите! – И Бакланов раскрыл медальон.

Там хранилась знакомая нам записочка Сони. Он бережно вынул ее и подал Казимире.

– Это от той, которую вы любите? – проговорила она, более машинально прочитав написанное.

– Да, – отвечал Бакланов.

– Зачем же она так пишет? – спросила, после короткого молчания, Казимира, и точно при этом спряталась в свои кресла.

– Что делать! Обстоятельства!.. Жизнь!..

– О, какие могут быть для этого обстоятельства. – воскликнула Казимира.

В голосе ее слышалась грусть и насмешка.

– А такие… – отвечал Бакланов и не докончил.

– Вы и теперь еще переписываетесь? – спросила Казимира. Лицо ее при этом побледнело.

– Нет.

– Но чем же все это должно кончиться?

– Не знаю! Ох, хо-хо-хо! – произнес Бакланов со вздохом.

Разговор, в этом роде, опять в непродолжительном времени возобновился между молодыми людьми и стал повторяться довольно часто. Александр чувствовал какое-то особенное наслаждение говорить с Казимирой об ее сопернице.

В настоящий вечер, быв особенно в припадке чувствительности, он не преминул заговорить о том же.

– Кто раз любил хорошо, тому долго не собраться с силами на это чувство! – произнес он.

– Вы каких лет ее полюбили? – спросила Казимира. Она, в свою очередь, тоже находила какое-то болезненное удовольствие слушать Александра, когда он рассказывал о любви своей к другой, хотя по временам это становилось ей очень и очень тяжело.

– Почти что с детских лет, – отвечал Бакланов, разваливаясь на диване. – Мы росли с ней вместе и, разумеется, как дети, играли в

разные игры, между прочим и в свадьбы: будто я муж, она жена… заберемся в темный угол и сидим там…

Казимира склонила голову на руку, и, кажется, вся кровь прилила ей к лицу.

– Потом, – продолжал Бакланов, – я жил с матерью в деревне; только раз гулял в поле, прихожу домой, говорят: Басардины приехали; вхожу и вижу, вместо маленькой девочки – совсем сформировавшуюся, и не с двумя, а с одною уже косой, с длинными, белыми, чудными ручками!.. (При этом он невольно взглянул на исколотые иголкою и слегка красноватые пальцы Казимиры). Мне так как будто бы что-то в сердце ударило… чувство настоящее заговорило.

– Да, понимаю, – отвечала Казимира со вздохом, припоминая собственное чувство к Александру.

– Ну, потом, я учился в гимназии, а она в пансионе, и ездила к нам… В доме у нас огромная зала… ходим мы с ней, бывало, и она все меня спрашивает: кто мой идеал? – Бакланов так при этом одушевился, что даже привстал. – Я говорю: – «Вы его знаете, видали». – «Где?.. Когда?..» – «В зеркале», говорю!

Казимира в это время держала свою голову обеими руками. О, для чего это счастье не выпало на ее долю.

– Она сконфузилась, – говорил Бакланов: – а в то же время было стихотворение: Не говори ни да ни нет! Я уж к ней стал приставать: да или нет? – спрашиваю. – «Да», – говорит.

Казимира вздохнула.

– Ну, и что же?

– А то же, что были минуты полного, безумного счастья!

– Как, неужели дошло до конца? – проговорила с некоторым удивлением Казимира.

– Да!

Бакланов так привык по этому случаю прилыгать, что даже и сам не замечал, когда делал это.

– Как же она в таком виде вышла за другого? – проговорила Казимира, уже вставая. Сердце ее не в состоянии было долее переносить эту муку.

– Вы читали, как она вышла, – отвечал Бакланов. – Но погодите, постойте! куда же вы? – прибавил он, беря Казимиру на руку.

Та отвернулась от него, как бы затем, чтоб он не видел ее лица.

– Посидите! – сказал он и посадил ее почти силой на диван.

– Нет! пустите, пустите! – проговорила вдруг Казимира и пошла:

на глазах ее видны были слезы.

Бакланов посмотрел ей задумчиво вслед.

– Будь покойна, мое кроткое существо… я не погублю тебя! – произнес он тоном самоотвержения.

Но в самом деле Казимира просто не нравилась ему своей наружностью.

3. Андреянова на московской сцене

К подъезду Большого театра, почти беспрерывной цепью, подъезжали кареты. По коридорам бегали чиновники, почему-то почище и посвежее одетые. Зала театра, кроме люстры, была освещена еще двумя рядами свеч. Из директорской ложи виднелись полные и гладко выбритые физиономии. Декорации, изображавшие какой-то трудно даже вообразимый, но все-таки прелестный и полный фантастических теней вид, блистали явною новизной. Кордебалет, тоже весь одетый до последней ниточки в свежий газ и трико, к величайшему наслаждению сидевшего в первом ряду, с отвислою губою, старикашки, давно уже поднимал перед публикой ноги и, остановившись в этой позе, замирал на несколько минут, а потом, вдруг повернувшись, поднимал ножки перед стоявшим в мрачной позе героем балета, чтоб и его не обидеть; затем, став на колена и раскинув над собой разноцветные покрывала, изображал как бы роскошнейший цветник.

Бакланов и Венявин, оба в мундирах, в белых перчатках и при шпагах, сидели во втором ряду. Подмастерье от Финкеля, хотя и во фраке, но сидел на купоне. В райке, с правой стороны, виднелись физиономии Бирхмана и Ковальского, а с левой – сидела почти целая шеренга студентов-медиков. Математики наняли себе три ложи. Из молоденьких юристов человек десять сидели в креслах. Наконец примадонна, высокая, стройная, не совсем только грациозная, вылетела. Костюм ее был прелестен. Как-то порывисто вытянув свою правую ногу назад, она наклонилась к публике, при чем обнаружила довольно приятной формы грудь, и стала на другой ноге повертываться. В директорской ложе ей слегка похлопывали. В публике сначала застучали саблями два офицера, имевшие привычку встречать аплодисментами всех примадонн. Хлопали также дежурный квартальный и человека три театральных чиновника, за которыми, наконец, грохнуло и купечество, когда примадонна очень уже высоко привскочила. Заговорщики еще себя сдерживали: между ними

положено было дать ей протанцевать целый акт и потом, как бы убедившись в ее неискусстве, прявить свое мнение.

– Бум! бум! бум! – ревели барабаны. Примадонна делала частенькие, мелкие па; потом, повернувшись, остановилась лицом перед публикой, развела руками и ангельски улыбнулась; наконец, все больше и больше склоняясь, скрылась вглубь сцены. Ей опять захлопали. Заговорщики все еще продолжали не заявлять себя, но когда кордебалет снова высыпал со всех сторон на авансцену, делавшуюся все темнее и темнее, потолокся тут, раскинулся потом на разнообразнейшие группы, и когда посреди их примадонна, выбежав с жен-премьером, поднялась на его руках в позе улетающей феи, и из передней декорации, для произведения большего эффекта, осветили ее электрическим светом, – Ковальский в райке шикнул в свою машинку на весь театр. Его поддержали шиканьем человек двадцать медиков, а из купона раздался свист подмастерья. Частный пристав бросился туда.

– Кто это, господа, тут свистит? – сказал он.

– Это, должно быть, вы сами свистнули; здесь никто не свистел, – отвечал ему господин совершенно почтенной наружности.

Частный пристав, очень этим обидевшись, вышел в коридор.

– Пошлите пожарных на лампу, чтобы хлопали там! – крикнул он квартальному.

– Примадонне дурно! опустите занавес! – слышалось на сцене за декорациями.

– Нет, ничего, дотанцует! – возражал другой голос, и примадонна, в самом деле, хотя и очень расстроенная, но дотанцовала, пока не унесена была слетевшими духами на небо. Занавес упал. Пожарные еще похлопывали над люстрой. Публика хлынула в кофейную; послышались разнообразнейшие толки.

– Помилуйте, за что это? У ней есть грация и уменье! – толковал театральный чиновник.

– Ничего у нее нет, ничего! – возражал ему запальчиво Бакланов.

– Все есть, все! – повторил чиновник.

– Может быть, все, только не то, что надо, – отвечал ядовито Бакланов.

В коридоре полицеймейстер распекал частного.

– Студенты, помилуйте, студенты! – оправдывался тот.

– Начальство их надо сюда! – говорил полковник, и ко второму акту в задних рядах показался синий вицмундир суб-инспектора.

Бакланов и Венявин торжествовали.

Примадонна, оскорбленная, огорченная и взволнованная, делала все, что могла. Танец ее был страстный: в каком-то точно опьянении, она то выгибалась всем телом и закатывала глаза, то вдруг с каким-то детским ужасом отбегала от преследующего ее жен-премьера, – но агитаторы были неумолимы: в тот самый момент, когда она, вняв мольбам прелестного юноши, подлетела к нему легкою птичкой – откуда-то сверху, из ложи, к ее ногам упала, громко звякнув, черная масса. Примадонна с ужасом отскочила на несколько шагов. Жен-премьер, тоже с испугом, поднял перед публикой брошенное.

– Мертвая кошка! – произнес чей-то голос на креслах.

Общий хохот раздался на всю залу.

– Браво! Мертвая кошка! Браво! – кричал неистово в креслах Бакланов, так что все на него обернулись.

– Мертвая кошка! – повторял за ним Венявин.

С примадонной в самом деле сделалось дурно. В директорской ложе совершенно опустело: оттуда все бросились наверх, откуда была брошена мертвая кошка.

– Мертвая кошка! – продолжал кричать Бакланов.

– Пожалуйте к суб-инспектору, – сказал подошедший к нему капельдинер.

– Убирайся к чорту! – отвечал ему Александр.

На сцене между тем бестолково прыгал кордебалет. Суб-инспектор, пробовавший было вызвать по крайней мере хоть кого-нибудь из математиков, сидевших в ложах в бель-этаже и перед глазами всей публики хохотавших, но не успев и в том, поскакал на извозчике в университет, доложить начальству. Соло за примадонну исполнила одна из пансионерок.

Когда занавес упал, Бакланов сделал знак Казимире и пани Фальковской, сидевшим в третьем ярусе и для которых он нарочно нанимал ложу, а потом, мотнув головой Венявину, гордо вышел из залы.

Через несколько минут с ним сошлись в сенях его дамы, и все они поехали в карете домой. Пани Фальковская, расфранченная и очень довольная, что побывала в театре, всплескивая коротенькими ручками, говорила:

– Как это возможно! За что ее, бедную, так?

– А за то, что тут правда, истина, которые одни только имеют законное право существовать, они тут страдают! – толковал ей запальчиво Алескандр.

Казимира с чувством и грустью глядела на него. Она искренно

видела в нем поборника истины и борца за правду. О, если б он любил ее хоть сколько-нибудь!

4. Платон Степанович

– Это что еще? А? Что вы еще придумали? – говорил инспектор студентов, в своем флотском мундире, застегнутом на все пуговицы, горячась перед стоявшими перед ним в довольно комических позах Бирхманом, Венявиным, Ковальским, двумя-тремя медиками и несколькими математиками. Впереди всех их, впрочем, стоял Бакланов.

– Позвольте, Платон Степаныч! – говорил он, прижимая руку к сердцу и все больше и больше выступая вперед.

– А вот и нет!.. Не позволю! – говорил ему тот, в свою очередь, тоже с раскрасневшимся лицом.

– А как же это?

– А так же!.. Ты скажешь мне два слова, а мне после тебя и говорить нечего будет.

– Странно! – проговорил Бакланов, пожимая плечами, и потом прибавил довольно громко вслух: – Я не солдат, а вы еще не полковник, чтобы говорить мне **ты**.

– Не полковник! – произнес Платон Степанович, кидая на него свирепый взгляд.

Стрела была пущена прямо в цель: полковничий чин был для него до самой смерти какою-то неосуществимою мечтой.

– Вы-то это что? Вы-то? – накинулся он на Бирхмана. – Правительством взяты, воспитаны, взлелеяны, и вот благодарность!.. Ведь солдат на всю жизнь!.. на всю жизнь! – прибавил он, грозно потрясая рукой.

Он имел привычку – мрачную картину всегда еще больше поразукрасить; но Бирхмана это нисколько, кажется, не пробрало.

– Не знаю, что я против правительства сделал, – проговорил он.

– А, не знаете! – прикрикнул Платон Степанович: – а вейнхандлунг так знаете!

– Вы сами-то пуще ее знаете! – бухнул прямо Бирхман.

– Я знаю… разумеется… – произнес Платон Степанович каким-то странным голосом: улыбка, как он ни старался скрыть, проскользнула по его лицу.

Бакланов в это время опять уже на него наступал.

– Если теперь, Платон Степаныч…

– Ну-с! – отвечал ему тот, совершенно позабыв, что сейчас только запрещал ему говорить.

– Если теперь писатель, – говорил Бакланов, – из которых, например, Иван Андреич Крылов – действительный статский советник, Иван Иванович Дмитриев – тайный советник…

На слова «действительный» и «тайный советник» он нарочно попридударил.

– Ну, ну-с! – торопил его Платон Степанович.

– И тех можно хвалить и порицать, – продолжал Бакланов, – а какую-нибудь танцовщицу, которая умеет только вертеть ногами, нельзя.

– Тут не в танцовщице, сударь, дело! Тут императорский театр! – крикнул Платон Степанович.

– Да ведь императора тут нет! – возразил Бакланов.

– Он невидимо тут присутствует! – порешил Платон Степанович, и опять слегка улыбнулся. – Вот соколик-то! – продолжал он, указывая на Ковальского и, по возможности, стараясь сохранить строгий тон: – по театрам ходит, а из греческого единицы получает.

– Да я знаю-с, помилуйте, Платон Степаныч: спросите-с меня, – отозвался тот.

– Есть мне когда вас спрашивать! – сказал серьезнейшим образом Платон Степанович и потом вдруг крикнул: – Ермолов!

В дверях появился солдат.

– Вот возьми этого господина, – продолжал он, указывая на одного из медиков, – сведи его в цырульню и остриги его на мой счет. Вот тебе и четвертак! – прибавил он, и в самом деле подал солдату четвертак.

– Да как же это-с? – возразил было студент.

– Не прощу! Не прощу! – закричал Платон Степанович, хватая себя за голову и махая руками.

Студент, делать нечего, пошел.

Волосы студенческие были одним из мучительнейших предметов для благородного Платона Степановича: насколько он, по требованию начальства, желал, чтобы они были острижены, настолько студенты не желали их стричь.

– Ну, что мне с вами делать?.. что? – говорил он оставшимся перед ним студентам, как бы в самом деле недоумевая, что ему делать.

– Вы кто такой? – обратился он, тотчас же вслед за тем, к одному черноватому математику.

– Я русин, ваше высокородие, – отвечал тот певучим голосом.

Платону Степановичу ответ такой понравился.

– На чужой стороне, сударь, надобно скромно себя вести! – сказал он ему и снова возвратился к прежней своей мысли.

– Что мне с вами делать! Вы ступайте в карцер на день, на два, на три! – объявил он Бакланову.

– Я пойти пойду хоть на месяц, – отвечал тот, размахивая руками, – а уж свои убеждения имею и всегда буду иметь.

– Свои убеждения! – повторял ему вслед Платон Степанович. – А вы ступайте по домам! – объявил он прочим студентам. – Вам еще хуже будет! Еще!.. Еще!.. – повторял он неоднократно.

Что под этим: «еще хуже будет!» он всегда разумел, для всех обыкновенно оставалось тайной.

– Графу, я полагаю, доложить надо-с, – подошел к нему и сказал сладким голосом суб-инспектор.

– Знаю-с! – отвечал Платон Степанович с досадой и, выйдя на крыльцо, сейчас сел на своего неказистого коня и поехал.

«Свои убеждения, – рассуждал он дорогой почти вслух, – и я бы их имел, да вон тут господин живет!» – и он указал на генерал-губернаторский дом: – «тут другой», – прибавил он и ткнул по воздуху пальцем в ту сторону, где была квартира генерала Перфильева.

– Свои убеждения! – повторил он.

Здесь мы не можем пройти молчаньем: мир праху твоему, добрый человек! Ты любил и понимал юность! Ты был только ее добродушным распекателем, а не губителем!

5. Знай наших!

Через два-три дня назначен был бенефис Санковской. Само небо, как бы покровительствуя заговорщикам, облеклось густыми и непроницаемыми тучами. Фонари тускло светились. На Театральной площади то тут, то там виднелись небольшие кучки студентов.

– К третьему акту, что ли, велено сходиться?

– Да, да! А то, пожалуй, прогонят, – слышалось в одной из них.

– Платон приехал! – объявил, подходя, высокий студент.

– У кого подарок-то? У кого?..

– У Бакланова, разумеется!

– Финкель уже там: у него человек двадцать в райке рассажено.

В театре, между тем, было немного светлей, чем и на улице. Музыканты играли как-то лениво. Старые декорации Девы Дуная чернели закоптелыми массами на плохо освещенной сцене. Одно

дерево, долженствовавшее провалиться, вдруг заупрямилось и, когда его стали принуждать к тому, оно совсем распалось на составные части, причем обнаружило свой картонный зад и стоявшего за ним мужика в рубахе, который, к общему удовольствию публики, поспешил убежать за кулисы.

Платон Степанович, действительно бывший в театре и сидевший в первом ряду кресел, пока еще блаженствовал, потому что, сверх даже ожидания его, все было совершенно тихо и благочинно. Помещавшийся в третьем ряду суб-инспектор был тоже спокоен, и только по временам с удовольствием взглядывал на начальника.

В последнем акте, наконец, бенефициантка должна была делать финальное соло, и вдруг из всех дверей, в креслах, стали появляться студенческие сюртуки. Платон Степанович завертелся на месте и едва успевал повертываться туда и сюда.

По среднему проходу, между креслами, прошел Бакланов. Платон Степанович не утерпел и погрозил ему пальцем, но тот сделал вид, как бы этого не заметил.

– Браво! браво! – рявкнула в райке компания Финкеля.

– Браво! браво! – повторили за ним в ложах.

Платон Степанович вскочил на ноги и, повернувшись лицом к публике раскрасневшеюся и потерявшеюся физиономией и беспрестанно повертывая голову точно за разлетавшимися птицами, стал глядеть на раек, на ложи, на кресла, а потом, как будто бы кто-то его кольнул в зад, опять обернулся к сцене. Там Бакланов, перескочив через барьер, отделяющий музыкантов, лез на возвышение к капельмейстеру и что-то такое протягивал в руке к сцене. Бенефициантка в это время раскланивалась перед публикой.

– Это дар наш! примите его в уважение вашего высокого дарования! – проговорил студент.

Бенефициантка приняла, поблагодарила с грациозною улыбкой его и публику, и подаренную ей вещь надела на голову. Это был золотой венок, блеснувший небольшими, но настоящими бриллиантами.

– Браво!.. браво!.. Bis… – ревели в публике.

Платон Степанович махнул рукой и пошел из театра. К нему подошел суб-инспектор.

– Что прикажете делать-с?

– А что хотите! вы умней меня, – отвечал старик с досадой и ушел.

Суб-инспектор нашел возможным остаться только с распущенными руками и с потупленною головой. В публике между тем неистовство росло: когда занавес упал, к студентам пристала

прочая молодежь, и они по крайней мере с полчаса кричали: «Санковскую! Санковскую!.. браво!.. чудо!..»

К этим фразам иногда добавлялась и такая:

– Долой Андреянову, давай нам Санковскую!

По окончании спектакля, в Британии все больше и больше набиралось студентов.

– Каковы канальи! как занавес-то долго не поднимали, когда вызывать ее начали! – говорили одни.

– Раз семь вызывали? – спрашивали с величайшим любопытством не бывшие в театре.

– Восемь! – отвечали им.

– Финкеля в часть взяли!.. с квартальным схватился… стучал уж очень палкой, – сообщил спокойно Бирхман.

– Спасать его! пойдемте спасать! – раздалось несколько голосов.

– Ну его к чорту!.. откупится! – возразили более благоразумные.

Вошел Бакланов.

– А, Бакланов!.. молодец!.. молодец!.. – закричали ему со всех сторон.

– Знай наших! – произнес он самодовольно и, как человек, совершивший немаловажное дело, сел на диван и поспешил вздохнуть посвободнее.

6. Тайная причина горя

Неустанно летит бог времени, пожрал он водолея, рыб, овна, тельца; с крыльев его слетели уже зефиры, флора стала убирать деревья и поля зеленью и цветами.

В круглой, с колоннами и темноватой зале старого университета совершалось таинство экзаменования. К четырем, довольно далеко расставленным один от другого столикам, студенты, по большей части с заискивающими лицами, подходили, что-то такое говорили, размахивали руками, на что профессора или утвердительно качали головой, или отрицательно поматывали ею вправо и влево. Студенты при этом краснели в лице и делали какие-то глупые глаза.

Бакланова вызвали почти из первых. Ответив довольно хорошо, он даже не поинтересовался посмотреть, много ли ему поставили, а молча, с серьезным видом, отошел от стола. Он знал, что один и два лишних балла ничего для него не сделают.

– Подождешь меня? – спросил Венявин, почти тотчас же после него следовавший по списку.

– Нет, – отвечал угрюмо Бакланов. – Найми лошадей, мы сегодня вечером выедем.

– Хорошо, – проговорил тот, привыкший безусловно во всем повиноваться приятелю.

Когда Бакланов возвратился домой, у пани Фальковской был уже накрыт стол. Александр молча сел за свой прибор и ничего почти не ел.

– Что, вы кончили? – спросила Казимира, не спускавшая с него глаз.

– Все, совсем… Сегодня последний экзамен был, – отвечал Бакланов и вздохнул.

После обеда он не уходил к себе в комнату и, как показалось Казимире, хотел поговорить с ней откровенно. Сердце ее невольно замерло.

– Вот вы теперь вступаете в жизнь, – начала она, впрочем, сама.

– Да, пора уж! А то так безумно провести, как я провел эти десять лет… – начал Бакланов.

Казимира посмотрела на него с удивлением.

– В гимназии решительно ничего не делал и не знал. Что и дома-то французскому языку выучили, и то забыл. В университете тоже… все это больше каким-то туманом осталось в моей голове.

– Но отчего же вы так умны? – перебила его Казимира.

– Умен! – повторил Бакланов, несколько сконфузясь, но и не без удовольствия: – я не знаю, умен ли я или нет, но я вам говорю факты. На первом курсе я занят был этою глупою любовью к кокетке-девчонке!..

Казимире это приятно было слышать.

– Потом, с горя от неудачи в этой любви, на втором и третьем курсах пьянствовал, и наконец этот год, – заключил он: – глупей ничего уж и вообразить себе нельзя: клакером был!

– Да, – подтвердила на это Казимира: – впрочем, что же ведь? Не вы одни: все так! – прибавила она.

– Нет, не все! – воскликнул Бакланов: – вот, Проскриптского видели вы у меня?

Казимира с гримасой покачала головой.

– Нечего гримаски-то делать. Он идет, куда следует; знает до пяти языков; пропасть научных сведений имеет, а отчего? Оттого, что семинарист: его и дома, может быть, и в ихней там семинарии в дугу гнули, характер по крайней мере в человеке выработали и трудиться приучили.

На все это Казимира отрицательно усмехнулась: по ее мнению, Александр и характеру больше имел, и ученей всех был.

– Или Варегин вон у нас, – совсем настоящий человек: умен, трудолюбив, добр, куда хочешь поверни, а тоже отчего? – уличным мальчишкой вырос, семьи не имел.

– Ну, что хорошего без семьи, что вы? – возразила Казимира.

– Нет, именно от семьи все и происходит! – воскликнул Бакланов. – У меня, бывало, матушка только и говорит: «Сашенька, батюшка, не учись, болен будешь!.. Сашенька, батюшка, покушай. Сашенька, поколоти дворового мальчишку, как это он тебе грубиянит», – вот и выняньчили себе на шею такого оболтуса.

– Что это, оболтус? – повторила Казимира, уже смеясь.

– Ну к чему я теперь годен, на что? – спрашивал Бакланов, по-видимому, совершенно искренним тоном.

– Служить будете, чтой-то, Господи! – отвечала она.

– Да я не умею: я ничего не смыслю. В корпусах, по крайней мере, ну, выучат человека маршировать – и пошлют маршировать, выучат мосты делать – и пошлют его их делать; а тут чорт знает чем набили голову: всем и ничем, ступай по всем дорогам и ни по какой.

– Не знаю! – сказала Казимира. Она окончательно перестала понимать, к чему все это говорит Бакланов.

– Только и осталось одно, – продолжал он, как бы думая и соображая: – сделаться помещиком… Около земли все-таки труд честный, и я знаю, что буду полезен моим полуторастам, или там двумстам душам, которые мне принадлежат.

– Ну и прекрасно! – воскликнула Казимира оживленным голосом: – а меня возьмите в экономки… Я бы за маленькую плату пошла…

– Непременно, очень рад! – отвечал Александр и затем, вздохнув, пошел к себе в комнату. Там он велел человеку укладывать вещи.

Невдолге Казимира, с бледным и испуганным лицом, заглянула к нему.

– Вы уж уезжаете? – спросила она.

– Да-с! – отвечал ей Бакланов почти грубо.

Часов в десять вечера на извощичьей тройке подъехал Венявин. Александр зашел к Фальковским только на минуту – отдать деньги и распроститься. У самой старухи он с некоторым чувством поцеловал руку.

– Благодарю вас за все, за все! – проговорил он.

– Ничего, ничего, что это, помилуйте! – отвечала та со слезами на глазах.

Казимире он ничего не сказал, но она ему сама сказала, крепко-крепко сжимая его руку:

– Смотрите же, возьмите меня в экономки.

Бедная девушка думала хоть на этой мысли успокоиться.

– Непременно, – отвечал ей Александр рассеянным голосом.

Когда они выехали за заставу, утренняя заря, которая в начале июня обыкновенно сходится с вечернею, показалась на горизонте.

– Прощай, Москва! – проговорил Бакланов и потом потер себе лоб. – Глупо, брат, мы с тобой сделали, что вышли не кандидатами! – прибавил он, обращаясь к Венявину.

– Что ж, ничего! – возразил тот.

– Нет, не ничего! – повторил Александр и вздохнул.

Он договорился наконец до истинной своей болячки: его мучило честолюбие. Проскриптского, вышедшего кандидатом, и Варегина, оставленного при университете, он не в состоянии был видеть, и переносил только Венявина за его бесконечную доброту и за то, что тот вышел под звездочкой.

Заря на востоке, точно пророчествуя молодым людям об их жизни вперед, все больше и больше разгоралась и открывала перед ними окрестности.

7. Усадьба Лопухи

Александр подъезжал к дому часов в пять ясного летнего вечера. От цветущей черемухи в небольшом перелеске и от соседних, под горою, лугов воздух был напоен почти опьяняющим благоуханием. Жаворонок, летя вверх прямою стрелой, отчаянно пел; яровые поля по сторонам ярко-ярко зеленели. Вишневый и яблочный сад представлялся издали какой-то темной зеленью. Из-за него показывалась красноватая, черепичная крыша дома. Когда подъехали к воротам, огромный дворовой пес, откуда-то выскочив, несся, как бы затем, чтобы разразиться лаем; но, увидев сидевшего на облучке лакея Бакланова, тотчас же завилял хвостом и начал весело около него прыгать. Сидевший в тарантасе лягаш Александра тоже соскочил к собрату, и, обнюхавшись, они сейчас же побежали несколько в сторону, как бы желая, после столь долгой разлуки, поскорее и по секрету что-то такое сообщить друг другу. Из прочих живых существ никого было не видать. Бакланов вылез из экипажа и вошел в дом через огромное среднее крыльцо, двери которого были насежь отворены. В зале, через открытые окна, всюду ходил свежий ветер, и

по всем столам были рассыпаны для высушки целые кусты розового листу.

– Как здесь славно! – невольно проговорил Бакланов, и пошел в гостиную. Там ключница Еремеевна, очень благообразная старушка, в очках, старательно чистила землянику.

– Ай, батюшки! – воскликнула она, точно ее кто испугал. – Маменьке сказать надо! – прибавила она, вставая и отряхивая подол, а потом сейчас же побежала частенькою походкой и начала сходить с лесенки балкона. Александр пошел за ней. Аполлинария Матвеевна, предуведомленная другой девчонкой, бежала, запыхавшись и подняв платье, по длинной аллее, идущей немного в гору.

Бакланов сделал к ней несколько шагов.

– Здравствуй, ангел мой! дружок мой! – говорила она, целуя сына, по обыкновению, со слезами; а потом, совсем раскиснув, оперлась на его руку и пошла с ним на балкон.

– Ух! ух! – говорила она, тяжело опускаясь на кресло.

Александр довольно почтительно сел около нее.

– Чаю, Еремеевна, чаю! – говорила Аполлинария Матвеевна.

– Сию минуточку, сию! – говорила старуха, и действительно, вслед же за сим, под ее надзором, молодая и краснощекая, как маков цвет, горничная, взглядывая исподлобья на молодого барина, притащила на балкон самовар и поставила на нарочно приготовленный для него столик. Самовар шипел, горячился, как будто бы своею искусственною жизнью хотел перещеголять окружавшую его со всех сторон настоящую, живую жизнь, в которой и пчелы жужжали в растущем около балкона чертополохе, и воробьи чирикали, рассевшись огромною кучей по палочкам в горохе, наконец из куртин с цветами и из травы на лугу слышались те мириады звуков, которыми дышит весенняя природа. Александр всем этим бесконечно наслаждался.

Еремеевна, притащив сдобных булок и густейших сливок, разлила чай и подала сначала барчуку, а потом Аполлинарии Матвеевне.

– Ай, нет! Мне квасу бы наперед, – сказала та, и в самом деле отдернула сначала два стакана квасу, а потом сейчас же принялась пить чай со сливками.

– Все уже ты свои ученья кончил, милый друг? – спросила она как-то робко сына.

– Все-с.

– Вон нынче какие по этому почтмейстерству места славные.

– Чем же это?

– Да вон Клементия Гаврилыча Хляева, знаешь, чай?.. Самый

пустой был дворянинишка… Через какого-то тоже благодетеля в Петербурге получил это место, и так теперь грабит, что и Господи! Прежде брали по две копейки с рубля, а он наложил по четыре… Что слез в народе, а ему хорошо.

– Канальям везде хорошо! – сказал Александр, невольно улыбаясь наивному объяснению матери.

– Вот бы тебе такое место, право!.. Хоть бы через братца, что ли!.. Написал бы ему и попросил, – прибавила она, и не подозревая, что такое говорит.

Александр посмотрел на нее строго.

– А вы считаете меня на это способным? – сказал он.

– Не знаю я… – отвечала тетеха.

Александр вздохнул и сошел с балкона. Тут он как-то особенно свистнул, и к нему, перескочив огромнейший тын, явился его Пегас.

– Пойдем… пойдем! – говорил Александр.

Собака визжала от удовольствия. Войдя в аллею, он остановился с ней перед одним деревом.

– Что это, птичка? – говорил он ей, указывая на сидевшую на самой вершине птицу.

Собака вытянула голову.

– Пиль! – крикнул Александр.

Собака привскочила и полаяла.

Александр схватил ее за морду и начал целовать.

Заглушив в себе мечты честолюбия, он хотел невинными радостями быть счастлив. Через небольшую калиточку он вышел из сада в поле. Грудь его свободно вдыхала свежий воздух; под горой, как озеро, разливался омут реки, на конце которого стояла живописно окрашенная вечерним освещением мельница.

Бакланов глядел на все это и не мог наглядеться, а потом, в приятном раздумье, повернувшись и весело взмахнув головой, пошел домой. Аполлинарию Матвеевну он застал еще на балконе. Ей, стоя внизу на траве, о чем-то, должно быть, докладывал дворовой человек. Александр, прищурившись, стал в него всматриваться и узнал в нем нашего старого знакомого, мрачного лакея. Семен ему вежливо, хоть и издали, поклонился.

– Здравствуй! – отвечал Бакланов и сел на балкон.

Семен продолжал докладывать.

– Навоз теперь вывозили-с.

– Вывозили! – повторила за ним Аполлинария Матвеевна.

– Теперь, значит, Косулинских послать можно – начать косить, а

дворовым велеть копань поднимать.

– Копань поднимать, – повторила опять Аполлинария Матвеевна.

Александру показалось очень уж скучно это слушать. Он вышел в залу. Там трехаршинный гайдук покойного Бакланова накрывал на стол, сильно нагибаясь своим длинным телом, когда ставил тарелки и расставлял солонки.

– Здравствуй, Петруша! – сказал ему приветливо Бакланов.

Саженный Петруша подошел и поцеловал у него руку.

– Я ружье тебе в подарок привез, – отличное! – проговорил Александр.

– Благодарим, батюшка, покорно! – сказал Петруша, и лицо его сильно просветлело. – Дичи как-то нынче совсем очень мало стало, – прибавил он, пожимая плечами.

– Найдем! – подхватил барин.

Петруша, летая как метеор, стал накрывать на стол, а через минуту все было готово. Александр и Аполлинария Матвеевна сели. Довольно занимательно было видеть вместе мать и сына. Один – столичный франт, в легоньком пальто, с вьющимися, как у художника, волосами, с благородною, как бы несколько шиллеровскою физиономией, другая – расплывшаяся квашня, с красно-багровым и ничего не выражающим, кроме физического пресыщения, лицом. Одета Аполлинария Матвеевна на этот раз была в роскошный капот и в вышитую на подоле юбку, довольно плотно облегавшую ее круглый живот. Живот этот Александр никогда не мог видеть равнодушно.

– А что, Софи Леневу давно ли вы видели? – спросил он.

– Давно… продали они здешнее именье-то… сестру посадили в сумасшедший дом, а сами уехали… Нехорошо, говорят, живут-то, все ругаются… промотались, говорят, совершенно… Он-то старый этакой, а она-то франтиха да щеголиха.

Бакланов вздохнул. Он много рассчитывал на свидание с Софи.

– Надежда-то Павловна, ну-ка, Саша, померла: тосковала по дочери; та-то ее не взяла, и кончила жизнь. Нынче детушки-то, жди от них благодарности: ты им все делай, а они ничего!

Аполлинария Матвеевна любила завывать на эту тему, и Александр обыкновенно останавливал ее тем, что сердито начинал смотреть на нее.

– А где же сам Басардин? – перебил он ее.

– Он-то жив, что ему сделается… Не знаю только где.

В это время вошел молодой лакей Александра, успевший уже прифрантиться в модную жакетку.

– Где изволите почивать: в спальне или в сушиле?

– В сушиле, – сказал ему Александр: – и не вели там ни кож, ни веников убирать… Я люблю, чтобы все это было.

– Слушаю-с.

– У меня в сушиле хорошо, отлично, – заметила Аполлинария Матвеевна.

После ужина, простившись с матерью, Александр отправился на свой ночлег. На дворе было совершенно темно. За ним шел его молодой лакей и гайдук Петруша. Последний нес свечу, заслоняя ее рукой, чтобы не задуло.

– Ну что, как поживаешь? – спросил Александр, трепля его по плечу.

– Что, какое уж, батюшка, наше житье, – отвечал печальным голосом этот могучий человек.

– Ничего, погоди, теперь лучше будет.

– Да только на вашу милость и надежду имеем, – сказал Петруша, и когда они все влезли в сушило, которое было не что иное, как верх над погребом, то представившаяся картина, при освещении сальной свечи, была оригинальна: кровать, с белыми как снег подушками и с белым одеялом, как-то резко отделялась от пыльных стен, от висевших на стене бараньих шкур, от стоявшей в одном углу кадки с дегтем, от наваленного в другом углу колесного ската; но все это, впрочем, дышало каким-то оживительным и здоровым запахом. Александр поспешил раздеться и отправить прислугу.

– Прощенья просим, – проговорил Петруша и слез с молодым своим камрадом с сушильни.

«В деревне славно жить!» – подумал Александр и с удовольствием зевнул.

8. Что прежде всего

От Обуховских болот, кругом мельниц, по небольшой тропинке шел Александр в низенькой охотничьей шляпе с зеленой лентой, в сером, с зеленой выпушкой, рединготе и в высоких болотных сапогах; через плечо у него было перекинуто щегольское английское ружье на шерстяной перевязи, вышитой тою же искусною рукой влюбленной Казимиры. За ним могуче шагал длинный Петруша, тоже с новым ружьем и тоже в каком-то сереньком чепане. Пегас, подняв морду и грациозно переступая ножками, шел верхним чутьем по болоту. Бакланов остановился, снял свою шляпу и отер катившийся с лица пот.

– Немного же мы с тобой, Петруша, настреляли, – сказал он.

– Совсем нынче птицы мало стало, – повторил тот свою любимую фразу.

Они снова взяли ружья на плечи и пошли. Пегас вдали что-то пролаял.

– Может, другой здесь дичи много! – проговорил Александр и посмотрел на Петрушу.

Тот тоже на него посмотрел.

– Что в юбках-то ходят, – прибавил Александр.

Петруша усмехнулся и почесал себя за ухом.

– Пожалуй, что добра этого есть не мало.

Пегас опять пролаял и с какою-то даже тоской в голосе.

Александр не обратил на это ни малейшего внимания.

– А кто же у нас получше?.. которая?.. – продолжал он расспрашивать.

– Да кто их – прах знает! Сам-то я этими делами не занимаюсь.

Встретился маленький лесок, и путники должны были разойтись, а потом они снова соединились.

– Если не для себя, так, по крайней мере, для приятеля бы: вот хоть бы для меня постарался.

– Что ж, это можно будет, – отвечал Петруша, улыбаясь какою-то кривою улыбкой.

– Да кто же у вас, какие есть? – продолжал Бакланов, быстро идя и, со свойственною его темпераменту живостью, весь пылая.

– Сами вы ведь всех знаете, – отвечал Петруша уклончиво.

– У скотницы, я видел, дочка недурна… Машей, кажется, зовут.

– Да, Марьей-с… девушка уже в возрасте, – ответил Петруша.

– Нельзя ли как? Переговори-ка!..

Петр молчал.

– Пожалуйста! – повторил Александр.

– Ой, барин, какой вы, право: все в папеньку… – проговорил Петруша.

– А что ж?

– Да так-с. Баловник тоже покойный, свет, был.

– Ну, если папенька делал, так отчего же и мне нельзя.

– Известно-с! – отвечал гайдук с совершенно искренним лицом.

Подойдя к усадьбе, Александр опять повторил ему:

– Ты сегодня же переговори.

– Слушаю-с, – отвечал неторопливо Петруша.

– Сейчас же.

– Слушаю-с! – повторил еще раз Петр. Ему, впрочем, не совсем, кажется, хотелось исполнять это щекотливое поручение.

Александр, придя в дом, в свою комнату, и сбросив свой охотничьий костюм, стал в волнении ходить взад и вперед. Окна кабинета выходили на красный двор. Он беспрестанно заглядывал в них, все поджидая Петра, который сначала прошел к себе в избу, а оттуда, нескоро выйдя, прошел, наконец, и на двор.

– Ты туда? – выкрикнул ему полушопотом Александр.

Петр мотнул ему, вместо ответа, головой. В это время выплыла на двор Аполлинария Матвеевна погулять. Александр спрятался за косяк, чтоб она не увидала его и не вступила с ним в разговор. Петр не возвращался с полчаса. Наконец он показался. У Александра сердце замерло. Петр сначала прошел кругом всего двора, а потом, будто случайно, повернул и вошел в горницы.

– Ну что? – спросил Александр с захватывающимся дыханием.

Выражение лица Петруши было мрачно.

– Говорил-с! Дуры, ведь!

– Что ж она говорит?

– Да своей матки и вашей маменьки опасаются…

– Да как же они узнают?

– Толковал ей-с… понимает разве что-нибудь!

– Ты деньги ей обещай.

– Что деньги-то? И толку, чай, в них еще не знает!

– Ну, хорошо же, – произнес Бакланов, ложась в волнении на диван.

– Не переговорите ли вы лучше сами-с! – произнес Петруша после короткого молчания.

– Да где ж я ее, к чорту, увижу!

– Целый день она торчит на пруду одна, уток стережет.

– Хорошо, там увидим. Ступай… На тебе, – сказал Бакланов, давая своему поверенному рубль серебром.

Тот с удовольствием его принял и ушел.

По его уходе в комнату влетел было отставший на охоте Пегас и хотел приласкаться к барину.

– Я тебя, чорт этакий! – закричал тот и потянулся за хлыстом, чтоб отдубасить им собаку.

Та убежала.

Александр был в очень раздраженном состоянии.

На другой день он целое утро ходил около гумна и видел, что Маша, действительно, сидит там одна на пруде, но подойти к ней он не

решался и, сев на прилавок у избы, любовался на ее еще не совсем свормировавшийся стан, на загорелую шею, на тонкое колено, обогнутое выбойчатым сарафаном.

Маша в то время сидела и шила. Наконец она встала и сама прошла мимо Бакланова.

– Ты куда? Домой? – спросил он ее.

– Да-са-тка-с! – отвечала она, потупляясь и вся раскрасневшись.

Перед вечером Петруша спросил Бакланова:

– Что, вы видели ее-с?

– Видел! Но мне решительно невозможно с ней говорить… Все замечают: я хуже этим ее обесславлю, если стану ухаживать за ней.

– Это точно что-с, – сообразил Петруша.

– Переговори, Бога ради, ты! Обещай, что всю семью их я отпущу на волю!

– Понапугать ее хорошенько надобно, вот что-с, – произнес гайдук, и в самом деле, должно быть, сказал что-нибудь решительное Маше, потому что на другой же вечер, с перекошенным от удовольствия лицом, он объявил барину:

– Подьте под мельницу, в лесок, дожидается она там вас.

Бакланов побежал бегом. Он еще издали увидел Машу, прижавшуюся к одному довольно ветвистому дереву.

Он ее прямо взял за обе руки.

– Вот и прекрасно! – бормотал он задыхающимся голосом.

Маша только и говорила:

– Ой, ой, нет! Ой, чтой-то, ой!

В следующие затем свидания Бакланов старался дать ей некоторую свободу и простор перед собой.

– Любила ли ты кого-нибудь кроме меня, Маша? – спрашивал он.

– Нету-тка… Ничего я еще того не знаю, – отвечала она.

– А меня любишь?

– Вас, известно, жалею.

«Что за дурацкое слово: жалею», – подумал Александр.

– Ну, скажи, – продолжал он: – любишь ли ты песни петь?

– Нет, я не горазда, – отвечала Маша.

– А в поле любишь ходить гулять, рвать цветы?

Маша с удивлением посмотрела на него.

– Да коли это? Неколи. Что есть в праздник, и то же все за скотиной ходишь, – сказала она.

«Вот вам и славянки наши во всей их чистоте», – подумал Александр.

– Ну, ступай домой! – проговорил он вслух.

Сцена эта происходила в сушиле, при довольно слабом и несколько даже поэтическом освещении одной свечки, покрытой абажуром.

Маша покорно встала и ушла.

Бакланову немножко сделалось совестно.

9. Иона Циник

Августовская и сентябрьская охота за дупелями и бекасами была из рук вон плоха, а там пошли дожди, грязь, слякоть. Александр начал сильно скучать.

– Так жить нельзя! – говорил он: – один день наешься, выспишься, другой – тоже; три месяца я живу здесь, и хоть бы подобие какое-нибудь мысли человеческой слышал кругом себя.

Аполлинарию Матвеевну он так напугал, что та рта разинуть при нем не смела.

– Что это такое, что вы говорите? – почти кричал он на нее.

– Ну, батюшка, я не буду! – отвечала она покорно, и потом с прислугой своею рассуждала.

– И взгляд-то, девоньки, у него, точно у покойника-барина: словно съесть тебя хочет!

Раз, перед обедом, подъехал к крыльцу чей-то тарантас. Александр чуть не вскрикнул от радости, и вышел на крыльцо, встретить гостя.

Приехавший был им несколько родственник и довольно близкий сосед по деревне: Иона Мокеич Дедовхин. По его тридцатилетней штатской службе, покойный Бакланов по крайней мере раз пятнадцать парил его у себя в уголовной палате и, по своей мистической терминологии, называл его: Иона Циник. Александр, по преимуществу, обрадовался этому гостю, потому что Иона Мокеич, сведя уже, по его выражению, все итоги жизни и быв в земной юдоли не при чем, т. е. будучи окончательно выгнан из службы, отличался какою-то особенною, довольно занимательною откровенностью и все обыкновенно рассказывал про самого себя.

– Ту-ту-ту, чортова куколка! – говорил он, хохоча и весело вылезая из тарантаса.

Александра он обнял и троекратно поцеловал.

– Ай, греховодник! Как это так давно не бывал! – воскликнула Ионе Мокеичу Аполлинария Матвеевна, когда он подходил к ней к руке.

– Не больше твоих грехов, кумушка, не больше!.. – отвечал он ей, грозя пальцем.

– Ну, уж я думаю!.. – произнесла нараспев Аполлинария Матвеевна.

Александр велел подавать обедать и радушно угощал Иону

Мокеича кушаньями и наливками. Тот ел, пил, хохотал, хохотал и пил.

После обеда оба они комфортабельнейшим образом разлеглись в сушиле, один на одной постели, а другой – на другой. Прохладный сентябрьский ветерок обдувал их сквозь немшоные стены.

– Ну, Иона Мокеич, рассказывайте что-нибудь, – говорил Александр, расстегивая у себя жилет от полноты желудка.

– Что ж тебе рассказывать, друг сердечный?

– Как, например, вы служили: взятки брали?

– Брал! – отвечал Иона Мокеич, с заметным удовольствием поглаживая себе живот.

– И с вымогательством?

– С вымогательством… Часики, братец ты мой (и Иона Мокеич повернулся при этом к Александру лицом), у одного нашего дворянина Каркарева понравились мне; пристал я к нему: «продай, подари!» – «Нет», говорит. Только, тем временем, попался к нам в суд арестант-бродяга. «Не приставал ли, я говорю, ты у такого-то дворянина Каркарева?» – а сам тоже не зеваю: показываю ему из-под стола в руке рубль серебром. – «Приставал», говорит. – «Не такого ли, говорю, у него расположенья дом?» – «Точно такого», говорит. – «А не знаешь ли, говорю, его любовницу, дворовую девицу Евлампию, и не передавал ли ты ей заведомо краденых вещей?» – «Передавал», говорит. Записали все это… Командировали меня. – «Ну, говорю, Захар Иваныч, давай-ка, говорю, мы Евлампию-то твою веревками свяжем». – «Как? Что такое? – говорит: – батюшки мои, берите, что хотите». – «Часики, говорю, подай!» Он чуть, сердечный, не расплакался от досады… Видит, что весь карамболь нарочно подведен, а делать нечего, принес… и часики отличные были… невеста тоже хорошая из-за них за меня пошла… в них и венчался!..

– Ну, а эта невеста и будущая жена ваша естественною смертью умерла, или вы ей немножко поспособствовали? – спросил Александр.

– Не очень-то берег – это что говорить: попадало ей во все, а паче того в зубы – каприз была баба, ух какой!

– Ну, а других женщин, по службе, вы склоняли на любовную связь?

Александр нарочно задавал Ионе Мокеичу самые решительные вопросы.

– Склонял! – отвечал Иона, как бы ничего этого не замечая и не столько, кажется, говоря правду, сколько желая потешить разговорами молодого человека.

– Но каким же образом?

– А вот таким, – отвечал Иона: – что попадется при следствии хорошенькая бабенка: в избе-то, на допросе, на нее потопаешь, а потом в сени выйдешь за ней, там уж приласкаешь; и – как цветочки полевые перед морозом – так и гнут перед тобой головки свои!..

– Ну, а благородных побеждали таким образом?

– Побеждал и благородных, и какая еще раз расписанная красавица была: девчонку свою она маленько неосторожно посекла; та прямо, с запекшеюся-то спиной, к губернатору. Приехал я к ней. «Ах, Боже мой, Боже мой, – так и умоляет меня своим миленьким голоском: – спасите, меня, спасите!» – «Извольте, говорю, сударыня», – и в тот же день, среди прелестнейших долин, сыграл любви с ней пантомин.

– Счастливец вы! – воскликнул Александр.

– Да что, брат, счастливец! Что Суворов на то говорил: раз счастье, два счастье, а на третий надо же и уменье.

– Разумеется!

– Да, – произнес с самодовольством Иона.

– Ну, а смертоубийства вы покрывали? – спросил Александр, после короткого молчания.

Иона Мокеич сделал несколько более серьезную физиономию.

– Больно я не люблю, когда лекаришки-то пачкаться-то в мертвеце начнут… брезглив я… из-за этого много проглядывал.

– Ну, а из-за деньжонок, этак?

– Гм! – Иона Мокеич усмехнулся. – Враг человеческий силен, сообразительна эта мзда-то проклятая!.. Тоже, где этак хорошенького-то покойничка поднимешь, где чувствуют и понимают, что ты для них делаешь, – за медиком пошлешь хромого рассыльного; он и дома-то еле с печки на полати ходит, а до города-то тяпает, тяпает… а ты ему вслед строжайшие предписания за номерами пишешь, – о скорейшем исполнении возложенного на него поручения. Покойника-то промеж тем на солнышке паришь, а не то так в баню топленую на полок стащишь: смерть этого уж не любят!

– Отчего же?

– В гниль сейчас пойдут! – отвечал Иона. – Ну, а медики – пьяницы все наголо был народ; его еще верст за пятнадцать до селения так накатят, что не то что инструмента в руке держать (навезет тоже с собой всякой этой срамоты-то), а пожалуй, и голвой в овин не попадет. Пишет: «мягких частей, по гнилости, освидетельствовать нельзя было»; ну, а кости-то тоже не у всякого переломаны.

При этом рассказе Александр не смеялся.

– Неужели же все чиновники такие мошенники? – спросил он.

Но этим замечание Иона почему-то обиделся.

– Али нет?.. Вот хоть бы твой папенька, – грабитель был на то из первых, – отвечал он.

Александр несколько сконфузился.

– Тогда попалась к нему, – продолжал Иона как бы невиннейшим тоном: – целая Болковская вотчина под суд за делание фальшивых ассигнаций: мужики-то возами возили к нему деньги. Так еще сумлевается, настоящие ли! «Положите, говорит, в ломбард, да ломбардными билетами мне принесите»

– Я и отца за это презираю, – отвечал Александр, стараясь уж прекратить этот разговор.

– Да ты там презирай али нет, как знаешь, – продолжал Иона: – а он и усадебку эту, и дом в городе, все таким манером благоустроил; только, бывало, и говорил всякому: «Ты, говорит, не кланяйся мне много раз, а один да хорошенько».

Александр делал вид, будто не слышит и спит.

– Не понравилось, видно! – проговорил Иона, и сам тоже, повернувшись к стене, постарался заснуть.

Проснувшись вечером, они оба очень ласково, как бы ничего между ними не происходило, заговорили между собой, а потом отправились, взяв с собой Пегаса и Петрушку, на охоту. Александр при этом убил двух уток, Дедовхин бекаса, Александр еще двух уток, Дедовхин зайца. Все это еще более оживляло их беседу.

– Пойдем-ка, друг сердечный, завтра в Дубны на праздник, – сказал Иона Мокеич. – Помолимся сначала в церкви Божией, а потом к ее превосходительству Клеопатре Петровне на обедище отправимся.

– А она еще жива?

– Поди-ка, какая еще ядреная: однако постой-ка, паря, – сказал Иона, уставляя палец в лоб: – сколько это тому лет было… в девяносто седьмом году, словно бы она тово… – и при этом он сделал какой-то странный знак руками.

– Э, вздор какой! – перебил Александр; – у того была одна… известная…

– Верно это, ты не спорь!.. Тогда, значит, когда все это повстречалось (и Иона опять сделал какой-то знак руками), сыновья и вдовствующая супруга ей и говорят: «отправляйтесь-ка в деревню»… Я это уже помню, на моей памяти, – тысячи полторы душ тогда за селом-то записано было… и что опосля того к ней женихов посыпало, Боже ты мой!.. Один так с пистолетиком с руке приехал и стал на колени: «или осчастливьте, говорит, вашей рукой, или застрелюсь!»

Она ему только рукой на портрет указала: «вот, говорит, кем я была любима!»

К этому разговору с заметным вниманием прислушивался и Петруша.

– Женщина умная, столичного тона, – заключил с серьезною миной Иона Мокеич.

Ему как будто бы даже не пристало говорить о таких возвышенных предметах.

– А оттуда, – продолжал он гораздо более искренним тоном: – ко мне. У меня, брат, в Кузьмищевской казенной деревне такие девки – чудо! На поседки к ним съездим!

– Хорошо, – отвечал Александр, и, когда они пришли в усадьбу, он ушел в свой кабинет и все думал: в его воображении невольно рисовалась эта некогда бывшая фрейлина, может быть, когда-то хорошенькая, молоденькая, рисовались украшающие ее фижмы, парик и красные каблуки.

10. Храмовой праздник

Храмовой праздник в селе Дубнах был, как видно, немаловажным событием.

С раннего утра по замерзшей несколько на утреннем холодке дороге ехали мужики в раскрашенных тележках, с раскрашенными дугами, в картузах и синих кафтанах, с женами, тоже в синих поддевках, красных платках и красных сарафанах. Мужики, посерей, ехали верхом, а между пешеходами были все больше женщины в котах и с поднятыми подолами; у некоторых из них были грудные младенцы на руках.

На красном дворе в Лопухах кучер Фома, в красной рубахе, с расчесанною бородой и намасленною головой, хлопотал около выкаченной из сарая прекрасной четвероместной коляски, а другой, подкучерок, мыл, чистил и расплетал гривы у четырех вороных лошадей. Видно, что приготовлялся самый парадный выезд, заведенный еще покойным Баклановым. Александр одевался в своей комнате. Вдруг к нему заглянула в двери в новой юбке, пильотках и чепце Аполлинария Матвеевна.

– Мне можно с тобой, душенька, ехать? – спросила она.

– Это что еще такое, – почти воскликнул Александр: – вы тут боитесь; кричать начнете в дороге!.. очень весело с вами ездить!

– Ой, да Клеопатра-то Петровна больно, было, меня звала.

– Ну, так и поезжайте одни, а я не поеду! – возразил Александр, бросая с гневом на стол щетку и гребенку. Ему стыдно было ехать с матерью.

Та, по обыкновению, струсила.

– Нет, коли уж так, я лучше не поеду, – сказала она смиренно и, придя в свою комнату и сняв с себя парадный чепчик, горестно уселась под окошечком.

«Глупа-то я больно, что ли, батюшки, ни от кого-то мне житья на свете нет, и от сынка-то что есть?» – спрашивала она себя, и затем залилась обильнейшими слезами, что в этакий праздник она и в церкви Божией не побывает.

Иона Мокеич, тоже во фраке, в белом жилете и с новым картузиком в руках, быв свидетелем всей этой сцены между сыном и матерью, слегка улыбался и поматывал в раздумье головой.

Александр был готов. Костюм его состоял из черного фрака, из

бархатного коричневого, по тогдашней моде, жилета; курчавые волосы его были красиво зачесаны назад. Выходя, он накинул на себя подбитый настоящим бархатом плащ-альмавиву и, живописно раскинув на плечах его отвороты, сел, несколько развалясь, в коляску и с удовольствием полюбовался толстою спиной молодцеватого кучера. Гайдук Петр, тоже в новой, с иголочки, ливрее, вскочил на запятки. За ним вслед смиренно ехал Иона Мокеич в своем тарантасишке. Александр его не пригласил сесть с собой из того же чувства, по которому не взял и мать.

Экипаж, быстро везомый четырьмя добрыми конями, слегка и ровно покачивался. Александр, завернувшись в свой плащ и скрестив руки, глядел и посматривал на все окрестности. В жизни немного таких положений, которые бы, как езда по деревенским дорогам в хорошем экипаже и на бойких лошадях, могли настолько возбуждать в человеческом сердце чувство гордости. «Я сквайр… проприетер… Все это, что ни идет, ни встречается, все это ниже меня», – самолюбиво отзывалось в молодой душе Александра. «Я, приехав в церковь, – думал он, – или там на обед к какой-нибудь Фефеле Ивановне, вероятно, буду лучше всех одет. Я могу жить, ничего не делая и ни в ком не нуждаясь… Я знаю науки, а тут никто ни одной. Там, может быть, я встречу какую-нибудь маленькую, недурненькую собой даму; она влюбится в меня, потому что муж у ней урод, так как они все уроды…» Но все эти самолюбивые мысли сразу прошли, когда из-за недальней горы показался справа огромный дом Клеопатры Петровны, а слева – сад другого владельца села Дубнов, помещика Спирова. Посреди всего этого виднелась церковь, около которой кишмя-кишмел народ. Александр почувствовал даже робость. Он хоть и считал себя светским человеком, но в сущности был, как все поумнее молодые люди, очень застенчив.

– Иона Мокеич, что вы тут сидите, пересядьте ко мне! – говорил он, велев кучеру остановиться.

Он уже чувствовал некоторую необходимость в покровительстве своего старого соседа.

– Да что ж ты всю дорогу-то, чертенок, молчал и заставлял меня трястись в тарантасишке! – отвечал тот, вылезая из своего экипажа и пересаживаясь в коляску.

Вскоре они въехали в село.

– Ну, брат, нет, в церковь не продерешься… – проговорил Иона.

И в самом деле, от храма до самой ограды тянулся белый хвост народу, или, лучше сказать, баб, которым негде уже было поместиться

в церкви.

– Куда же мы поедем: к Клеопатре Петровне или к Спировым? – спросил с заметным беспокойством Александр.

– А вот потолкаемся пока по базару, – отвечал тот, и совершенно спокойною и привычною походкой начал проходить между народом.

Александр следовал за ним.

На плохо отгороженном кладбище, обсаженном несколькими березками, на могильной плите, сидели с горестнейшими лицами две старухи-крестьянки.

– Ну-ка, матушка, – говорила одна печальным голосом, между тем как другая тоже простанывала:

– Только глазки-то она закатила…

Александр думал, что, сидя на человеческом кладбище, они вспоминали о какой-нибудь их дочери или внучке.

– Потянула я за хвостик-то, а она уж и не жива!.. – заключила говорившая.

Старухи разговаривали о корове.

Вдруг его толкнул в бок Иона Мокеич. Александр обернулся и сам чуть не вскрикнул.

Опершись на ограду и несколько склонившись на нее, стояла невдалеке молодая, высокая крестьянка. От нее от всей, как от гоголевской Аннунциаты, красота так и блистала во все стороны.

– Какова птичка-то? – произнес Иона.

Александр все еще не мог отвести глаз.

Крестьянка между тем, заметив, что на нее смотрят, не столько, кажется, из стыдливости, сколько из солидности опустила глаза в землю и, наклонив несколько голову, пошла неторопливо в другую сторону.

– Это из Кузьмищева… На поседках мы, может быть, увидим ее.

– Ах, пожалуйста! – произнес Александр.

С кладбища они прошли на базар, с выстроенными на скорую руку деревянными лавочками, в которых, с испитыми лицами, в нанковых сюртуках и по большей части рыжеволосые торговцы торговали красным товаром.

– Мадам! мадам! – говорил один из них, зазывая толстую бабу, с разинутым ртом проходившую мимо лавки.

– Вы будьте спокойны: в трех щелоках стирайте, не полиняет! – уверял другой нескольких баб, с недоверием смотревших, как он прикидывал на аршин шумящий ситец.

В церкви на колокольне зазвонили к молебну. Весь почти народ

перекрестился, а в том числе и торговец с разными сластями, который только что пояснил двум горничным, стоявшим перед ним и покупавшим у него пряники:

– Было у меня, сударыня, дочек семь бочек: сам не почал, так чорт начал.

– Ах, Боже мой, скажите! – говорили горничные.

– Да-с, – продолжал торговец: – была у меня жена Маланья, варила мне суп из круп, что тротуары посыпают.

Горничные смеялись.

– Всех бы я вас, миленькие, обзолотил и бриллиантами изуставил, одно только место пустым оставил! – заключил торговец.

Горничные совсем фыркали от смеха.

– Ох, вы, пряничницы! – погрозил им пальцем, проходя, Иона Мокеич.

– Нельзя, сударь, Иона Мокеич, – ответил за них торговец: – где уж, батюшка, обозы, так и козы.

Перед мужиком, продававшим лемехи, гвозди, серпы, Дедовхин остановился.

– Я, брат, твоими-то косами тебе бороду выбрею! Хочешь?

Но мужик, кажется, этого не хотел.

– Что ж так-с? – спросил он.

– Да тупее моего языка.

– По каменьям-то, Иона Мокеич, как станете косить, так всякая иступится… Выгодчик тоже! – прибавил мужик, когда Дедовхин был уже довольно далеко: – и около чужих всех пней ладит выкосить траву.

Александр продолжал думать о красивой бабе.

На большой дороге они увидели, что растрепанный мужик полз на четвереньках.

– Что, паря, преклонил уж Господь? Словно рано бы еще! – заметил Иона Мокеич.

– Порра! – произнес мужик с ожесточением и, повалившись вверх животом, закрыл в изнеможении глаза.

– Ну-те, ребята, нарвите крапивки, да под рубашку ему… – посоветовал Иона Мокеич стоявшим вблизи, в красных рубахах, мальчишкам.

Те этому очень обрадовались, сейчас же нарвали крапивы и насовали мужику за платье. Мужик поочувствовался, принялся себя чесать с ожесточением, а потом бросился за шалунами, но на первых же шагах упал и опять было обеспамятел. Мальчишки, которым Иона

Мокеич снова подмигнул, опять насовали ему крапивы. Мужик встал и уже гораздо тверже побежал за ними.

– Я и себя всегда так велю дома отрезвлять. Отличнейший способ! – объяснил Иона Мокеич Александру, и потом они пошли к дому Клеопатры Петровны.

– Хозяйка, верно, в церкви! – предостерег было его Александр.

– О, чорт! Велика важность! – отвечал Иона, и дерзко отворил тяжелые дубовые двери.

На довольно парадной лестнице они увидели сходящую комнатную женщину с маленьким платочком на голове.

– Пожалуйте-с! – пригласила она их.

– Ах, благодарим покорно! – отвечал Иона тоже в тон ей тоненьким голоском. – Что это, душенька, животик-то у тебя словно поприпух? – прибавил он.

– Ай, батюшка, Иона Мокеич, все-то вы шутите! – проговорила женщина, уходя раскрасневшись в коридор под лестницей.

Путники наши вошли, наконец, в залу с двойным светом и с историческою живописью на потолке. Потом они прошли малую гостиную, среднюю и остановились в большой гостиной. Александру невольно кинулся в глаза огромный портрет императора Павла, в золотой раме и убранный балдахином.

Мебель была хоть и старинная и в некоторых местах даже белая с позолотой, но везде обитая или штофом, или барканом. Вся эта барская роскошь начала еще больше тревожить Александра.

– Что ж мы будем тут делать? – спросил он своего товарища, преспокойно расхаживавшего и преспокойно на все поглядывавшего.

– А вот уж и подходят из церкви, – отвечал он.

По деревянным мосткам, идущим от самой церкви до дому, действительно, два лакея, в огромных, треугольных шляпах, надетых поперек, вели под руку самое старую фрейлину, совсем сгорбившуюся, но еще в буклях и в роскошнейшем платье. Вслед за ней, скромно приложив руки к груди, шли две ее приживалки: одна Алина, другая – Полина.

Старуха проходила свои огромные залы, с длинными зеркалами, все склоняя голову, как бы кланяясь на парадном выходе; наконец в гостиной, увидев живых людей, она проговорила!

– Здравствуйте!

Иона Мокеич поспешил раскланяться и представить ей Александра.

– Аполлинарии Матвеевны сын! – сказал он.

– Вот какой уж большой стал. Здравствуйте! – проговорила ему старуха.

– Как здоровье моего ангела, Аполлинарии Матвеевны? – спросила одна из приживалок, закатывая глаза.

– Слава Богу! – отвечал Александр. Прием этот несколько удивил его. Все-таки, видно, здесь знают его мать, а не его!

По мосткам в это время шли еще двое господ: старый генерал с приподнятыми плечами, зачесанными наверх бакенбардами, с усами, торчащими прямо, и маленьким хохлом на плешивой голове; и между тем, как он таким образом как бы весь подавался вверх, ноги его, в плисовых сапогах, почти не поднимаясь, шаркали по мосткам. Рядом с ним шел прямой господин, совсем как бы не имевший способности гнуться и как бы насаженный на железный стержень.

– Доброго дня! – сказал генерал, войдя и подавая руку Ионе, но не обертываясь, впрочем, к нему лицом. – Где хозяйка?

– Сейчас выйдет, ваше превосходительство, – поспешил ответить Иона Мокеич.

Генерал сел на диван, на то место, где обыкновенно садятся дамы.

Лакеи стали ставить закуску.

Высокий господин стал около доходящего до полу окна и приложил шляпу к колену.

Александр не без удивления заметил, что фрак на этом госте сидел гораздо лучше, чем на нем; сукно было гораздо высшего сорта, а покрой чистейшего английского свойства. По скромному его и тоже, должно быть, дорогому жилету изящно пролегала платиновая цепочка.

– Кто это такой? – спросил он Иону Мокеича.

– Князь Темир-Подольский, – отвечал он.

У Александра опять немножко сердце сжалось конфузом.

Но по мосткам шел еще новый франт, также щегольски одетый, но только он шел гораздо развязнее и, заботливо оглядываясь из стороны в сторону, имел на глазах pince-nez.

Александр Бога возблагодарил, что он не взял своего pince-nez.

– Ну да, да! – говорил этот новый гость, входя в гостиную, и потом прямо подошел к генералу.

– Сейчас, ваше превосходительство, накупил кос, ремней, граблей!

– Так, так, прекрасно! – говорил покровительственно генерал.

– Нельзя, ваше превосходительство, ни у отца, ни у матери моей, ни у деда не бывало, – а у меня овес сам-пятнадцать пришел.

– Прекрасно! прекрасно! Военный человек на все, выходит, способен.

– На все, ваше превосходительство! – подхватил весело вошедший господин.

В душе Александра невольно шевельнулась зависть.

«В самом деле, военный человек не способнее ли на все?» – подумал он.

Вошла Спирова, в чепце с бантами и шелковом платье. Дама эта была хоть и худощава, но чрезвычайно, должно быть, полнокровна.

– Ух, как жарко в церкви! – сказала она.

– Да, – подтвердил генерал.

M-me Спирова вынула батистовый платок и стала им обмахиваться, произведя при этом сильный запах пачулей.

Александра и это удивило.

«Здесь и духи эти модные знают?» – спросил он себя мысленно.

Между тем господина в pince-nez он опять уже увидел на площади, толкающегося посреди мужиков.

«Счастливец! А наше отвратительное университетское образование, к чему оно готовит человека?» – подумал Александр.

Хозяйка, наконец переодевшись в более легкое платье, но по-прежнему в блондовом чепце и буклях, появилась, в сопровождении своих приживалок.

– Что же вы, подавайте! – сказала она, кивнув привычно-строгий взгляд на стоявших у притолок лакеев.

Те мгновенно схватили со стола подносы и стали подносить небольшому числу гостей.

– Кушай, батюшка! – сказала старуха, садясь около генерала.

– Ем! – отвечал тот.

Он, действительно, не дав еще унести подноса, взял и наложил себе на тарелку паштета.

– Кто это? – спросил он хозяйку полу-на-ухо, показывая на Александра.

– Аполлинарии Матвеевны сынок! – почти крикнула ему та. Генерал был сильно глуховат.

Александр выходил из себя от такой нецеремонной рекомендации: опять и везде упоминалась Аполлинария Матвеевна, но старый генерал, лично им заинтересовавшийся, больше еще ему нравился. Он решился с ним заговорить. Заметив, что невдалеке от него осталось свободное место, он подошел и сел.

– Вы не были у обедни? – спросил его довольно ласково старик.

– Нет, я приехал довольно поздно… уж к великому таинству.

– К какому это великому таинству? – спросил генерал, сделав

руками знак удивления.

– Да в обедне-с.

– В обедне есть великий выход, а не таинство… Как же вы этого не знаете, молодой человек? а, а, а! – сказал, качая головой, старик.

Александр, и сам очень хорошо видевший, что, по торопливости своей, соврал, сначала было заспорил, что есть…

– Да нет же! Неужели вас и этому не научили? а-а-а! – произнес решительно генерал.

Александр готов был провалиться сквозь землю, но, к вящщему еще страданию его, лакей раскрыл зеленый стол. Иона Мокеич разнес карты себе, хозяйке, генералу и князю Подольскому. Они сейчас же сели, оставив Александра с дамами.

Разговаривать со Спировой и двумя приживалками Александр решительно не хотел, но те, впрочем, и сами скоро ушли во внутренние комнаты, так что он остался совершенно один.

Он ходил, глядел в окно, сидел на месте, подходил к игрокам, и все это так глупо, что он готов был этого проклятого Иону прибить за то, что он привез его к подобным скотам. Наконец судьба как бы сжалилась над ним: к крыльцу подъехал экипаж с дамами, с которыми Александр непременно решился познакомиться и даже начать за ними ухаживать. Они вскоре вошли в гостиную; мать как-то исподлобья и злобно посматривала на всех, а дочери, сначала одна, а потом другая, вернули хвостом перед хозяйкой и затем скрылись вместе с маменькой.

К крыльцу подъехал еще экипаж. Генерал, вытянув свой взгляд на окно, проговорил:

– Это, должно быть, гг. офицеры!

Из тарантаса, в самом деле, вышли три офицера. Один из них, и собой очень невзрачный и далеко уж не умного лица, шумно вошел в гостиную, расцеловал у хозяйки ручку, сел около нее и стал учить ее играть в карты, а двое других, тоже очень развязно поклонившись хозяйке, через пять же минут, как видел Александр, разговаривал с барышнями, на секунду вернувшими хвостами в гостиной.

Видимо, между всеми этими людьми были общие интересы и протекала общая жизнь; один только герой мой был тут как отрезанный ломоть.

За обедом все уселись по приличным им местам – даже Иона затесался чуть не рядом с хозяйкой, а Александр очутился в самом заднем конце, между попами. В продолжении всего обеда он был мрачен до неприличия.

Когда встали наконец из-за стола и в лакейской заиграли полковые музыканты, привезенные офицерами, Александр сейчас же взял шляпу и подошел к хозяйке.

– Чтой-то батюшка, куда это? – спросила та его.

– Матушка не так здорова.

– А! – произнесла старушка, как видно, совершенно приняв в уважение подобную причину.

Александр сел в коляску.

Кучер Фома и гайдук Петр были мрачны.

Они никак не ожидали, что барин так скоро уедет с праздника, а потому не успели еще обойти деревню и закатить хорошенько.

– Когда ж на поседки-то? – крикнул Александру с балкона Иона Мокеич.

– После как-нибудь, – отвечал тот и велел скорей ехать.

«Что ж это такое?» – рассуждал он сам с собою, проезжая довольно темным лесом.

Он очень хорошо понимал, что был в самом аристократическом деревенском кругу.

«Или они глупы, или я!» – решал он мысленно.

Они! – позволяем мы себе успокоить молодого человека.

11. Иона Мокеич дома

Александр, не зная, чем себя занять, начал беспрестанно думать о красивой женщине, виденной им на базаре в Дубнах. Раз, после обеда, он вдруг надел на себя полный охотничьий костюм, велел оседлать себе лошадь и поехал к Ионе Мокеичу.

Циник жил от них верстах в десяти.

Въехав в перелесок и подъезжая к одному из овражков, Александр стал попридерживать своего довольно сердитого коня. Тот от этого еще больше и красивее стал раскидывать свои передние ноги. Когда надобно было подниматься из оврага, Александр вдруг опустил поводья, нагнулся над седлом и, крикнув, выхватил свой охотничьий нож и понесся марш-марш! Потом вдруг опять останавливал лошадь сразу и снова несся. В эти минуты он воображал себя черкесом – доказательство, что еще был молод душою.

Дмитровка – жилище Ионы Мокеича – находилась в сельце, состоящем из нескольких домов бедных дворян. Его же собственно усадьба отделялась от прочих высоким тыном и отличалась довольно большим садом, в котором прятался хоть и низенький, но довольно

широкий дом, и оттого несколько таинственною наружностью как бы говорил, что он заключает в себе хоть и старого, но великого грешника.

Иона Мокеич увидал Александра еще из окна.

– А, солнышко красное! – сказал он, отворяя ему двери.

Сам он был одет в каких-то турецких шароварах, в туфлях и ермолке.

Александр был в первый еще раз у него в доме.

– Это вот моя гостиная, а это моя пустынническая спальня, – говорил Иона, вводя гостя в свое довольно уютное помещение. – А там, – продолжал он совершенно тем же тоном, показывая на заднюю половину дома: – там мой сераль.

– Сколько же жен у вас? – спросил Александр.

– Три всего… по состоянию, братец!.. Что делать, больше не могу, – отвечал Иона, пожимая плечами.

– Это что такое! – продолжал Александр, останавливаясь перед довольно большою, масляными красками написанною картиной, изображающей нагую женщину.

– Подарение твоего отца! – отвечал Иона Мокеич. – Этакого, говорит, сраму нигде, как у Ионы, в комнатах и держать нельзя! Но это, брат, что! А вот где штука-то! – прибавил он и, взяв Александра за руку, ввел в спальню и там показал ему уже закрытую занавеской картину.

Александр сейчас же отвернулся.

– Что за мерзость! – произнес он: – хоть бы вы рисовать-то велели получше, покрасивее, а то чудовища какие-то!

– По состоянию! – отвечал и на это Иона: – но что тут, друг сердечный, рисованье! – продолжал он: – одно только напоминание, а там уж, как это по-вашему, по-ученому сказать, добавлять надо своими фантазериями!

– А что ж мы на поседки едем? – спросил Александр.

– Непременно. Марфуша! – крикнул Иона Мокеич, приотворив маленькую дверь в соседнюю комнату: – дай-ка нам наливочки!

– Что! к чему это? после обеда!

– Наливки-то? Да ведь ее всегда можно; это не водка, – успокоил его Иона Мокеич.

Марфа, лет двадцати девка, с толстыми губами и грудями, принесла на подносе бутылку наливки и две рюмки, и все это поставила на стол.

– Честь имею рекомендовать; это главная моя султанша! –

объяснил о ней Иона Мокеич.

Марфа при этом хоть бы бровью повела. Она, видно, совершенно привыкла к подобной рекомендации и с таким же лицом, с каким пришла, с таким и ушла.

– Какая женщина, у! – дополнил о ней еще Иона Мокеич.

– Вероятно! – подтвердил Александр.

– У!.. – повторил Иона и заставил Александра выпить рюмку наливки.

Тот выпил и чуть не выплюнул назад, говоря:

– Она совсем не подслащена!

– Совершенно! – подтвердил и Иона. – Сахар ведь искусственная вещь… букету уж при нем такого нет, а тут сама натура, как есть.

– Какой тут, чорт, букет.

– Нет, ты попробуй, выпей-ка еще одну, так и увидишь, что так надо.

Александр отнекивался было.

– Да полно, чтой-то, выпей!.. – произнес Иона, как бы несколько обидевшись.

Александр выпил и, в самом деле, не с таким отвращением.

– А что, мы скоро поедем на поседки? – сказал он.

В голове у него начинало пошумливать.

– Все надо, друг милый, по порядку, чинно, не торопясь, – отвечал Иона Мокеич; сам он пил уже четвертую рюмку. – Гаврюха, Гаврюха! – подкликнул он, стуча в окно, проходившего мимо высокого мужика.

Тот вошел в комнату. Это был его собственный ткач Гаврила, сначала, по наружности, смотревший очень обыкновенным человеком.

– Во-первых, скажи ты мне, милый человек, – спросил его барин: – что, в Кузьмищеве начались поседки?

– Начались бы словно, – ответил тот довольно громко.

– Тсс!.. тише! – крикнул ему шопотом Иона Мокеич и отнесся к Александру: – не любит у меня этого моя главная-то барыня. «Дома, говорит, что хошь делай, – по чужим местам, по крайности, не срамись!»

– Ну, друг, милый, – обратился он снова к Гавриле: – вот тебе мои ключи драгоценные, поди ты потихоньку от Марфуши… я ее вызову сюда, будто одевать себя… возьми ты там в чулане четыре бутылочки наливки, пряничков, изюму, орешков; положи все это в корзиночку, поставь ты ее под беседку, в мою, знаешь, тележку, запряги ты мне ворона коня и выезжай к нам к крыльцу.

– Слушаю-с, – отвечал Гаврила, видимо с полною готовностью, и вышел.

– Бесценный насчет этого человек! хоть три ночи простоит, где уж скажешь, – не тронется! – объяснил и о нем Иона Мокеич, а затем вышел, позвал Марфу и сильно, как было слышно через перегородку, старался занять ее самыми разнообразными разговорами.

Через полчаса они уже сидели: Александр – верхом на своем коне, а Иона Мокеич и Гаврила – в тележке. Марфа провожала их на крыльцо.

– Когда ждать-то прикажете? Куда это поехали? – спрашивала она.

– Да вот к нему, погостить ненадолго! – отвечал Иона Мокеич смиренно.

Несмотря на вольнодумный характер, он, кажется, находится в сильных лапах у своей главной султанши.

Когда два наши рыцаря, с своим могучим оруженосцем, тронулись на свои романтические приключения, Марфа проговорила, зевая во весь рот:

– Какой тот молоденький-то барин смазливый, не то, что наш плешивый чорт.

12. Поседки

Кузьмищево, казенная деревня, расположенная по большой дороге, тянулась в длину версты на две. Во всех окнах изб мелькали огоньки, и в одной из них, довольно большой, свет был как-то поярче. На улице была совершенная тишина: изредка проедут запоздалые извозчики, или выведет кто-нибудь из мужиков лошадь попоить к колодцу, или наконец быстро промелькнет какая-нибудь женская тень с пряслицей и устремится к этой именно избе. Александр и Иона Мокеич, выехав откуда-то с задов, тоже подъехали к ней.

– Прежде всего, друг сердечный, надо подкрепиться! – сказал, кряхтя и вылезая из своей повозки, Иона и вытаскивая из корзинки бутылку, из которой заставил Александра выпить целый стакан, а сам выпил два. Потом они вошли в сени, оставив Гаврилу у лошадей. В довольно большой избе, по всем передним лавкам, сидели молодые женщины и девушки, по большей части все недурные собой.

Под полатями стояли молодые парни, а некоторые из них, по преимуществу имевшие в руках гармоники, сидели промеж девушек, но те всегда при этом старались их выпихнуть и выжить от себя.

– Не примете ли странников, идем из далеких мест: обносились,

обовшивели! – сказал, входя, Иона Мокеич. Корзинку он захватил с собой.

Хозяйка избы, довольно молодая женщина, сейчас же его узнала.

– Милости просим! – сказала она, смеясь, и, согнав с одной скамейки ребятишек, предложила ее гостям.

– Чей такой – молодой-то барин? – сказала она Ионе, указывая на Александра.

– Дворянин Нищин, из усадьбы Огородова, под пряслом родился, на тычинке вырос и теперь на коле верхом изволит русскую землю объезжать!.. – отрекомендвал его Иона Мокеич.

– Да полноте, лешие, это из Лопухов барин-то; я видала его… ягоды носила! – толковала другая баба в толпе.

– Какой нарядный! военный, знать! – замечали иные.

Александр не без удовольствия видел, что он составляет предмет общего внимания. Но, впрочем, взглянув в один из более темных и многолюдных углов, он увидел свою красавицу-крестьянку.

– Здравствуй! Мы с тобой несколько знакомы, – сказал он.

– Вы мне, что ль, это говорите? – сказала она приятным голосом.

– Тебе… Я тебя видел и восхищался тобой в Дубнах.

– Гм! – усмехнулась на это женщина.

Александр взял небольшой деревянный стул и сел против нее.

– Ты замужем?

– Али нет! – отвечала красавица, кидая на него лукавый взгляд.

– Где ж у тебя муж, в Питере?

– В Питере, чтоб бока повытерли! – отвечали за нее другие бабы и засмеялись.

Один из стоявших под полатями парней и как-то мрачно на все это смотревший, подошел и зажег освещавшую лучину посветлее. Красавица Александра еще больше выглянула перед ним во всей своей красоте.

– О, ты дивно хороша! – воскликнул он, ероша свои курчавые волосы.

– Ну, вот что! Какой он! – говорила, смеясь та.

Иона Мокеич между тем ходил и угощал наливкой.

– Выпей, душенька, – говорил он, подходя к Александру.

Тот в сильном волнении и не видя сам, что делает, выпил стакан залпом, а потом другой.

– А, краля писаная! – воскликнул Иона Мокеич, увидав бабу-красавицу. – Ну, выпей!.. Белогрудая, белозубая, пей! – говорил он ей.

Та отпила немного из стакана.

– Ой, не люблю я этого: крепкое какое, пес!

– Да что вы орехи-то бережете?.. давай орех-то, – сказали другие бабы, от глаза которых не ускользнули лежащие в корзине сласти.

– О, сейчас! – воскликнул Александр, вскакивая, и, схватив оттуда целый тюрик орехов, поднес их и стал перед своей красавицей на колени.

– Все тебе, царица души моей! все!

– Ой, девоньки, какой он! – смеялись бабы.

Иона Мокеич в это время суетился около других девушек и женщин.

– Пейте, мои голубушки, пейте! – говорил он им, угощая их пряниками и наливкой. Последняя, впрочем, больше за ним самим оставалась.

«Калинушка с малинушкой», – затянули наконец посидельщицы.

«Лазоревый цвет», – подхватил за ними Иона, довольно чистым тенором.

«Веселая беседушка», – пели те.

«Где милый мой пьет!» ух! – допевал Иона и затем так расчувствовался, что стал промеж девушек и двух, ближайших к себе, обнял и стал прижимать их к бокам своим. Одна из них колотила его при этом легонько кулаком в голову, а другая подносила к лицу зажженную куделю. Он только отфыркивался и повертывался от одной к другой.

Александр тоже не отставал от приятеля. Он декламировал перед своей красавицей:

«Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей:
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей».

Девушки и женщины смеялись, а парни, напротив, все что-то между собой переглядывались, а некоторые даже перешептывались…

Иона Мокеич дошел наконец до полнейшего неистовства: он обнимал, хоть и не старуху, но безобразнейшую бабу и, припав к ее плечу головой, начал для чего-то слегка простанывать.

– Ох, ох, – говорил он, а потом вдруг вскочил и, выхватив лучину из светца, бросил ее на пол.

Тот же мрачный малый быстро подошел, поднял ее, разжег и вставил в светец.

– Пошто вы балуете? – почти крикнул он на Иону Мокеича.

– Оставь, погаси ее… погаси ее… – крикнул тот на него и опять было потянулся, чтобы погасить лучину.

– Не трожьте ее! Али в самотко и здесь эту срамоту завести хотите? Срамники! – проговорил парень и оттолкнул Иону.

Тот наскочил и ударил его по лицу; парень тоже не остался в долгу: как хватил наотмашь кулаком, так барин и растянулся на полу.

– Что такое? – воскликнул Александр, приподнимаясь и обертываясь, но все-таки еще оберегая рукой свою красавицу.

В это время в избе затрещала рама.

– Барина бьют! – раздался голос, и в избу влезал Гаврила.

Все это было делом одной минуты.

– Ты что, чорт, делаешь? – обратился он прямо к молодому парню, и оба потом, не говоря ни слова, схватились, как два дикие зверя, и начали возиться по избе, издавая по временам злобные звуки и ругательства.

– Хорошенько его, хорошенько! – кричал с полу Иона.

– Робя, бьют! – произнес наконец парень, почти с треском костей упадая на пол под железным натиском Гаврилы. Несколько человек бросились к нему на помощь, но Гаврила так с ними распоряжался, что как толкнет огромным сапожищем своим кого в рыло, кого в грудь, кого в брюхо, – так тот в углу избы очутится. Отбитые таким образом, они накинулись на поднимавшегося Иону и начали его тузить и даже драть за волосы.

– О-о-ой! о-о-ой! – кричал он, повертывая им то тот бок, то другой и хватаясь за голову.

– Перестаньте, перестаньте! – кричал Александр.

Но суматоха сделалась всеобщая. Девки и бабы, под поднятыми кулаками мужиков, убегали из избы. Красавица его тоже юркнула вон.

– Прочь! – закричал наконец Александр, пробираясь сквозь толпу, чтобы спасти как-нибудь Иону, и при этом выхватил охотничий кинжал.

– Коли так, робя, берись в колья! – раздалось снова, и в ту же минуту, Бог знает откуда, появились в воздухе поленья и палки. Александр чувствовал, что вся кровь прилила ему в голову. Он выхватил свой маленький охотничий пистолет.

– Если кто-то хоть с места пошевелится, я сейчас пущу пулю, и в тебя… и в тебя… и в тебя… – говорил он, переводя пистолет с рожи одного мужика на другого, на третьего.

Те сейчас же начали отступать.

– Он, паря, и в сам-деле стрельнет.

– Если кто слово произнесет! – кричал Александр, дрожа всем телом, и, с помощью Гаврилы, который своего врага вышвырнул в сени и даже за лестницу, вытащил охающего и все-таки продолжающегося ругаться Иону Мокеича из избы и стал укладывать его в тележку.

При этом один из бивших его парней даже подсоблял им это делать.

Александр, сев на лошадь и выехав из селенья, был как сумасшедший.

– Это чорт знает что такое! – говорил он, хватая себя за голову.

– Такой буян народ, – пояснил ему Гаврила, впрочем, совершенно спокойно севший на облучок: – каждый праздник, что немножко, сейчас же в колья. Ну, тоже и к нам когда попадут, так угощаем тоже.

– Тоже? – спросил Александр с удовольствием.

– Тоже. У нас из бедных этих дворянчиков, пожалуй, такие есть лоботрясы, что и чорта уберут.

Александр беспокоился об Ионе Мокеиче.

– Чтоб он не умер! – сказал он.

– Нет, вон он, чу, спит уж! – отвечал Гаврила. – Не в первый ведь раз: завтра в баню сходит, и все пройдет.

– Ну, так я поеду домой?

– Поезжайте, – успокоил его Гаврила.

13. Побег от собственной совести

На другой день Бакланов сидел у себя в комнате; голова у него трещала; ему представлялось, что, вероятно, теперь узнается по всей губернии, как они приезжали на поседки пьяные, произвели там драку; наконец, сами мужики могут на него жаловаться, потому что он обнажал оружие. Словом, его мучили те разнообразные страхи, которые обыкновенно бывают у человека с расстроенным пищеварением, так что, когда к нему в комнату зашел гайдук Петруша и проговорил каким-то не совсем обыкновенным голосом: «пожалуйте на минуточку суда-с!» – он даже задрожал.

– Что такое? – спросил он, вставая.

– Маша вас там спрашивает-с, поговорить ей нужно с вами-с.

Бакланов глядел в лицо гайдука.

– Где же она? – спросил он.

– В овине, на гумне дожидается-с.

Александр пошел. Ему не совсем приятно было это объяснение. «Пожалуй, еще чувствительность выражать будет! На что глупа, а это уж понимать начинает!» – думал он.

В овине, совсем почти темном, Маша сидела на кучке дров и плакала.

– Что это такое? О чем? – спросил Бакланов.

– Маменька ваша-с, – отвечала Маша, – призывала меня вчера к себе-с.

– Н-ну?

– По щекам прибила-с… «Мерзкая, говорит, ты…» – замуж приказывает итти-с за Антипова сына.

– Но, ведь, ты не хочешь?

– Нет-с, что хотеть-то-с!.. Я к крестьянству, помилуйте, совсем тоже, как есть, не прилучена… дом тоже бедный…

– Ну, и не ходи, если не хочешь!

– Выхлестать хочет, коли, говорит, не пойдешь: а я, помилуйте, чем виновата? Не своей охотой шла-с.

– Вздор!.. Не ходи!.. Я не позволю тебе этого! – говорил Бакланов и пошел к матери.

Но как было заговорить о подобном предмете?

– Вы там, маменька… девушка у нас Марья есть… Вы хотите ее насильно замуж выдать?..

– Непременно… непременно… – проговорила, вспыхнув, Аполлинария Матвеевна, и махнула при этом как-то решительно рукой.

– Не непременно-с! – вскричал Александр: – нельзя так вам вашим подлым крепостным правом пользоваться.

Аполлинария Матвеевна уж задрожала.

– Нету, нету, я уж решилась! – говорила она.

– В таком случае и я решусь, – продолжал Бакланов, – и завтра же уеду в Петербург.

Он знал, что ничем так не мог напугать мать, как своим намерением уехать в Петербург. Аполлинария Матвеевна больше всего на свете хотела, чтобы сын остался при ней, получил бы у них в губернии какое-нибудь выгодное место, женился бы на богатой невесте, и оба бы, он и невестка, ужасно к ней были почтительны.

– Вы ни звука, ни весточки не будете получать обо мне! – говорил он.

– Ну, Бог с тобой! Бог с тобой! – говорила Аполлинария Матвеевна и затем заревела.

Этого Бакланов решительно не мог вынести.

– Это чорт знает что такое, – говорил он, уходя из комнаты и хлопая дверьми.

Он опять пришел в овин к Маше.

– Ну, я говорил матери: не выдадут… – сказал он, полагая, что угроза его подействует на Аполлинарию Матвеевну.

– Нет, барин, как не выдадут?.. Выдадут!.. – сказала Маша и еще больше расплакалась.

Бакланова окончательно это взбесило.

– Это не жизнь, а каторга, – произнес он, уходя из овина.

Напуганная словами сына, Аполлинария Матвеевна не отложила своего намерения, а послала за Ионой Мокеичем.

«Он этакий говорун, – разговорит, может быть, его!» – думала она.

Александр, больной и расстроенный, только было прилег после обеда в своем кабинете, как двери отворились, и вошел Иона Мокеич, чистенький, примазанный, как бы ничего с ним перед тем и не случилось.

– Что, дяденька, а? – говорил он, входя.

Бакланов поднялся на диване.

– Вот кто! Ну что, как ваше здоровье? – произнес он.

– Да ничего! – отвечал Иона, садясь против него: – поотошел маненько… Что у вас-то такое натворилось?

Александр развел руками.

– Чорт знает, что такое тут происходит! – сказал он.

Иона усмехнулся.

– Вы слышали? – спросил его Бакланов.

– Нет, я сейчас только приехал.

– Я тут жил с одною девушкой нашей…

Иона в знак согласия мотнул головой.

– И вдруг моей матушке вздумалось выдавать ее замуж.

Иона опять усмехнулся.

– Что это так?.. – произнес он.

– Да, подите, вот!

– От зависти, надо полагать, старухи это делают! – объяснил Иона Мокеич.

– Вероятно! – подхватил Бакланов.

– Зачем-то нарочного присылала за мной… Думает, может, что я это похаю! – продолажал Дедовхин.

– Вы ей скажите, – начал Александр решительным тоном, – что если она это сделает, я сейчас же уеду, и чтобы сыном своим меня не смела потом считать.

– Эхма! – сказал Иона с грустью и ушел к Аполлинарии Матвеевне.

Бакланов, насупившись, сел у окна.

Иона Мокеич совещался с своею соседкою по крайней мере часа два и возвратился от нее с потом на лбу.

– Совсем баба с ума спятила, – начал он, входя к Бакланову.

– Что же? – спросил тот.

– Боится, что ты женишься на девчонке-то этой.

Александр уж захохотал.

– Да что же, я дурак, али сумасшедший, что ли?

– Эти соколы вон, вероятно, все насплетничали! – сказал Иона, кидая злобный взгляд на гайдука Петрушу, который в это время был у барина в кабинете и прибирал его платье.

– Никогда мы думать даже не смеем, чтобы говорить что-нибудь про господина, – отвечал ему тоже с злобным взглядом Петруша, – а что приказчик точно что докладывал госпоже, так как Марья не стала слушаться и на работу ходить…

– Сама девчонка, чу, хвасталась, что ты женишься на ней.

– Да, я точно что говорил ей, – отвечал Александр. – Вообразите: девушку к вам приводят почти силой… надобно же было чем-нибудь утешить ее; ну, я и говорю: «я женюсь на тебе!».

При этих словах Петруша вздохнул: устыдился ли он содеянного

им поступка, или находил, что к нему мало благодарности чувствуют.

Иона Мокеич не переставал лукаво усмехаться.

– Цепки они, проклятые, за эти слова-то!

– Да вы говорили матери, что я уеду в Петербург? – спросил его Александр.

– Говорил. Поди, вон, ревет на весь дом, как по покойнике.

– А намерения своего не отменяет?

– Нет! «У нас и то, говорит, в роду дедушка был женат на девке; так та, говорит, мерзавка била меня». Все теперь и имеет это в своем воображении.

– Да что же мне дедушка за пример! – воскликнул Бакланов.

– Необразование! – объяснил Иона Мокеич. – «Пусть, говорит, с замужней женщиной с какой хочет гуляет, не мое дело; а с девкой не позволю».

Бакланов пожал плечами.

В это время по двору прошла целая толпа женщин, и между ними Александр сейчас же заметил Марью, идущую с потупленною головой.

– Что это, куда идут? – спросил он беспокойно Петрушу.

Тот мрачно посмотрел в окно.

– Невесту, надо быть, обряжать ведут.

– Куда, зачем? – спросил Александр с вспыхнувшим лицом.

– Немножко пообчистить и пообгладить! – отвечал Иона Мокеич. – Сегодня, что ли, венчанье-то? – спросил он Петрушу.

– Сегодня, сказывают! – отвечал тот, грустно потупляя глаза.

– Как сегодня! – воскликнул Александр: – ведь это уж прямо значит надругаться!

– Небольшие тоже, видно, парады-то хотят справлять, – сказал Иона Мокеич.

– О-то, скотство какое! – произнес Бакланов с бешенством в голосе.

Петруша, как бы не в состоянии будучи видеть страдающего барина, ушел из кабинета.

– Не сокрушайся, друг сердечный! – принялся его утешать Иона.

– Да ведь поймите же всю мерзость моего положения! – говорил Александр, колотя себя в грудь: – во-первых, я ее люблю немножко, во-вторых, мне ее жаль, совестно, стыдно против нее, и в то же время я ничего не могу сделать… Ну, что я сделаю?.. Словами – матери не внушишь, она не поймет их. Не бить же мне ее.

– Как можно мать бить! – сказал на это Иона. – Ты уж лучше

потешь ее в этом случае, – прибавил он каким-то заискивающим голосом. – Машка-то к тебе станет и бабой бегать…

– О-то, скотство какое! – повторил еще раз Бакланов, сжимая кулаки и устремляя взор на потолок.

Через час времени Иона Мокеич, будто так, случайно, вышел на двор и пошел прогуляться по усадьбе.

Александр остался один и продолжал сидеть у окна. Вдруг он услышал по дороге стук колес: сначала проехала одна телега с мужиками и женщинами, потом другая с мужиками и женщинами, наконец третья с одними женщинами, из которых сидевшая посредине была вся покрыта белым.

Сердце замерло у Бакланова.

Вскоре после того к нему возвратился Иона.

– Что это, свадьба уж проехала? – спросил он.

– Да, – отвечал Иона протяжно и с улыбкой.

– Что ж она? Скажите! – спросил с чувством Бакланов.

– Побрыкалась маленько! Ну, да я тоже сказал ей: «барин, говорю, тебя и хлебом и деньгами – ничем не оставит».

– Я готов дать все, что хотите!

– Дадут всего!.. Старуха сама того желает: «Я их дом, говорит, подниму».

– Скоты мы, подлецы, мерзавцы! – сказал Александр Ионе Мокеичу.

– В мире, что в море: всего бывает! – объяснил ему тот.

Иона Мокеич вообще в этот раз был в каком-то тихом, философском настроении, что всегда с ним случалось после, как сам он выражался, сильной пересыпки.

По просьбе Аполлинарии Матвеевны и самого Александра, он остался у них ночевать, и на этот раз, спав, по обыкновению, с хозяином в одной комнате, завел с ним совсем другого рода разговор и рассказывал даже, как был в молодости влюблен.

– В кого же это? – спросил Бакланов.

– Да тут одна дворяночка у нас бедненькая бела.

– Что ж, она хороша собой была?

– Нет, не то, чтобы красавица, а помадой хорошей помадилась… Прочие-то маслищем мажутся, так воняет от головищи-то, ну, а она, этак, помадкой, – так тем больше пленила.

Бакланов был, впрочем, грустен и почти не слушал его.

На другой день он объявил решительно, что уезжает в Петербург, и как его Иона Мокеич ни отговаривал и ни упрашивал, он уперся на

своем: велел своему человеку, нимало не медля, укладывать вещи, а кучеру готовить лошадей. С матерью Александр не хотел ни видеться, ни даже проститься, и только уж случайно, зайдя в гостиную за какой-то вещью, застал там Аполлинарию Матвеевну, с лицом, распухшим от слез. При виде сына она очень сконфузилась.

Перед ней стояли обвенчанные молодые, которые пришли к ней на поклон.

У Бакланова едва достало присутствия духа не вернуться назад.

Маша стояла с потупленным лицом, а муж ее, молодой малый, глупо на все посматривал: он еще в первый раз в жизнь свою был в барских горницах.

Маша показала ему что-то глазами, и оба сейчас же подошли к руке Бакланова.

– Поздравляю вас, поздравляю, – говорил тот и поспешил уйти.

– Ты сегодня уезжаешь, друг мой? – сказала ему вслед Аполлинария Матвеевна.

– Сегодня-с! – отвечал он ей грубо.

У Марьи при этом лицо заметно вспыхнуло, а у Аполлинарии Матвеевны сначала задергало обе щеки, потом и слезы потекли.

– Подите, – могла она только проговорить молодым.

Те ушли.

Перед тем, как сесть в экипаж, Иона Мокеич опять стал уговаривать Бакланова.

– Поди, простись с матерью-то!

Александр ничего ему не отвечал и молча сел в коляску.

Тут было подошел к нему проститься мрачный Семен.

– Прочь, мерзавец! – закричал на него Бакланов, заскрежетав зубами.

Тот мрачно и с удивлением посмотрел на него.

С Петрушей, напротив, Бакланов расцеловался.

Поехали.

Стоявшая у курятной избы пожилая женщина выла на всю усадьбу:

– Жил-то наш батюшка промеж нас и никого-то не обидел ни словом, ни ясным взглядом своим!

Когда отъехали от усадьбы довольно далеко, молодой лакей, опять ехавший с Александром, обернулся назад и проговорил:

– Маша бежит-с!

Бакланов сделал недовольную мину.

– Стойте! – сказал он.

Кучер остановился.

Маша, нагнав их, вскочила на подножку коляски, обняла барина и стала целовать его.

– Прощай, Марья, прощай! – говорил он торопливо. – На, вот, тебе! – прибавил он, и подал ей сторублевую.

Но Маша и деньгам, кажется, была не рада. Как-то небрежно засунув их за пазуху, она нехотя слезла с подножки и долго-долго провожала глазами удаляющийся от нее экипаж.

В усадьбу она возвратилась, обежав кругом все поле. От мужа своего потом, как ночь придет, так и пропадет куда-нибудь, так что он никак ее не найдет.

Аполлинария Матвеевна, по отъезде сына, сделалась серьезно больна.

Иона Мокеич остался у нее и все ее утешал.

– Он теперь не прости меня! – говорила она, рыдая и лежа в постели.

– Простит, – успокаивал ее Иона Мокеич.

14. У Палкина уж, видно, не в Британии

Мелкий осенний петербургский дождик, как сквозь частое сито, сеял на тротуары Невского проспекта. В старом Палкинском трактире начинали засвечать огни. У одного из столиков сидел молодой человек в скромном черном фраке. Перед ним стояли три накрытых прибора.

– Что за чорт, еще нет до сих пор! – говорил он, с нетерпением посматривая на часы; наконец в трактир вошел другой молодой человек.

– Вы здесь, Варегин! – проговорил он.

Вошедший был Бакланов. Он сильно постарел и похудел.

– Долго вы! – сказал ему приятель.

– Задержали, – отвечал Бакланов и сказал неправду. Он хотел совсем не прийти обедать, чувствуя к Варегину, составившему себе ученую карьеру и ехавшему теперь за границу, невыносимую зависть.

– Ну что, скажите, нет ли кого-нибудь еще из наших здесь?.. Венявина, например? – продолжал тот добродушно.

Приятели в тот день только поутру сошлись на Невском случайно.

– Нет; Венявин служит в губернии, помощником правителя канцелярии губернатора, совершенно доволен своим местом: губернатора считает за идеал чести, а правителя канцелярии за идеал ума. – отвечал Бакланов.

Варегин слегка усмехнулся.

– Да, произнес он, – у него сердце маленькое, но чистое золото, и он сумеет им позолотить всю жизнь свою.

– А вы скоро едете за границу?

– Дня через два, – вон чистоганом из казны выдали! – отвечал Варегин и звякнул перед глазами Бакланова червонцами.

Тот даже отвернулся, не потому, что это были деньги, а потому, что они были даны человеку за труды и способности.

– Куда ж вы прежде поедете?

– Сначала в Берлин; порасспрошу там, где, по моим предметам, профессора получше, и стану потом колесить по Германии.

Бакланову самому ужасно хотелось за границу, и он бы даже мог это сделать, но зачем? В чем ему и в каких науках было совершенствоваться? И он расспрашивал Варегина как бы затем, чтоб еще более себя намучить.

– А на магистра вы когда будете держать?

– Я уж выдержал, – отвечал спокойно Варегин.

«И это говорит сын мещанина, – думал Бакланов, – начавший с пятнадцати лет учиться грамоте, а он, дворянин, обставленный всеми средствами к образованию, и что сделал?»

В это время к Варегину подошел лакей и спросил:

– Прикажете подавать-с?

– Нет еще, погоди!.. Проскриптского я жду, – прибавил он Бакланову.

– А… а он разве здесь?

– Здесь, и хотел прийти.

Бакланов сделал гримасу.

– Что, вы все еще по-прежнему не любите его? – продолжал с улыбкою Варегин.

– Да, – отвечал Александр.

– Нет, он человек не дурной, – продолжал Варегин, нахмуривая свой большой лоб, – но, разумеется, как и вся их порода, на логические выводы мастер, а уж правды в основании не спрашивай… Мистификаторы по самой натуре своей: с пятнадцатого столетия этим занимаются.

– Вы думаете? – спросил Бакланов, играя брелоками часов.

– Решительно! У них в крови сидит эта способность надувать самих себя и других разным вздором.

– Идет! – остановил его Бакланов.

Варегин повернул голову. В комнату, в самом деле, входил своею вкрадчивою походкой Проскриптский.

– Здравствуйте! – сказал он прежде всего Варегину. – Здравствуйте-с! – прибавил он потом и Бакланову, не смотря, впрочем, на него глазами.

– Как вас дождем замочило! – заметил ему тот.

– Благодарю, я и не заметил, – отвечал Проскриптский, близоруко ища стула и садясь на него.

– Как же не заметили? Вас всего пробило, – спросил, захохотав, Варегин.

– Я никогда не замечаю, что в воздухе: дождь или ясно, – отвечал Проскриптский.

– Даже и самого, я думаю, воздуха.

– Как это-с? Что такое?

– А так: хорош воздух или нет?.. разницу, например, между гордским воздухом и деревенским?

– Да мне все равно-с, – отвечал Проскриптский.

– Все равно! – повторил Варегин, переглянувшись с Баклановым.

– Может быть, – продолжал Проскриптский своим настойчивым тоном, – человеку азот, которого больше в городах, нужнее, чем кислород.

– Все может быть, – отвечал Варегин.

– Решительно все, и я так полагаю, – сказал Проскриптский и, взяв газету, стал ее внимательно пробегать.

Человек подал горячее.

– Какого же нам вина спросить? – сказал Варегин.

– Я никакого не пью, – произнес тоненьким голоском Проскриптский.

– А я мало! – отвечал Бакланов.

– Ну, так дай нам бутылку красного! – сказал Варегин человеку. – Так ли бывало в Британии? – прибавил он полушутя.

– О! Британия! – произнес с восторгом Бакланов.

Проскриптский, между тем, как-то торопливо ел, не переставая читать. Обед прошел совершенно молча, только и всего, что Варегин, обратясь к Бакланову, спросил его негромко:

– А что вы намерены здесь делать?

– Сам еще не знаю… Вы знаете, что я больше всего люблю искусства, – отвечал тот не совсем решительно.

Варегин несколько минут размышлял.

– Но все-таки надобно же взять что-нибудь определенное! – проговорил он.

Проскриптский, все еще не переставший читать, при этом

улыбнулся. После обеда он тотчас же взял шляпу и стал прощаться.

– Вы служите, что ли, здесь? – спросил его Бакланов.

– Да-с, служу-с. Мы от жизни немного требуем: отчего нам не служить!

– Что ж, это все так и пойдет! – заметил ему Бакланов.

– Нет-с! Когда можно будет, так мы попробуем; только не того, что вы!

Проговоря это, он пожал руку у приятелей и вышел.

– Хорошо видеть, как добрый человек сердится, но когда злец злится – гадко! – произнес Варегин.

– Вы не заметили, что он в пище вкуса не понимает, ест как ни попало и что ни попало! – проговорил Бакланов.

Варегин ничего ему не отвечал и, как кажется, был занят собственными мыслями.

– Все-таки это хоть какая-нибудь да сила, а не распущенность, – проговорил он наконец, потупляя свои умные глаза.

Бакланов этот намек принял несколько на свой счет.

– Ну, мне к дяде еще надо, – проговорил он.

– Прощайте, друг мой милый, – сказал, целуясь с ним, Варегин. – А так ли бы мы разошлись в Британии? – повторил он еще раз.

– Да, – произнес и Бакланов в том же тоне.

Не так бы разошлись! – повторяем и мы за ним.

Молодые люди еще только вступали в жизнь, а она уже, видимо, наложила на них свою лапку.

15. Масон

Бакланов шел быстро. Он не останавливался ни перед одним магазином, не заглянул ни под одну из нередко попадавшихся шляпок. Выражение лица его было почти сурово. Он не любил и побаивался бывать у дяди своего, Евсевия Осиповича Ливанова, тайного советника и любимца многих вельмож.

По темным семейным рассказам, Евсевий Осипович слыл масоном: быв еще очень молодым человеком, он погибал было в разврате, но его полюбила одна вдовица и, как скудную лепту евангельскую, принесла ко Христу.

Евсевий Осипович воспрянул, и впоследствии до такой степени успел развить в себе мистический дух, что вряд ли не имел степени каменщика, и был наконец, что важнее всего, другом того, чьей рукой было писано завещание о наследстве России. В его передней

некогда толпились графы и министры; теперь, со смертью этого лица, все уж, разумеется, кончилось, но Ливанов все-таки, силою ума и характера, сумел удержать за собою одно из почетнейших мест в кругу петербургской бюрократии. Благодетельствовать родным он любил, только требовал, чтоб они при этом, как собаки, ползали у его ног. Он-то покойного Бакланова (тоже отчасти масона) женил на своей родственнице Аполлинарии Матвеевне, ублажив его тем, что девица сия благоухает простотой сердца, и все время потом благодушествовал их браку, но птенца их, нашего героя, не совсем прилюбливал, или, по крайней мере, тот возмущал его и своими мыслями, и своими манерами.

В Почтамтской, подойдя к дому дяди, Бакланов приостановился, чтобы перевести дыхание и овладеть несколько собой, а потом, не совсем смелою рукой, отворил дверь.

– У себя его превосходительство? – спросил он тихо и нетвердым голосом.

– Господин Бакланов? – спросил его, в свою очередь, тоже тихо швейцар, с каким-то совсем идиотски-кротким взглядом.

– Да! – отвечал Александр.

– Пожалуйте-с.

Александр стал взбираться по мозаиковой лестнице. В довольно большой зале он невольно кинул взгляд на висевший в углу образ Спасителя, который был нарисован с треугольником в руке, а голова была пронзена двумя стрелами.

В гостиной, перед столом, на котором горела лампа с абажуром, сидел старик с владимирским крестом на шее, в сером широком сюртуке, с пришпиленною на нем анненскою звездой. Все это он носил, кажется, не столько из чехвальства, сколько из желания внушить к себе более страха. В его, с строгими чертами, лице было что-то хищническое, что-то напоминающее лица инквизиторов. Против него сидел другой старик в чем-то вроде подрясника, подпоясанном кожаным ремнем. Густые волосы его, совершенно нечесанные, были не стрижены, но, от полнейшего пренебрежения к ним, сами обсекались и были коротки. Борода его начала расти почти от самых глаз. Теперь он, пуская сквозь бороду густейший дым, курил очень дорогой табак, не сознавая ни достоинства, ни цены его. Лицо его, впрочем, было добродушно и походило на те лица, которые встречаются у здоровых, но заботливых и вдумчивых мужиков.

Перед ним на столе стояла бутылка малаги.

Увидев племянника, Евсевий Осипович проговорил:

«здравствуйте!», и протянул к нему, не вставая с места, руку.

Тот принял ее и сильно, как видно, старался при этом избегнуть подобострастной позы.

Другой старик, напротив, сейчас же встал и отвесил Бакланову, в полспины, добродушнейший поклон.

Тот поспешил ему ответить тем же.

Все наконец уселись.

– Вы долго ли там жили? – заговорил Евсевий Осипович, продолжая начатый еще прежде им разговор с его собеседником.

– Пять лет! – отвечал тот каким-то необыкновенно искренним голосом. – Первые-то два года на цепи, было, держался; ну, да тоже телом-то, что ли, хлибок, ажно раны по всему пошли!.. Народу ко мне ходило; стали уговаривать: «батюшка, говорят, что ты так мучаешься-то!.. спусти себя с цепи-то»… одначе я не слушался!

– Не слушался!.. – повторил Евсевий Осипович в одно и то же время с благоговением и удивлением.

– Да… только другой уж странник, сибиряк тоже наш, приходит ко мне… поговорил я с ним… Вижу, наставником мне может быть… открылся я ему… «Что же, говорит: видно, Бог не приемлет этой жертвы! Аще не имаши силы творити, да отметешися! Может, теперь ты и в миру станешь жить крепко». Однакоже, брат, как вышел, так и искусился.

– Чем же? – спросил Евсевий Осипович с строгим лицом.

– Да всего и есть, что в лес погулять вышел, а лесища там, и Господи! какие райские! Эта лиственница… береза наша сладкосочная… трава густая, пахучая… сладкогласные птицы поют… Я сооблазнился, грешным делом, да грибков и понабрал, – молоденьких все таких, и пришел в соседнее селенье; там нас хорошо, ласково принимают!..

– Хорошо? – спросил Евсевий Оспиович.

– Да, все равно за отцов родных… Попросил я одну старушку… «Зажарь», говорю. «Ай, отче, говорит, повели только!» – и нажарила мне, братец, большую-большущую сковороду, все на маслице, я и съел, и так после того моторить меня стало. «Нет, демаю, баста! шалишь, не гожусь еще в мире жить», и в келью опять…

– Это он в землянках и в дебрях сибирских жил, – обратился Евсевий Осипович к Бакланову, и несколько времени не спускал с него глаз, как бы желая изведать, что такое он думает о том, что теперь слышит и видит перед собой.

Александр, со своей стороны, не находился ничего делать, как

глядеть себе на ногти.

– В человеке два Адама: один ветхий, греховный, а другой – новый, во Христе обновленный. Если теперь телеса наши, этого Адама греховного, не бичевать, они сейчас возымут…

– Несколько уже видений имел, – объяснил совершенно серьезным образом Евсевий Осипович о своем госте.

– Табак я нюхать люблю, – продолжал и тот, как бы в подтверждение его слов: – сидишь этак, вдруг подходит к тебе девка или баба – красивая такая: «Отче, говорит, на-ка, табачку понюхай!». Ну, перекрестился и видишь, что наваждение одно!..

Евсевий Осипович сидел, распустив от умиления руки.

– А я-те сказывал, как гора мне сказала: «аминь»?

– Нет, – отвечал Евсевий Осипович, как бы очнувшись.

– Иду я, братец, в Пермской губернии и так приустал, Боже ты мой! – ноги обтер… спинищу разломило, хоть ложись да умирай тут, – шабаш! Только я, братец, и взмолился: «Господи! говорю, в скорбях, недугах и печалях вопию к Тебе», так, знаешь, молитву от себя свою проговорил… Тобко, братец ты мой, гора-то… боьшущая такая была, на которую я пер-то: «аминь!», говорит.

– Да почем же ты знаешь, что это гора сказала?.. – спросил даже Евсевий Осипович с некоторым сомнением.

– Да никого, друже мое, никого, окромя ее, не было… так-таки твердым мужским голосом и говорит: «аминь!», говорит. Ну уж я и взмолился, всплакал тут…

Бакланов все это слушал, как ошеломленный, и думал: «Что, эти два человека – помешаны или только плуты?». Но дядя был замечательного ума человек, а странник казался таким добрым и откровенным. Невольно мелькавшая в это время улыбка на губах Бакланова не скрылась от блестящего и холодного, как сталь, взгляда дяди.

Собеседник его, наконец, начал вставать и прощаться.

– Выпей на дорожку посошок-то! – сказал ему Евсевий Осипович.

– Ты вот меня сладким винцом угощаешь, – отвечал старик, выпивая рюмку, – а я больше водку мужицкую, простую люблю, да не пью!

– И не пей, гадость! – подтвердил Евсевий Осипович.

– Не упивайся вином: в нем же есть блуд, а она, наша матушка российская, такая насчет этого разбористая… – говорил старик, ища свой посох и клобук.

– Ну, прощайте, – сказал он.

– Прощайте, отче!

– Князь Василью Петровичу скажи, что как назад пойду, так к нему жить зайду, беспременно, не кучился бы.

– Скажу!

– А у графини Вареньки я посошок свой железный оставил; скажи, чтоб она владела им на здоровье да во спасенье.

– Скажу, скажу, – повторял Евсевий Осипович и, проводив странника и, возвратившись в гостиную, сел и погрузился в глубокую задумчивость.

16. Протекция

Дядя и племянник по крайней мере с полчаса сидели, не говоря друг с другом ни слова. Евсевий Осипович был сердит на Александра за его насмешливый вид в продолжении всей предыдущей сцены.

– Что же вы, поговорить о чем-то со мной хотели? – спросил он его, наконец, суровым голосом.

– Да, я, дядюшка, насчет того… – начал тот: – теперь я приехал в Петербург… что мне делать с собой?

Евсевий Осипович несколько времени смотрел ему прямо в лицо.

– Что же вы служить, что ли, намерены здесь? – спросил он.

Бакланов пожал плечами.

– Главная моя любовь и наклонность, – отвечал он, – это искусства!

Евсевий Осипович снова уставил на племянника проницательный взгляд.

– И теперь, помилуйте, – продолжал тот заметно начинающим робеть голосом, – я вот был в Эрмитаже: каталога там порядочного нет!

Лицо Евсевия Осиповича начинало принимать как бы несколько бессмысленное выражение.

– Или теперь, – говорил Александр, хотя в горле его и слышалась хрипота, – за границей тоже нет русского гида ни для галлерей, ни для музеев… Что бы стоило правительству кого-нибудь послать для этого… и, наконец, и здесь я желал бы, по крайней мере, служить при театре!

Далее у Александра не хватало воздуху в груди говорить.

Евсевий Осипович продолжал молчать и не изменял своего положения; потом, как бы все еще под влиянием одолевающих его недоразумений, начал с расстановкой:

– Ничего я не понимаю, что вы такое говорите: здесь гида нет… за

границей указателя… служить наконец при театре… Бог знает что такое!

– Я, может быть, дядюшка, неясно выражаюсь, – произнес окончательно растерявшийся Бакланов.

– Совершенно неясно-с! – повторил за ним Евсевий Осипович.

Прошло несколько минут тяжелого молчания.

– Вон, если хотите, – начал Ливанов, – у меня есть тут один господин… на побегушках у меня прежде был, а теперь советником служит, любимец, говорят министра. Я напишу ему. Вы ведь не кандидат?..

– Нет, – отвечал Бакланов, конфузясь.

– Значит, вам надо в губернском ведомстве начинать. Я напишу ему, он возьмет вас.

Александр на первых порах обиделся этим предложением.

– Я бы желал, по крайней мере, дядюшка, у вас под вашим начальством служить.

– Да мне-то куда девать вас? – возразил ему Евсевий Осипович: – я и без того слишком взыскан милостями Государя Императора моего, да как еще всю родню-то валить на него, так густо будет.

– Я, дядюшка, не о том прошу, а чтобы вы дали мне хоть маленький ход.

– Нет, вы больше того просите. У меня вакансий нет! Значит, вы хотите, чтоб я для вас выгнал какого-нибудь честного труженика и, в виду всех, на позор себе, посадил на его место вас, моего племянника, – вот вы чего хотите.

– Я этого не говорил-с! – сказал Бакланов, окончательно обидевшись.

– Дать ход, – продолжал Евсевий Осипович: – вам дают его – ступайте! В вас есть некоторый ум, некоторое образование, некоторые способности.

На словах: некоторые Евсевий Осипович делал заметное ударение.

– Все это, разумеется, в вас забито и загажено полувоспитанием (настоящим воспитанием Евсевий Осипович считал только ихнее, сектантское), но исправляйтесь, трудитесь!..

– Я трудиться готов! – произнес Бакланов и потом, помолчав, прибавил: – позвольте, по крайней мере, хоть к этому господину письмо!

– Подайте мне перо и лист бумаги… там в кабинете, на шифоньерке… – сказал Евсевий Осипович.

Александр пошел в кабинет.

– Не разбейте там и не уроните чего-нибудь!.. У меня вещи все хорошие!.. – крикнул ему Ливанов.

«Вот скот-то!» – с бешенством думал Бакланов.

Записку Евсевий Осипович написал не длинную.

«Емелюшка прокаженный! Прими сего юнца к себе на службу, – это мой племянник!»

Запечатав ее, он отдал Бакланову.

Слова: Емелюшка прокаженный были Ливановым употреблены в виде ласки, так как Нетопоренко, тоже несколько принадлежавший к их толку, рассказывал, что в молодости он сидел с сведенными руками и ногами и исцелился от этого чудом.

– Заходите, когда будете иметь время! – проговорил Ливанов, вставая и зевая.

– Непременно-с! – отвечал Бакланов, а сам с собой думал: «Только бы место найти, нога моя у тебя, чорта, не будет!»

Евсевий Осипович тоже, по-видимому, с большим удовольствием отдал племяннику прощальный поклон.

17. Советничишко палатский

Не знаю, существует ли до сих пор в российской государственной службе Нетопоренки, но в то время, как начинал ее герой мой, их было достаточное количество.

В юности, обыкновенно, советничество для них – такая недосягаемая мечта, на которую они едва осмеливаются поднять свои лукавые и подслеповатые взоры, но с дальнейшим течением времени видят, что все больше и больше могут прилагать свои способности.

У каждого из них обыкновенно есть благодетель в Петербурге, которого маленькие слабости они знают до тонкости: любит ли он женщин молоденьких, или поесть хорошо, или только охотник деньгу хапнуть, – для всего этого они сейчас ему канал открывают.

Большая часть крестов, украшающих их грудь, даны им за подобные подвиги!

Для ума и сердца вашего не ждите от этих людей ничего; но для телес и всей следующей к оным обстановки они бесценны.

Если б автор был хоть сколько-нибудь значительное лицо, то, по слабости человеческой, он не ручается, чтобы не покровительствовал какому-нибудь подобному каналье.

Точно так и Евсевий Осипович разумел и понимал Нетопоренка и,

чтобы не держать его очень близко около себя, он сыскал ему место по другому ведомству, асессора в палате, а затем на место советника Нетопоренко сам уж перешагнул, и так там укрепился, что, говорят, считался за образцового чиновника.

Но он был не глуп: по какому-то чутью, в воздухе или даже из-под земли вынюхивая, он предчувствовал, что невдолге кругом него будет происходить совсем не то, что теперь происходит, и что звезда его померкнет окончательно и навсегда.

Чтоб обеспечить себя на этот случай, он жил скопидомом и сколачивал копейку на черный день.

Бакланов чуть не задохнулся, всходя к нему по вонючей лестнице. Оборванная, грязная дверь, которую точно двадцать собак рвали, была не заперта. Нетопоренко только сейчас проснулся и, бривши, пильмя-пилил парня, которого он взял к себе будто бы затем, чтобы приучить его к письменной части, а в самом деле заставлял даже белье себе мыть.

– Эка шельма!.. неумоя!.. рыло поганое!.. – говорил он.

Малый не обращал никакого внимания на эти слова и молча обмахивал с грязной мебели пыль метелкой.

– К вам пришли-с, – обернулся он, наконец, и сказал.

– Кто там? – крикнул было Нетопоренко сердито, но, увидев, что входит хорошо одетый господин, сейчас же переменил тон. – Извините меня, пожалуйста! – говорил он, запахивая свой грязный халат. – А дверь у тебя опять была не заперта! – прибавил он, почти с судорогами в лице, парню.

Но тот и этим нисколько не сконфузился: его упорно спокойное лицо как бы говорило: «Да, и завтра не запру, и добьюсь того, что ты меня прогонишь».

– Ну, я же тебя! – прошипел Нетопоренко, поколотив пальцем по столу.

Он в свою очередь тоже, видно, решился переупрямить парня.

– Что вам угодно? – обратился он, наконец, к Бакланову.

Тот подал ему письмо.

– Прошу покорнейше присесть! – сказал Нетопоренко, взглянув на почерк.

Александр сел.

Нетопоренко прочел и как бы некоторое время оставался в недоумении.

– Служить вам угодно у меня? – проговорил он, склоняя голову на бок.

– Да, я желал бы.

– Конечно, я для его высокопревосходительства должен и стремлюсь всей душой сделать все!.. – сказал Нетопоренко, модничая и не без важности.

Из письма Ливанова он очень хорошо увидел, что тот не слишком близко к сердцу держал племянника.

– Ваша прежняя служба? – прибавил он.

– Я из университета.

– А, да! Но там ведь есть разные факультеты?

– Я юрист.

– А, да!

Важность Нетопоренка все больше и больше увеличивалась.

– Это, впрочем, для службы все равно. Почерк ваш позвольте видеть.

– Я писать умею, – отвечал Бакланов с улыбкою и, не снимая перчатки, на первом же попавшемся ему клочке начал писать: «Милостивый Государь!».

– Нет, уж вы потрудитесь дома там, что ли, на аккуратном этаком листике бумажки написать… Я генералу должен показать.

Генералом Нетопоренко называл своего управляющего.

– Я это могу и здесь сделать, – отвечал Бакланов и, взяв со стола советника лист бумаги, написал на нем отчетливо несколько строчек.

Почерк, впрочем, у него был очень хороший, но смелость, с которой он это сделал, не понравилась Нетопоренке: стоя за спиной Бакланова в то время, как то писал, он покачивал на него головой; потом, посмотрев с серьезным видом на написанное и положив молча бумагу на стол, он явно хотел поговорить перед своим будущим подчиненным и дать ему некоторое понятие о своем взгляде на вещи.

– Учение?.. Образование?.. – начал он как бы вопросительно и разваливаясь в креслах: – но надобно смотреть, согласно ли оно с религией, с нравственностью и, наконец, как влияет оно на само поведение человека.

– Образование, я думаю, не портит ничего этого, – проговорил Бакланов.

– О, нет! Не скажите! – воскликнул Нетопоренко. – Из наук, конечно — история вот… Я сам любил ее в молодости… Описывается жизнь монархов и других великих особ – все это, разумеется, в нравственном духе! Или математика – учит там разным вычислениям, объясняет движение светил небесных.

Бакланову даже совестно было слушать всю эту чепуху.

– Но ваша философия, господа, – продолжал Нетопоренко, несколько даже взвизгивая и возвышая голос почти до совершенной фистулы, – она прямехонько подкапывает основы государства… Я бы запретил имя ее упоминать для молодых людей.

Бакланов мрачно молчал.

– Ведь ученье – это еще одни рассуждения, а служба уж дело!.. настоящее… – продолжал Нетопоренко, приходя в пафос разговора. – Вон председатель наш… Я всегда это, без лести, про него говорил… Он, как прочтет дело, так и начинает его разбирать, как ленты: эту прядку – сюда, эту – сюда… Смотришь, оно уж у него и поет! Это ум! соображение!.. А Ваши все эти финтифлюшки – все это еще буки!

«Вот мерзавец-то», – думал Бакланов. – Когда же я могу получить ответ, и могу ли я надеяться иметь хоть какое-нибудь классное место? – проговорил он вслух, вставая.

– Ничего еще не могу сказать; во-первых, первоначально повидаюсь с вашим дядюшкой, желаю от него слышать несколько более определенную рекомендацию об вас; потом должен генералу… Я человек маленький: мне что прикажут, то я и делаю…

– Я постараюсь заслужить ваше доверие, – проговорил Александр, и сам не зная, зачем он это говорит.

– Верю-с! – отвечал ему, не без ядовитости, Нетопоренко. – Хотя в то же время прямо должен вам сказать, – продолжал он, – что вы, гг. университетские, мало годитесь для нашей службы: слишком поверхностны… слишком любите высшие взгляды кидать, а что нужно для дела, то пропускаете.

Бакланов ничего не возразил и раскланялся.

Главное, его удивляло то: каким образом этот человек масон, значит, все-таки принадлежит к кружку людей честных и образованных? По своей молодости и неопытности он не знал еще, что ко всем добрым начинаниям, когда они войдут в силу и моду, как к памятникам в губернских городах, всего больше напристанет грязи и навозу.

Нетопоренки и теперь занимаются не менее благородным делом: они вольнодумничают и читают со слезами на глазах Шевченко.

18. Место, где Нетопоренко – божок

Не без робости, через четыре дня, Бакланов вошел в палату. В передней он увидал сторожа и нескольких мужиков с печальными лицами. В следующей комнате молоденький чиновник печатал

конверты, а другой, совсем старый, с глубокомысленным видом записывал их в книгу и выставлял на них номера.

Бакланов подошел к ним.

– Я желал бы видеть г-на Нетопоренка! – сказал он.

– А зачем вам? – спросил с любопытством молодой чиновник.

– Я на службу здесь поступаю, – отвечал откровенно Бакланов.

– Да куда же? Здесь, ведь, нет вакансий! – проговорил молодой чиновник.

– Как нет! – забрюзжал на него старик: – вчера помощнику во втором столе велели подать в отставку.

– За что же это так? – спросил, уже с некоторым негодованием, молодой человек.

– Нагрубил там, что ли, советнику! – отвечал старик равнодушно.

Бакланову сделалось неловко: неужели это для него выгнали человека из службы? Однако он промолчал.

– Это, значит, вам в хозяйственное отделение надо… туда ступайте! – сказал молодой чиновник, показывая ему на следующую комнату.

Бакланов вошел и увидел у среднего простенка стол; по прочим двум стенам тоже стояли столы с надписями: 1-й, 2-й, 3-й… У простеночного стола сидел чиновник, с Станиславом на шее, с лицом точно крапленым сажей и в очках.

При входе Бакланова он сейчас же обернулся и стал на него смотреть, но не в очки, а через них, как будто бы он их берег на рассматривание более достойных предметов.

– Что вам угодно? – спросил он наконец.

– Я ожидаю господина Нетопоренка, – отвечал Бакланов.

– Ну, так подождите там… Здесь не место! – проговорил чиновник.

Это был делопроизводитель отделения, тоже малоросс и любимец Нетопоренки.

В Петербурге, как известно, все нации, кроме русской, имеют свои партии, и члены их тянут друг друга за уши на ступенях житейской лестницы.

Бакланов, делать нечего, опять вышел в прежнюю комнату.

– Что же вам там сказали? – спросил его с любопытством молодой чиновник.

– Да там не велят и стоять! – отвечал Бакланов.

Молодой человек покачал головой.

Бакланову ужасно хотелось сесть. Он начинал чувствовать усталость и какую-то невыносимую тоску, которую иначе нельзя

назвать, как тоской просителей в присутственных местах.

Будучи не в состоянии долее стоять на ногах, он сел на окно. Чиновники между тем, как шмели, беспрестанно шмыгали мимо него. Проходил иногда и правитель дел, с озабоченным лицом и с пером за ухом. Всякий раз он не совсем дружелюбно посматривал на Бакланова и наконец проговорил ему:

– На окнах сидеть нельзя-с; они не для того сделаны.

– Где ж мне сидеть? Я устал, – отвечал Бакланов уже дерзко.

– Приемная комната у нас вот где-с! – отвечал делопроизводитель, указывая на темную переднюю, где стояли мужики.

Бакланов, однако, туда не пошел и продолжал сидеть на окне. Тоска доходила в нем почти до отчаяния. Наконец, часов в двенадцать все как-то засуетилось, и в присутственной комнате послышался звонок. Туда пробежал сторож. Стали потом проходить и выходить с почтительными физиономиями столоначальники.

Бакланов догадался, что это приехал Нетопоренко.

«И этакому скоту подобная честь!» – подумал он.

И в то же время, не зная, как добраться до таинственного святилища присутственной комнаты, он снова обратился к молодому чиновнику, принимавшему в нем хоть маленькое участие.

– Нельзя ли обо мне доложить г-ну Нетопоренке? – сказал он.

– Я не могу этого!.. С большим бы удовольствием, но нам не приказано: у нас только сторож докладывает, – отвечал тот вежливо и пожимая плечами.

Бакланов подошел к сторожу.

– Доложи, пожалуйста, г. Нетопоренке, что я пришел.

– Теперь знимаются, нельзя! – отвечал солдат решительно.

– Но он, может быть, и все будет заниматься! – взразил Бакланов.

– Ну, и все будут! – повторил солдат.

– Емельян Фомич сам велел им прийти! – вмешался в разговор молодой чиновник.

– Велел… а кто его знает?

– Да ведь тебе говорят, братец; какой ты, помилуй! – подтверждал чиновник.

– Велел?.. Кажинный раз ругается, – бормотал солдат; однако пошел, и через несколько секунд возвратился и прошел прямо в переднюю.

– Что же? – спросил его с нетерпением Бакланов.

– Докладывал.

– Что же?

– Ничего не сказал.

Бакланов с бешенством отошел и стал к своему прежнему окну, готовый плюнуть на все: и на палату, и на дядю, и на Петербург.

Наконец из дверей присутствия раздался голос Нетопоренки:

– Пожалуйте, г. Бакланов.

Бакланов вошел и увидел огромный стол, покрытый отличным красным сукном, щегольское, резное золотое зеркало, мягкие, эластичные кресла, камин.

Лакейская фигура Нетопоренки ужасно не шла ко всему этому комфорту.

– Ну-с, – встретил он Бакланова, – я виделся с вашим дядюшкой… Место у нас есть, если угодно, помощника столоначальника.

– О, помилуйте, я очень рад! – проговорил Александр, в самом деле обрадованный.

Вся физиономия Нетопоренки как бы мгновенно изменилась в его глазах.

– Я могу, значит, сейчас и прошение подать? – проговорил он.

Нетопоренко усмехнулся.

– Нет, нельзя-с! Сегодня суббота – день неприсутственный… Как же вы этого не знаете? А еще юрист! – проговорил он и покачал Бакланову головой.

Тот, впрочем, вышел от него, совершенно с ним примиренный и довольный, и в регистратуре с некоторою уже важностью поклонился своему прежнему покровителю, молодому чиновнику.

19. Канцелярское важничанье

В следующий понедельник Бакланов, с просьбой в кармане, по крайней мере, ждал часа два. К сердцу его начинала опять подступать просительская тоска.

Управляющий, наконец, приехал. Это был высокий мужчина, черноволосый, с черными густыми бакенбардами, в мундире и с владимирским крестом на шее. Проходя в присутствие, он не ответил никому из чиновников на их поклоны.

Бакланова сейчас же позвали.

В присутствии он увидел, что управляющий сидел на своем председательском месте. Он подал ему прошение. Управляющий, нахмурив брови, развернул его и, быстро прочтя, спросил:

– Отчего же оно не по титуле?

Нетопоренко заглянул в бумагу и побледнел.

– Не сказано, кто просит; дабы пропущено… – говорил управляющий.

Нетопоренко качал укоризненно Бакланову головой.

– Рукоприкладство не по пунктам, и места жительства нет…

– Зачем же место жительства? – спросил сильно сконфуженный Бакланов.

– Как зачем? – отвечал ему, в свою очередь, вопросом управляющий.

– Позвольте, я ему поправлю-с, – говорил Нетопоренко, и, взяв просьбу, во мгновение ока написал на ней наверху по титуле, потом кто просит, и наконец вставил, где следует, дабы.

– Учат тоже у нас, а спросили бы чему! – говорил он, возвращая Бакланову прошение, которое у него и приняли.

Нетопоренко сам его потом повел в отделение.

– Вот ваше место и ваш начальник! – сказал он, подводя его ко второму столу.

Столоначальник Бакланова оказался очень еще молодой человек, высокий, стройный, с поднятою вверх физиономией и чрезвычайно, должно быть, самолюбивый. Он не оприветствовал своего нового подчиненного не только каким-нибудь ласковым словом, но даже хоть сколько-нибудь внимательным взглядом и, почти не глядя на него, проговорил, показывая ему на целую связку дел:

– Вот дела к разрешению-с.

Бакланов взял. Он, собственно говоря, и фразы этой: к разрешению – не понял. Пересмотрел одно дело, другое, третье, но спросить своего молодого столоначальника не хотел.

– Чорт знает, что это такое! – повторял он больше про себя и шопотом.

Юный столоначальник наконец услыхал это.

– Надобно писать распоряжение по последней бумаге, – проговорил он неторопливо и нехотя.

– Благодарю! – сказал Бакланов и, смекнув, в чем дело, принялся работать.

Последняя бумага была донесение земского суда о том, что одно дело им не кончено, но что при первой возможности к нему будет приступлено.

Перелистывая бумаги, Бакланов видел, что земскому суду раз пять по этому делу подтверждали, а потому, не думая долго, он распорядился: земскому суду сделать выговор и объявил: если не кончить сего дела в недельный срок, так на его счет будет послан

нарочный.

Во втором деле было отношение консистории о совращении в раскол крестьянской девки Марьи Емельяновой, семидесяти лет и глухонемой от рождения. Бакланов еще в деревне слыхал, как прителсняют раскольников, и при чтении этой бумаги, воспылав благородным негодованием, написал: «Так как крестьянке Марье Емельяновой семьдесят лет и она глухонемая, то к какому бы она толку ни принадлежала – все равно, и подвергать ее исследованиям жестоко и бесчеловечно!». Покончив это, он приостановился, зевнул, и им овладела другого рода тоска, которую можно назвать канцелярской и которою страдают сами чиновники. Спину у него ломило, но более всего ему был неприятен этот запах бумаги и какое-то повсеместное чувство песку, а между тем и есть начинало хотеться.

– Что, мы в котором часу выходим из присутствия? – спросил он столоначальника, но тот не ответил ему на это, а объяснил один из писцов.

– В пять-с!

Бакланов с ужасом взглянул на часы, на которых всего было три часа. Чтобы как-нибудь спастись от скуки, он снова принялся заниматься, но уже настольным реестром.

– Тут вписывается содержание дела, – сказал, увидев это, столоначальник, по-прежнему не глядя на самого Бакланова.

– Знаю-с, – отвечал тот, и начал вписывать одно дело листах на двух, другое на трех, третье на четырех, таким образом дел десять до самых пяти часов.

– Ух! – проговорил он самодовольно и едва разгибая спину.

С столоначальником перед выходом он опять было порывался проститься по-дружески, но тот едва протянул ему конец руки.

Молодой человек этот был побочный сын побочного сына министра, что, может быть, и развило в нем так самолюбие.

20. Надругательство над моим героем

Когда на другой день Бакланов пришел на службу, столоначальник его был уже там.

По свойственной всей людям слабости – следить за своими умственными детищами, Бакланов сейчас же заметил, что решенные им вчера дела лежали на столе, но все резолюции его сверху до низу зачеркнуты и вместо них написаны другие.

– Что ж, разве то, что я написал, не годится? – спросил он не

совсем спокойно столоначальника.

– Да-с! – отвечал тот с своею, по обыкновению, гордо поднятою физиономией и, как бы сказав самую обыкновенную вещь, отошел и стал разговаривать с делопроизводителем.

Бакланов однако не хотел сразу отказаться от своего труда.

– Почему же нельзя уж земский суд припугнуть? – спросил он насмешливо, когда столоначальник снова возвратился на свое место.

– Потому, что на него мы можем представлять только в губернское правление, – отвечал тот и, преспокойно взяв лист бумаги, начал на нем писать.

Бакланов закусил губы. Он видел, что молодой начальник его был прав и не из пустого каприза перемарал резолюции.

– Но почему же об раскольниках не прошла резолюция? – спросил он не таким уж решительным голосом.

– То какая-то бессмыслица, – отвечал столоначальник и, сверх обыкновения, даже улыбнулся.

– Но, ведь, это еще доказать надо! – проговорил Бакланов.

– Консистория нам сообщает, чтобы командировать депутата – только! – отвечал столоначальник и, как бы не желая больше рассуждать о подобных пустяках, снова принялся писать.

– Но позвольте-с! – воскликнул Бакланов, – я сам видел на месте в жизни, как несправедливо притесняют раскольников.

– Что ж из того? – спросил столоначальник.

– А то, что мы, как защитники крестьян, должны же за них заступаться.

– Депутата для того и командируют; наконец, это дело будет в судебном месте, решение пришлют нам на заключение.

Бакланов опять видел, что молодой столоначальник прав. Будь это старик, Бакланов перенес бы терпеливо, но такой молокосос и так славно знает дело. «Как у него, канальи, все это ясно и просто в голове», – думал он и, робея взяться за резолюции, стал заниматься настольным. Исписав в одном деле всю бумагу, он обратился к столоначальнику.

– Что тут пришить надо? У меня больше нет места! – спросил он его совершенно спокойно.

– Как места нет? – спросил столоначальник и даже покраснел; но, взяв реестр в руки, решительно пришел в ужас.

– Что вы такое тут наделали? – спросил он глухим голосом.

Бакланов тоже струсил.

– Что такое? – спросил он в свою очередь.

– Вы всю книгу испортили: она выдана на год, а вы по двадцати делам всю бумагу исписали – это сумасшествие наконец!

– Но, ведь, как же, иначе нельзя… – говорил, заикаясь, Бакланов.

– Как нельзя-с!.. Вы чорт знает каких выражений тут насовали: «странные распоряжения» уездного суда, «возмутительная медленность» гражданской палаты, тогда как она выжидает аппеляционные сроки.

Столончальник взял книгу и пошел к секретарю. Оба они несколько времени, как бы совершенно потерявшись, разговаривали между собою. Наконец, секретарь обратился к Бакланову.

– Вы, видно, не служить сюда поступили, а портить только; коли сами не понимаете – спросили бы…

Стыду и оскорблению моего героя в эти минуты пределов не было. Он не в состоянии даже был ничего отвечать.

– Объяснить надо Емельяну Фомичу; доклад особый придется писать… – толковали между тем его начальники.

«И к Емельяну Фомичу еще пойдут, к скоту этому!» – думал Бакланов, совсем поникнув головой.

Столоначальник прошел в присутствие.

Бакланов, стыдно сказать, дрожал, как школьник.

– Г-н Бакланов! – крикнул, наконец, из присутствия голос Емельяна Фомича.

Считай Бакланов хоть сколько-нибудь себя правым, он всем бы им наговорил дерзостей, но он ясно понимал, что тут наврал и был глуп: вот что собственно его уничтожало.

– Вас определили, а вы не хотите ни у кого спросить? Ведь это не стихи писать! Нет, не стихи, – повторил несколько раз Нетопоренко и с таким выражением, что как бы презреннее стихов ничего и на свете не было.

– Ученые, тоже: ах, вы! Вот вам пример, молодой человек! – При этом он указал на стоявшего гордо у стола столоначальника. – С первого разу в службу вникнул как следует: а отчего? – оттого, что ум есть, а у вас ветер! Ступайте!

Бакланов, и тут ни слова не ответив, вышел. «Подать в отставку!» – подумалось ему, но это значило бы явно показать, что он струсил службы и не может ее понимать.

Домой он возвратился в совершенном отчаянии.

«На что я способен и чему меня учили?» – думал он с бешенством.

Бедному молодому человеку и в голову не приходило, что в своем посрамлении он был живой человек, а унижающии его люди – трупы.

Что как ни нелепы на вид были его распоряжения, но в них он шел все-таки к смыслу их мертвого и бессмысленного дела!

Часть третья

1. Наперсница

От Новоспасского кладбища по шоссе, обсаженному пирамидальными тополями, в город К*** ехала быстро щегольская парная карета. На набережной, перед небольшим, но красивым домиком экипаж остановился, и из него вышла молодая женщина в трауре. Решительно не замечая – кто ей отворил дверь, как все мило было в белой светлой зале, как в палевой гостиной, в простеночных зеркалах, отразился ее стройный стан, она прошла и в следующей комнате, имевшей вид будуара, сняв с себя шляпку, села на табурет перед богатым туалетом. Это была наша Софья Петровна Ленева.

Костюм ее, по наружности, был довольно прост: черное шелковое платье, черные бусы с довольно большим крестом, черные браслеты; но чего все это стоило, понял бы самый неопытный глаз: изящество дышало в каждой вещичке на ней, в каждой складке ее платья.

По стройности и правильности своего стана и выразительной красоте лица, Софи как будто бы и на русскую даму не походила. Скорей это была итальянка, но только итальянка светская, аристократическая.

В ее будуаре было богато и с большим вкусом убрано.

Софья Петровна, по крайней мере, с час сидела, полузакрыв лицо и погруженная в глубокую задумчивость. Лицо ее выражало печаль и озабоченность.

Маленькая, почти потаенная, под пунцовыми обоями дверь отворилась, и в комнату, по мягкому, шелковистому ковру, неслышно вошла тоже знакомая нам девушка, Иродиада, и тоже в трауре, с изящным белым воротничком и с вышитыми рукавчиками. Она очень похорошела, сделалась еще стройнее, и даже ноги у ней стали маленькие, изящные и обутые в пятирублевые прюнелевые ботинки.

История ее, с тех пор, как мы ее оставили, очень проста: смирением своим она до того умилила Биби, что та сама ей раз сказала:

– Не хочешь ли, Иродиада, в монастырь?.. Я вижу, что тебя ничто в мире не влечет!

– Да, сударыня, если бы милость ваша была, – отвечала Иродиада.

– Ах, пожалуйста! Я за грех себе считаю удерживать тебя, –

отвечала Биби, и в первую же поездку в город дала Иродиаде вольную.

Та сначала объявила ей, что поедет к Митрофанию на богомолье, а вместо того проехала в ту губернию, где жила Софи с мужем.

– Возьмите меня, Софья Петровна; я буду служить вам, как и тетеньке вашей служила!.. – объявила она; в этот раз в голосе ее слышно было что-то особенное, так что Софи, не задумавшись, взяла ее и, по своей страсти видеть около себя все красивое, сейчас же одела ее как куколку.

Бывшей печальнице и смиреннице, кажется, это было весьма не неприятно, и затем госпожа и служанка очень скоро и очень тесно сошлись между собою.

– Эммануил Захарыч прислали-с! – начала наконец Иродиада, негромко и неторопливо.

Софи взмахнула на нее глазами, и какое-то утомительное чувство промелькнуло у ней на лице.

– Что же? – спросила она.

– Спрашивают, могут ли они приехать к вам.

– Нет! – сказала было сначала Софи резко; но потом, обдумав, прибавила: – скажи, что я только что сейчас приехала с могилы моего мужа, мне не до гостей.

Иродиада неторопливо вышла.

В своей комнате, тоже очень чистенькой и красиво прибранной, она нашла черноватого, курчавого молодого господина, с явно еврейскою физиономией, большого, должно быть франта, с толстою золотою цепочкой на часах и в брильянтовых перстнях.

– Сто-зе-с? – спросил он, модно помахивая шляпой.

– Они больны… не могут принять, – отвечала Иродиада.

– Ах ты, Бозе мой, Бозе мой! – произнес посланный: – так господин убивается… так!

– Они очень нездоровы! – отвечала Иродиада прежним ровным тоном.

Посланный не уходил и продолжал смотреть себе на руки и на сапоги.

– Могу ли я с вами переговорить два слова? – сказал он наконец.

– Что? – спросила Иродиада.

– Два слова! – повторил он и вслед за тем начал что-то такое скороговоркой объяснять Иродиаде. Она его слушала как-то насмешливо-холодно.

– Так? – заключил он.

Молодой человек торопливо засунул руку в боковой карман,

вытащил оттуда бумажник, вынул из него сторублевую бумажку и подал ее Иродиаде. Та равнодушно приняла ее. Молодой человек протянул к ней руку; она хлопнула по ней своею рукой, которую он и поцеловал с чувством, а затем, надев еще в комнате шляпу набекрень, модно расшаркался и вышел. Иродиада как-то мрачно посмотрела ему вслед.

Софи между тем все еще продолжала сидеть в задумчивости. Вдруг раздался звонок. Софи даже вздрогнула.

– Иродиада! Иродиада! – крикнула она.

Та проворно вошла.

– Скажи, что я не могу принять, что я спать легла, – говорила Софи и начала торопливо развязывать шнурки у платья, как бы за тем, чтобы в самом деле раздеться и лечь.

Иродиада вышла в переднюю.

Софи напрягла весь слух, чтоб услышать, что там будет говориться; она закусила свои красивые губки, лицо ее побледнело.

Иродиада наконец возвратилась.

– Что ты так долго?.. – сказала почти с тоской Софи.

– Это не Эммануил Захарыч!.. – отвечала та.

– Как? – спросила Софи и взялась уж рукой за бьющееся сердце.

– Это Александр Николаевич Бакланов! – договорила Иродиада.

– Ах! – вскричала Софи и, вскочив, побежала навстречу.

Перед ней, в самом деле, стоял Бакланов.

Первое время они ничего не в состоянии были говорить, а взяли друг друга за руки и смотрели один другому в глаза.

Иродиада, с подсвечником в руках, тоже смотрела на них.

2. Опять поэзия

– Хорошо ли у меня здесь? – было первое слово Софи, когда они уселись с Александром в будуаре.

– Да! – отвечал тот, сияя весь радостью.

– Ах, Боже мой! Погоди, постой! – воскликнула вдруг Софи, закрываясь рукою.

У ней невольно потекли слезы.

– Ну вот и ничего, прошло!.. Иродиада, дай воды! – прибавила она, снова открывя свое прелестное лицо, хотя щечки ее еще дрожали.

Иродиада, с несколько лукавым видом, подала ей воду: она еще в Ковригине, когда Бакланов и Софи бывали там, догадывалась о чувствах, которые молодые люди питали друг к другу.

– Ну, так как же? – заговорила Софи.

– А так же!.. – отвечал ей Бакланов, смотря на нее с нежностью.

– Как же ты приехал сюда?

– А так!.. Как ты мне написала, что муж твой помер и другое прочее, так я сейчас к дяде Ливанову… знаешь, я думаю, его?

– Да! Когда мы, в первый год моего замужества, ездили с Яковом Назарычем в Петербург, так часто бывали у него…

– Он не ухаживал за тобой?

– Было немножко! Постой, как он называл тогда меня!.. Да!.. Прекрасной Юдифью, и все пророчествовал, что я не одному Олоферну, а сотне таких посшибаю головы.

– Что ж, это правда? – спросил Бакланов.

– Не знаю, может быть, – отвечала Софи кокетливо. – Ну-с, отправились к дяде?

– Отправился к дяде и говорю: так и так, грудью страдаю, а около этого времени я прочитал, что здесь место уголовных дел стряпчего открылось. «Похлопочите, говорю, чтобы перевели меня». Он сам поехал к министру.

– Какой, однако же, добрый, – заметила Софи.

– Какое, к чорту, добрый? Я денег у него около этого времени попросил взаймы, так боялся, что это часто повторяться будет.

Софи засмеялась.

– Поехал я наконец, – продолжал Бакланов: – и что я чувствовал, подъезжая сюда, и сказать того не могу: вдруг, думаю, она уехала куда-нибудь, или умерла, – что тогда со мною будет?.. Приезжаю в гостиницу – и спросить не смею; наконец почти шопотом говорю: «Здесь такая-то госпожа живет?» – «Здесь», говорят… Я и ожил.

– О, какой ты милый! – воскликнула Софи.

И молодые люди, сами не отдавая себе отчета, поцеловались.

– Дело в том, – продолжал Бакланов, – что по случайному, может быть, стечению обстоятельств, но ты одна только была и осталась поэзией в моей жизни; а то – эта глупая студенческая жизнь, в которой происходил или голый разврат или ломанье вроде Печорина перед какою-нибудь влюбленною госпожой.

– А была же такая? – произнесла весело-ревниво Софи.

– Была! – отвечал Бакланов. – Потом этот Петербург, в котором, если у девушки нет состояния, так ее никто не возьмет, и они, как тигрицы, кидаются там на вас, чтобы выйти замуж, а потом и притащут к вам жить папеньку, маменьку, свячениц, родят вам в первый же год тройников.

Софи покачала с улыбкой головой.

– Ты такой насмешник, как и прежде был! – сказала она, глядя с любовью на Бакланова: – впрочем, и здесь все то же, если не хуже! – прибавила она с легким вздохом.

– Но здесь у меня **ты** есть! Пойми ты, сокровище мое! – воскликнул Бакланов: – здесь я для тебя одной буду жить, тобой одной дышать.

– О, да, – воскликнула Софи с полным увлечением.

– Ты свободна, я свободен! – говорил Александр.

– А мать у тебя умерла? – спросила Софи.

– Да! – отвечал он почти с удовольствием: – что же-с? – продолжал он, вставая и раскланиваясь перед Софи: – когда вы прикажете мне явиться к вам и сказать: Софья Петровна, позвольте мне иметь честь просить вашей руки, и что вы мне на это скажете?

– Я скажу: да, да, да! – отвечала Софи.

– Софья Петровна! – продолжал Александр в том же комическом тоне (от полноты счастья он хотел дурачиться и дурачиться): – будете ли вы мне женой верной и покорной?

– Буду, верной и покорной, но только небережливой, потому что мотовка ужасная.

Бакланов вдруг встал перед ней на колени.

– «Божественное совершенство женщины, позволь мне перед тобой преклониться!» – проговорил он монологом Ричарда. – А ты отвечай мне, – продолжал он, хватая ее ручку и колотя ею себя по лицу: – «Гнусное несовершенство мужчины, поди прочь!».

– О, нет, милый, чудный! – отвечала та, обхватив и целуя его голову, а потом Бакланов поднял лицо свое, и они слились в долгом-долгом поцелуе.

Обоим им тогда было – Софье двадцать три года, а Бакланову двадцать шесть лет.

3. Выставляющиеся углы действительности

На другой день майское утро светило в будуаре Софи сквозь спущенные белые шторы. В комнате было полусветло и прохладно.

Софи, в спальной блузе, в изящных туфлях, с толстою распущенною косой, сидела перед своим туалетом. Она сама представляла собою не менее полную свежести и силы весну.

Иродиада, тоже в стройном и, по случаю праздника, белом платье, засучив кокетливо рукава, убирал госпоже волосы.

Софи, впрочем, на этот раз не с обычным вниманием занималась своим туалетом, не прикладывала и не примеривала свои волосы, как им лежать следовало, а все предоставила Иродиаде, и сама сидела в задумчивости.

– Александр Николаич надолго сюда приехали-с? – спросила та вдруг.

– Надолго… Он служить здесь будет, – отвечала Софи.

Что-то вроде насмешливой улыбки пробежало по лицу Иродиады.

– Я, может быть, замуж за него выйду, – прибавила Софи, улыбаясь.

Иродиада молчала.

– Нравится он тебе? – прибавила Софи.

– Барин молод-с! – отвечала Иродиада.

Некоторое время между госпожой и служанкою продолжалось молчание.

– Александр решительно меня спасет… – проговорила Софи, как бы больше сама с собою.

Иродиада в это время убирала щетку, гребенку, помаду.

– Денег у вас, Софья Петровна, ничего нет! – проговорила она каким-то холодным голосом.

– Ну, заложи там что-нибудь! – отвечала Софи беспечно.

– Что, барыня, закладывать-то? Серебро уж все заложено, вещи тоже; не платье же нести, – отвечала Иродиада.

На лице Софи изобразилась тоска.

– У Эммануила Захарыча можно взять-с! – произнесла с некоторою расстановкой Иродиада.

Софи взглянула на нее с испугом.

– Они ничего! Дадут-с! Только и желают, чтобы хоть на час, на минуту вас видеть.

Софи сидела и терла себе лоб.

– Ну, хорошо, поди возьми!.. Скажи, чтобы приписал там к прежнему счету, – проговорила она торопливо.

Иродиада, однако, не уходила.

– Когда же им приехать-то прикажете?

Выражение лица Софи сделалось совсем мрачно.

– Завтра что ли-с? – продолжала Иродиада.

– Нет, завтра у меня Александр будет! – воскликнула Софи, как бы испугавшись.

– Ну, послезавтра-с.

Софи ничего на это не возразила.

4. Чувствительный еврей

Иродиада, в новеньком бурнусе, с зонтиком и в прелестной шляпке, которую подарила ей Софи, всего два раза сама ее надевавшая, проворно шла по тротуару.

Ни в походке, ни в наружности Иродиады ничего не было, что бы напоминало горничную, так что один приказный, только было перед ее проходом выбравшись из погребка:

– Ай, батюшки, советница наша, советница! – проговорил он, стыдливо закрываясь рукой и сейчас же снова себя погребая в погребке.

По темным известиям, Иродиада сама принадлежала к дворянскому роду и чуть ли не была дочерью Евсевия Осиповича, который как-то раз приезжал к секунд-майору погостить и все шутил с одною замужнею женщиной, которая после того и родила дочь, совершенно не похожую на мужа. Софи даже теперь иногда с удивлением всматривалась в свою горничную и замечала, что она ужасно похожа на нее, особенно с глаз.

Перед огромным каменным домом, с колоннами и с цельными стеклами в окнах всего бельэтажа, Иродиада остановилась и вошла в резную, красного дерева, дверь. Что тут живет не владетельный какой-нибудь принц, – можно было догадаться по тому только, что на правом флигеле, выкрашенном такой же краской, как и дом, была прибита голубая доска с надписью: контора питейно-акцизного откупа.

Войдя, Иродиада увидела швейцара с золотою булавой и во фраке, обложенном позументом.

– Здравствуйте-с! – сказала она, дружески мотнув ему головой.

– Вы к Иосифу Яковлевичу или к Эммануилу Захарычу? – спросил ее тот несколько таинственно.

– К Эммануилу Захарычу, – отвечала Иродиада.

– Он там у себя, в кабинете теперь, – сказал швейцар, вежливо отворяя двери.

Иродида, как вступила туда, так и пошла по превосходному английскому ковру. Мебель в первой комнате была зеленая, кожаная. В углах стояли мраморные статуи в своей бесцеремонной наготе, отчего Иродиада, проходя мимо них, всякий раз тупилась.

Далее, в самом кабинете шли ореховые полки по стенам с разными, поддерживающими их, львиными рожами и лапами. Окна полузакрывались толстою ковровою драпировкой.

Но что собственно в этой комнате составляло предмет всеобщего

внимания и зависти, так это невзломаемый и несгораемый шкаф со скудными лептами откупа, около которого, сверх его собственной крепости, клались еще на ночь спать два, нарочно нанимаемые для того, мужика.

Сам Эммануил Захарович, в ермолке, в шелковом сюртуке, в шитых золотом туфлях, сидел перед огромным письменным столом. Он был мужчина лет пятидесяти, с масляными, приподнятыми вверх глазами, отчасти кривошей и сутуловатый – признак не совсем здорового позвоночного столба, и вообще всею своею физиономией он напоминал тех судей, которые соблазняли Сусанну.

– Ах, бон зур! – проговорил он, увидев входящую Иродиаду, и даже взял и пожал ее руку.

Буква з у него, так же, как и у поверенного его, сильно слышалась в произношении.

– Софья Петровна приказала вам кланяться, – начала та, – и велела вам сказать, что вчера они не могли вас принять, так как не очень здоровы были. Сегодня доктор тоже велел им ванну взять, а завтра – чтобы вы пожаловали.

– Ну сто-з… хоть и завтра, – произнес с грустью Эммануил Захарович.

– Еще Софья Петровна приказали, – продолжала Иродиада тем же бойким тоном, – так как им таперича денег очень долго не высылают из деревни, – чтобы вы денег пожаловали… Пусть там уж, говорят, к общему счету и припишет.

– Денег, – произнес Эммануил Захарович с тем неуловимым выражением, которое появляется у человека, когда его тронут за самую чувствительную струну: – я все делаю!.. все!.. – прибавил он.

– Они очень хорошо это и чувствуют-с, – отвечала Иродиада.

– Где зе чувствуют, где? Не визу я того…

– Молоды еще, сударь, они очень! – отвечала Иродиада.

– Ты зе любись Иосифа, любись?

Иродиада улыбнулась и грустно потупилась.

– И меня-то Бог не помилует за то… – сказала она.

– Не Бога зе она боится!

– Бога не Бога, а что в свое еще спокойствие и удовольствие жить желают.

– В свое удовольствие! – повторил досадливо Эммануил Захарович и, встав, подошел к заветному шкафу.

– Сколько зе тебе? – прибавил он, вынимая оттуда не совсем спокойною рукой тысячную пачку денег.

– Всю уж пожалуйте, – отвечала, проворно подходя к нему, Иродиада и почти выхватывая у него из рук пачку и опуская ее в карман.

На лице Эммануила Захаровича опять промелькнуло какое-то неуловимое выражение.

– Я приеду! – сказал он каким-то угрожающим голосом.

– Приезжайте-с! – сказала Иродиада и пошла.

Но Эммануил Захарович опять прикликнул ее.

– Ты из насих? – спросил он ее.

– Чего-с?

– Из евреев?

– Нет-с!

– А я думал, сто из евреев!.. – продолжал он, устремляя на нее недоверчивый взгляд, а потом перенес его на висевшую на стене картину, изображающую жертвоприношение Авраамом сына. Как тому для Бога, так ему для своей любви ничего, видно, было не жаль.

В сенях Иродиаду опять остановил швейцар.

– Иосиф Яковлевич просил вас зайти к нему на минуточку, – сказал он.

– Может и сам к нам прийти; мне еще некогда! – отвечала она бойко и, выйдя на улицу, сейчас же взяла извозчика и поехала домой.

– Привезла, барыня, – сказала она с восторгом, входя и подавая Софи пачку ассигнаций.

Софи только усмехнулась.

– Что же он говорил? – спросила она.

– Приедут послезавтра вечером.

Софи сделала недовольную мину.

– Вы уж полюбезничайте с ним, – сказала Иродиада.

– Как же, сейчас! – отвечала Софи и, когда Иродиада вышла, она всплеснула почти в отчаянии руками.

– Господи, когда меня Бог развяжет с этим человеком! – произнесла она.

5. Воркованье голубков

Вечера на юге наступают ранее и быстрее.

Софи сидела с Баклановым в кабинете ее покойного мужа, после смерти которого она сейчас велела вынести все хоть сколько-нибудь напоминающие его вещи и оставила один портрет его, и то потому, что он был превосходно написан и вставлен в щегольскую золотую раму.

На изображении этом покойный Ленев был представлен в совершенно ему несвойственной величественной позе, и как бы с презрением смотревшим на оставленный им теперь мир.

Большое створчатое окно, выходившее в сад, было растворено.

Молодые люди сидели – один по одну его сторону, а другая по другую.

С густых и далеко разросшихся деревьев опахивало вечерней свежестью.

– «Ночь лимоном и лавром пахнет!» – продекламировал Бакланов, навевая на себя рукою в самом деле благоухающий воздух.

– А ты все так же любишь стихи? – спросила Софи, лаская его по плечу.

– Ужасно!.. А тут, пожалуй, и сам поэтом сделаешься… Посмотри в эту сторону! – воскликнул он, показывая ей на запад, где, в самом деле, облака натворили Бог знает каких чудес: то понаделали они из себя как бы людей-великанов в шлемах, с щитами, то колесницы, то зверей с открытыми пастями, и все это было с позлащенными краями.

– А здесь еще! – обернула его Софи в другую сторону.

Там, неведомо от чего, шла целая полоса света, и вообще в небе был тот общий беспорядок, когда догорающий день борется с напирающими на него со всех сторон тучами. Вдли уже погремливало.

– Ты любишь гром? – спросила Софи.

– Люблю… В гром любить сильней можно.

– Отчего?

– Оттого, что сама любовь есть не что иное, как электричество.

– Вот как! – сказала Софи и выставилась в окно подальше, чтобы посмотреть, где именно гремит. При этом грудь ее очутилась на руке Бакланова.

– А у тебя сердчишко порядочно бьется! – сказал он, дотрагиваясь до того места, где должно было быть у нее сердце.

– Еще бы! – отвечала Софи, отодвигая его руку и вообще садясь попрямей. – А помнишь ли, ты меня все Тамарой назывл? – прибавила она после нескольких минут молчания.

– Да: «Прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла!» – воскликнул Бакланов.

– А может быть, я и в самом деле такая, – подхватила Софи лукаво.

– Ничего! Я готов хоть сейчас же купить ценою жизни ночь твою… Вот пусть в это же окно и вышвырнут.

Софи отрицательно покачала головой.

– Я не хочу того, – отвечала она.

– А я хочу.

– Ни! – возразила Софи по-малороссийски.

Бакланов схватил себя за голову.

– Ну что: ни! – возразил он. – Неужели же тебе нужно это венчание, чтобы там пели, венцы надевали. Бог и здесь нас благословит.

– Это не Бог, а лукавый бесенок! – говорила Софи: – я хочу за тебя выйти чистою и непорочною, как девушка. Ведь я почти что девушка!

– Не нужно мне этого, не надо! – воскликнул Бакланов и, вскочив, схватил Софи в объятия, и в то время, как она слабо сопротивлялась, он целовал ее в лицо, в шею.

– Постой, погоди! Два слова! – проговорила, наконец, она.

Александр несколько поотпустил ее.

Софи сейчас же дернула за сонетку, и сейчас же затем вошла в комнату Иродиада.

– Дай мне капель, – сказала Софи.

– Каких-с? – спросила та в удивлении.

– Ну, каких-нибудь!

Сметливая горничная поняла наконец, что госпожа приказала ей, чтобы что-нибудь приказать; а потому, налив в рюмку простой воды, принесла ее вместе с свечой.

– Вам минут через десять прикажете подавать-с? – спросила она с улыбкой.

– Нет, через пять, – отвечала Софи.

Иродиада ушла.

Портрет Ленева от принесенного огня выглянул из рамы.

Бакланов стоял взволнованный, сконфуженный и растерянный.

Софи подошла к нему.

– Смотрите, вон он сойдет и убьет вас! – сказала она, показывая на мужа.

Бакланов не мог удержаться и взглянуть на нее. О, как она была прелестна.

– Прощайте! – сказал он.

– Прощай, – сказала ему и Софи, целуя его по крайней мере в сотый раз.

На дворе была настоящая уж буря: гремел гром, и шел проливной дождь.

6. Простота провинциальных нравов

Настоящий прокурор был болен. Бакланову, с самых первых шагов, пришлось исправлять его должность: в это время, разумеется, ссылались люди на каторгу, присуждались тысячные имения от одного лица к другому, и все это наш молодой юрист должен был проверять и контролировать, – но увы! кроме совершенного незнания всех этих обязанностей, у него в воображении беспрестанно мелькали хорошенькое личико Софи, ее ручка, ножка… В одно из присутствий, когда он сидел и держал глаза более механически устремленными на бумаги, вошел сторож-солдат.

– Мозер, ваше высокоблагородие, вас спрашивает, – сказал он.

– Что? – переспросил его Бакланов.

– Мозер, ваше высокородие! – повторил солдат.

– Я ничего не понимаю, – сказал Бакланов, обращаясь уж к прокурорскому письмоводителю, сидевшему тут же за столом.

– Это, верно, управляющий здешним откупом, – объяснил тот.

– Спрашивает вас, ваше высокородие, – повторил еще раз солдат.

– Так пускай войдет сюда!.. Что ж мне итти к нему? – сказал Бакланов.

– Позови сюда, какой ты глупый! – сказал солдату и письмоводитель.

Сторож повернулся и пошел как-то нерешительно: он, кажется, сильно удивлялся, что как это так мало оказывают внимания господину, у которого столько водки.

Тотчас же после его ухода вошел знакомый нам Иосиф Яковлевич.

Сначала он с нежностью пожал руку у письмоводителя, а потом подошел к Бакланову.

– Так как, васе высокородие, Эммануил Захарыч не так, знацит, здоровы теперь: «Поди, говорит, и праси гаспадина здряпцаго кусать ко мне».

– Кто такой? Что такое? – спрашивал Бакланов, привставая и в самом деле решительно ничего не понимая.

– Откупсцик, васе высокородие, просит вас, – объяснил точнее Мозер.

Бакланов немножко вспыхнул и рассердился.

– Извините меня, я езжу на обеды только к знакомым мне лицам, – отвечал он.

– Эммануилу Захарыцу оцень совестно, – начал опять Иосиф, несколько, по обыкновению, модничая, – они теперь не выеззают… «Праси, говорит, господина здряпцего. У меня, говорит, будут г. вице-губернатор, г. председатель… г. губернатор». Сделайте бозескую

милость, васе высокородие, откусать у нас, – заключил Мозер.

– Ей-Богу, не знаю… если буду иметь время, – отвечал Бакланов.

– Сделайте милость! – повторил еще раз Мозер и, модно раскланявшись, вышел.

Ему собственно ничего не было приказано от Эммануила Захарыча, который был, как мы знаем, здоровешенек, но сметливый агент, придя случайно в прокурорскую и услышав о приезде нового стряпчего, счел не лишним завербовать его на первых же шагах в свой круг, так как, по многим опытам, было дознано, что от денег некоторые помоложе чиновники еще спасались, но от тонких обедов – никто!

– Что за господин? – спросил Бакланов опять письмоводителя.

– К ним точно что все ездят, – отвечал тот.

– Все?

– Все-с! Обеды уж очень отличные… Сто рублев в месяц одному повару-французу-с платят.

– Съездить разве? – проговорил, недоумевая, Бакланов.

– Поезжайте-с! – одобрил его письмоводитель.

7. Неблагодарные дети

Бакланов приехал на обед прямо из присутствия. Тот же швейцар, с булавой и только в совершенно новом ливрейном фраке, и даже в шелковых чулках и с более обыкновенного важною физиономией, распахнул перед ним дверь.

– Вы к Эммануилу Захарычу или к Иосифу Яковличу? – спросил он его.

Бакланов решительно не знал, что ему отвечать.

– Я к откупщику, – отвечал он.

– Да вы обедать, что ли, приехали? – продолжал его допрашивать швейцар.

Бакланов совершенно сконфузился.

– Да, – отвечал он.

– Ступайте наверх-с. Там барчики есть, – сказал швейцар, указав головой на великолепнейшую лестницу, уставленную мраморными статуями и цветами. – Ваша фамилия-с? – добавил он, как бы вспомнив, что ему собственно надо было делать.

– Бакланов.

– Бакланов! – крикнул швейцар, ударив в звонок.

– Бакланов! Бакланов! – раздалось два-три голоса.

Подобного соединения барства и хамства Бакланов никогда еще в

жизнь свою не видывал. Он пошел.

Он роскошь попирал ногами, опирался рукой на роскошь, роскошь падала на него со стен, с потолков и наконец, торчала в виде по крайней мере целого десятка лакеев, стоявших в первой же приемной комнате.

– Пожалуйте-с! – проговорили они почти все в один голос, показывая ему руками на видневшуюся вдали залу и на раскинутый по ней длинный обеденный стол.

Бакланов вошел, и первое, что кинулось ему в глаза, был как-то странно расписанный потолок. По некотором рассмотрении оказалось, что это ода Державина была изображена в лицах: «Богатая Сибирь, наклонившись над столами, рассыпала по ним и злато и сребро; венчанна класами хлеб Волга подавала; с плодами сладкими принес кошницу Тавр». Видимо, что хозяин в этом случае хотел выразить, что он патриот и свой обеденный храм не нашел ничем лучшим украсить, как рисунками из великого поэта. Впрочем, Эммануил Захарович и вообще старался показать, что он русский; за исключением несколько иноземного начала в имени, он и фамилию имел совершенно народную: Галкин. Некоторые смеялись, что будто бы это прозвище он получил в молодости оттого, что в Вильне, для забавы гусарских офицеров, в их присутствии, за 50 рублей сер. съел, не поморщась, мертвую и сырую галку, – и эта скудная лепта послужила потом основанием его теперешнего миллионного богатства.

На другой стороне стола Бакланов увидел двух молодых людей в гимназических сюртуках: один очень стройненький и прямой, а другой ужасно хромой, так что, когда шел, так весь опускался на одну из ног. Тип Израиля ярко просвечивал в обоих мальчиках. Увидев входящего гостя, они сейчас же подошли к нему.

– Папенька сейчас будет, – сказал развязно и даже несколько небрежно старший из них и прямой на ногах.

– Я не знал здешних обычаев и приехал, кажется, рано, – сказал Бакланов.

– Ничего-с! – ободрил его старший Галкин. – Вы из училища правоведения, вероятно? – прибавил он.

– Нет, я из университета.

– Из московского?

– Да.

– Мы и сами, я думаю, поступим в университет. Здесь вот и училище есть, да профессора все скоты такие.

– Отчего же? – спросил Бакланов.

– Это уж их спросить надо! – отвечал насмешливо старший Галкин.

– Ужасные скоты-с! – подтвердил за братом хромоногий, совершенно опрокидываясь на свою сведенную ногу.

Бакланов стал было осматривать комнату и видневшуюся из нее окрестность. Молодые люди не оставляли его и шли за ним.

– Дом очень дорого стоит, – начал опять старший, – но ужасно как глупо сделан: вот, посмотрите, – продолжал он, приотворяя дверь и показывая комнату, сделанную под арабский стиль, с куполом, с диванами и, вероятно, назначенную для курения. – Ведь – пряник!.. – продолжал юный Галкин: – все это сусальное золото! Посмотрите! – И в самом деле пальцем стер позолоту. – Уж если золото, так оно может быть терпимо только настоящее.

– У папеньки никакого нет вкуса! – подтвердил хромоногий, едва успевая ковылять за идущими братом и Баклановым в следующие комнаты.

– Эта комната помпейская, – продолжал старший Галкин: – тут один наш знакомый Зальцман приезжал, он учился в германском университете и просто разругал папа. Помпея хороша, когда она настоящая, а то Помпея из папье-маше! Это все папье-маше!.. – говорил он, ударяя пальцем по вазе, с виду как этрусской.

Бакланова начали, наконец, занимать эти молодые люди.

– Это тоже вздор! – продолжал Галкин, проводя его по комнате, убранной à la Louis XV. – Все поддельное; даже здешние столяры все и делали, – ужасное скотство!

– Тут всякого жита по лопате! – заметил Бакланов.

– Да! – отвечал с гримасой пренебрежения его юный вожатый. – Знаете, как всегда у разбогатевшего жида: все, чтобы сделать для виду, на показ; а ничего настоящего.

– Как у мещанина в дворянстве! – подтвердил меньшой.

«Ну, мальчики же!» – думал Бакланов.

Из комнаты à la Louis XV они проходили коридором.

– Папа, верятно, уже дома, – произнес Галкин. – Papa, sind Sie zu Hause? – проговорил он с полужидовским акцентом.

– Ja! – отвечал ему голос изнутри.

– Он сейчас выйдет; пойдемте в приемные комнаты, – сказали в один голос оба молодые Галкины и провели Бакланова в великолепную гостиную.

– К папа такая все дрянь ездит, – начал опять старший: – разные генералишки, у которых песок сыплется, чиновники, – разные плуты и взяточники.

– Благодарю покорно! И я, значит, в том числе, – сказал Бакланов.

– О, нет! отчего ж, – возразил покровительственным тоном юный Зоил: – вы молодой человек, вон как и правоведы же. Мы очень любим правоведов. Они славно пробирают этих старых канальев-взяточников.

У Бакланова начала наконец кружиться голова от всей этой болтовни. Он сам, в первую молодость свою, многое отрицал в родителях; но так, чтобы рубить все с плеча и кричать об этом только что не на площади – это чорт знает что такое!

8. Мрачный синклит

На часах наконец пробило четыре. В гостиную, из задних комнат, вошел Эммануил Захарович. Дети сейчас же поспешили отрекомендовать ему гостя.

– Г. Бакланов, – сказали они ему.

Сам Эммануил Захарович, кажется, совершенно и не знал, кто и какой это господин.

– Очень рад… душевно обязан… – говорил он, как кот, закрывая глаза и обеими руками пожимая с чувством руку Александра, а потом услышал тонким слухом своим дальние шаги.

– Вице-губернатор приехал! – сказал он и, согнувшись, пошел в залу.

Там действительно входил вице-губернатор, мужчина вершков 12-ти росту, из духовного звания и с басом.

– Ровно четыре; не опоздал, как в тот раз, – говорил он, вынимая часы и показывая их хозяину.

Тот по-прежнему склонил голову и, простирая обе руки, провел его в гостиную.

– Иван Карпыч! – проговорил он сам с собою и, снова повернувшись, вышел опять в залу…

В залу входил подбористый генерал.

– Жарко! Не правда ли, да? – сказал он хозяину.

– О, зар! зар! – произнес Эммануил Захарович, как бы даже с грустью.

Вошел третий гость, косой и кривой, которого хозяин уж не встречал.

– Ха-ха-ха! – хохотал он еще в зале: – это ваши дрова-то? – обратился он прямо и совершенно без церемонии к Эммануилу Захаровичу.

– Мои, что зе-с? – спросил тот его довольно сухо.

– Вот, батюшка, дрова-то!.. вот… целый квартал! – говорил тот, обращаясь к вице-губернатору и к генералу. – Ха-ха-ха! – заключил он все это снова: – ха-ха-ха!

Бакланов удивлялся такому неудержимому потоку веселости, нисколько не подозревая, что под всем этим скрывалось далеко не веселое сердце и нисколько не уступающее, по своему закалу, сердцу Эммануила Захаровича; но что делать?.. русский был человек; счастья не было, да и на язык-то уж был очень неосторожен, – бритва! Только и достигнул в жизни того, что плутовал теперь, переторговывая старыми экипажами.

В гостиную вбежал впопыхах старший вольнодумец Галкин.

– Папа, Петр Александрыч приехали!

Эммануил Захарович вскочил чуть ли не козлом и на нижней ступеньке лестницы принял главу властей с двумя адъютантами.

– Лучше поздно, чем никогда! – сказал тот, пожимая ему руку, и потом, входя, кивал издали всем головой. В дверях, проходя мимо самого Бакланова, он побольше мотнул головой и проговорил: – гора с горой только не сходится!

В гостиной Эммануил Захарович подвел его к настоящему Корреджио.

Генерал несколько времени смотрел на картину сквозь кулак.

– Как эта пословица: не все то золото, что блестит, а про эту вещь надо говорить: хоть не блестит, а золото!

– О, это зе тоцно! – произнес с чувством Эммануил Захарович.

В углублении комнаты в это время кривой господин толковал двум братьям Галкиным.

– Чудная, я вам говорю, девчонка… Она на ту сторону, и я; она на эту, и я; она в калитку – ну, думаю, к теплым ребятам попала.

Старший Галкин хохотал при этом во все горло. Недовольное лицо Эммануила Захаровича как бы говорило: «Бозе мой! При таком нацальстве и так себя ведут!»

Приехал архиерей и посажен был рядом с губернатором.

– Это значит, что священники по всей губернии подали явку, что в обедню отпираются кабаки! – объяснил вдруг, ни с того ни с сего, кривой господин, повернувшись к Бакланову.

– Стол готов! – произнес метрдотель, тоже с курчавой головой.

Архиерей и губернатор пошли вперед.

В зале стояло еще много новых лиц, но до того, вероятно, малозначительных, что при виде начальника края они даже побледнели.

Вошла также и хозяйка, дама – с черным, заскорбленным лицом, в шелковом платье и в блондовом чепце. Поклонившись всем гостям одним поклоном, она стала около того места, на которое должна была сесть и разливать горячее. Назначение этой женщины решительно, кажется, состояло только в том, чтобы разливать горячее, потому что весь остальной день она сидела в своей комнате, никто никогда с ней слова не говорил, и даже сыновья, при встрече с ней, делали гримасы и отворачивались. От нее очень уж попахивало тем, что в стихотворении Гейне так испугало герцогиню.

Пастырь церкви начал молитвою: «Господи, благослови сие яствие и питие…» и докончил ее шопотом, склонив голову.

Бакланов не мог удержаться и посмотрел, как крестятся Эммануил Захарович и появившийся из низу Иосиф Яковлевич. Оказалось, что они исполняли это в совершенстве, хорошо, видимо, поняв свое прежнее религиозное заблуждение.

Сели.

Суп подали такой, что Бакланов, проглотив ложку, должен был сознаться, что подобного совершенства он еще не едал.

Подчиненные Эммануила Захаровича тоже, видно, очень довольные, после обычного своего блюда из щуки с луком, чавкали и жвакали на весь стол.

Косой господин не переставая хохотал и говорил.

– Вы отсюда в клуб? – обратился он прямо, без всякой церемонии, к Бакланову.

– Нет-с, – отвечал ему тот сухо.

– Поедемте! Здесь нечего оставаться… сегодня суббота… Они шабаш свой, вероятно, будут править!… – прибавил он громко, нисколько не стесняясь тем, что рядом с ним сидели вольнодумный и хроменький Галкины, которые на это даже сами усмехнулись.

– Ведь даром, что этакое рыло, – продолжал он, показывая рукой на хозяина: – а ведь какую чудную женщину имеет на содержании – прелесть что такое! Я когда-нибудь покажу вам ее.

– Чего ж она и стоит! – подхватил старший Галкин.

– Ужасно дорого! – подтвердил хроменький.

– Еще бы вам даром? – объяснил им откровенно кривой.

Молодые люди опять только улыбнулись. Они, должно быть, сильно трусили его злого языка.

С верхнего угла Бакланову беспрестанно слышалось весьма ласковое обращение начальника края к хозяину. «Не красна изба углами, а красна пирогами», «не по хорошу мил, а по милому

хорош», – говорил генерал после каждого почти слова. Он любил, особенно когда был в духе, обо всем выражаться русскими поговорками.

Вслед за божественными соусами, подаваемыми в морских раковинах, следовало шампанское.

День какой-то был несколько торжественный. После здоровья государя императора, всей царской фамилии, начальствующих лиц города, хор музыкантов грянул: «Боже, Царя храни!». Все встали, и первый начал подпевать музыкантам косой господин, за ним грянули два адъютанта с лицами, очень похожими на лица, рисуемые плохими живописцами у архангелов. Не пел только мрачный вице-губернатор; но зато пил беспрестанно. С менее торжественных обедов Эммануила Захаровича его обыкновенно увозили всегда без чувств, и все-таки откуп его одного только в целой губернии и побаивлся. За адъютантами своими начал подтягивать сам начальник края, а за ним грянула и вся остальная братия гостей. У Бакланова мороз пробежал по коже: ему представилось, что он и все прочие господа – те же лица, как и в Ябеде Капниста, которые, ограбив неправедным судом бедняка, у богатого его противника пьют, едят, поют и торжествуют свое поганое дело.

9. Капля яду, отравившая все

Перед домом Софи стояла карета. В окнах сквозь занавеси был виден свет.

Бакланов, съездив после обеда домой и отдохнув немного, поехал к ней.

Ему, на звонок его, отворила Иродиада.

– Софьи Петровны дома нет-с! – сказала она.

– Отчего же огонь? – спросил Бакланов.

– Это я сижу-с, – отвечала Иродиада и, захлопнув у него перед носом дверь, заперла ее.

Бакланову ужасно было это досадно; но делать нечего, он поехал назад.

Проезжая мимо кареты, он, больше из пустого любопытства, спросил кучера:

– Чья это карета?

– Коммерции советника Галкина. – отвечал тот, преважно лежа на козлах.

«Он уж тут!.. у кого это он?..» – подумал Бакланов, и все это как-то

смутно и странно сложилось у него в голове.

Он велел везти себя в клуб и, только подъехав к подъезду, сообразил, что для входа надобно, чтобы кто-нибудь его записал. Он вспомнил о косом господине.

– Скажите, пожалуйста, здесь такой косой, кривой господин? – спросил он у входных лакеев.

Один из них только выпучил на него глаза.

– Это Никтополионов, надо быть! – отвечал другой, бывший, видно, несколько подогадливее.

– Здесь, недавно только приехал, – добавил он.

Бакланов попросил его вызвать, сказав, что его просит господин, с которым он сейчас обедал.

Никтополионов показался на верху лестницы.

– Входите, милости просим! – кричал он оттуда Бакланову.

– Записать меня, я думаю надо! – говорил тот.

– Запишите! – крикнул Никтополионов лакею, сидевшему за книгою.

– Как прикажите-с? – спросил тот, обращая к нему не совсем смелый взгляд.

– Ну, пиши хоть: Чорт Иваныч Мордохаев.

Лакей, кажется, так и написал.

– Простота, видно, у вас… – говорил Бакланов, входя на лестницу.

– Э! всякая дрянь ведь тут шляется… стоит церемониться! – говорил Никтополионов, идя бойко вперед. – Это все грекондосы, выжига все народ! – говорил он, показывая на целую кучку по большей части молодых людей, сидевших около столиков и прихлебывавших из рюмочек шербет. – А это вот чихирники! – прибавил он, махнув рукой на двух черноватых господ, игравших один против другого, в карты.

– Какие это чихирники? – невольно спросил Бакланов.

– Армяне! – отвечал преспокойно Никтополионов: – дуют себе в полтинник бочку чихиря, да и баста… на грош, каналья, ладит пьян и сыт быть… А это вот – все Эммануилы Захарычи! – заключил он, направляя взор Бакланова на целую комнату, в которой то тут, то там виднелись библейские физиономии. – А каков обедец-то был? а? каков? – воскликнул он вдруг, останавливаясь перед Баклановым, в то время, когда тот садился в бильярдной на диване. – Каков… ась?.. Вот вам и будьте добродетельны, и будьте! – говорил Никтополионов с истинной досадой. – В 35 году он, ракалия, сидел за корчемство в остроге. Я сам ему, своими руками, дал полтинник, когда его вели из

острога в уголовную палату, и он взял; а в то время у него, говорят, пятьдесят тысяч в портках было зашито. Вот вам и добродетель… Храните ее на земле!

– За сегодняшний обед ему можно простить многое, – сказал Бакланов, чтобы хоть несколько смягчить подобные отзывы.

– Все уж и прощено ему давно, – отвечал Никтополионов, махнув рукой. – Я ведь прямо всем здешним властям говорю: «Ежели бы, говорю, я знал, что такой-то ночью, по такой-то улице, пойдет господин, у которого миллион в кармане, я бы вышел и зарезал его, пятьсот бы тысяч взял себе, а пятьсот вам отдал, вышел бы у вас чище солнца!..» Молчат, посмеиваются только…

– Вы сейчас можете это сделать, – начал Бакланов опять, чтоб обратить несколько в шутку этот разговор. – У Галкина сколько денег? Миллион есть?

– Десять, говорят, – отвечал Никтополионов с неудержимою злобой.

– В таком случае, я вот сейчас около одного дома видел его карету; вы ступайте, подождите: он выйдет, вы и зарежьте его.

– Где это? На набережной вы видели?

– Да.

– А это он, значит, у любовницы своей, – произнес Никтополионов.

– У любовницы? – переспросил Бакланов, соображая, где же эта любовница могла жить в том доме, где жила Софи; он всего был одноэтажный.

– Да, – отвечал утвердительно Никтополионов. – Как ее фамилия-то, проклятой! – прибавил он, припоминая.

Бакланову вдруг почему-то захотелось, чтоб он не договаривал этой фамилии.

– Ленева, да! да! так! – махнул вдруг Никтополионов.

– Ленева! – повторил Бакланов: – не может быть! – сказал он и захохотал.

– Отчего же не может быть? Он еще покойного мужа ее опутал. Привез сюда его, взял в маленькую часть, выдавал ему денег больше, чем следовало, брал с него векселя, ну, а пожить-то тоже они любили широко… она вон этта при мне в магазине у Лямиля 500 целковых зараз так и бросила.

– О, вздор какой!.. Ленева и Эммануил Захарыч!.. ха-ха-ха! – хохотал Бакланов, между тем как волосы у него становились дыбом от ужаса.

– Да вы разве знаете ее? – спросил Никтополионов.

– Да! я ее знаю, – отвечал Бакланов с ударением.

– Ну, так извините: это я говорил не про нее! – отвечал с нахальным спокойствием Никтополионов и отошел.

Бакланов покачивался всем телом.

– Никтополионов! – крикнул он.

Тот подошел.

– Послушайте! – начал Бакланов (голос его окончательно ему изменил): – для меня это важно, – так, может быть, важно, как вы и не предполагаете. Скажите, правду ли вы говорите, или это так – одна клевета, для красного словца?

– Про Леневу-то?

– Да.

– Да спросите, весь город вам, всякий мальчишка скажет. Да вот, постойте!.. Эй ты, Михайла! – крикнул он маркеру: – любовница у Галкина есть?

– Есть! – отвечал тот.

– Кто?

– Ленева, кажется, по фамилии-то.

– Я его не учил! – сказал Никтополионов и опять отошел.

Бакланов продолжал сидеть, качаясь всем телом. «Софи, верятно, теперь находится в объятиях Галкина». Далее этого представления он не мог выдержать и, взяв шляпу, проворно вышел из клуба.

Никтополионов, начавший играть на бильярде, посмотрел ему вслед с насмешливою улыбкой. Он видел, что чем-то напакостил человеку, и был совершенно этим доволен.

10. Дикий скиф просыпается в моем герое

На улицах была совершенная темнота. Тепловатый и удушливый ветер опахивает со всех сторон. Бакланов не шел, а бежал к дому Софи. У дверей он сначала позвонил, а потом стал стучать кулаком что есть силы. Иродиада, испуганная, в одном белье, с сальною свечкой в руках отворила ему дверь.

– Пусти! – сказал он и, проворно отстранив ее рукой, пошел в залу, гостиную и спальню.

– Барин, что вы делаете? – говорила она, идя за ним.

В спальне, Софи, уже улегшаяся, при слабом освещении ночной лампадки, едва успела накинуть на себя кофту и привстать с постели.

Бакланов приостановился. Он видел только одно, что Софи была не с любовником.

Та, надев наскоро блузу и туфли, вышла к нему.

– Почему вы меня не приняли, когда я был у вас? – начал он резко.

Софи сконфузилась.

– Меня не было дома, – сказала она.

– Но у вас, однако, у подъезда была карета?

Голос и губы Бакланова при этом дрожали.

– Это была карета их знакомой-с, дожидалась тоже их! – вмешалась в разговор Иродиада.

– Молчи! – рявкнул на нее Бакланов, и Иродиада скрылась.

– Это была карета вашего любовника! – обратился он уже к Софи.

– Александр!.. – проговорила было та.

– Без восклицаний, – остановил он ее движением руки: – я для вас бросил все: службу… Петербург… Я вас за ангела невинного считал, а вы… ха-ха-ха! любовница жида!

– Я не любовница!.. нет, Александр, нет!.. – говорила Софи, ломая с отчаяния руки.

– Что ж он такое для вас? – спросил Бакланов.

– Он… (Софи очень сконфузилась). Он приятель моего мужа… имел с ним дела… давал нам деньги взаймы… и больше ничего!

– Деньги взаймы! Шейлок будет давать деньги взаймы! Да знаешь ли ты, коварное существо, что ведь они мясом, кровью человеческою требуют уплаты себе…

Софи отвернулась: она, видимо, не находила возможности оправдаться.

– Вчера вы, – продолжал Бакланов, заскрежетав зубами, – хотели чистою сохраниться для меня!.. Полно, так ли?.. Не для любовника ли вашего, скорей, вы сберегали себя, чтобы нежнее усладить его в объятиях ваших?

– Александр, Александр! Не могу я с тобой говорить: ты напугал меня.

И Софи в самом деле только рыдала.

– А! – воскликнул Бакланов: – у меня в этих руках только мало силы, чтоб задушить тебя и себя!.. Зачем вы меня требовали и выписывали сюда!.. Чтобы насмеяться, надругаться надо мной!

– Я люблю тебя! – произнесла Софи, складывая перед ним руки.

– Нет! вы любите другого! – отвечал Бакланов с пеной у рта. – Оставьте хоть этим маленькое уважение к себе; иначе что же вас привело к тому? Бедность ли, нищета ли? Вы, слава Богу, ходите в шелках, сидите на бархате.

И он закрыл лицо рукою и заплакал.

– Клянусь Богом, я невинна, Александр, Александр! – повторяла только Софи.

– Ты невинна? Отчего же вы давеча не приняли меня? Он ваш знакомый – и я тоже!.. Мало ли по двое знакомых бывают в одно время.

– Но его ж не было у меня! – вздумала было еще раз утверждать Софи.

– А это что? это что? – говорил Бакланов, показывая на окурок сигары, валявшийся на столе: губы его при этом посинели, лицо побледнело.

Софи тоже побледнела.

– Я за несколько часов перед тем, у него… в доме… курил такую же сигару… в такой же соломке… он мне сам, из своего кармана подал ее… презренная тварь! – заключил Бакланов и бросил сигаркою в лицо Софи.

Та вскочила.

– Боже мой! Он бьет меня, наконец! – воскликнула она и ушла к себе в комнату.

Иродиада поспешила за нею затворить дверь.

Бакланов опустился на стул, потом вдруг вскочил, ударил этот стул об пол и разбил его вдребезги, схватил со стола шандал и тоже врезал его в пол, толкнул ногой притворенную в залу дверь, так что та слетела с петель и грохнулась на окно, которое разбилось и зазвенело, и затем, распахнув настежь дверь в сенях, он вышел на улицу.

Софи и Иродиада, стоявшие запершись в спальне, трепетали, как осиновые листья.

Первое намерение Бакланова было умертвить себя, и, только придя в свой номер, он вспомнил, что у него нет ни пистолета, ни даже бритвы. Не идти же в трактир, просить ножа для этого?

Он в изнеможении упал на постель и так пролежал до самого утра, не смыкая глаз.

К утру озлобление в нем сделалось несколько поспокойнее; но зато оно стало как-то упорнее и бессердечнее, и на тот алтарь, на который он так еще недавно возлагал такие искренние жертвы, он уж плевал!

– А что, правда ли, что Ленева любовница откупщика? – спрашивал он грубо и цинически трактирных слуг.

– Да, говорят, что так-с!.. – отвечали ему те.

11. С расчетом составленная комиссия

Город, выбранный нами в настоящем случае, совершенно идеальный и несуществующий. Лица, в нем выведенные, тоже совершенно вымышленные, и мы только в них, по мере нашего понимания, старались выразить те явления, которые не совсем же неприсущи нашей жизни, а теперь, сообразно нашему плану, нам придется выдумать и целое уголовное дело. Положим, например, хозяин дома Фокиев 14 сентября вышел из дома в двенадцатом часу и увидел, что у жильца его, в нижнем этаже, ставни были еще не отворены. Это его удивило, тем более, что жилец этот был жандармский офицер, всегда рано встававший и последнее время ужасно хлопотавший по одному откупному делу. Фокиев воротился и, войдя в самую кваритиру, увидел, что там никого, кроме самого жандармского офицера, не было, но и он лежал на постели, с перерезанным наотмашь горлом. Хозяин объявил полиции, и тем же утром были на пароходе арестованы крепостные дворовые люди жандармского офицера, которые будто бы убили его за жестокое с ними обращение, а потому их, как бунтовщиков, предали военно-судной комиссии.

В комиссии этой предписали заседать и Бакланову.

Задушив в сердце своем чувство любви, он рад был кинуться в омут служебной деятельности.

Нервное и раздраженное состояние в нем еще оставалось.

Презусом комиссии назначен был командир гарнизонного батальона, полковник богомольный и задумчивый, особенно в

последнее время, так как у него ужасная происходила тяжба с полицеймейстером, также опытным военным человеком, за воздух, которым должны дышать гарнизонные солдаты. Полковник говорил, что будто, по казарменному положению, им надо было, положим, 60 000 кубических сажен, а злодей полицеймейстер уверял, что на практике солдаты всего живут в 30 000 кубических саженях, и, соразмерно с этою суммой, требовал сносу квартирных денег. Начальник края мог решить этот вопрос так и иначе.

В военные ассесоры себе полковник выбрал поручика Козлова, из сдаточных.

– Он нам своими простыми чувствами всегда скажет верно! – говорил он, и обращался потом к самому поручику:

– Ну, как вы, Козлов, об этом думаете?

Поручик краснел и вставал.

– Я, ваше высокородие, точно что… разумеется… Коли не он или не она, так кто же другие?

– Понимаю, понимаю, – перебивал его полковник. – Ну вот вам! – обращался он затем к аудитору.

– Это что-с! И сомнения в том никакого нет! – отвечал тот.

Членом гражданским был провиантский чиновник, который, может быть, в разных сортах хлеба и знал толк, но к судебной части был совершенно равнодушен и получил настоящее назначение, вероятно, потому, что всегда и во всем сходился во мнениях своих с начальством.

Другим членом был командирован тот чиновник, который производил самое следствие, и конечно, все, что им было сделано, находил превосходным и совершенно достаточным.

Бакланова избрали более по его молодости и неопытности.

12. Молодость не всегда бывает удобна!

Собираясь в комиссию, герой мой несколько раз примерялся перед зеркалом, какое ему сделать серьезное лицо. Он снял с руки золотое кольцо и оставил одно только чугунное, подаренное ему еще в пансионе Сонею; жилет надел черный, наглухо застегнутый. Все это он делал с тем, чтобы больше придать себе монашеский вид. Несмотря на эти несколько внешние приемы, Бакланов шел на поприще судьи с сердцем чистым и с самым твердым намерением действовать по самой крайней справедливости.

Дело, чтобы не было по нем большой огласки, производилось на

дому у презуса.

Когда Бакланов вошел, члены комиссии, сидевшие за столом, на котором стояло зерцало, пили чай и курили. При этом, или даже вообще, когда кто-нибудь из членов начинал курить, презус обыкновенно незаметно мигал поручику Козлову, который сейчас же вставал, вынимал из зерцала орла и клал его на шкаф, а потом, когда курение прекращалось, то снова вкладывал его в прежнее место, вероятно, затем, чтобы сия эмблема благосостояния и могущества Российской Империи не видела их маленькой человеческой слабости.

Аудитор, при входе Бакланова, допрашивал уже главную преступницу, девку дет двадцати семи, с неумным, истощенным и распутным лицом, в платчишке на голове и в оборванном капотишке, с кандалами на руках и ногах. На все вопросы, прежде чем отвечать, она моргала носом и обтирала его потом, звеня цепями. У печки, в комнате тоже стоял арестант, с более умным и зверским лицом, и тоже в наручнях.

Все это неприятно и тяжело поразило Бакланова. Он сел. Ему подали чай; он отказался.

– Ну, так как же? Накануне Вздвиженья?.. – говорил хладнокровно аудитор, смотря одним глазом в стакан чаю, из которого по временам прихлебывал, а другим – в лежавшие перед ним допросы.

– Да-с! – отвечала девка, моргнув носом.

– Ты сама-то что же делала?

– Я, батюшка, на ножках только у него посидела.

– Кто же за голову-то его держал? – продолжал аудитор.

– Николай-с! – отвечала девка, показав головой на мужчину-арестанта.

Тот при этом сделал что-то вроде гримасы, и трудно было сказать, что она означала, – усмешку ли, или так его только подернуло.

– Он за волоски, чу! — говорит, его держал, – прибавила девка.

– Что ж ты слышала при этом: оборонялся ли тот, бранился ли? Может быть, не давался?

– Нет-с, всхлипнул только раза два этак горлышком, – отвечала девка.

У Бакланова начинали волосы становиться дыбом.

– Что это такое она рассказывает? – спросил он презуса, который с грустным видом прислушивался к ответам арестантки и на вопрос Бакланова даже не ответил.

– Чем же, каким орудием была нанесена ему смерть? – продолжал между тем спрашивать аудитор.

– Да я и не знаю, – отвечала девка, в самом деле, кажется, не знавшая.

– Чем? – обратился аудитор к мужчине.

– Бритвой-с, – отвечал тот и опустил глаза в землю.

– Но что же за причина, заставившая их убить? – вмешался опять Бакланов и потом, не дав ответить себе чиновнику, производившему следствие, он вдруг обратился к подсудимой: – Но что за причина, любезная, побудила тебя это сделать?

– Господин, судырь, один научил нас и две тысячи рублев денег дал нам за то.

– Где же и какой это господин? – заговорил торопливо Бакланов. – Он содержится, вероятно, в остроге тоже?

– Врет все! отводы одни! – произнес с печальной усмешкой презус.

– Я не видывала их-с, не знаю, кто такие, – отвечала девка.

– Стало быть, они не за жестокое обращение, как сказано в предписании, убили господина, а их кто-то подучил к тому? – не отставал Бакланов.

– Так и есть, как сказано в предписании-с!.. Видят, что пишут… из всего дела соображают, – объяснил было ему провиантский чиновник.

– Но как же? Нет, позвольте, господа! – восклицал Бакланов, начиная уж горячиться. – Вы за жестокое обращение убили барина, или вас научили? – обратился он к арестанту-мужчине.

– Было того и другого, – отвечал тот, переступив с ноги на ногу. – Известно, если бы господин был подходящий, не сделали бы того.

Аудитор, однако, снова приступил к допросам.

– Совершив преступление, что вы сделали?

– На пароход пошли, – отвечала девка.

– Тут, значит, вас и взяли?

– Да-с. Билеты нам тот же господин еще накануне принес. Мы пошли, да хожалый нас и встретил… Он, как приходит в квартал, там и говорят: «Коклевского убили». А он говорит: «Я лакея, говорит, его видел, на пароход идет!»

– Знаем это, знаем!.. – перебил ее аудитор.

– Но где же этот господин, который их научил? Вот кого надо отыскать! – повторил Бакланов, продолжая двигаться на стуле. – Ты тоже не знаешь? – обратился он к мужчине-арестанту.

– Не знаю, ваше благородие, как есть пред Богом, – отвечал тот, пожав плечами.

– Каким же образом тебя уговорили?

– Недели две, ваше благородие, он к нам ходил, все уговаривал.

Здесь тоже народу много-с, город проезжий… Кто его знает, кто такой?.. – «Вот, говорит, вам две тысячи целковых, поедете на Кавказ, паспортов там не спрашивают».

– Все вздор… Из злости на барина только и сделали, из дела-то это видно! – подтвердил опять провиантский чиновник.

– Это что ж? Не запираемся в том, ваше благородие, – отвечал арестант: – господин был, не тем будь помянут, воды другой раз подашь, не утрафишь: холодна, либо тепла; дуют-дуют, ажно кости все трещат, помилуйте-с! – прибавил арестант, обращаясь более к Бакланову и даже с небольшим признаком слез на глазах.

Но тому больше было жаль девку; видимо, что она была только дура набитая.

– Как же она-то, зачем участвовала? – спросил он опять арестанта, указывая на девку.

– Из-по любви ко мне, – отвечал тот.

– А у тебя связь с ней, а?

– Да-с.

– Была? – спросил он самое девку.

– Гуляла с ним.

Бакланов с большим еще участием взглянул на них.

«О, любовь! кого ты не связуешь?» – подумал он, глядя на эти два некрасивые существа.

Презус, между тем, посмотрел на часы и объявил, что заседание кончилось.

Бакланов уехал домой, возмущенный до глубины души: «вероятно, что этот господин, их научивший, и их барин были оба мерзавцы, – а наказание терпят только эти два полуидиота; непременно надобно бы их участь облегчить, а того злодея поймать».

Герой мой был очень еще неопытен в судебной практике.

13. Завеса несколько приподнимается

Чем далее происходил суд, тем более Бакланов начинал видеть, что тут что-то такое да не так, и что заседавшие с ним судьи судили не совсем беспристрастно.

По совершенной еще невыработке житейского характера, он беспрестанно обдумывал, как ему себя вести и с кем бы наконец посоветоваться. Виденный им у откупщика пьющий вице-губернатор показался ему, в этом случае, всех удобнее: по крайней мере, когда за обедом все пели, он один не пел и даже как будто бы стыдился этого!

Бакланов поехал к нему.

В темной и грязной передней он увидал, что на прилавке дремал лакей. Он должен был разбудить его.

– Барин не так здоровы, – проговорил было тот сначала; но потом, порассудив, прибавил: – да вы из больших чиновников, аль из маленьких?

– Нет, не из больших, – отвечал Бакланов.

– Ну, так пожалуйте-с, – сказал лакей.

Бакланов вошел.

Вице-губернатор, в халате, грудь нараспашку, сидел перед закуской и имел как-то странно сжатые губы.

– А, прошу покорнейше! – произнес он, узнав, видно, Бакланова и не привставая, впрочем, сам с места. Рукой он указал ему на стул.

Бакланов сел.

– Я к вам, Николай Григорьич, с просьбой, – начал он сейчас же.

– А! – произнес вице-губернатор и вслед затем длинною струей выпустил из рта воздух, как человек, которому дышать трудно.

– Я командирован в военно-судную комиссию над дворовыми людьми по убийству Коклевского.

– А! – повторил еще раз вице-губернатор и затем, как бы исполнившись какого-то грустного воспоминания, порастянул глаза, выпил молча рюмку водки и стал лениво закусывать колбасой: более нормальным образом желудок его не принимал уже пищи.

– Тут чорт знает что такое, – продолжал Бакланов. – Они показывают, что их научил какой-то господин, но кто он – не сказывают, тогда как он-то и есть главный преступник.

– Раз, вечером, – заговорил вдруг вице-губернатор: – приводят ко мне человека… мертво-пьяного.

«Хорош и ты-то теперь», – подумал Бакланов.

– Человек этот был бухгалтер откупа. Он-с, – продолжал вице-губернатор, снова потупляя голову: – с слободскими девками прогулял пять тысяч целковых… ну и кончено? так ли?

Бакланов не знал, что отвечать ему на это.

– Нет, не кончено!.. – отвечал сам себе вице-губернатор: – человек этот умирает одночасно в остроге и документы свои передает жандармскому офицеру… ну, и прах их возьми, так ли? Нет, 14-го сентября г. офицер убит своими дворовыми людьми.

У Бакланова начинал делаться в голове совершенно какой-то туман.

– Какие же это документы? – спросил он.

Вице-губернатор развел руками.

– Есть книга живота-с, – почти запел он: – еже пишется в ней вся: куму – рубль, куме – два; а мы имя свое бережем, ух, как бережем! – заключил он, и затем обратил почти величественное свое лицо к Бакланову: – и то бы ничего-с! – заговорил он несколько даже трагическим голосом: – но красными чернилами тут написан итог наших канальских барышей.

– Барышей?

– Д-д-а-с! А мы имя свое бережем!.. Они – деньги, а мы имя! – повторил он.

– Но, ради Бога, скажите мне откровеннее, – умолял его Бакланов.

– Ничего больше не знаю-с, ничего! – отвечал вице-губернатор: – молодой вы человек! – прибавил он и потом с чувством: – не видьте лучше и не знайте: мрак спокойнее света!

И как бы в доказательство того он закрыл глаза.

Бакланов пробовал было еще его расспрашивать, но вице-губернатор только как-то бессмысленно смотрел на него и отвечал ему одним молчаливым киванием головы: в утро это он пил уже сороковую рюмку, а потому невольно лишался на некоторое время молви.

Видя, что от него ничего более не добьешся, Бакланов встал.

– До приятного свидания, друг мой… – едва выговорил вице-губернатор.

Бакланов вышел.

– Что такое у вас с барином? – спросил он человека.

– В загуле, ваше благородие, сильном.

– Что ж, в это время он не то уж и говорит?

– Да врет иной раз такую околесную, что даже слушать страшно! – объяснил лакей.

14. Муравейник сильно тронут

Наполеон III тем и велик, что очень мало говорит, но потом вдруг и сделает. Герой мой, напротив, тем и мал, что пока в жизни только и делал, что говорил.

Выехав от вице-губернатора, он почувствовал неудержимую потребность излить перед кем-нибудь волновавшие его чувствования.

В кармане он имел рекомендательное письмо от дяди своего к одной даме, madame Базелейн, имевшей, говорят, огромное влияние на начальника края.

Евсевий Осипович с этой именно целью и дал племяннику письмо к ней. Про самое же даму он выражался так, что она по уму вся – мечта, вся фантазия; по телу – эфир, а тепла и жизненна только сердцем.

Как только подано было письмо, Бакланова сейчас же приняли.

Madame Базелейн имела привычку всех, даже молодых людей, принимать у себя в спальне. На это раз она была почти полуодета. Маленькая ножка ее, без чулка, обутая в туфлю, была точно перламутровая. Фильдекосовое платье, совершенно без юбки, лежало бесконечными складками на ее тоненьких ножках. Одни только большие глаза, которые она беспрестанно вскидывала и опускала, говорили, что в самом деле, может быть, у нее сердце и горячее.

– Здравствуйте! – встретила она очень просто Бакланова. – Что ваш старик, все еще не остепенился? Мне такие нежности пишет, что ужас!

– Он воздает только должное! – проговорил Бакланов.

– А-а! Вы, видно, тоже в дядюшку… Садитесь!

При виде такого милого и простого существа, Бакланов почувствовал еще большее желание порисоваться.

– Ну, что вы приехали сюда: веселиться, танцовать, жениться? – говорила madame Базелейн, роясь в лежавших около нее лоскутах и вскидывая по временам на Бакланова взгляды.

– Напротив, я здесь служу неутомимо.

– Служите?

– Здесь ужас что такое происходит: комплоты какие-то чиновничьи составляются! – продолжал он.

Madame Базелейн, вдевавшая в это время нитку в иголку, даже остановила это дело.

– Здесь убили – вы, я думаю, слышали, – некоего Коклевского его дворовые люди.

У madame Базелейн почему-то при этом покраснели уши.

– Они были подучены, потому что у этого господина хранились документы здешнего откупа, весьма щекотливые для некоторых господ.

– Документы? – потворила хозяйка.

Бакланову и в голову не приходило, что в документах этих madame Базелейн была записана в первой же строке и сопровождалась самою значительною цифрой.

– Я подвигом себе поставил раскрыть это дело во всех его подробностях, – говорил он.

– Что же оно вас-то так особенно тревожит? – не утерпела и

заметила ему Базелейн.

– Тут кровь вопиет на небо, помилуйте! – воскликнул Бакланов. – Захвачены одни только бессмысленные орудия преступления, а преступник главный скрыт: я найду его на дне морском, а через него зацеплю и других.

Базелейн грустно усмехнулась.

– Знаете, что бы я вам посоветовала? – начала она и приостановилась.

– Сделайте одолжение! – подхватил Бакланов.

– Не горячиться так! – продолжала она с ударением: – вы еще здесь человек новый: можете ошибиться; зачем вам стольких людей затрогивать?

– Если б их целый легион стоял против меня, и тогда бы я пошел против них.

– И проиграли бы!

– Может быть, но во всяком случае нельзя так равнодушно относиться к злу: вы вот теперь молоды, все ваши помыслы, вероятно, чисты; а тут вдруг вы видите, что целое море злодеяний плывет около вас… Неужели же вы не издадите крика ужаса?

– Я женщина… – сказала с улыбкой madame Базелейн: – и даже хорошенько не знаю, что такое злодеяние и незлодеяние, и вообще ужасно не люблю этой прозы жизни, а сижу вот больше одна со своими думами. Вы говорите, вскрикнуть от ужаса, – ну и вскрикнете: что из того?.. вас перекричат.

– Пускай перекричат, а все-таки кричать надо! Я по этому делу непременно буду писать министру, поеду наконец сам в Петербург и добьюсь, чтобы прислали оттуда особую комиссию.

– За что же вы здешние власти хотите так оскорбить?

– Потому, что здесь все мошенники.

– Mercі! Поблагодарят же они вас за подобное мнение! – сказала madame Базелейн заметно уже сухо.

Бакланов начал наконец удивляться тому, что это эфирное существо не прилипает всею душой к его благородным стремлениям.

Прекратив разговор о службе, он начал говорить ей любезности и уверять ее, что он в ней первой здесь встретил петербургский, а не провинциальный тон.

Madame Базелейн на все это насмешливо только улыбалась.

Бакланов раскланялся.

Базелейн обратила вслед за ним почти свирепый взгляд.

«Что это, пугать, что ли, он приезжал?» – проговорила она и

задумалась.

Бакланов, между тем, выйдя на улицу и идя по тротуару, увидел, что впереди его шел подбористый генерал, с которым он обедал у Эммануила Захаровича.

Он нагнал его.

– Скажите, пожалуйста! – начал он прямо: – не имеете ли вы какой-нибудь власти над здешним гарнизонным полковником?

– Я? – спросил генерал, как бы несколько даже обидевшись: он был прямой и непосредственный начальник полковника.

– Прикажите или посоветуйте ему… мы имеем с ним одно общее дело по убийству Коклевского…

Генерал шел, николько не убавляя шагу.

– Он имеет дело о дровах и воздухе с полицеймейстером и хочет его выиграть, кривя душой в другом деле.

Генерал начал уже тяжело дышать: с дровами и с воздухом он сам был связан всеми фибрами своего существования.

– Тут убийство, помилуйте! – не отставал от него Бакланов: – мы должны быть мудры, яко змеи, и чисты сердцем, яко голуби…

Генерал наконец обратился к нему.

– Позвольте вас спросить, к чему вы мне это все говорите на улице, голословно? – спросил он.

– К тому же!.. – отвечал Бакланов и не знал, как докончить.

– Если вы встретили какое-нибудь злоупотребление по службе, – продолжал генерал пунктуально: – не угодно ли вам отнестись ко мне бумагой.

– Я отнесусь и бумагой, – отвечал Бакланов.

– Сделайте одолжение! – отвечал генерал и повернул в первый попавшийся переулок.

«Что это так их всех против шерсти гладит?» – подумал Бакланов, и вечером, когда он приехал в клуб, Никтополионов встретил его первым словом:

– Что вы, батенька, тут творите?

– Да что, сражаюсь, бьюсь! – отвечал Бакланов, самодовольно садясь.

– Хорошенько их! – воскликнул одобрительно Никтополионов; а потом, наклонившись к нему, на ухо прибавил: – в Петербург-то главное, напишите; этого они очень не любят: и к своему-то, и к внутренних дел вальните…

– Напишу все, – говорил Бакланов громко, без всякой осторожности.

Несколько армян, несколько греков, а больше всего Эммануилов Захарычей, так и навострили уши.

Никтополионов продолжал шепотом:

– Человека-то, которого подозреваете, в целовальниках, в кабаках поищите!..

Бакланов кивал ему, в знак согласия, головой.

– Возьмите арестанта, да поезжайте с ним, здесь и в уездах, по кабакам, – не признает ли кого.

– Непременно! – восклицал Бакланов.

В тот же самый вечер карета madame Базелейн подъехала к дому начальника края, а по совершенно противоположной улице быстро шел черноватый господин к дому Эммануила Захаровича. Затем, от Эммануила Захаровича верховой скакал к Иосифу Яковлевичу, который был у Иродиады. На той же самой лошади Иосиф Яковлевич скакал домой и тотчас же поскакал в уезд на почтовых. В ту же ночь, тоже на почтовых, из деревни Шумли неизвестный человек был отправлен сначала в степь, а потом и на Куру.

15. Не любитель гласности

В довольно большом и полутемном кабинете происходила такого рода сцена.

– Ну-с, слышу звон, да не знаю, где он!.. – говорил малорослый начальник края, стоя, с сложенными накрест руками, у стола, перед которым Бакланов, как нарочно, весь облитый абажурным светом лампы и весь раскрасневшийся, объяснял ему свое вчерашнее поведение.

Генерал все больше и больше бледнел.

– Вы припутываете тут женщин; мерзавцев выгораживаете, а порядочных людей хотите замарать… Меня, что ли, вы хотите обвинить в том?

– Я, ваше превосходительство, не говорил этого! – отвечал Бакланов, в самом деле этого не говоривший.

– У меня здесь служащий чиновник, – продолжал маленький генерал, все более и более горячась: – должен быть весь мой: должен быть моим светом, тенью моей!

– Извините меня, ваше превосходительство, – возражал Бакланов, тоже начиная выходить из себя: – я служу обществу, а не лицам.

– Я вас заставлю служить иначе! – кричал генерал, стуча пальцами по столу.

– Вы бы меня, ваше превосходительство, должны были презирать, если б успели заставить меня служить иначе! – кричал тоже и Бакланов.

– Я подчиненным моим, – кричал генерал, не слушая возражений: – которым угодно быть не тем, чем я хочу, я имею привычку вот что из службы делать!

И генерал показал, каким обрзом обыкновенно дают киселя.

– На подобные движения, ваше превосходительство, и я имею привычку отвечать тоже довольно резко, – не уступал Бакланов.

– Молчать! – крикнул вдруг генерал совсем как на лакея.

Бакланов побледнел.

– Ваше превосходительство, молчите вы сами… – произнес он в свою очередь.

– Молчать! – повторил опять генерал, совершенно вышедши из себя. – Мальчишка! – прибавил он, и бросил Бакланову почти в лицо скомканный конверт.

– Ваше превосходительство! – мог только проговорить тот и ответил начальнику тоже взмахом руки.

Генерал едва успел попятиться несколько назад.

Несколько минут оба врага, как бы опомнившись, стояли молча друг против друга.

– Ваше превосходительство, – проговорил Бакланов: – мы, вероятно, будем драться?

– Нет-с! – произнес генерал и резко позвонил.

Вбежал опрометью адъютант.

– Арестуйте г-на Бакланова, – сказал генерал.

– Подлец! – проговорил почти вслух Бакланов.

– Арестуйте г-на Бакланова! – повторил генерал еще раз стоявшему в недоумении адъютанту.

Тот сделал движение рукой. Бакланов, с дерзкою усмешкой, пошел за ним.

«Ну что ж: солдат так солдат! Надоела эта подлая жизнь, – скорей убьют!» – думал он сам с собой.

– Что такое у вас вышло? – спросил его адъютант.

– Он себе много позволил, и я, разумеется, имел благоразумие ответить не совсем прилично, – сказал откровенно Бакланов.

«Без суда все-таки не отдадут, а я в ответах все напишу, хоть тем удружу канальям», – думал он, садясь с адъютантом на извозчичьи дрожки; но, когда они поехали, их нагнал верховой казак и воротил обратно.

Бакланов только усмехнулся. Он, впрочем, все это время был более в каком-то полусознательном состоянии. Его сейчас же опять пустили в кабинет к начальнику, и опять одного.

Тот по-прежнему стоял у своего стола.

– Молодой человек, вы погорячились, и я… Извинимся друг перед другом, – заговорил он, протягивая к Бакланову руку.

У старика при этом были видны слезы на глазах.

– Ваше превосходительство, – отвечал Бакланов, принимая руку, а дальше ничего и говорить не мог. У него тоже навернулись на глазах слезы.

– Главное, – продолжал генерал, видимо, уже успокоившись и опять переходя к обычному своему способу выражаться поговорками: – главное, чтобы сору из избы не выносить, и чтобы все, что произошло между нами, осталось и умерло, как в могиле.

– Это уж моя обязанность, ваше превосходительство, как честного человека! – отвечал Бакланов.

– Надеюсь, – повторил старик, еще раз пожимая руку Бакланова, – что ни отцу, ни матери, ни другу, ни даже во сне, ни звука об этом.

– Ваше превосходительство?!. – мог произнести только Бакланов и далее не счел за нужное и говорить.

– Понимаю вас, – сказал генерал, и они расстались.

На другой день Бакланов был отозван из комиссии к другим занятиям, более подходящим, как сказано в предписании, к его образованному уму.

«Что это?.. Не может быть!» – восклицает, вероятно, и по преимуществу великосветский читатель.

Что делать!.. – смиренно отвечаю я: – очень уж зафантазировался, написал то, чего никогда не бывает, – извините.

16. Почти осуществившаяся мечта

Ничто так дурно не скрывается, как то, что желают скрыть.

Через неделю весь почти город говорил об описанной мною сцене, и она решительно подняла молодого человека на степень героя: в России любят, когда грубят начальству!

Бакланов сам своими ушами слышал, проходя по тенистому городскому саду, как одна дама, указывая на него другой даме, проговорила торопливо:

– Посмотри, это Бакланов!

– Какой? – спросила та.

– Ах, Боже мой! Неужели не знаешь? Тот, что так славно проучил…

– Ах, да! – перебила ее подруга: – какой он, однако, молодец из себя.

Бакланов при этом только выпрямился и шел грудью вперед.

Службу свою он совершенно кинул.

«Будет уж! Доблагородничался чуть не до каторги!» – рассуждал он самолюбиво сам с собой и каждый день ходил гулять в сад, с одной стороны – ожидая, не услышит ли еще раз подобного отзыва, а с другой – ему стало представляться, что в этом саду он непременно встретит какую-нибудь женщину, которая влюбится в него и скажет ему: «я твоя!». Представление это до такой степени стало у него ясно, что он и самого сада не мог вообразить себе без этой любовной сцены, как будто бы сад для этого только и сделан был. Столь уверенно воображаемое будущее редко не сбывается: раз Бакланов увидел идущую впереди его, несколько знакомою ему походкой, молодую даму. Он поспешив ее обогнать и сейчас же воскликнул:

– Панна Казимира!

– Ах, Боже мой, Бакланов! – проговорила та, сильно покраснев и скорей как бы испугавшись, чем удивившись.

– Да сядемте же здесь! Постойте! – говорил Бакланов, беря ее за обе руки и дружески потрясая их.

Панна Казимира опустилась с ним на скамейку.

– Но как вы здесь, скажите? – говорил Бакланов.

– Я здесь замужем.

– За кем?

– За вашим приятелем, за Ковальским.

– А! – произнес протяжно Бакланов.

Казимира помотрела ему в лицо.

– Я знала, что вы здесь… – сказала она после небольшого молчания.

– Как же не грех было не прислать и не сказать?

Казимира стыдливо усмехнулась.

– И то уж хотела писать, – отвечала она.

– Но где же вы живете здесь? – спросил Бакланов.

– Я живу у одних Сабакеевых; с ними в городе, а муж мой у них управляющий в деревне.

– Что ж вы у них – компаньонка, экономка?

– Да и сама не знаю: то и другое… Чудные люди, превосходные… Я вот таких вас, Александр, да их только и знаю.

– Mercі, – сказал Бакланов и, взяв ее опять за руки, поцеловал их: – какие нынче у вас славные руки! – прибавил он.

– Жизнь-то понежней стала! – отвечала Казимира с видимым удовльствием.

– Стало быть, вы совершенно счастливы с вашим мужем?

– С мужем? – спросила, как бы совершенно не ожидавшая этого вопроса, Казимира.

– Да! Как вы за него вышли?

– А я и сама не знаю, как: он ходил еще при вас, ведь… Вы уехали, я и вышла.

– И всему прошедшему, значит, сказали прости!

– Чему говорить-то было? Нечему!

– А мне казалось, что было чему, – сказал Бакланов кокетливо.

– Что было, то и осталось, – отвечала с улыбкою Казимира.

– Осталось? – произнес Бакланов и пододвинулся к ней поближе.

– Гм, гм! – отвечала Казимира.

– А шутки в сторону, – продолжал Бакланов: – дело теперь прошлое: скажите, любили вы меня?

– Не помню уж, – отвечала Казимира.

– Ну что, Казимира, скажите, – говорил Бакланов, беря ее снова за руку.

– Ну, любила! – отвечала она как-то порывисто.

– И я ведь тогда благороден был в отношении к вам, согласитесь с этим: я многого мог бы достигнуть.

– Были благородны, – отвечала Казимира.

– И за это самое, – продолжал Бакланов: – вы по крайней мере теперь должны меня вознаградить.

– Чем же мне вознаградить? – сказала Казимира.

– Любовью.

Казимира грустно улыбнулась.

– Теперь это немножко трудно.

– Напротив, теперь-то и возможно: другое дело, когда вы были девушкой, когда от этого зависела участь всей вашей жизни, – тогда другое дело; но теперь, что же может препятствовать нашему счастью?

Казимира качала только головой.

– Теперь какие, кроме самых приятных, могут быть последствия из того, что вы меня полюбите? – продолжал Бакланов, опять беря ее за руку.

– А такие, – отвечала Казимира: – что я-то еще больше вас полюблю, а вы меня презирать станете.

– Ей-Богу, нет! – воскликнул Бакланов.

– Погодите, постойте, вон идут! – сказала Казимира, в самом деле указывая на двух, неторопливо проходивших по дорожке мужчин. – Прощайте! – прибавила она.

– Посидите! – упрашивал ее Бакланов.

– Нет, нельзя!.. Посмотрите, как вы платье мне все измяли, – говорила она, вставая: – прощайте.

– Могу я, по крайней мере, приехать к вам?

– О, пожалуйста, приезжайте! – отвечала с удовольствием Казимира.

– У вас есть особая комната?

– Есть!.. – Голос ее при этом был как-то странен.

Бакланов возвратился домой в восторге: завести интригу с Казимирой он решился непременно.

17. Не всегда то найдешь, за чем пойдешь!

Дом Сабакеевых стоял на одной из лучших улиц. Это решительно было какое-то палаццо, отчасти даже и выстроенное в итальянском вкусе.

Бакланов, ехав, всю дорогу обдумывал, как он будет расставлять сети панне Казимире. Но есть дома, в которых, точно в храмах, все дышит благоприличием и целомудрием: введенный в мраморную, с готическими хорами, залу, Бакланов даже устыдился своих прежних намерений.

– Г-жа Ковальская сейчас выйдет; а пока не угодно ли вам к Анне Михайловне, – сказал ему вежливо благообразный лакей.

– К г-же Сабакеевой? – спросил Бакланов.

– Точно так.

– Прошу вас.

– Пожалуйте!

И человек, идя негромко вперед, повел его на правую половину дома.

В совсем барской гостиной, с коврами, с лампами, с масляными картинами в золотых рамах, Бакланов увидел пожилую даму, просто, но изящно одетую, в кружевном чепце и в очках. Лицо ее напомнило ему добродушные физиономии ван-диковских женских портретов.

– Казимира сейчас выйдет. Присядьте, пожалуйста! – сказала ему старушка, показывая на кресло возле себя.

Она что-то такое, необыкновенно тонкое, шила. На столе, впрочем,

около нее лежала книга, на корешке которой было написано: «Сказание Тирона, инока святогорскаго».

– Вы недавно ведь здесь? – продолжала старушка.

– Да, недавно-с.

– И успели уж с некоторыми господами поссориться?

– Да, – отвечал Бакланов с самодовольною усмешкой.

– И прекрасно!.. Значит, вы честный человек!

Старушка понюхала табаку и принялась снова за свое шитье.

– Тут Бог знает что происходит! – продолжал Бакланов.

Старушка махнула рукой.

– Я женщина, а поверите ли, кровью сердце обливается, слушая, что они творят…

Сабакеевы, довольно богатое и самое аристократическое семейство в городе, были в открытой неприязни с начальником края и со всем его кружком.

В губерниях, по степени приближенности к начальству, почти безошибочно можно судить о степени честности местных обывателей. Чем ближе они к этому светилу, тем более, значит, в них пятнышек, которые следует замазать.

К неудовольствию Сабакеевой на начальника края отчасти, может быть, примешивалось и оскорбленное самолюбие. Вступая в управление краем, он третировал ее, решительно, как и других дам.

– У отца моего по нескольку часов в передней стоял, а теперь вот каким господином стал!.. – не утерпела старушка и объяснила Бакланову.

В комнату в это время вошла молодая девушка в белом платье и белокурая.

Бакланов невольно привстал на своем месте.

Если Софи Леневу можно было назвать южною красавицей, то эта была красавица севера.

– Maman, как я тут навязала? – сказала она, показывая старушке вязанье.

– Опять спутала! – отвечала та, подвигая на носу очки ближе к глазам.

– Monsieur Бакланов! Дочь моя! – познакомила она молодых людей, а сама принялась рассматривать и поправлять работу.

Бакланов поклонился, и mademoiselle Сабакеева тоже ему поклонилась, и при этом нисколько не сконфузилась и не пожеманничала.

Бакланов почти с восторгом смотрел на молодую девушку. Ее

довольно широкое лицо было исполнено какой-то необыкновенной чистоты. Несколько обнаженные руки, грудь и шея были до такой степени белы и нежны, что как будто бы она черненького хлебца никогда и не кушала, а выросла на одних папошниках. Стан у нее был стройный, но не воздушный. Соня Ленева, по природе своей, отчасти принадлежала к лезгинско-татарскому происхождению. Прабабка ее, жена Маркаша Рылова, была дочь князя Мирзы-Термаламы, а Сабакеева, напротив того, была чистейшая дочь полян, славянка; даже в наружности ее было что-то напоминающее красивых купеческих дочерей; только все это, разумеется, было смягчено и облагорожено воспитанием.

– Ну, вот, на, поправила, – сказала мать, подавая ей работу.

– Хорошо-с, – отвечала молодая девушка и не ушла, а тут села.

Бакланову ужасно хотелось с ней заговорить.

– Вы много выезжаете? – спросил он ее.

– Да! – отвечала девушка спокойно.

– Она больше дома у себя танцует; у нас обыкновенно собираются… – объяснила за нее старушка.

«Нет, это не светская госпожа!» – подумал Бакланов.

– А читать вы любите? – спросил он самое девушку.

– Читаю! – сказала она и на это спокойно.

– Охотница! – подхватила мать.

«Но все-таки не синий чулок! – подумал Бакланов. – Но что же она такое?» – задавал он себе вопрос.

– Я сюда на юг приехал первый раз… Это синее небо, этот воздух, как бы молоком пропитанный, все это чудо что такое… – проговорил он, желая попробовать молодую девушку насчет поэзии.

Она выслушала его внимательно, но без особенно искреннего, а тем более поддельного увлечения.

– Да, здесь хорошо, – подтвердила она.

«И то – не то!..» – подумал Александр.

Панна Казимира наконец показалась.

– Ну вот и она! – сказала ей ласково старушка.

– А вот сейчас, сначала с mademoiselle Евпраксией расцелуюсь, – сказала Казимира и, совершенно по-дружески поцеловавшись с молодою девушкой, почтительно поцеловала руки у старушки.

Она с утра еще не выходила из своей комнаты, а потом, услышав о приезде Бакланова, делала свой туалет и, по-видимому, употребляла все старания, чтоб одеться к лицу, и даже немного побелилась и подрумянилась.

Бакланову, с ее появлением, сделалось неловко. Она подала ему руку, несколько сконфузившись и слегка улыбаясь.

– Вы скоро же посетили меня! – сказала она, садясь около него.

– Я поспешил воспользоваться вашим позволением, – отвечал Бакланов.

– Merci! – сказала Казимира и еще раз пожала у Бакланова руку.

– Вы старые знакомые? – спросила их старушка.

– Я помню еще monsieur Бакланова, когда он пришел к нам в первый раз… Мамаша ему, или он ей скажет слово, и покраснеет! – сказала Казимира.

– А я помню, – отвечал ей в тон Бакланов: – что панна Казимира не вышла и обедать.

– О, я имела на то свои причины! – сказала Казимира, вскидывая на него нежный взгляд.

Вообще она с заметною сентиментальностью старалась говорить с Баклановым.

– А вы помните гостиный двор, как мы раз шли с вами? – сказала она.

– Да, – отвечал ей Бакланов, уже потупляясь.

– А тот вечер, когда я вдруг ушла от вас?

– Вы всегда так уходите, вы и вчера так ушли.

– Я и всегда так буду уходить, – отвечала Казимира, хоть глаза ее и говорили не то.

– Ваше дело! – отвечал Бакланов и пожал плечами.

Впрочем, во все это время он невольно взглядывал на mademoiselle Сабакееву, которая, кажется, и не слыхала ничего, а, уставив свои голубые глаза на работу, внимательно считала.

Бакланов наконец взялся за шляпу.

Старуха в это время опять стала показывать дочери, как вязать.

– Погодите, я скажу им, чтоб они пригласили вас на вечера; тут мы и можем видаться!.. – сказала ему торопливо и шепотом Казимира; а потом, встав и подойдя к старушке, наклонилась к ней и что-то ей шепнула на ухо.

– Да, разумеется, – отвечала та и обратилась к Бакланову. – Вы, пожалуйста, приезжайте к нам по пятницам вечером; у нас танцуют.

– Почту за величайшее удовольствие, – отвечал Бакланов и, раскланиваясь, нарочно приостановил подолее свой взгляд на mademoiselle Сабакеевой.

– Прощайте! – сказала ему та совершенно просто.

Панна Казимира пошла было его провожать; но Бакланов

решительным движением руки не допустил ее идти за собой, и это он сделал не столько из вежливости, сколько потому, что ему просто не хотелось оставаться с Казимирой с глазу на глаз.

Его теперь исключительно беспокоил вопрос:

«Что такое за существо mademoiselle Евпраксия?»

18. Ледешок

У Сабакеевых собирались на вечера два-три правоведа, несколько молодых людей из студентов, несколько очень милых дам и девиц. У них танцовали, гуляли в саду, играли в petits jeux. Бакланов, явившийся к ним в первую же пятницу, был одет решительно парижанином: в летних ботинках, в белом жилете и белых перчатках. Все общество сидело в задней гостиной. Балкон из нее выходил в совершенно почти темный сад, по средней аллее которого, впрочем, гуляли, как белые привидения, дамы, в сопровождении черных фигур мужчин. Проходя мраморную залу, Бакланов увидел, что по ней совершенно одиноко ходит небольшого роста господин, в неказистом черном фраке. Подойдя поближе к нему, он воскликнул:

– Ковальский!

– Ах, да-с! здравствуйте! – отвечал тот с удовольствием и как-то церемонно.

– Вот где Бог привел встретиться! – продолжал Бакланов приветливо.

– Да-с! – опять повторил Ковальский.

Будучи поставлен судьбою в звание управителя, он считал старого своего товарища гораздо выше себя и сильно конфузился перед ним.

– Вы женились на моей хорошей знакомой? – продолжал Бакланов.

– Да-с, на Казимире Михайловне, – отвечал и на это Ковальский.

Бакланов еще несколько времени постоял около приятеля, поласкал его взглядом, а потом, молодцевато тряхнув волосами, как гривой, пошел далее, а Ковальский опять принялся сновать взад и вперед.

Поклонившись в гостиной старухе Сабакеевой, игравшей в карты, Бакланов прямо устремился к mademoiselle Евпраксии, которая, в голубом барежевом платье, стояла у балкона.

На этот раз она ему показалось Дианой, только несколько полноватою.

– Голубой цвет решительно создан для вас! – сказал он ей после первых же приветствий.

– Да, я люблю его, – отвечала девушка, как бы не обратив даже внимания на его комплимент.

Бакланов придумывал, о чем бы таком с ней попикантнее заговорить.

– Я всегда при этаком близком расстоянии, как вот здесь, света и

темноты, – сказал он, указывая на темный сад и светлую гостиную: – всегда чувствую желание из света итти в темноту, а из темноты на свет: отчего это?

– От нечего, я думаю, делать; надобно же куда-нибудь идти, – отвечала Евпраксия.

– Да-с, но это скорее то инстинктивное желание, которое человек чувствует, взойдя на высоту, броситься вниз.

– А то трусость! – сказала Евпраксия.

– Вы думаете? Сами вы, значит, трусливы?

– Напротив… Я ничего не боюсь!

– Даже несчастий в жизни?

– Что ж?.. Я их перенесу, я терпелива.

«Она очень не глупа, а как хороша-то, хороша-то, Боже ты мой!» – думал Бакланов.

Во все это время, из другой комнаты, Казимира, по-бальному одетая, беспрестанно взмахивала на него свои глаза. Самой отойти оттуда ей было нельзя: она разливала для гостей чай.

– Mesdames! пойдемте в сад, в веревочку играть! – вскричала молоденькая дама, все время ходившая с разыми мужчинами по саду и растрепавшая, зацепляясь за древесные сучья, всю себе прическу.

– В сад! в сад! – повторяли и находившиеся в гостиной.

Евпраксия, впрочем, подошла и о чем-то спросила мать.

– Можно! – отвечала ей та.

Все вышли и разместились на ближайшей к балкону площадке, на которой было довольно светло. Первая стала в веревочку сама Евпраксия и потом, сейчас же обернувшись, ударила Бакланова по руке.

Он замер в упоении от прикосновения ее милой ручки и, войдя в круг, хотел сам сейчас же ударить Евпраксию по руке; но она успела ее отнять, и Бакланов ударил ее соседа-правоведа и сам стал на его место.

– Отчего вы меня первого ударили? – спросил он Евпраксию.

Она сначала на это только улыбнулась.

– Отчего? – повторил Бакланов.

– Так… Вы очень смешно стояли… – сказала она и потом с гораздо большим одушевлением прибавила: – Смотрите, Хламовский непременно ударит mademoiselle Catherine!.. Ну, так и есть! – прибавила она почти с грустью, когда Хламовский в самом деле ударил mademoiselle Catherine.

«О, она еще совсем ребенок! Но мила, удивительно мила!» –

восхищался Бакланов.

Напоив всех чаем, Казимира, наконец, вышла к играющим и, прислонившись к дереву, в несколько мечтательной позе, начала глядеть на Бакланова. Тому отвечать на ее нежные взгляды – было решительно стыдно; а продолжать любезничать с Евпраксией он побаивался Казимиры.

Одушевление игры между тем заметно уменьшилось, и за веревочку держались только некоторые.

– Если хотите меня видеть, приходите в темную аллею, – сказала вдруг Казимира, подходя к Бакланову.

Он в это время всей душой стремился идти за Евпраксией, которая, с несколькими кавалерами, входила на балкон; но как же, с другой стороны, было отказаться и от такого решительного предложения?.. Однако он пошел в комнаты!

Казимира по крайней мере с час гуляла по аллее; платье ее почти смокло от вечерней росы. Возвратясь в комнаты, она увидела, что Бакланов преспокойно стоял у колонны и смотрел на танцующих.

– Что же вы? – сказала она, подходя к нему.

– Нельзя было: ко мне пристали разные господа, – отвечал он ей с гримасой.

– Ну, после как-нибудь! – сказала Казимира: она обыкновенно привыкла все прощать Александру и даже не замечала, как он с ней поступает.

Герою моему, впрочем, судьбою было назначено в этот день терпеть от всей семьи Ковальских.

Его некогда бывший приятель, так робко его на первых порах встретивший, вдруг, к концу вечера, выставился в дверях и стал его пальцем вызывать. Бакланов сначала даже думал, что это не к нему относится; но Ковальский наконец сделал угрожающий жест и махнул всей рукой.

Бакланов вышел.

– Пойдем-ка выпьем!.. – заговорил Ковальский: – у меня там водочка и колбаска есть… Я ведь никогда на эти супе-то франсе не хожу, а у меня там все свое.

– Полно, как возможно! Я не хочу и не пью!

– Не пью, чорта с два!.. старый студент! не пью! – говорил Ковальский, таща Бакланова за руку сначала в какой-то коридор, а потом в небольшую комнатку, в которой стояла водка и закуска.

– Ну, валяй! – говорил Ковальский, наливая приятелю огромнейшую рюмку.

– Не могу я! – возразил тот решительно.

– Ну так подлец, значит! – проговорил Ковальский и хватил сам рюмку, а потом и другую.

– Мало же тебя жена муштрует, мало! – говорил Бакланов, качая головой.

– Что жена! – возразил мрачно Ковальский: – как сегодня мужик, завтра баба, послезавтра пень да косуля – за неволю станешь и сам мужик: и стал!

Странное дело, добрый этот человек ужасно тяготился жизнью в деревне и тем, что жена почти безвыездно держала его там.

– Уж и в этом-то небольшое утешение! – сказал Бакланов.

– Что утешение! – возразил Ковальский: – Казимира Михайловна изволят не любить, когда я здесь бываю… Нездоровы все они, изволите видеть!.. а я человек… и грешный… не праведник, и не хочу им быть…

– Ну, разоврался уж очень! – проговорил Бакланов, стараясь уйти.

– Да выпей хоть на прощанье-то рюмочку, – сказал Ковальский.

– Не хочу, – отвечал с досадой Бакланов.

– Ну, так убирайся к чорту! – произнес ему вслед Ковальский и сам выпил еще рюмки две, закусил немного, поставил все это потом бережно в шкаф, запер его и, снова возвратясь в залу, стал по-прежнему похаживать, только несколько более развязною походкой.

Бакланов, возвратясь в гостиную, стал около одного правоведа.

– Скажите, пожалуйста, – начал он, – отчего это вот из вашего училища и из лицея молодые люди выйдут и сейчас же пристраиваются, начинают как-то ладить с жизнью и вообще делаются людьми порядочными; а из университета выйдет человек – то ничего не делает, то сопьется с кругу, то наконец в болезни исчахнет.

– Не знаю-с!.. – отвечал ему с улыбкой правовед, совершенно, кажется, никогда об этом предмете не думавший.

В это время Евпраксия танцовала мазурку, и танцовала, по-видимому, с удовольствием; но вместе с тем, ни одному кавалеру она не улыбнулась лишнего раза, не сделала ни одного резкого движения; со всеми была ласкова и приветлива, со всеми обращалась ровно.

Бакланов опять обратился к правоведу.

– Как вы находите mademoiselle Eupraxie? Не правда ли, мила?

– О, да, – отвечал тот, – ледешок только.

– Как ледешок?

– Так. Ее здесь так все называют.

– Что ж, холодна очень? неприступна?

– Да! – произнес правовед.

«Ледешок! – повторял Бакланов сто крат, едучи домой: – посмотрим!»

19. Новое чувство моего героя

У мужчин, после первых, страстных и фантазией исполненных стремлений к женщине, или так называемой первой любви, в чувстве этом всегда играет одну из главнейших ролей любопытство. «А как вот этакая-то будет любить? А как такая-то?» – обыкновенно думают они.

Бакланов, в отношении к Евпраксии, заболел именно точно такою страстью.

«Что за существо эта девушка, как она будет любить?» – спрашивал он сам себя с раздражением. Но девушка, как нарочно, ни одним словом, ни одним взглядом не обнаруживала себя.

Бакланов решился расспросить о ней Казимиру.

Раз он обедал у Сабакеевых, и после стола Евпраксия ушла играть на фортепиано, старуха Сабакеева раскладывала гран-пасьянс, а Казимира сидела в другой комнате за работой.

Бакланов подошел и сел около.

– Скажите, что за субъект mademoiselle Eupraxie? – сказал он.

– О, чудная девушка! – отвечала та.

– Но отчего ж ее в городе ледешком зовут?

– Да потому, что никому не отдает предпочтения, а ко всем ровна. Добра, богомольна, умна, – продолжала объяснять Казимира, нисколько не подозревая, что все это говорит на свою бедную голову.

– А что она про меня говорит? – спросил Бакланов.

– Да про вас я, разумеется, рассказала им.

– Ну, и я знаю уж как! – перебил ее Бакланов: – но что ж она-то?

– Она и мать, обе хвалят.

– А тут надобно маменьке и дочке понравится?

– Непременно! Если бы кто дочери понравился, а матери нет, то мать ее сейчас же разубедит в этом человеке, и наоборот. Они совершенно как какие-то друзья между собой живут.

Бакланов намотал это себе на ус и поспешил отойти от Казимиры.

Та стала, наконец, немножко удивляться: таким страстным он с ней встретился, а теперь только добрый такой?

Бакланов подошел к старухе. Мать и дочь сидели уж вместе. Обе они показались ему двумя чистыми ангелами: один был постарей, а

другой – молодой.

– У вас есть батюшка, матушка? – спросила его старуха.

– Нет-с, никого, – отвечал Бакланов: – только и всего, что на родине имение осталось.

О последнем обстоятельстве он не без умысла упомянул.

– А ваше имение в здешней губернии? – прибавил он.

– Отчасти, но больше я московка: там родилась, выросла и замуж вышла.

– Москва город очень почтенный, но странный! – произнес с расстановкой Бакланов.

– Чем же?

– В ней с одной стороны существует тип Фамусовых, а из того же общества вышли и славянофилы.

– Что ж? Дай Бог, чтобы больше таких людей выходило… Я сама ведь немножко славянофилка, – прибавила старуха и улыбнулась.

Бакланов в почтении склонил перед ней голову.

– Что у иностранцев мерзо, скверно, – говорила она: – то мы перенимаем, а что хорошо, того нет!

– Однако, вот этот Мурильо, и это карселевская лампа, взятые у иностранцев, вещи недурные! – сказал Бакланов, показывая на стену и на стол.

– Да ведь без этого еще жить можно, а мы живем, без чего нельзя жить!

Бакланов вопросительно смотрел на нее.

– Без Бога, без религии, не уважая ни отцов своих, ни отечества, – говорила Сабакеева.

Бакланов все с большим и большим уважением слушал ее.

– А вы разделяете взгляд вашей матушки? – обратился он к Евпраксии.

– Да! – отвечала она.

Бакланов даже потупился, чтобы скрыть свое удовольствие.

– Она уж в монастырь хотела идти, спасаться от вашей иноземщины, – сказала мать.

– Нет, maman, мне все равно, уверяю вас! – отвечала Евпраксия серьезно.

«Это чудные существа», – подумал Бакланов.

Почему он восхищался, что мать и дочь такие именно, а не другие имеют убеждения, на это он и сам бы не мог ответить: красота Евпраксии, кажется, влияла в этом случае на него так, что уж ему все нравилось в этом семействе.

20. День и ночь

Бакланов, очень уж хорошо понимая, что Евпраксия откроет свое сердце и любовь свою только супругу, решился жениться на ней; но присвататься еще побаивался и проводил у Сабакеевых тихо-приятные дни.

Раз все собрались прокатиться на недальний островок, верстах в десяти от города и начинающий в последнее время застраиваться красивыми дачками. Каждый день туда ходил по нескольку раз пароход.

Вся молодежь была в восторге от этого намерения: Евпраксия, по ее словам, ужасно любила воду.

Казимира надеялась, среди встречающихся красот природы, скорее вызвать Бакланова на более задушевный разговор. Она каждую минуту ожидала от него слышать объяснения в любви и требования жертв от нее.

Во время сборов Бакланов невольно полюбовался на Евпраксию, как она плотно заязала ленты своей круглой соломенной шляпы, как аккуратно завернула взятый на всякий случай плед, как, наконец, приподняла у лифа платье, чтобы смелей ходить по траве на острову.

– Вы, должно быть, отличная менажерка, – сказал он ей.

– А что же? – спросила она.

– У вас все кипит в руках! – отвечал Бакланов.

Евпраксия улыбнулась.

– Да, я все сама умею делать, – сказала она.

Входя на пароход, чтобы взять билеты, Бакланов вдруг услышал полутихое и полуробкое восклицание:

– Здравствуйте, Александр Николаич!

Он вздрогнул. Это говорила Софи Ленева, сидевшая уже на пароходе.

– Ах, bon jour! – отвечал он скороговоркой и пожал ей руку.

Софи тоже была сконфужена, но наружность ее и туалет были величественны.

Бакланов поспешил подать руку старухе Сабакеевой и перевел ее с пристани на пароход, подал также руку Евпраксии, но та только на миг прикоснулась к ней и сама проворно взбежала. Он провел даже Казимиру, которая, войдя на пароход, не опускала его руки и крепко-крепко опиралась на нее.

Софи встала и, рассеянно походя, отошла и села подальше на корме. Капитан парохода, услышав, что генеральша Сабакеева едет с

семейством, велел сейчас же очистить им место на палубе и вынести на скамейки подушки.

Уселись.

– С какою это вы дамой здоровались? – спросила Казимира Бакланова.

– С Леневой! – отвечал он.

– А! – произнесла Сабакеева протяжно: – а вы как это знаете ее, молодой человек, а? – прибавила она шутливо-укоризненным тоном.

Бакланов сконфузился.

– Она моя землячка! – сказал он.

– Какая молоденькая, хорошенькая! Ах, бедная, бедная! – говорила старушка, качая головой. – Подите-ка, познакомьте меня с ней! – прибавила она скороговоркой Бакланову.

– Но, Анна Петровна, ловко ли это будет? – остановила было ее Казимира.

– Э, ко мне ничего не пристанет!.. Поэтому я и хочу приласкать ее, что все уж на нее.

– Но ваша дочь, Анна Петровна…

– А что ж такое? Не марайся сама, так другие не замарают. Подите-ка, скажите, если она хочет, пришла бы к нам.

Сабакеева всегда и во всем имела привычку идти против общего мнения, особенно губернского.

Бакланову было не совсем приятно исполнять это поручение, но делать нечего; он подошел к Софи.

– Madame Сабакеева желает с вами познакомиться, – сказал он, не назвав ее никаким именем.

– Ах, очень рада! – отвечала Софи, действительно обрадовавшаяся.

– Madame Сабакеева!.. Mademoiselle Eupraxie!.. Madame Ковальская!.. – говорил Бакланов, показывая ей на свое общество.

– Madame Ленева! – представил он ее.

– Здравствуйте! – сказала ей старуха приветливо.

Софи села около нее.

Евпраксия с каким-то, больше детским, вниманием глядела на нее. Софи тоже на нее смотрела. Красота одной была еще девственная, чистая, а другой жгучая, охватывающая. Евпраксия была мила дома, а Софи заметили бы в толпе, среди тысячи других женщин.

Бакланов сидел, склонив в упоении голову.

Три женщины тут были, и для всех он имел значение. Такою широкою и со всех сторон охватывающею волной жизнь подплывает только в двадцать семь лет.

– Вы едете прокатиться? – спрашивала Сабакеева Софи.

– Нет, я тут на даче живу. Я последнее время была больна, и мне велели больше быть в деревне, – отвечала Софи.

При звуке этого голоса, при этих словах, Бакланов готов был простить ей все; но очарование тотчас же было разбито: из буфета выходила черная фигура Эммануила Захаровича. Бакланов и Казимира первые переглянулись между собой.

Он, с огромною корзинкой конфект, кого-то искал и потом, увидя Софи и других сидевших с ней дам, подошел и стал их потчевать.

Софи взяла, не глядя; прочие тоже так, но он вдруг вздумал и рассесться тут.

– Ну, он-то мне уж гадок! – проговорила почти вслух Сабакеева.

– Вам бы уехать куда-нибудь отсюда: здесь воздух нехорош, а люди так и совсем дрянные, – говорила она резко Софи.

– Но куда же? – возражала та, почти беспрерывно меняясь в лице.

Видимо, что внутри нее происходили мучительные волнения, тогда как Евпраксия с ангельским почти спокойствием разговаривала с Баклановым.

Эммануил Захарович, видя, что им никто не занимается, снова спустился в буфет.

Пароход, между тем, выйдя из пристани, шел мимо красивых обрывистых берегов. На небе массы облаков, после знойного дня, как бы дымились; воздух блестел беспрерывною сетью испарений; в пароходных колесах вода рассыпалась серебряной пылью.

Все невольно встали — полюбоваться этою картиной. Бакланов при этом заметил, что на глазах Софи заискрились чуть-чуть заметные слезинки; а Евпраксия, напротив, смотрела серьезно и только как бы удивлялась в этих красотах природы величию Бога.

Казимира старалась стать поближе к Бакланову и даже опереться на него.

– Задний ход! – раздался голос капитана.

Никто не ожидал, чтобы пароход так скоро подошел к островку.

Все засуетились и пошли.

– Вы ко мне, конечно, не зайдете? – сказала Софи, уходя, Бакланову.

– Нет! – отвечал он.

Толпа их разделила.

21. Смелый кормчий

Оставив старушку на берегу, молодые люди углубились в остров. Евпраксия очень любила гулять по полям и по лесам: они, по крайней мере, прошли версты три, и она только немножко разгорелась в лице.

Казимира все надеялась, что в этом полутемном лесу Бакланов наконец объяснится с ней; но он как нарочно все шел и разговаривал с Евпраксией о самых обыкновенных предметах; Казимира начала неиствовать. Она бегала по лугам, рвала цветы, вплетала их себе в волосы, бросала их в Бакланова, наконец увидала у берега лодку.

– Ах, вот лодка! покатаемтесь, – говорила она.

– Нет! – возразила было ей Казимира.

– Душечка! ангел мой! – говорила Казимира, целуя ее.

– Но я maman сказала.

– Ничего, я все на себя приму, – умоляла ее Казимира.

– Поедемте! – поддержал и Бакланов: ему любопытно было видеть себя с этой восхитительною девушкой в одной лодке.

Евпраксия, наконец, с своею кроткою улыбкой, согласилась.

– Я сяду на корме, – сказала она.

Казимира, так страстно желавшая кататься, едва осмелилась потом зайти в лодку.

Бакланов начал грести.

Евпраксия сидела против него лицом к лицу.

Казимира расположилась около ног молодого человека и без всякой осторожности уставила на него свое влюбленное лицо.

Бледно-желтые облака на западе становились все темнее и чернее. Ветер разыгрывался, и волнение для маленькой лодки стало довольно чувствительно. Влюбленная Казимира начала уж и покрикивать.

– Не вернуться ли нам назад? – проговорила она.

– Зачем же было и ехать? – возразила Евпраксия, которой, напротив, все это, по-видимому, было приятно.

Бакланов, не желая подать виду, что и он не с большим удовольствием катается, начал грести сильнее.

Лодку очень уж покачивало. Казимира беспрестанно кричала и, сидя, как тетеря, распустившись, хваталась то за тот край лодки, то за другой. Лицо Евпраксии было совершенно спокойно.

Отъехав от острова, они попали на еще более сильное течение, которое, встречаясь с противным ветром, кипело, как в котле; волны, чем дальше от берега, тем становились выше и выше. Лодку, как щепку, перебрасывало через них. У Бакланова почти сил недоставало грести.

– Держите в разрез волн, – сказал он испуганным голосом.

– Знаю, – отвечала Евпраксия, и в самом деле так держала.

Он видел, что правая рука ее, управляющая рулем, налилась вся до крови от напряжения; но Евпраксия ни на минуту не ослабила шнурка.

Панна Казимира плакала и молилась.

– Матка Боска, матка Боска! – вопияла она уж по-польски.

Бакланов чувствовал, что он бледен, как смерть. Вся штука состояла в том, как повернуть лодку и ехать назад к острову.

– Гребите не так сильно, я стану поворачивать, – сказала Евпраксия, решительно не потерявшаяся.

Бакланов поослабил. Евпраксия тоже поослабила шнурок, и лодка стала забирать вправо. Маленькая торопливость, и их заплеснуло бы волной, которые и без того уже брызгали через борт. Еще минута, и лодка очутилась носом к берегу.

– Ну, теперь сильнее! – сказала Евпраксия.

Бакланов, при виде такой храбрости в девушке, почувствовал в себе силы льва. Он почти до половины запускал весла в волны.

Евпраксия опять ни разу не ошиблась и все перерезывала волны поперек.

Последняя волна почти выкинула их на берег.

– Никогда не стану никого слушать! – проговорила Евпраксия, встав и отряхивая сплошь покрытое водяною пеной платье; ручка ее, которою она держала руль, была ссажена.

Бакланов тоже не вдруг мог прийти в себя от пережитого им страха. Панну Казимиру он только что не без чувств вынул из лодки.

Возвратившись к матери, Евпраксия все ей рассказала, переменив только то, что это она сама затеяла кататься, а не Казимира.

Та сначала попеняла было, но потом сейчас же и прибавила:

– Никто, как Бог; не убережешься от всего.

По случаю намокших дамских платьев, домой поехали сейчас же.

Когда остров стал порядочно удаляться, успокоившаяся Казимира указала Бакланову на дорогу, идущую кругом всего берега. Там несся экипаж с дамой, и за ним уродливо скакал верховой в английских рейтфраке и лаковых сапогах.

– Это ведь Ленева и Галкин! – сказала она; но Бакланов не обратил на это никакого внимания.

«Так вот она какая! вот какая!» – думал он все об Евпраксии.

22. Не совсем обыкновенная сваха

Прошло с полгода. Сердечные дела Бакланова плохо продвигались

вперед: Евпраксия на йоту не допускала его ближе к себе. Оставалось одно последнее средство: присвататься к ней. Бакланов решился возложить это на Казимиру. Об ее собственном сердце он в эти минуты нисколько даже не помышлял: злоупотреблять этим кротким существом он точно считал каким-то своим правом!

Он нарочно пришел к Сабакеевым, когда знал, что они обедали у одних своих знакомых, и прошел прямо в комнату к Казимире.

– Ах, вот это кто! – воскликнула та, по обыкновению, обрадовавшись: – пойдемте однако в те комнаты, а то эти людишки Бог знает что наболтают.

Она все еще ожидала опасности со стороны Бакланова и по возможности, разумеется, думала этому противиться.

Они прошли в большую гостиную и сели на диван под Мурильо.

– Ну-с? – начала Казимира.

– Ну-с! – повторил за ней Бакланов: – во-первых, начну высоким слогом: жизнь для меня «сад, заглохший под дикими, бесплодными травами».

– Слыхала это не сегодня, – отвечала кокетливо Казимира.

– Вследствие этих обстоятельств, – продолжал Бакланов: – я решил жениться.

– А! – произнесла Казимира. – На ком же? – прибавила она, высоко-высоко выпрямляя грудь.

– Разумеется, на mademoiselle Eupraxie! – отвечал Бакланов.

Если бы пудовой камень упал в эти минуты на голову Казимиры, так она меньше была бы ошеломлена.

– Ну что ж? Желаю вам!.. – сказала она, по наружности спокойно; но в самом деле все это, стоявшее перед ней: мебель, окна и картины, слилось для ее глаз, мгновенно наполнившихся слезами, в какую-то пеструю решетку.

Бакланов сделал вид, как будто бы ничего этого не замечал.

– К вам собственно просьба моя в том, чтобы вы разузнали, как они примут мое желание.

– Я-а? – спросила, протянув, Казимира.

– Да! – отвечал Бакланов, опять как бы не поняв этого вопроса. – От этого решительно теперь зависит все мое будущее счастье, – продолжал он: – Евпраксия именно такая девушка, какую я желал иметь женою своею: она умна, скромна, ну и, нечего греха таить, богата и со связями; а все это очень мне теперь не лишнее в жизни!..

Казимира слушала его, как бы совсем оглупевшая.

– И я надеюсь, что вы, мой старый, добрый друг, не откажетесь

посодействовать мне в том, – заключил Бакланов и взял было ее за руку.

– Нет, не могу, не могу, не могу! – проговорила она скороговоркой и закрыла лицо руками.

– Бог, значит, с вами! – сказал Бакланов с грустною улыбкой.

– Но, друг мой! – воскликнул вдруг Казимира, протягивая к нему руки: – я сама вас люблю, – прибавила она и стала перед Баклановым на колени.

Тот хотел было ее поднять.

– Казимира! – говорил он.

– Нет, погоди, постой! – говорила она: – дай мне хоть раз в жизни выплакаться перед тобой, высказать, что чувствует душа моя!

И безумная женщина целовала при этом руки своего идола.

Бакланов не знал, что и делать.

– Казимира! – повторял он.

– Погоди, постой! – говорила она: – требуй какой хочешь от меня жертвы: отдаться тебе, развестись с мужем, но только не этого, нет!

– Казимира!.. успокойтесь, – говорил ей Бакланов, тоже беря ее руки и прижимая их к груди.

– А я не могу… не могу сама своими руками отдать тебя! – говорила она и, склонив голову на колени Александра, рыдала.

Слезы, как известно, сильно облегчают женщин.

Наплакавшись, Казимира встала и села.

– Послушай, – начала она: – когда ты женишься, уговор один: не прогоняй меня, дай мне жить около вас.

– О, Бога ради, Казимира! – воскликнул Бакланов – как вам не грех было это думать! Вы навсегда останетесь другом нашего семейства, и жизнь ваша навсегда будет обеспечена.

– Да, я хочу только тебя видеть, больше ничего!.. Ну, а теперь поцелуй меня в последний раз… знаешь, пламенней, пламенней, как ее будешь целовать.

И она сама обняла Бакланова и замерла на его губах долгим поцелуем.

– Сегодня ты еще принадлежишь мне, – говорила она и гладила Бакланову волосы, лицо, и целовала его.

Он сидел как школьник в ее объятиях. Потом она, как бы совсем обеспамятев, вскочила и убежала.

К этим внезапным ее уходам Бакланов давно уже привык. Просидев немного и думая, что дело его совершенно испорчено, он уехал домой… Он не знал еще, до какой степени любящее сердце

Казимиры было исполнено самоотвержения.

Она спала в одной комнате с Евпраксией и ту же ночь до самого утра говорила с ней о Бакланове.

А Евпраксия, приникнув своею хорошенькою головкой к батистовому белью подушки, лежала молча, но не спала.

23. Не много слов, но много дела

В семействе Сабакеевых все происходило как-то необыкновенно просто.

Казимира сделала Евпраксии решительное предложение от Бакланова. Евпраксия поутру сказала о том матери. Несмотря на это, в доме не было ни шушуканья, ни таинственных лиц. Старуха так же, как и каждодневно, сходила к обедне; дочь так же, как и прежде, взяла уроки на фортепиано.

Казимира начала уже замирать от радости, что авось они не примут предложения Бакланова; но вечером, однако, она нечаянно подслушала разговор между матерью и дочерью.

– Он очень, кажется, честный человек! – говорила Евпраксия.

– Да, – подтвердила мать; потом, помолчав, прибавила: – все во власти Божией!

Разговор на некоторе время пресекся.

– И он, наконец, здесь лучше всех, кого я знаю, – прибавила дочь.

– Да, – подтвердила и мать опять.

Разговор снова прервался.

– Тебе отдам этот дом, а сама перетащусь опять в Москву, – заговорила снова старуха.

– Зачем же!.. Это будет очень скучно мне, – возразила дочь, но совершенно как бы слегка.

– Нет! нет! – перебила ее старуха. – Матери в браке только помеха: ничего от нас добра не бывает.

– Не знаю, я этого еще не испытала, – сказала дочь с улыбкой.

– Потому-то и говоришь, что не знаешь, – подтвердила мать.

И снова молчание.

– Вы мне здешнее имение отдадите? – спросила дочь, совершенно не женируясь.

– Да, тебе здешнее, а московское Валерьяну, – отвечала Старуха, тоже, по-видимому, не удивленная нисколько этим вопросом.

Валерьян был младший ее сын и учился в Москве.

На этом разговор совершенно прекратился.

Старуха села за гран-пасьянс, а Евпраксия пошла заниматься музыкой. Недаром, видно, ее в городе называли ледешком, а мать – философкою.

Казимира, что бы ни чувствовало собственное сердце ее, написала обо всем этом разговоре Бакланову.

Он не замедлил сию же минуту приехать.

Старуха все еще продолжала раскладывать гран-пасьянс.

Бакланов сел против нее.

Но как тут с этою спокойною физиономией было заговорить?

– Погадайте-ка на мои мысли! – сказал он наконец.

– Мне бы самой надо ваши мысли отгадать, – отвечала старушка полушутя.

– О, они совершенно чисты и открыты перед вами! – воскликнул Бакланов.

– Ну, то-то же, смотрите! – сказала она, и погрозила ему пальцем.

– Так как же, Анна Петровна, да или нет? – спросил уж Бакланов.

– Чтой-то, да поди – у ней спрашивай; я уж за тебя не пойду, – сказала Сабакеева.

– Значит, можно? – воскликнул Бакланов, и пошел в ту комнату, где Евпраксия сидела за работой. Напротив ее помещалась Казимира, почти нечесаная и вряд ли в застегнутом платье. Она целый день жаловалась то на занятия, то на нездоровье.

Бакланов подмигнул ей. Она, потупив голову и с грустною усмешкой, вышла.

У Александра губы и щеки дрожали.

– Евпраксия Арсентьевна, – начал он: – я имел честь делать вам предложение. Скажите вы мне прямо и откровенно, как пряма и откровенна ваша прекрасная натура, нравлюсь ли я вам, и согласны ли вы отдать мне вашу руку и сердце?

Евпраксия несколько времени смотрела ему прямо в лицо.

– А вы будете любить меня? – спросила она, и как бы нарочно поспешила улыбнуться, чтобы смягчить свой недоверчивый вопрос.

– Я буду любить вас всю жизнь, если бы вы даже не любили и разлюбили меня, – проговорил Бакланов с чувством.

– Ну, я-то уж не разлюблю, кого полюблю, – сказала Евпраксия и слегка покраснела.

– О, и я! Ручку вашу! Да?

– Ну, смотрите же, не обманите меня! – сказала Евпраксия, подавая ему руку. – Я в вас с первого же раза почувствовала какую-то веру.

– Веру?

– Да! Подите к maman, я должна одеваться!

Бакланов хотел попросить у ней поцелуя, но не посмел.

В тот же день была пятница, и часов в девять начали съезжаться гости.

Бакланов съездил домой и надел фрак.

За ужином было объявлено, что mademoiselle Eupraxie помолвлена за monsieur Бакланова.

24. Испытание

В городе про Евпраксию говорили: «это невеста не пылкая и не страстная». Бакланов тоже, желая с ней сблизиться, не мог достигнуть этого в той степени, в какой желал бы.

– Ты любишь меня? – спрашивал он ее.

– Люблю! – отвечала односложно Евпраксия.

– Но, знаешь, несколько уж очень спокойно: хоть бы поревновала меня или покапризничала надо мной!..

– Да зачем же? – возразила Евпраксия с улыбкой: – если бы ревновать была причина, так я бы лучше не пошла за тебя, а если бы я капризна была, так ты бы, верятно, не женился на мне.

Бакланов должен был согласиться, что все это весьма справедливо и умно.

Раз он принес к ней Бориса Годунова Пушкина и стал ей читать сцену у фонтана.

– Ты хладнокровная Марина Мнишек, а я пылкий Самозванец! – говорил он ей, и в том месте, где Григорий приходит в себя, он даже вскочил и продекламировал перед невестой:

Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы ополчила
И в жертву мне Бориса обрекла.
Царевич я…

Бакланов при этом заметил, что Евпраксия усмехнулась.

– Тебе смешно только! – проговорил он с досадой.

– Да как же не смешно! Вдруг я Марина Мнишек, а он Самозванец! Тут и в чувствах даже ничего нет общего.

«Она чорт знает как умна!» – подумал Бакланов; но вслух однако проговорил:

– Очень уж вы, Евпраксия Арсентьевна, рассудительны.

– Не рассудительна, а только слов пустых не люблю, – отвечала

она, по обыкновению своему, спокойно.

Больше еще всего, кажется, Евпраксия любила музыку. Она играла правильно, отчетливо, со смыслом; но и тут Бакланову казалось, что она мало увлекается, а только проиграет иногда огромную пьесу, и потом на несколько минут глубоко, глубоко задумается.

Что она в эти минуты думала, Бог ее знает: никогда не сказывала, хоть Бакланов и часто спрашивал ее.

– Не люблю я про это говорить, – отвечала она.

– Вообще про то, что чувствуешь?

– Да! – отвечала Евпраксия.

Бакланов, оставаясь с невестой наедине, принимался ее целовать в лицо и в шею. Евпраксия, нисколько не женируясь, отвечала ему тоже поцелуями.

Однажды он стал перед ней на колени и прильнул губами к ее выставившейся ножке.

Евпраксия, кажется, и не поняла этого страстного с его стороны движения и только посмотрела на него с удивлением.

Перед уходом Бакланов обыкновенно прижимал ее к груди своей и долго-долго целовал ее в лоб.

Евпраксия ему повиновалась.

25. Банковский билет

Последнее время Софи целые дни сидела дома. О, как она была печальна!

Раз, вечером, к ней вошла Иродиада.

– Куда ты целый день пропадаешь? – говорила ей с досадою Софи: – довольно уж этой любовью своей заниматься.

– По городу немножко погуляла: на свадьбу смотрела-с, – отвечала та.

– На чью?

– Нашего Александра Николаича.

Софи побледнела.

– А сегодня свадьба?

– Сегодня-с! Сейчас венчать будут у Спаса.

– А что меня в церковь-то пустят? – спросила Софи, устремляя на горничную какой-то странный взгляд.

– Отчего ж не пустить? – отвечала та.

– Давай мне одеваться… давай все лучшее!.. – говорила Софи и начала сама приводить в порядок свои волосы.

Дело это горело у нее в руках: ни один парикмахер не сумел бы так скоро и так к лицу причесать ее роскошные локоны. Иродиада принесла ей великолепнейшее визитное платье.

– Выкупили бы, сударыня, ваши вещи-то, а то надеть вам нечего! – говорила она, подавая госпоже в самом деле всего одну небольшую брошку.

– Все выкуплю, все! Не на радость только! – отвечала Софи, небрежно застегивая этою брошкой платье на груди. Надевая французские перчатки, она одну из них изорвала. Толстые ботинки ее громко стучали по паркету.

В этом наряде Софи, казалось, точно сейчас только воротилась с какого-нибудь вакхического вечера.

Коляска ее уже была подана к крыльцу.

– К Спасу, – сказала она.

Венчанье Бакланова происходило в небольшом, темноватом приделе приходской церкви.

Софи, войдя, остановилась у колонны, почти в самых дверях.

Всю церемонию она простояла неподвижная, как статуя.

Венчал духовник старухи Сабакеевой, высокий, сухощавый, с мрачным и неподвижным лицом священник. В конце он говорил проповедь и все стращал новобрачных, если не будут любить друг друга, страшными адскими муками.

Выходя, молодые прямо очутились лицом к лицу против Софи.

– Je vous fèlicite, monsieur Бакланов! – сказала она. – Je vous fèlicite, madame! – прибавила она и молодой.

Бакланов побледнел. На лице Евпраксии тоже отразилось беспокойство: ее очень поразила великолепная и, в одно и то же время, печальная наружность Софи.

Бакланов поспешил усадить жену в карету и сам вскочил за нею.

Софи вышла вслед за ними на паперть. Небрежно убранные волосы ее развевались ветром; заколотая в платье брошка расстегнулась и повисла.

– Madame, вы потеряете вашу вещь! – сказал было ей один из молодых людей.

– Merci, – сказала Софи, вряд ли и слышавшая, что ей сказали, и так, не поправив брошки, села в экипаж.

Приехав домой и войдя в будуар, она порывисто сбросила с себя шаль и начала разрывать платье, корсет, а потом, залившись вся слезами, упала на постель.

– Хотела бы я быть порядочным существом, но Бог не привел, –

стонала она.

– Полноте-ка, сударыня: есть о чем плакать! – утешала ее Иродиада.

– Есть, Иродиада, есть! Теперь я совсем несчастная, – отвечала Софи.

Через несколько дней после того, в коммерческий банк от неизвестного лица было внесено на имя действительной статской советницы Леневой двести тысяч рублей серебром.

Часть четвертая

1. Хоть и прошлая, но не совсем милая картина

Если читатель даст себе труд пробежать в уме своем весь предыдущий рассказ мой, то он, несмотря на случайность выведенных мною лиц, несмотря на несходство их между собой, проследит одну общую всем им черту: все они живут по какому-то, точно навсегда уже установившемуся для русского царства механизму. Разумеется, всем, кто поумней и почестней, как-то неловко; но все, в то же время, располагают жизнь свою по тем правилам, которые скорей пришли к ним через ухо, чем выработались из собственного сердца и понимания.

Герой мой, например, не имея ни способности и никакой наклонности к службе, служит и думает, что тем он исполняет долг свой. Женившись на богатой девушке, он давно уже был к ней более чем равнодушен, но считал своим долгом по возможности скрывать это.

Бедная моя Софи Ленева, живя под покровительством Эммануила Захаровича, тоже вряд ли не полагала, что это долг ее. Окружавшее ее богатство заставляло забывать все: многие молодые дамы, обыкновенно делавшие при ее имени гримаску, в душе завидовали ее положению; все приезжие артисты и артистки и вся местная молодежь считали себе за честь бывать у нее на вечерах и были в восторге от ее роскоши и красоты.

Из других знакомых нам лиц, молодые Галкины, несмотря на ограниченные способности, хоть и плохо, но учились.

Николенька, сын доброй губернаторши, если только помнит его еще читатель, тоже состоял в одном военно-учебном заведении и наскучал матери только тем, что съедал, по крайней мере, по полпуду в день конфект, и это ужасно пугало ее насчет его здоровья.

Но самым лучшим примером, каких зверьков то суровое время могло усмирять, служил Виктор Басардин. Возвратясь из отпуска, на котором мы с ним встретились, он на первых же порах, по юношеской неопытности, вздумал было схватить полкового командира за ворот. Его за это разжаловали в солдаты и сослали на Кавказ. Там он едва выкланял, чтоб его произвели в офицеры, и сейчас же вышел в отставку. В это время умерла Надежда Павловна; именьице свое она

отдала мужу. Виктор, приехав на родину и ошибшись в расчете, избил до полусмерти бедного Петра Григорьевича. Тот пожаловался на него губернатору и предводителю. Виктора за оскорбление отца посадили на год в смирительный дом, откуда освободясь и прожив в Москве, без куска хлеба и без сапог, он, холодный и голодный, пришел смиренно к сестре. Та сжалилась над ним и определила его у Эммануила Захаровича по откупу. И таким образом, наученный горькими опытами жизни, молодой человек обнаруживал к сестре величайшую нежность, а к Галкину почти благоговение.

В действующих средах общества, между тем, решительно царствовала какая-то военная сила. В Петербурге придумали, что Англия будто бы страна торговли, Германия – учености, Италия – искусств, Франция – оселок, на котором пробуют разные политические учреждения, а Россия – государство военное. В самом деле оно, должно быть, было военное! Какой-нибудь наш знакомый презус, гарнизонный полковник, получал в год с батальона тысяч по пятнадцати. В карабинерных полках, для образования бравых и молодцеватых унтер-офицеров, из пяти кантонистов забивали двоих.

Губернаторы в своей милой власти разыгрывались до последней прелести.

За ними властвовал и господствовал откуп. Разные Ардаки, разные Эммануилы Захаровичи и разные из русских плуты, по одной роже-то каторжные, считались за гениев.

Люди, вроде Нетопоренка, трактовались за людей необходимых и полезнейших для общества.

Дворянство, хоть и сильно курившее фимиам всевозможным властям и почти поголовно лезшее в службу, все еще обнаруживало некоторое трепетание, даже наш скромнейший Петр Григорьевич говорил: «Мы, дворяне, кое-что значим! Все не мужики, не купцы и не мещане!»

Купечество, по разным казенным подрядам и поставкам, плутовало спокойным образом, зная, что деньгами всякую дыру, если только ее найдут, замазать можно.

Простой народ стал приходить, наконец, в отупение: с него брали и в казну, и барину, и чиновникам, да его же чуть не ежегодно в солдаты отдавали.

Как бы в отместку за все это, он неистово пил отравленную купленную водку и, приходя оттого в скотское бешенство, дрался, как зверь, или со своим братом, или с женой, и беспрестанно попадал за то на каторгу.

Образование по всем ведомствам все больше и больше суживалось: в корпусах было бессмысленно подтянутое, по гимназиям совершенно распущенное, а по семинариям, чтобы не отстать от века, стали учить только что не танцовать. Оттуда, отсюда и отовсюду молодые люди выходили ничего не смыслящие.

Всюду слышался неумолкающий ни на минуту, но в то же время глухой и затаенный ропот.

Сама природа, как бы разделяя это раздраженно-напряженное состояние, насылала то тут, то там холеру.

2. Что-то веет другое

В сентябре 1853 года наш посол князь Меньшиков выехал из Константинополя.

Зачем и из-за чего эта война началась – в народе и в обществе никто понять не мог. Впрочем, не особенно и беспокоились: турок мы так привыкли побеждать! Но Европа двинула на нас флоты английский, французский и турецкий!

Хомяков писал в стихах, что это на суд Божий сбираются народы.

Несмотря на нечеловеческое самоотвержение войска, стало однако сказываться, что мы не совсем военное государство; но зато государство совсем уж без путей сообщения…

В Европе удивлялись нашим полуголодным солдатам и смеялись над генералами.

С 18 февраля 1855 года Россия надела годичный траур.

Героизм Нахимова, горевший, как отрадный светоч, перед очами народными, и тот наконец погас. В сентябре 1855 года была напечатана лаконическая депеша из Севастополя: «наши верки страдают»!

Исход дела стал для всех понятен.

Все почувствовали общее, и нельзя сказать, чтобы несправедливое, к самим себе презрение.

Русский вестник уже выходил. Щедрин стал печатать свои очерки. По губерниям только поеживались и пошевеливались, и почти со слезами на глазах говорили: «Ей-Богу, это ведь он нас учит, а мы и не умели никогда так плутовать!»

В Петербурге тоже закопошились.

Добрый наш приятель, цензор Ф***, может быть, лучше многих понимавший состояние общественной атмосферы, нашел совершенно невозможным служить.

– Цензуры нет! – шепнул он нам однажды. – Нет ее! – воскликнул он потом с увлечением. Затем, будучи сам большим шалуном по женской части, объяснил подробнее свою мысль: – Я прежде, в повестях, если один любовник являлся у героини, так заставлял автора непременно женить в конце повести, а теперь, помилуйте, перед героиней торчат трое обожателей, и к концу все разбегаются, как собачонки.

По другим ведомствам советники Нетопоренки вдруг найдены несовременными.

Старый дуб, Евсевий Осипович, счел за лучшее успокоить себя в звании сенатора.

В феврале месяце 1857 года, на Сенатской площади собрался народ, говоря, что выдается указ о воле. Но указ выходил о порядке перехода помещичьих крестьян в казенные, и толпу разогнала полиция.

Вслед затем раздались довольно неопределенные толки, что дворянству поручено говорить на выборах об улучшении быта крестьян.

В провинции, впрочем, все это отражалось каким-то глухим и неопределенным эхом.

В описываемый мною город приехал один вновь определенный правовед и привез какой-то листок, напечатанный в Лондоне.

Молодой человек читал это в большом обществе, многие имели неосторожность смеяться. Чтеца на другой же день отправили в Петербург с жандармом и с секретным донесением, но там его – всего продержали три дня и выпустили.

Странно!!

Герой мой, Бакланов, все время перед тем, как мы знаем, служивший и получивший даже Станислава на шею, вдруг начал находить, что ему неприлично это делать, тем более, что все неслужебное около него как-то шевелилось, попридумывало, изобретало кое-что.

– Я выйду, друг мой, в отставку, – сказал он однажды жене: – и займусь лучше коммерческими делами.

– Хорошо! – отвечала та и потом, с обычным своим благоразумием, прибавила: – сумеешь ли только?

– Я думаю… тут не служба… я никем и ничем связан не буду! – отвечал Бакланов.

Евпраксия ничего на это не сказала и ушла к детям.

Бакланов вскоре потом подал в отставку и стал отращивать себе

усы и бороду.

3. Скука среди семейного счастья

Был вечер. В большой гостиной, перед карселевою лампой, мирным и тихим светом освещавшею стены, картины и мебель, в покойном плисовом сюртуке сидел Бакланов. Его лицо, сделавшееся от отпущенных усов и бороды еще красивее, было печально.

Евпраксия, тоже значительно пополневшая, с солидною, хотя и с спокойною физиономией, сидела около него и работала.

Мальчик лет четырех, их старший сынишка, прелестный, как ангел, стоял на ногах на диване и своими ручонками обнимал Казимиру, которая совсем стала похожа на добрую французскую bonne. Муж ее уже помер. С появлением Бакланова, окончательно оставленный женою, он начал еще больше пить и предаваться волокитству, и, по свойственной этого рода жизни случайности, найден был утонувшим в пруду. Сам ли он как-нибудь залез туда, или его кинули, никто даже и узнать особенно не постарался.

Другой мальчик, лет около двух, пузанчик, под строжайшим присмотром няньки-немки, едва переступая с ножонки на ножонку, шагал по мягкому и волнистому ковру и, нередко спотыкаясь, клюкался носом в ковер; но не плакал при этом, а, обернув личико к няньке, смеялся.

При подобной обстановке, среди которой жил герой мой, – казалось, и желать было нечего более; но сердце человеческое – тайна неисповедимая: Бакланов на свое положение смотрел иначе!

В настоящий вечер у них была в гостях madame Базелейн.

Прежде эта дама была даже мало знакома с ними; но в последнее время вдруг повадилась и начала ездить довольно часто.

Евпраксия не любила ее; а Бакланов, напротив, находил, что она – очень умная и развитая женщина.

Последний эпитет он нередко и с каким-то особенным ударением употреблял при жене. Евпраксия при этом, кажется, усмехалась про себя.

– Как хотите, – говорил он, обращаясь к madame Базелейн: – но женатый человек решительно отрезанный от всего ломоть.

– Но почему же? – спрашивала она его в недоумении.

– Во-первых-с, – начал перечислять ей Бакланов: – для остальных женщин, кроме жены своей, он не существует. Знаете ли, какое первое ощущение мое было, когда я женился?.. Мне показалось, что я в том

обществе, для которого все-таки имел некоторое значение, с которым, наконец, был связан, вдруг стал совершенно чужим и одиноким.

– Но зачем же вам эта связь с обществом? – возражала ему madame Базелейн.

– Я не про то говорю-с, а про те ощущения, которые следуют за браком, и которые если не неприятны, то все-таки странны: из богача вы делаетесь бедняком, тысячи субъектов меняете на одного.

Madame Базелейн пожала плечами.

– В отношении друзей тоже, – продолжал Бакланов: – уж неловко с ними поразгуляться и позашалиться… Пеший, по пословице, конному не товарищ!

– Но зачем же вам все это? – повторяла воздушная madame Базелейн: – у вас есть жена, дети!..

– Да, это все есть! – подтвердил Бакланов насмешливым голосом.

Евпраксия в продолжении всего этого разговора соблюдала строгое молчание, и только при последних словах мужа как бы легкая краска выступила на лице ее, а Казимире точно стало неловко и стыдно. Она внимательно принялась рассматривать лежавший под лампою коврик.

В это время однако Евпраксию вызвали кормить грудью третьего ребенка, а старший сынок, соскочив с дивана, побежал в залу. Казимира, ни на шаг его обыкновенно не оставлявшая, пошла за ним.

Бакланов и madame Базелейн остались вдвоем.

– Ах, мужчины, мужчины, всего-то вам мало! – сказала та и покачала головой.

– Да чего всего-то? чего? – перебил ее Бакланов.

С некоторого времени он все более и более стал прикидываться, особенно перед молодыми дамами, не совсем счастливым мужем.

– Вы будете у генерал-губернатора на бале? – переменила гостья разговор на другой предмет.

– Да не знаю, позовут ли? – отвечал Бакланов.

– О, непременно! – подхватила Базелейн: – вы знаете: он нынче тактику совсем хочет переменить… Ему из Петербурга прямо написали и поставили на вид Суворова, что вот человек – сумел же сойтись с целым краем. Он просто хочет теперь искать в обществе.

– Дай Бог, – отвечал Бакланов: – чтоб они для общества жили, а не общество для них.

– Уж именно, именно! – подтвердила восторженно madame Базелейн.

Дама эта, за какой-нибудь год перед тем, видела только что не у башмака своего лежавшим все к-е общество, а теперь, чтобы сблизить

своего патрона с лицами, по преимуществу державшими себя в отношении его неприязненно, она ездила к ним и в дождь и в слякоть. Баклановы, в этом случае, были одними из первых.

Когда Евпраксия возвратилась, madame Базелейн начала бесконечно к ней ласкаться. С каким-то благоговейным вниманием она расспрашивал ее, как она кормит ребенка, не беспокоит ли он ее.

Евпраксия на все это отвечала ей серьезно-сухо.

– А что ваша дочь? – спросила она ее в свою очередь.

– Ах, она у меня чудо как развивается, чудо! – отвечала Базелейн.

Выражение лица Евпраксии было насмешливо.

Гостья наконец начала собираться.

Бакланов пошел провожать ее.

– Как все это мило!.. – говорила Базелейн, проходя мраморную залу и Бог знает на кого показывая: на самую ли залу, или на игравших в ней детей.

– И скучно! – добавил, идя вслед за ней, Бакланов.

Madame Базелейн покачала только головой.

Проводив ее, Бакланов сел на пол около детей.

– Валерка! – крикнул он старшему сыну: – ну, хочешь кататься?

Мальчик сейчас же забрался ему верхом на шею и начал на нем скакать, как на лошади.

– Ну, поди и ты, карапузик! – крикнул Бакланов маленькому.

Тот переправился к нему.

– Ну, целуйте! – скомандовал Бакланов.

Валерьян сейчас же нагнулся и начал его целовать несчетно раз. Маленький тоже тянулся к нему своими губенками.

Панна Казимира смотрела на всю эту сцену с сложенными руками и потупленными глазами.

Дети целовали отца, по крайней мере, с полчаса.

– Однако какие это бессмысленные поцелуи детские, – обратился он вдруг к Казимире.

– Отчего же? – спросила та, краснея.

– Так! – отвечал Бакланов и встал.

– Что ж, поиграйте еще с детьми, – сказала было ему Казимира.

– Нет! скучно! – повторил он, зевая, и ушел к себе в спальню спать, хоть всего еще только было десять часов.

4. Праздные и порочные мечтания

Баклановы обедали.

Евпраксия, как честная и пышная римская матрона, сидела на конце стола. По правую руку от нее помещались: Казимира с старшим, Валеркой, как его звал отец, а по левую – нянька-немка со вторым, Колькой. У обоих детей были особые серебряные приборы, и оба скромнейшим образом сидели на своих высоких стульчиках.

Обед у Баклановых был всегда отличный; повар их вряд ли был не искусней повара Эммануила Захаровича; вина самого высокого сорта, прислуга скромная, вежливая. Но ничто это не пленяло Александра!.. В его воспоминании проходил другой, скудный обед в Ковригине, когда он сидел около молоденькой девушки и пожимал под столом ее ножку: о, какая то была поэзия, – и какая все окружавшее его теперь проза!

К концу обеда зашел разговор о приглашении на бал, которое в самом деле было получено от генерал-губернатора.

– Я не поеду! – сказала Евпраксия решительно.

– Отчего же? – спросил ее Бакланов, вспыхивая.

– Потому что я никуда не езжу, – отвечала Евпраксия.

Бакланов насмешливо улыбнулся.

– К другим вы можете не ездить, – начал он: – но тут вежливость требует! Наконец, вы обывательница здешняя; у вас могут случиться дела и другое прочее.

– У меня нет никаких дел.

– Но у меня могут быть.

– Ну, так ты и поезжай!

Бакланов опять и еще ядовитее усмехнулся.

– По обыкновению: ни для кого – ничего, ни шагу! – произнес он.

– Ну да, ни шагу, – повторила Евпраксия.

В сущности, Бакланову решительно было все равно, поедет ли с ним жена на бал или нет; но ему хотелось только с ней поспорить и побраниться.

Если маленькие причины имеют иногда большие последствия, то и наоборот: большие явления имеют, между прочим, самые миниатюрные результаты.

На героя моего ужасно влияла литература; с каждым смелым и откровенным словом ее миросозерцание его менялось: сначала опротивела ему служба, а теперь стала казаться ненавистной и семейная жизнь. Поэтический и высокохудожественный протест против брака Жорж-Санда казался ему последним словом человеческой мудрости – только жертвой в этом случае он находил не женщину, а мужчину, то есть себя.

– Ведь этак трактовать целое общество нельзя… нельзя! – повторял он насмешливо, обращаясь к Евпраксии: – что мы-де вот выше всех и никого знать не хотим; надобно спросить, как и другие нас понимают!

– Я и не считаю себя выше других. Что ты таким образом перетолковываешь мои действия? – сказала Евпраксия, уже рассердившись на мужа.

– Отчего же вы не едете? – спросил он.

– Потому что там все будут светские дамы, а я не светская.

– Что же вы такое? Вот бы интересно знать, что это такое?.. Что-то очень уж, должно быть, необыкновенное! – говорил Бакланов, – в этот день он был до гадости зол.

– Когда женились на мне, так видели, что я такое! – сказала Евпраксия.

Лицо ее по-прежнему оставалось спокойно.

– Нет, не видал, – отвечал Бакланов: – и теперь не вижу, да и вряд ли когда увижу.

– Ну да, – повторила опять Евпраксия и замолчала, а потом, когда обед кончился, тотчас же встала и ушла в гостиную.

Бакланов остался еще за столом.

Он налил себе стакан вина и велел подать сигару.

– Ведь камень, и тот не живет, как мы живем, – говорил он совершенно громко и обращаясь к Казимире, которая осталась, потому что Валерка доедал еще пирожное: – и тот хоть что-нибудь, хоть пыль, да дает в воздух, и сам, наконец, притягивает песчинки, и мы – ничего.

Положение Казимиры было очень щекотливое.

– Что, если бы состояния у нас не было? – продолжал громко Бакланов: – куда бы и на что мы годились!.. есть, спать, родить детей, кормить их на убой!

При этих словах Евпраксия, все это слышавшая, подняла наконец глаза на образ.

– Он и их ненавидит, Боже, Боже мой! – проговорила она и склонила голову.

Бакланов, между тем, продолжал рассуждать.

– По-моему, человек без темперамента, без этого прометеевского огонька, который один только и заставляет нас беспокоиться и волноваться, хуже тряпки, хуже всякого животного!

И затем, видя, что в зале никого нет, ни Казимиры, ни даже лакеев, он встал и ушел в кабинет.

Одною из главных причин недовольства его браком было то, что холодная Евпраксия не представляла уж никакой для него прелести, и

его мучило нестерпимое желание завести интрижку.

Но с кем?

Чаще всего, в этом случае, он думал о Софи.

Лично он с ней, в продолжении последних пяти лет, не встречался и только одной стороной слыхал, как она на каком-нибудь пикнике каталась, окруженная толпою молодежи, видал ее иногда издали в театре, блистающую красотой и нарядами.

Бог с ней, с кем бы эта прелестная женщина ни интриговала; но она могла бы доставить ему море блаженства, а всего этого он лишал себя тем, что был женат.

5. Акции

Евпраксия настояла на своем и не поехала на бал. Бакланов приехал один.

В первой же комнате он встретил косого Никтополионова.

– Что вы там, батюшка, сидите, а? – спросил он обыкновенным своим тоном, чтобы сразу напугать человека.

– Что такое? – спросил Бакланов в свою очередь.

– Есть у вас акции общества «Таврида и Сирена»?

– Нет.

– Так что же это вы?.. что это такое? – кричал Никтополионов: – сидите с деньгами, с домами, и не берете!

– Я, право, еще даже не думал об этом, – отвечал Бакланов.

– Он и не думал, а!.. скажите, пожалуйста! Ассюрировано 4 процента от правительства, помильная плата и перевоз от казны провианта. Он не думал об этом! В банке-то что? По две уж копейки на рубль дают… Пора подумать-то об этом!

Бакланов в самом деле подумал. У него у самого были небольшие деньги, а у жены так и довольно серьезные.

– Тут ведь можно проиграть и выиграть, – возразил он, смутно припоминая себе и соображая, что такое значит акция.

– Каким же образом проиграть? Так уж все сумасшедшие. Теперь на каждую акцию по пятидесяти рублей премии.

– Значит, надо приплатить? – спросил Бакланов.

– Так что ж из того!.. Вон я вчера дал лишних по тридцати рублей, а сегодня сам получил по пятидесяти. Всего только одну ночь пролежали в кармане: невелик, кажется, труд-то.

– Это недурно! – сказал Бакланов.

– Еще бы! – подхватил Никтополионов: – дело в отличнейшем

порядке… Я сделан распорядителем на здешней дистанции.

«Вот это-то уж дурно!» – подумал Бакланов.

– Учредитель этого общества гениальный человек!.. Первая, может быть, голова в России! – продолжал Никтополионов, имевший привычку так же сильно хвалить, как и порицать. – Ну, так как же? Ах вы, тюлени русские! – прибавил он, глядя уже с ужасом на Бакланова.

– Я подумаю! – отвечал тот.

– Подумаю! Подумаю!.. И ничего не подумает! – передразнил его Никтополионов.

Но Бакланов подумал и довольно серьезно.

«В самом деле, глупо же держать деньги в банке, когда вся Европа, все образованные люди играют на бирже!» – рассуждал он.

6. Опьянение одного и отрезвление другой

Бал, дававшийся для сближения с обществом, должно быть, в самом деле заключал в себе все общество. В следующих комнатах была толпа мужчин, – все, по большей части, черноволосых, и нельзя сказать, чтобы с особенно благородными физиономиями. Бакланов заметил только одного благообразного старика, с вьющимися седыми волосами и с широкою бородой, – но и потом оказалось, что это был проезжий музыкант-немец.

Дамы, напротив, блистали прекрасными нарядами, и было много хорошеньких.

Вежливый хозяин принимал всех в дверях.

– Старый друг лучше новых двух! – сказал он, когда мимо него проходил Бакланов.

– Ждет Федот у своих ворот! – объяснил он и проходившему потом чиновнику.

Между всеми дамами Бакланов сейчас же заметил Софи Леневу в чудесном бархатном платье, стройную, высокую и с какою-то короной на голове. Тут он невольно вспомнил свою супругу, всегда одетую просто и гораздо больше занятую детьми, чем нарядами. Софи, по ее щекотливому положению, была в первый еще раз на великосветском балу. Начальник края в этом случае хотел показать совершенно равное внимание ко всему обществу: но дамы его круга (обыкновенно подличавшие перед madame Базелейн) несколько обиделись этим приглашением и даже старались ходить подальше от Софи, но зато она была окружена всеми лучшими молодыми людьми.

Бакланову ужасно хотелось продраться в эту толпу; он решился

непременно поговорить с Софи и возобновить с ней старое знакомство.

Случай ему поблагоприятствовал.

Софи прошла мимо него.

– Bon jour, Бакланов! – сказала она ему сама и сама же протянула к нему руку, обтянутую в белую лайковую перчатку.

Целый поток электричества проник при этом в Бакланова. Он подметил, что рука Софи немножко дрожала.

– Могу я просить вас протанцовать со мной кадриль? – сказал он, догоняя ее.

– Очень рада! – отвечала Софи, обертывая к нему голову и кланяясь ему немножко величественно, как обыкновенно кланяются актрисы-королевы.

Бакланов понял, что это была уж не прежняя девочка-кокетка, не прежняя даже юная и пылкая, но еще робкая вдова, а интриганка, которая умела смотреть и на вас, и на другого, и на третьего.

Но все это еще больше подняло ее в его глазах.

Они стали в кадриль и, надобно сказать, представляли собой, по изяществу своих манер, лучшую пару.

Это заметил даже начальник края и, по обыкновению своему, объяснил поговоркой, чорт знает что уж и значившею:

– Пара не пара, а так надо!

Бакланов посадил Софи на стул и сам стал около нее.

Довольно открытая в бальном платье и приподнятая на корсете грудь Софи страстно и порывисто дышала.

Бакланов не мог видеть этого без трепета и решительно не находился, о чем бы заговорить.

Софи, хоть и с поддельным спокойствием, но молчала.

Бакланов думал:

«Вот женщина, на которую я когда-то имел права, но которая теперь совершенно далека от меня. Думает ли она в эти минуты о том же?»

– Я к вам давно хотел взять смелость заехать, – начал он глупо и ненаходчиво.

– Очень рада! – отвечала Софи, поправляя платье.

Бакланову показалось, что она при этом ласково взглянула на него.

– Софи, вы на меня сердитесь еще? – осмелился он, наконец, заговорить искреннее.

– Нет! – отвечала она.

Бакланов явственно слышал, что голос ее был грустен и полон

значения.

– Значит, я в самом деле могу к вам приехать? – продолжал он.

– Пожалуйста. У меня вечера по средам, – сказала Софи.

Самый ответ и голос ее при этом ничего уже не выражали.

Бакланов видел одно, что Софи была ни весела, ни счастлива.

Это же самое заметил и подошедший к ней инженерный офицер, премолоденький и преглупый, должно быть.

– Вы с каждым днем, как заря вечерняя, все становитесь грустней и грустней, – сказал он.

– Старею-с! – отвечала ему Софи с улыбкой.

– О, нет, вы прелестны еще, как гурия, – объяснил прапорщик, пожимая плечами.

– Что за пошлости вы говорите! – сказала ему без церемонии Софи и встала.

В это время кадриль кончилась.

– Я буду у вас, – повторил еще раз Бакланов.

– Пожалуйста! – повторила Софи и опять совершенно равнодушным голосом.

Бакланов ушел в другие комнаты и сел играть в карты.

Молодые люди не давали Софи вздохнуть. Ее беспрестанно приглашали на вальс, на польки, на кадриль, наконец к ней разлетелся и сам Эммануил Захарович, в белом жилете, в белом галстуке, отчего рожа его сделалась еще чернее. Софи взмахнула на него неприветливо глазами: отказать ему не было никакой возможности. Он пригласил ее при всех и вслух.

Они стали.

По лицам большей части гостей пробежала улыбка, но музыка в это время заиграла, и пары задвигались.

– Что это вы, с ума сошли! – сказала шопотом и бешеным голосом Софи своему кавалеру, хотя по наружности и улыбалась.

– Сто зе? – спросил ее робко почтенный еврей.

За деньги, он полагал, что везде и все можно делать.

– Я не позволю вам нигде бывать, где я бываю, – шептала Софи.

– Сто зе я сделал? – спрашивал тот в недоумении.

– Вы осел, дурак, потому и не понимаете, – продолжала Софи, делая с ним шен.

Эммануил Захарович краснел в лице.

– Извольте сейчас же идти и просить других дам, чтобы танцовала с вами не я одна!

Эммануил Захарович, кончив кадриль, пошел ко всем дамам; но с

ним согласилась протанцовать одна только жена Иосифа Яковлевича, очень молоденькая дама, на которой тот только что женился.

– Эммануилка-то все со своими возится! – заметил вслух и на всю почти залу Никтополионов.

Софи после кадрили немедля уехала.

Она была взбешена, как только возможно, и проплакала всю ночь.

Бедная женщина! Она тоже, хоть читать ничего не читала, но зато от ездивших к ней молодых людей беспрестанно слышала: «подлость!..», «гадость!», «подкуп!..». И с каждым их словом она все более и более начинала сознавать весь ужас своего положения.

То, что Бакланова сбивало с панталыку, ее наводило на путь истинный: при нахлынувшем со всех сторон более свободном воздухе, в ком какие были инстинкты, те и начинали заявлять себя.

7. Сокровища приобретены

Не более, как через неделю, Никтополионов снова поймал Бакланова в клубе и стал стыдить его при всех.

– Вот вам, рекомендую, господа, – говорил он, показывая на него евреям, грекам, армянам и русским: – вот господин, у которого сто тысяч в кармане, и он их держит за две копейки в банке.

Греки, армяне и русские при этом усмехнулись, а евреи даже воскликнули:

– Зацем зе это он так делает со своими деньгами?

– Но где же сто тысяч! – возражал стыдливо Бакланов и, возвратясь домой, решился сделать то, что ему все советовали.

Но прежде, впрочем, ему надобно было переговорить с женой.

– Что за вздор такой, пускаться в эту игру? – возразила ему Евпраксия с первых же слов.

Согласись она с ним и не оспаривай, Бакланов, может быть, еще подумал бы и вообще сделал бы это дело несколько омотрительней; но тут он рассердился на жену и потерял всякий здравый смысл.

– Ведь это не осторожность, а одна тюленья неповоротливость только! – развивал он мысль Никтополионова.

Евпраксия на это, по обыкновению, молчала.

Бакланова это еще более выводило из терпения…

– Дайте мне мои деньги. Я не намерен их бесполезно держать, как поленья, в своем шкапу, – говорил он.

Евпраксия пошла и принесла ему.

– Ваших вы мне, конечно, не доверите, потому что я ведь дурак…

ничего не смыслящий… способный только разорить семью… беру эти деньги на карточную игру, на любовниц!

– Нате вам и мои деньги, если вы полагаете, что это меня останавливает! – сказала Евпраксия и подала ему и свои приданые пятьдесят тысяч. – А остальные двадцать пять тысяч не мои, а детские; я не могу ими располагать! – сказала она.

– Стало быть, я мужем еще сносным могу быть, а отцом нет, – благодарю хоть и за то! – сказал он, кладя деньги в карман.

Евпраксия, наконец, рассердилась.

– Что это за страсть, Александр, у вас перетолковывать каждый мой шаг, каждое слово? Если что вы находите дурным во мне, скажите прямо… К чему же все эти колкости-то?

– Ну, поехала! только этого недоставало!.. – отвечал Бакланов и, хлопнув дверьми, ушел из комнаты.

Евпраксия поспешила отереть слезы и села на свое место.

На другой день Бакланов, заплатив огромную премию, накупил акций – все больше общества «Таврида и Сирена».

– Вот извольте-с, не промотал ни копейки! Все обращено только в более производительную форму, – говорил он, раскладывая акции и любуясь их купонами, нарисованными на них пароходами и так внушительно выставленными цифрами их стоимости.

Евпраксия, однако, совершенно равнодушно и холодно приняла все эти бумаги и положила их в комод.

Бакланова опять рассердило это равнодушие.

«У этой женщины решительно кровь по три раза в сутки обращается… Кругом ее кипят и просыпаются все народные силы, а она – точно не видит и не чувствует этого!..»

Впрочем, он ничего ей не сказал, а ушел к себе в кабинет и, улегшись там на диван, стал вычислять в уме, сколько он будет получать процентов.

– Ваш герой как ребенок поступает! – заметят мне, может быть, некоторые.

А сами вы лучше, благоразумнее накупили акций, признайтесь-ка?

8. Общество Софи

Среда наступила, наконец. У Софи уже был кое-кто: благообразный старик-музыкант, обещавший у нее играть на вечере; французская актриса m-me Круаль, очень милая и изящная женщина; русская дама в черном платье и четках, ехавшая в Иерусалим на

богомолье и отрекомендованная Софи Евсевием Осиповичем Ливановым, который в последнее время с нашей юной героиней почему-то вступил в переписку; двое-трое молодых людей из обожателей Софи и, наконец, молодая девица: какая-то m-lle Похорская, или Покровская, мечтавшая составить себе такую же карьеру, как и Ленева.

Виктор Басардин, в статском платье, с бородой, довольно красивый собою, но с изборожденным от не совсем, должно быть, скромной жизни лицом, тоже был у сестры и, ходя по ее роскошному будуару, о чем-то серьезно с ней разговаривал, или, лучше сказать, просил ее.

– Ты ему скажи, что же это такое! Нынче не прежнее время… Он там, чорт знает, в палатах каких возится, а мне дров не на что купить.

– Возьми у меня денег, если нуждаешься, – говорила Софи.

– Да что мне твои деньги? Пусть он устроит меня посолиднее… Впрочем, дай, если у тебя есть лишние! – прибавил он.

Софи подала все, сколько было у нее в кошельке.

– Ты ему скажи: он у меня теперь в руках; я все напишу.

– Мне и говорить с ним не хочется, – возразила Софи.

– Да это не для себя, а для меня сделай. Будет уж, пограбили; пускай и поделятся.

Софи было очень скучно слушать ворчанье брата.

– Пожалуйста, – повторил он, надевая перчатки и беря шляпу.

– Куда же ты уходишь! У меня музыка сегодня будет! – сказала она.

– О, чорт! терпеть не могу этого. Мне бы денег надо, вот что! – говорил он, и пошел через заднее крыльцо.

Его провожать пошла Иродиада, все время подслушивавшая разговор его с сестрой.

– Барыня-то не знает, какие штуки он и против их-то делает, – говорила она, подавая Виктору пальто.

– Да, – подтверждал тот.

– Этта мясника к ним послали разделать, так ругал-ругал госпожу-то при простом мужике.

– Скотина этакая! – сказал Виктор, завязывая кашне.

– А ведь и про них тоже знаем мы немало… – продолжала Иродиада: – говорить-то только не хочется…

– Ты приди как-нибудь на квартиру ко мне, – говорил Виктор, сходя с лестницы.

– Слушаю-с, – отвечала Иродиада.

– Какая хорошенькая она!.. О, так бы взял и поцеловал, – говорил

Виктор и в самом деле, взяв ее за подбородок, поцеловал.

Иродиада на этот раз нисколько ему в том не воспрепятствовала.

Последнее время она очень похудела, и лицо ее сделалось совсем сердитое: коварный обожатель ее, Мозер, оставил ее и, как мы видели, женился на другой. Иродида не любила его; но, по самолюбивому характеру, ей было досадно: наболевшее сердце ее совсем окаменело, и она поклялась ко всему их, по ее понятию, поганому роду ненавистью.

Софи, когда брат ушел, вышла в гостиную. Там все соблюдали величайшую тишину. Старик-музыкант играл на фортепиано пьесу собственного сочинения.

Приехал Бакланов.

Софи подала ему руку и тихим наклонением головы указала ему на место подле себя.

Бакланов сел.

То, что он встретил тут, его сильно поразило: самая последняя мода, самая изящная роскошь глядели на него отовсюду.

Дама, путешествующая по святым местам, должно быть, была очень веселого и живого характера. Она совершенно бесцеремонно стояла около старика-музыканта и с большим чувством глядела ему в затылок и чем-то тут любовалась: волосами ли его вьющимися, или довольно еще мускулистою шеей, – решить невозможно, равно как и того, чем ее религиозное сердце в настоящую минуту было преисполнено.

Прелестная m-me Круаль, как истая француженка, любившая показать свои ножки, так свободно расположила свой кринолин, что Бакланов, сидевший несколько нагнув голову, видел почти весь чулок ее.

M-lle Прохорская сидела, явно прислоняясь к своему кавалеру, молодому человеку, который, тоже явно держа руку за спинкой стула, обнимал ее.

Бакланову, привыкшему, в продолжении пяти лет, к своему благочестивому семейству и выезжавшему только в дома солидные, все это было очень приятно и чрезвычайно раздражало его. Он с каким-то упоением смотрел на складки платья Софи, на ее немного выставившуюся ботинку.

– Что, ваша жена здорова? – почти разбудила его Софи своим вопросом.

– Здорова, – отвечал Бакланов, подняв голову. – Почему вы меня прежде всего об этом спросили? – прибавил он.

– Да потому что… – отвечала Софи и далее не находилась, как объяснить. – Она, говорят, такая добрая; просто, говорят, ангел по характеру, – прибавила она наконец.

– Все это прекрасно-с! – подхватил Бакланов: – но знаете ли что: такой милой и прелестной женщине, как вы…

Софи смотрела на него.

– Молодого человека, каков я все еще пока и который был в вас влюблен…

Софи не спускал с него глаз.

– И который наконец, вы очень хорошо знаете, и теперь от вас без памяти.

– Нет, я этого не знаю, – возразила Софи спокойно.

– Нет, вы это знаете! – подтвердил Бакланов: – говорить ему и спрашивать его о жене – значит, обидеть его и, наверное уж, огорчить.

– Зафантазировались, мой милый кузен, зафантазировались! – сказала Софи, вставая и отходя от него.

В это время приехало еще новое лицо, граф З***, женатый человек, с которым Бакланов встречался иногда в обществе, но теперь он явился со своею содержанкою Марией-Терезой-Каролиной Лопандулло. Девушка эта начала свою карьеру тем, что играла по трактирам на арфе, а теперь ездила в карете и ходила постоянно в шелковых платьях, у которых только лиф на груди, по ее собственному вкусу, был очень уж низко вырезан.

– Ручку вашу! – сказал бесцеремонно граф, обращаясь к Софи.

Она хлопнула свою ручку в его огромную ладонь.

Граф поцеловал ее несколько раз.

– А я приревную! – сказала девица Мария-Каролина-Терезия ломаным русским языком.

– Можете! – отвечала Софи кокетливо.

Бакланов, чтобы не представить из себя глупо-влюбленного, подошел к madame Круаль и стал с ней любезничать. Дело шло о большом кольце на руке ее: Бакланов просил открыть это кольцо, а француженка говорила, что нельзя.

– Ваше кольцо, значит, никогда еще не открывалось? – спрашивал Бакланов.

– Нет, раз было открыто.

– Только всего раз? – спросил Бакланов печальным голосом.

– Раз всего! – отвечала ему француженка тоже печально.

К ним подошла Софи.

– Этот господин страстно влюблен в жену свою и запирается еще в

том! – сказала она, показывая француженке на Бакланова.

– О, так вы вот какой! Так подите же прочь от меня! – весело подхватила она.

– Послушайте, Софья Петровна, – воскликнул Бакланов: – вы мало что женой преграждаете мне совершенно к себе дорогу, но вредите мне этим и у других дам!

– Зачем женились! – сказала Софи, пожимая плечами.

– Я женатых терпеть не могу, фи! – подтвердила француженка.

– Это ужасно! – говорил Бакланов.

По наружности он шутил только; но в душе ему, в самом деле, было досадно.

– Monsieur Готфрид! Сыграйте нам что-нибудь веселенькое! – сказала Софи, прохаживаясь небрежною походкой по зале.

– Fort bien, madame! – сказал немец и сел.

Дама, путешествующая на восток, опять поместилась около него.

«Ну, старику от этой госпожи не спастись!» – подумал Бакланов.

Готфрид начал воодушевленнейший вальс.

Софи сама подала руку графу и пошла с ним вальсировать.

Молодой человек взял m-lle Прохорскую, или Покровскую.

Бакланов заметил, что кавалеры очень бесцеремонно повертывали дам и нарочно, кажется, старались, чтобы платья у них выше поднимались. Дамы тоже как-то очень близко держались к кавалерам, кроме, впрочем, Софи, которая своим приличным и несколько даже аристократическим тоном отличалась от всех.

Бакланов пригласил ее на вальс.

Он чувствовал, что Софи невольно и вряд ли сама догадываясь, пожимала ему руку.

– Могу ли я к вам приезжать? – спросил он ее пламенным голосом.

Софи, вертясь с ним в вальсе, молча смотрела на него своими прекрасными глазами.

– Могу ли? – повторил Бакланов, когда они кончили тур.

– Пожалуйста! – отвечала Софи, и голос ее опять ничего не выражал.

Часов в двенадцать Бакланов, видя, что другие молодые люди прощаются и уезжают, тоже взял шляпу и подошел к Софи. Она в это время о чем-то дружески шепталась с девицей Марией-Терезией-Каролиной.

– Adieu! – проговорила она, довольно небрежно подавая ему руку.

Бакланов вышел.

Он был очень взволнован.

9. Он пошутил!

Мужчина с табаком и вином делается похож на чорта! – говорит немецкая поговорка.

Бакланов, возвратясь домой, спросил себе бутылку вина, закурил сигару, человека отпустил спать, а сам начал пить и курить.

Более ясно проходившие в голове мысли были следующие:

«Славная вещь – эти немножко шаловливые женщины».

Сильная затяжка сигарой и рюмка портвейну.

«Как бы отлично теперь, вместо того, чтобы ехать домой, заехать к какой-нибудь госпоже и учинить с нею оргию».

Еще рюмка и затяжка сигарой.

«Что я Казимиру пропускаю… Она, должно быть, страстная женщина!»

Новая рюмка и новая затяжка.

«Сходить разве к ней?»

У Бакланова при этом в голове даже помутилось.

«Чорт, пожалуй, рассердится!» – продолжал он. Однако встал. Шаги его уже были неровны.

«Скажу, что заболел, люди все спят, и пришел к ней».

И, недолго думая, он запахнул халат, прошел на цыпочках залу, коридор и отворил дверь в комнату, где спала Казимира. Та сейчас же услыхала.

– Кто это? – спросила она немножко испуганным голосом.

– Это я, Казимира, не тревожьтесь! – говорил Бакланов, подходя к ней и дотрагиваясь до нее рукою.

– Ах, Александр Николаич, не случилось ли чего-нибудь? – воскликнула Казимира, привставая.

– Нет, ничего; я так пришел, побыть с вами, – отвечал он; голос его был нетверд.

– Чтой-то, как же возможно в такое время! Придут, пожалуй, кто-нибудь.

– Никто не придет, никто! – говорил Бакланов, беря и целуя ее руку.

– Да как никто? Так вот дети, Валеренька спят! – говорила Казимира.

– Ну, пойдемте ко мне в кабинет.

– Зачем я пойду к вам? Что мне там делать!

– Мы будем сидеть, разговаривать.

– Нет, Александр, ступайте, ступайте! – говорила Казимира, дрожа

всем телом.

– Если вы не пойдете, я на вас ужасно рассержусь.

– Как это возможно! Душечка Александр, это невозможно.

– Отчего же невозможно?

– Оттого, что у вас жена есть! Что вы!

– Убирайтесь вы с женой! Не люблю я ее. Пойдемте, ангел мой!

– Александр! Умоляю, оставьте меня! Оставь! – говорила Казимира.

– Не оставлю, – говорил он, обнимая ее и насильно подводя к двери.

– Александр! – вздумала было еще раз воспротивиться Казимира.

– Если ты для меня этого не сделаешь, я возненавижу тебя! – проговорил Бакланов; голос его при этом звучал почти с бешенством.

– Ах, Господи! – воскликнула бедная женщина, вся пылая в его объятиях. – Дайте мне, по крайней мере, надеть на себя что-нибудь.

– Ну, наденьте.

Она торопливо накинула на себя капот и надела туфли.

Бакланов обнял ее и увел.

10. Бедная жертва

В семействе Баклановых все шло как бы по-прежнему; но в самом деле это было не так: безумная Казимира начала чувствовать страх непреодолимый к Евпраксии и почти что избегала ее видеть, стремясь всей душой быть с Александром, единственным ее спасителем и покровителем; а он, напротив, удовлетворив минутному увлечению, почувствовал к Казимире более чем равнодушие, почти что отвращение; сначала он превозмогал себя, а потом и скрывать этого не мог, и не только самым тщательным образом старался не оставаться с Казимирой с глазу на глаз, но даже уходил из комнаты, в которую она входила. Казимира наконец заметила это и поняла: что бы там ни чувствовало сердце, но в ней заговорила гордость, она сама не стала обращать внимания на Бакланова, а между тем, когда ее начинали невыносимо душить слезы, она пила холодную воду, глотала лед, ходила почти босыми ногами по замерзшей земле. Все сие, наконец, восприяло свои действия!

В одно утро Евпраксия ранее обыкновенного подошла к спальне мужа и отворила дверь.

– Что ты спишь? Вставай! – сказала она.

Бакланов взмахнул глазами.

– Казимира больна, – продолжала Евпраксия.

– Больна, чем? – спросил сначала очень равнодушно Александр.

– Не знаю, вся в жару, бредит, почти уже без памяти.

– Что же такое она бредит? – спросил Бакланов, приподнимаясь уже с постели.

– Да так, разную бессмыслицу говорит, – я уж за доктором послала.

– Да, да, за доктором, – говорил Бакланов, и вслед за женой несмело вошел в комнату Казимиры.

Она лежала на постели и, при входе Баклановых, взмахнула было глазами, потом что-то вроде грустной улыбки на мгновение появилось на ее лице, затем она снова закрыла глаза и обернулась к стене.

– Доктора бы скорей, доктора, – повторял Бакланов.

Ему наконец стало жаль своей бедной жертвы.

«Что если она умрет! Я сам не перенесу этого! Она мне день и ночь станет представляться!» – мелькнуло в его голове, когда он уходил к себе в кабинет.

Доктор приехал.

Евпраксия, с встревоженным лицом, ходила за ним.

– Горячка у ней, и очень сильная. Она, должно быть, или простудилась, или с ней было какое-нибудь нравственное потрясение, – говорил тот.

– Ничего не было, решительно, – уверяла его Евпраксия.

– Есть за жизнь опасность, – говорил доктор.

Евпраксия еще больше побледнела.

Бакланов продолжал сидеть в кабинете.

На другой день Казимире стало еще хуже.

Евпраксия от нее не отходила. Старший мальчик, никак не хотевший ни с кем быть, кроме своей милой нянюшки, все просился к ней в комнату.

Мать взяла его к себе на руки и сидела с ним около больной.

Бакланов совершенно притих в своем кабинете: горесть его, в эти минуты, была непритворная!

В продолжение недели Евпраксия не пила, не ела и все сидела около Казимиры, брала ее за руку, успокаивала ее, когда та, остававшаяся по большей части в беспамятстве, начинала метаться.

На седьмой день доктор сказал, чтобы больную исповедали и причастили.

Послали за католическим священником.

У Бакланова посинели ногти, когда он услыхал звон колокольчиков, которыми звенели мальчики, входя в комнату

умирающей.

Уходя и прощаясь, ксендз лукаво и сурово посмотрел на Бакланова.

В ночь Евпраксия вошла в кабинет своего мужа с встревоженным лицом.

– Она, кажется, кончается, – сказала она всхлипывающим голосом.

– А! – зарыдал Бакланов на весь дом.

– Чтой-то, помилуй, – стала его успокаивать Евпраксия.

– О, она чудная женщина! – кричал Бакланов. – Мы неправы против нее, – о-о-о!

– Перестань, друг мой, – говорила Евпраксия, садясь возле него. – Чем же мы против нее неправы? Мы ее любили, а теперь будем молиться за нее.

– Нет, она не простит нас, нет! – рыдал Бакланов.

– Она и не сердится на нас; напротив… Пойдем к ней!

И Евпраксия почти насильно ввела мужа в комнату больной.

В головах у той стоял уже образ с зажженною свечой.

Евпраксия, в белом платье, страдающая, но спокойная, подошла к Казимире, положила ей на грудь руку, потом показала на что-то глазами горничной.

Та подала ей домашний требник.

Евпраксия сама начала читать отходную.

Бакланов осмелился выглянуть из-за нее на умирающую. Та в эту самую минуту вдруг начала дрожать, дрожать всем телом.

Горничная стала было ее одевать.

– Не нужно уж! – сказала Евпраксия.

Через минуту Казимиры не стало.

Бакланов в ужасе убежал опять в свой кабинет и бросился вниз лицом на диван.

Он только всего один раз, и то проходя случайно по зале, увидел Казимиру, с обвалившимся лицом и с закрытыми глазами, лежавшую на столе в белом платье и с цветами на голове. Ему показалось, что она опять насмешливо улыбается, как бы желая тем сказать: «Что, рады? Довели до гроба!»

Все это неизгладимо врезалось в его воображении.

Ночи, пока покойница была в доме, он спал не только в жениной комнате, но даже на одной кровати с нею, и даже лежал постоянно к стене, точно прячась за нее.

Через несколько дней он и сам наконец заболел.

Евпраксия просто не помнила себя, однако так же неутомимо, как за Казимирой, ходила и за больным мужем.

11. Собрание обличительных сведений

Виктор Басардин, в своей небольшой квартирке, сидел на диване и разговаривал с Иродиадой, которая тоже сидела около него и даже склонив к нему голосу на плечо.

Девушка эта, придя к нему после описанного нами свидания, без всякой борьбы сделалась его любовницей, и теперь каждый вечер бегала к нему.

Не столько связанные любовью, сколько чем-то более серьезным, они все толковали между собою.

– Она при мне-с говорила ему!.. «Что, говорит, что еще мне ему делать!..» – объясняла Иродиада.

– Ну ладно, хорошо!.. хорошо!.. – произнес Виктор, кусая себе ногти.

– Вы, барин, как бы Михайле паспорт, али бы вольную, что ли, дали, он все бы вам порассказал.

– Я готов!

– Две тысячи целковых они тогда этому человеку и передали через него.

– Какими, канальи, кушами помахивали!

– Да-с! А что бухгалтер-то, в остроге сидючи, прямо говорил: «я, говорит, все опишу»… Как тоже вот теперь в кабаках, убьют человека, ограбят его, – половину целовальник оставит у себя, а половину в откуп пришлет-с; или теперь вещи какие кто украдет – все туда-с, деньгами чистыми и выдают.

– Чистыми деньгами? – спросил Виктор, не могший, кажется, слышать слово «деньги» без нервного раздражения.

– Известно уж, – отвечала Иродиада: – вещь теперь стоит денег, а за нее дают копейки какие-нибудь. Сам управляющий – чу! – иногда и сортировал. Это, говорит, на пароходе отправить за границу, а это, что подешевле, в степь отправить продавать.

– Ты ведь жила с ним? – спросил Виктор.

Иродиада усмехнулась, а потом прибавила со вздохом:

– Не мало тоже, грешница, потерпела из-за этого.

– Отчего же?

– Противен он мне очень был… не русский человек, известно…

И Иродиада при этом обняла и даже поцеловала Виктора.

– Тогда, как наш Александр Николаич принялся было за это дело,

что у них переполоху было!

– Переполоху?

– Да-с!.. Михайлу-то они допрежде всего в степь отправили, а тут Мозер сам уж ездил туда, и упросили, чтоб он на Кавказ ехал… Тот мне писал оттуда.

– Писал? – повторил Виктор.

– Да!.. «Что ежели теперича, говорит, они мне тысячи целковых не пришлют, я все дело начальству расскажу». Я говорила тогда Мозеру об этом.

– А письмо это цело у тебя?

– Цело-с!

– Ты мне покажи его.

– Слушаю-с. Чтобы, барин, мне только самой как тут не попасться.

– Вот вздор! Пусти-ка, однако!.. – проговорил Виктор, освобождаясь из объятий Иродиады и подходя к письменному столу.

Тут он засветил свечу, развернул свои бумаги и начал писать.

Оставшись одна на диване, Иродиада начала зевать.

– Да подите сюда, что вы тут делаете? – говорила она несколько раз Виктору.

– Отвяжись! – отвечал он ей на это сердито, и продолжал заниматься.

Занимался он часов до двух утра. Он тер себе при этом лоб, грыз перо, ногти и вообще, как видно, углублен был в серьезное дело.

12. Провинциальная гласность

На наш город нежданно и негаданно упало невиданное до сего явление.

В одной из издаваемых для умственного бы, кажется, развлечения газеток была напечатана статья:

«В Китае, в городе Дзянь-дзинь-дзю, жил большой господин Захар Эммануилович Лянь-линь-лю. Владел он миллионами бочек настоящей рисовой водки и миллионами рублей чистого золота. Украли у этого господина книгу, а книга была знатная: записывались в ней все имена великие, высокопревосходительные, кому сколько от большого барина Захара Эммануиловича большим барам превосходительным было дано.

Как эту книгу достать?

Достали они злого человека, дали они ему денег тьму-тьмущую и булатный нож, и убил тот человек того волшебника, который книгу ту

хранил, среди белого дня, и засыпал большой барин Захар Эммануилович его могилушку деньгами крупными, непроглядными, все бумажками сторублевыми, и никто-то сквозь их стену плотную не видал и не слыхал, только видала все это красна девица, рассказала она ясну соколу, а у сокола глаз зоркий, голосок звонкий, пропел он эту сказку на весь Божий мир и не знает, понравилась ли она жителям города Дзянь-дзинь-дзю, а если не понравилась, так он и другую пропоет».

О статейке этой благообразный правитель канцелярии почему-то счел за нужное доложить начальнику края.

– Ну-с, читайте! – произнес тот на первых порах довольно равнодушно.

Правитель канцелярии начал, но на половине голос ему изменил.

– Тут такие выражения!.. – проговорил он.

– Дайте мне! – сказал генерал и, со свойственною его званию храбростью, дочитал, но однако сильно побледнел.

– Что же это такое? Что такое? – спрашивал он, все возвышая и возвышая голос. – Что же это такое? – крикнул наконец он и заскрежетал зубами. – Я Государю Императору моему буду жаловаться! полицеймейстера мне!

Правитель канцелярии, с наклоненною головой, поспешил быстро выйти.

Начальник края остался в положении человека, которого сейчас только треснули по голове.

В кабинет к нему тихо вошла было его супруга, прелестнейшая великосветская дама, и начала свое обычное приветствие:

– Здравствуй, папаша!..

Но начальник края вдруг свирепо взглянул на нее.

– Подите, подите! – закричал он и замахал неистово руками.

Начальница края остановилась в дверях на несколько минут.

– Подите вон, не надо вас, не надо! – кричал между тем супруг.

Начальница края в самом деле сочла за лучшее уйти от сумасшедшего.

Явился полицеймейстер, тоже слышавший уже об несчастье и тоже бледный.

– Это вы видели?.. Видели? – говорил начальник края, тыча в нос ему бумагою. – Кто же эти превосходительные?.. Я, что ли, я?

– Служить уж, ваше превосходительство, становится невозможно! – произнес полицеймейстер.

– Нет-с, возможно! – закричал генерал: – возможно, кабы вы не

такой были вислоух! Кто это писал? Вы начальник полиции, вы должны знать все.

– Кому писать, ваше превосходительство? Кроме Никтополионова, некому-с… Это вчера ведь еще пришло-с… Он при всем клубе читал и хохотал, и потом ездил по всем домам.

– А! – произнес, протянув, начальник края: – я его посажу в острог! – прибавил он, как бы больше советуясь с полицеймейстером.

– Да что же, помилуйте, – отвечал тот: – теперь он служит в обществе, разве можно таких людей держать? Плутует, мошенничает и с дровами, и в приеме багажа… На рынке даже все, вон, торговцы смеются.

– Нет, он у меня не будет тут служить, не будет! – кричал начальник края: – попросите ко мне кого-нибудь из моих товарищей-директоров.

Полицеймейстер поехал за директором.

Начальник края стал ходить по своему кабинету.

– Так вот какие у меня гуси завелись, вот какие! – говорил он, зачем-то раскланиваясь перед каждым своим окном.

Приехал директор, пожилой и чрезвычайно, должно быть, скромный и молчаливый мужчина.

– Господа! Между нами есть подлец! – начал ему прямо начальник края.

Директор как бы сообразил и ничего не нашел возразить против этого.

– Вот-с! – продолжал начальник края и подал ему листок газеты.

Директор прочел, и ему, кажется, понравилось прочитанное; но он нашел, однако, нужным покачать с грустною усмешкою головой.

– Это писал-с Никтополионов, наш подчиненный, – объяснил начальник края.

Директор все продолжал молчать: он не любил говорить пустых слов.

– Кто его определил к нам? – спросил начальник края.

– Вы сами, ваше превосходительство, – проговорил наконец директор.

– Но я человек!.. Я могу ошибиться!.. Отчего же было не предостеречь меня! – кричал начальник. – Стыдитесь, господа, стыдитесь! – продолжал он уже с чувством: – что между нами есть такие мерзавцы… Чтобы не было его на службе, не было…

– Хорошо-с, можно будет удалить, – произнес директор довольно покойно.

– Да не «хорошо», а сейчас надо это сделать!.. сию секунду!.. – кричал начальник.

– И сию секунду можно-с, – сказал директор и, приехав в правление, в самом деле сейчас же написал журнал об удалении Никтополионова.

Безумцы! Они и в голове не имели, какого нового и серьезного врага наживали себе.

13. Сетование израильтян

В тот же день вечером, в клубе, Эммануил Захарович и Иосиф Яковлевич преспокойно сидели и играли в карты; своим равнодушным видом они старались показать, что наделавшая в городе столько шума статейка нисколько до них не относится, но не так на это дело смотрел Никтополионов.

Узнав о своем удалении, он, как разъяренный тигр, приехал в клуб.

– Эй, вы, язи-вази, это что такое? – подлетел он прямо к Эммануилу Захаровичу.

Тот протянул на него длинный и несколько робкий взгляд.

– Там на вас чорт знает кто что пишет, а вы на меня, – продолжал Никтополионов.

– Сто мы на вас? – сказал Эммануил Захарович, в самом деле ничего не знавший.

– Да кто же? Меня вон из службы вытурили, – отвечал с пеной у рта Никтополионов. – Они там убийства делают, людей режут, – продолжал он без всякой церемонии, обращаясь ко всей компании, собравшейся в довольно значительном количестве около них, – а я стану писать на них.

– Сто зе это такое вы говорите? – произнес, бледнея, Эммануил Захарович.

– Писать!.. – повторял ничего уже не слышавший Никтополионов. – Да ежели бы что вы мне сделали, так я прямо палкой отдую.

– Вы не мозете меня дуть! – вспетушился, наконец, Эммануил Захарович.

– Нет, могу! – возразил ему Никтополионов: – я еще прапорщиком вашему брату рожу ляписом смазывал… Стану я тут на них писать!

– Про меня ницего зе не написано, – сказал Эммануил Захарович.

– Нет, написано, врешь! Только не я писал… Я писать не стану, а доказывать теперь буду.

– И доказывайте! позалуста, позалуста! – отвечал ему гордо и злобно Эммануил Захарович.

– И докажу, погань вы проклятая! – заключил вслух Никтополионов и уехал куда-то в другое место браниться, вряд ли не к самому начальнику края.

Эммануил Захарович, весь красный, но старающийся владеть собою, стал продолжать играть. Иосиф Яковлевич тоже играл, хоть и был бледен.

Кончив пульку, они, как бы по команде, подошли друг к другу.

– Ну, поедемте зе! – сказал один из них.

– Ja! – отвечал другой.

В карете они несколько времени молчали.

– Вы слысали, сто он сказал? – начал Эммануил Захарович.

– О, зе ницего-то, ницего! – отвечал Иосиф.

– Кто зе писал-то? – спросил Эммануил Захарович.

– О, это зе узнать надо! – отвечал Иосиф. – Я зе знаю одного целoвека… Он зе говорил мне про Михайлу.

– Гм! – отозвался Эммануил Захарович.

– Теперь зе я знать буду, к какому целoвеку тот ходит. Тому целoвеку он, знацит, говорил, и тот писал!

– Гм! – промычал Эммануил Захарович.

Далее они ничего не говорили, и только, когда подъехали к крыльцу, Эммануил Захарович признес:

– Зить нынце нельзя, зить!

– Нельзя, нельзя! – подтвердил с чувством и Иосиф.

14. Новая радость из Петербурга

Бакланов, заболевший после смерти Казимиры горячкой, начал, наконец, поправляться.

Последнее время к нему беспрестанно стали ездить местные помещики. Они запирались в кабинете, толковали что-то такое между собой.

К Евпраксии тоже около этого времени приехал брат ее, Валерьян Сабакеев, широколицый молодой человек с голубыми глазами и похожий на сестру. Он перед тем только кончил курс в университете.

Однажды их обоих позвали к Бакланову в кабинет. Там сидел гость, помещик, солидной и печальной наружности мужчина, но, должно быть, очень неглупый.

Евпраксия и молодой Сабакеев вошли и сели.

Бакланов был очень худ и в заметно раздраженном состоянии.

– Ты знаешь, – начал он, обращаясь к жене: – прислан манифест о составлении по губерниям комитетов об улучшении быта крестьян.

– Нет, – отвечала Евпраксия совершенно спокойно.

– Я думаю, не об улучшении, а просто об освобождении! – вмешался в разговор Сабакеев.

– Да-с, прекрасно! – подхватил Бакланов. – Но что же нам-то дадут?.. Заплатят ли, по крайней мере? – обратился он более к помещику.

– Вероятно, что-нибудь в этом роде будет, – отвечал тот.

Лицо Бакланова горело.

– Но как же «вероятно»! Это главное!.. Нельзя же разорять целое сословие.

– Нельзя разорять только рабочую, производительную силу, – вмешался в разговор Сабакеев, – а что такое «сословие» – это даже понять трудно.

– Тут пострадает-с не одно сословие, – возразил ему помещик, – а все государственное хозяйство, потому что парализуются большие землевладельцы.

– Чем же?

– Да тем, что мы должны будем запустить наши поля.

– Кто ж вас заставляет? Наемный труд всегда выгодней! – сказал с насмешкой Сабакеев.

– Нет, не выгоднее! – перебил его с азартом Бакланов: – у меня вот, например, в именьи вы за сто рублей в месяц не наймете мужика: его и теперь, каналью, только силой держат около земли, а тут все уйдут в Питер, эти вот замочки какие-нибудь делать, стены обойками оклеивать, в сущности пьянствовать.

– Не у одних у вас, а везде, – подхватил помещик: – мужик, как узнает, что он нужен, так цены себе не уставит.

– И прекрасно сделает! – произнес негромко Сабакеев: – по крайней мере, хоть поздно, но заплатят ему за старый гнет.

– Да ведь-с это и на нем самом отразится! – сказал помещик. – Мы не в состоянии будем обрабатывать столько, сколько прежде обрабатывали, а мужики у себя тоже не прибавят; значит, прямо будет убыток в труде.

– А и чорт с ним, – произнес Сабакеев.

Помещик усмехнулся.

– Как чорт с ним! Хлебом у нас держится и заграничная торговля, хлеб нужен и войску, и на винокуренные заводы, и в города, – все это

должно, значит, потрястись.

– Сначала, может быть, поколеблется, но потом образуются большие общинные хозяйства.

Бакланов, все время едва сдерживавший себя от досады, наконец не вытерпел.

– То-то-то! – воскликнул он: – на общину надеется! О, молодость неопытная и невинная!

– Община вздор-с! – произнес и помещик.

– Как вздор? – сказал, в свою очередь, Сабакеев, немало тоже удивленный.

– А так… Евпраксия Арсентьевна! – продолжал Бакланов, обращаясь к жене: – нам ваш брат, может быть, не поверит; скажите ему, что наш мужик ничего так не боится, ни медведя ни чорта, как мира и общины.

– Да, они все почти желают иметь хоть маленькую, но свою собственность, – подтвердила та.

– Очень дурно, – отвечал Сабакеев: – если наш народ разлюбил и забыл эту форму.

– Да ведь это-с форма диких племен, поймите вы это! – кричал Бакланов: – но как землю начали обрабатывать, как положен в нее стал труд, так она должна сделаться собственностью.

– Мы имеем прекрасную форму общины, артель, – настаивал на своем Сабакеев.

– Гм, артель! – произнес с улыбкою помещик: – да вы изволите ли знать-с, из кого у нас артели состоят?

– Для меня это все равно! – сказал Сабакеев.

– Нет, не все равно-с! Артель обыкновенно составляют отставные солдаты, бессемейные мужики, на дело, на которое кроме физической силы ничего не требуется: на перетаскиванье тяжестей, бегать комиссионером, а хлебопашество требует ума. Я, например, полосу свою трудом и догадкой улучшил, а пришел передел, она от меня и отошла, – приятно ли это?

– Может быть, и неприятно, но спасает от другого зла, от пролетариата.

– Да ведь пролетариат является в государствах, где народонаселение переросло землю; а у нас, слава Богу, родись только люди и работай.

– Мы, наконец, имеем и другие артели, плотников, каменщиков, – присоеденил, как бы вспоминая, Сабакеев.

– Что за чорт! – воскликнул, пожимая плечами, Бакланов: – да это

разве общинное что-нибудь?.. Они все наняты от подрядчика.

– У которого они, кроме того, всегда еще в кабале; хуже, чем в крепостном праве, – присовокупил помещик.

– Общину наш народ имел, имеет и будет иметь, – сказал уверенным тоном Сабакеев.

– Ваше дело! – произнес помещик.

– Ведь вот что бесит, – говорил Бакланов, выходя из себя (от болезни он стал очень нетерпелив): – Россия решительно перестраивается и управляется или вот этаками господами мальчиками, или петербургскими чиновниками, которые, пожалуй, не знают, на чем и хлеб-то родится…

Помещик потупился, а Сабакеев покраснел.

15. Бедное существо

У Софи происходила сцена: к ней вдруг приехал Эммануил Захарович, в одно и то же время красный и зеленый.

– Я зе делал для вас все, а на меня зе писут! – закричал он на Софи.

– Что вы? – возразила ему та.

– Писут, сто я целовека убил.

– Кто на вас пишет? – спросила Софи.

– Вас зе брат писет… Я в острог его сазать буду.

В припадке гнева, Эммануил Захарович и не заметил, что Басардин был у сестры и сидел в соседней комнате. При последних словах его, Виктор вышел.

– Поди, он кричит на меня за тебя, – сказала ему Софи.

– Как вы смеете кричать на сестру мою? – придрался Виктор к первому же слову.

– Я не крицу. Вы зацем писете на меня? – отвечал Эммануил Захарович, попячиваясь.

– Я вас спрашиваю, как вы смеете кричать на сестру мою? – говорил Виктор, хватая Эммануила Захаровича за галстук. – Сейчас тысячу целковых давайте, а не то в окно вышвырну! – крикнул он, и в самом деле потянул Эммануила Захаровича к окну.

– Сто зе вы делаете! – кричал тот, отпихиваясь от него своими огромными, но трусливыми руками.

– Боже мой! что вы? Звонят! Перестаньте!.. – говорила перепугавшаяся Софи.

Звонил Бакланов, который недавно лишь стал выезжать и приехал к первой Софи.

– Как вы похудели, кузен! – воскликнула та, сколько могла овладев собою и радушно встречая его в дверях.

– Что делать! Болен был.

– Но отчего же?

– Впечатление прошедшего меня так потрясло… – отвечал с улыбкой Бакланов.

– Какого же это прошедшего? – спросила Софи, как бы не поняв. – Брат мой Виктор, – поспешно прибавила она потом, желая показать, что не одна была с Эммануилом Захаровичем, усевшимся уже в темном углу.

Виктор мрачно поклонился Бакланову. Ему всего досаднее было, что в такую славную минуту ему помешали.

«Его бы немножко только, – думал он: – в окно-то повысунуть, он непременно бы тысячу целковых дал».

– Это кузен наш, Бакланов, – пояснила ему Софи.

– Нет, племянник, – поправил ее Бакланов.

– Ну, все равно, это еще лучше; вы меня, значит, должны слушаться.

– Во всем, в чем вам угодно и что прикажете! – отвечал Бакланов, вежливо склоняя перед ней голову.

Эммануил Захарович при этом пошевелился своим неуклюжим телом. Его, кажется, обеспокоила новая мысль, что, пожалуй, и этот братец за шиворот его тряхнет.

– Вы ведь здесь служите? – спросил Бакланов Басардина.

– Да, как же, по откупу-с, – отвечал тот с насмешливою гримасой. – Хочу, впрочем, бросить, кинуть, – прибавил он.

Бакланов придал своему лицу вопросительное выражение.

– В наше время стыдно уж… Тут такие гадости и мерзости происходят… – объяснил Виктор.

Бакланов при этом невольно взглянул на Эммануила Захаровича; но лица того было не видать, потому что он сидел, совершенно наклонив голову.

Софи тоже сконфузилась; но Виктор не унимался.

– Можете себе представить, – говорил он: – у нас ни один целовальник не получает жалованья, а, напротив, еще откупу платит. Откуда они берут, позвольте вас спросить?

– Скажите! – произнес Бакланов тоном удивления (его начинало уж все это забавлять). – Говорят, они и прибавляют чего-то в вино.

– Чорт знает чего! Всего: и перцу, и навозу, и жидовских клопов своих!

Этого Эммануил Захарович не в состоянии был выдержать и вышел.

– Как это можно! – сказала Софи брату.

– Однако он премилый! – заметил ей Бакланов, указывая головой на уходящего Эммануила Захаровича.

– Ужасно! – отвечала она: – я видеть его почти не могу.

Вслед затем Софи однако вызвали в задние комнаты. Там разъяренным барсуком ходил Эммануил Захарович.

– Я зе для вас ницего не залел, а надо мной, знацит, только смеютца, – начал он.

– О, полноте, пожалуйста, отвяжитесь! – отвечала ему Софи.

– Езели теперица старого братца и этого нового, знацит, не прогоните, я денег давать больсе не буду…

– Ах, сделайте одолжение, пожалуйста; я только о том и молила Бога! – воскликнула Софи.

– Я зе не дурак!

– А когда не дурак, так и отправляйтесь – нечего вам здесь оставаться! – проговорила Софи и вышла; но в спальне у себя она встретилась с Виктором.

– Если ты, – начал он, – этому подлецу не скажешь, чтоб он дал мне тысячу целковых, я всю историю с тобой опишу.

– Пишите, что хотите! Что хотите! – отвечала с отчаянной досадой Софи, зажимая себе уши.

– Я все опишу, как он с мужем твоим поступал и как тебя потом опутал… Я не пощажу и тебя – мне, матушка, все равно!

– Виктор! – воскликнула Софи: – я просила тебя всегда об одном… оставь меня в покое. Брани меня, где хочешь и как хочешь, пренебрегай мною совершенно, но не ходи только ко мне.

– Ишь, как же, да! Ловка очень!.. Нет, шалишь! – отвечал он ей своим незабытым кадетским тоном. – Продалась жиду, дура этакая, да и в руки взять его не умеет.

– О, Господи! – стонала Софи, ломая руки.

– Я все напишу! Нынче не старые времена, – говорил Виктор, уходя.

Софи едва совладела собой и вышла к Бакланову.

– Что такое с вами? – спросил тот, сейчас же заметив ее встревоженное лицо.

– Ах, кузен, я отовсюду окружена врагами! – произнесла она, садясь около него.

– Э, полноте; неужели же и я ваш враг? – успокаивал ее Бакланов.

– Вы-то больше всех мой враг, – сказала Софи, покачав головою: – не была бы я такая, если б ты не поступил со мною так жестоко.

– Да, – произнес протяжно Бакланов, – но я имел на то большое право.

– Никакого! Никакого! – воскликнула Софи. – Я была чиста, как ангел, пред тобой!

– Ну!.. – произнес многозначительно Бакланов.

– Как хочешь, верь или не верь! – отвечала Софи, пожимая плечами. – Но, во всяком случае, я теперь просила бы тебя, по крайней мере, сохранить дружбу твою ко мне, – прибавила она, протягивая к нему руку.

– Но я-то дружбой не удовлетворюсь, – отвечал Бакланов, целуя ее руку.

– О, полно-ка, перстань, пожалуйста, шутить!.. – отвечала Софи, которой, в самом деле, в эти минуты было, видно, не до того. – От врагов моих лучше спаси меня! – говорила она.

– И грудью, и рукой моей! – отвечал Бакланов: – но только опять повторяю: дружбой я не удовлетворюсь.

Софи посмотрела на него.

– Знаешь, мне ужасно неприятно и тяжело это слышать: неужели же я так уж низко пала, что меня никто хоть сколько-нибудь благородно и любить не захочет!

– О, Бог с вами, что вы, кузина! – перебил ее Бакланов.

– Да, я знаю, вы все думаете: «э, она такая, что от нее сейчас всего требовать можно… это не то, что наши жены, сестры… она женщина падшая!» – все это я, друг мой, очень хорошо знаю.

– О, Бога ради, кузина!.. – повторил Бакланов еще раз, и во весь остальной вечер был глубоко почтителен к ней.

– Я у вас буду на этой же неделе, и вообще когда вы только позволите и прикажете, – сказал он, раскланиваясь при прощаньи.

– Пожалуйста! – повторила ему Софи свое обычное слово.

«Она чудная женщина! Чудная!» – повторял он мысленно всю дорогу.

16. Начинающееся служение идее

На другой день, часов в девять вечера, Бакланов подъехал к огромному генерал-губернаторскому дому.

– Зачем меня звали, и кто у губернатора? – спросил он, входя.

– Дворянство! – отвечал жандарм, снимая с него шинель.

Бакланов пошел. В большой приемной зале он увидел, что за огромным столом, покрытым зеленым сукном, сидело несколько дворян. Приятель Бакланова, солидный помещик, со своим печальным лицом, тоже был тут.

Начальник края, с близко придвинутыми с обеих сторон восковыми свечами и с очками на носу, что-то такое читал.

Около него, по левую руку, стоял красивый правитель канцелярии, а по правую – сидел губернский предводитель дворянства, мужчина, ужасно похожий на кота и с явным умилением слушавший то, что читал губернатор.

Бакланову предводитель его уезда указал на место подле себя.

– Что это такое? – спросил его Бакланов.

– Речь говорит! – отвечал ему предводитель, указывая головой на начальника края.

– О чем?

– Крестьян у нас отбирают на волю! – отвечал предводитель, как-то странно скосив глаза.

– «Господа! – продолжал начальник края, не совсем разбирая написанное: – русское дворянство, всегда являвшее доблестные примеры любви к отечеству и в двенадцатом еще году проливавшее кровь на полях Бородина…»

На этом месте старик приостановился.

– Где и я имел честь получить этот небольшой знак моего участия! – прибавил он, показывая на один из множества висевших на нем крестов.

– «Русское дворянство, – продолжал он снова читать, – свое крепостное право не завоевало, подобно…»

– «Феодалам!» – поспешил ему подсказать правитель канцелярии.

– «Феодалам, – повторил генерал, – но оно получило его от монаршей воли, которой теперь благоугодно изменить его в видах счастья и благоденствия всем любезного нам отечества…»

Начальник края опять остановился, поправил очки и многозначительно на всех посмотрел.

– «Этот пахарь, трудящийся теперь скорбно около сохи своей, вознесет радостный взор к небу!» – говорил он и поморщился.

Речь эту, как и все прочие бумаги, ему сочинял правитель канцелярии, и старый генерал место это находил чересчур уж буколическим. Но правитель канцелярии, напротив, считал его совершенно необходимым; сей молодой действительный статский советник последнее время сделался ужасным демократом: о

дворянстве иначе не выражался, как – «дрянное сословие», а о мужиках говорил: «наш добрый, умный, честный мужичок».

– «Видимое мною на всех лицах ваших, милостивые государи, одушевление, – продолжал начальник края, – исполняет меня надеждою, что мы к сему святому делу приступим и исполним его с полною готовностью…»

– Все? – спросил он, остановясь, правителя канцелярии.

– Все-с! – отвечал тот, беря у него бумагу.

Замечаемые, однако, начальником края одушевленные лица сидели насупившись, и никто слова не начинал говорить.

Поднялся губернский предводитель.

– Милостивые государи! – начал он, заморгав в то же время глазами, что ужасно, говорят, скрывало таимые им мысли. – Милостивые государи! Я радуюсь, что несу звание губернского предводителя в такое великое время. Первое мое желание – выразить перед престолом монарха ваши чувства радости и благодарности. Вам, милостивые государи, дана возможность сделать великое и благодетельное дело для наших меньших братий!.. Дайте адрес! – прибавил он, торопливо обращаясь к правителю канцелярии.

Тот подал бисерным почерком написанную бумагу. Она стала переходить из рук в руки, и все, не читав, подписали ее. Бакланов тоже так подмахнул.

– Еще вчера только эту меньшую-то братию, своего лакея, в полиции отодрал! – сказал ему предводитель его уезда, показывая на губернского предводителя.

– Ужасная каналья, теперь за крест и чин все продаст! – проговорил Бакланов.

Губернский предводитель, между тем, что-то семенил на своем месте.

– Господа! – снова начал он и окончательно закрыл левый глаз: – обязанности предводителей в настоящее время слишком важны: я полагаю, следует им положить жалованье.

Лица предводителей просияли, а у дворянства вытянулись.

– Из каких же сумм? – отозвался было солидный помещик.

– Суммы есть! – подхватили в один голос предводители.

Губернский предводитель, между тем, спешил воспользоваться удобною минутой.

– По такому расписанию-с, – сказал он: – губернскому предводителю пять тысяч рублей, уездным по три тысячи рублей и депутатам по две тысячи рублей.

При последних словах у дворянства уж лица повеселели. «Авось попаду в депутаты и хоть тысчонку-другую сорву», – подумал почти каждый из них.

– Хорошо-с! – раздалось почти со всех сторон.

Губернский предводитель и начальник края пожали друг у друга руку, как люди, совершившие немаловажное дело.

– До свидания, господа! – сказал последний, обращаясь к прочим своим гостям: – завтра надо рано вставать, ума-разума припасать!

Все пошли как накормленные мякиной. Каждый чувствовал, что следовало-бы что-нибудь возразить и хоть в чем-нибудь заявить свои права или интересы, а между тем никто не решался: постарше – боялись начальства, а молодые – из чувства вряд ли еще не более неодобрительного – из боязни прослыть консерватором и отсталым.

В обществе, не привыкшем к самомышлению, явно уже начиналось, после рабского повиновения властям и преданиям, такое же насильственное и безотчетное подчинение молодым идейкам.

17. Сорокалетний идеалист и двадцатилетний материалист

Бакланов все больше и больше начинал спорить со своим шурином, и всего чаще они сталкивались на крестьянском деле.

– Что же вас-то так тут раздражает? – спрашивал его Сабакеев.

– А то-с, – отвечал насмешливо Бакланов: – я вовсе не с такою великою душой, чтобы мне страдать любовью ко всему человечеству; достаточно будет, если я стану заботиться о самом себе и о семействе, и нисколько не скрываюсь, что Аполлон Бельведерский все-таки дороже мне печного горшка.

– Печной горшок – очень полезная вещь! – сказал Сабакеев и ни слова не прибавил в пользу Аполлона Бельведерского.

– Ну да, разумеется, – подхватил Бакланов, – и клеточка, ведь, самое важное открытие в мире; смело ставь ее вместо Бога.

– Клеточка очень важное открытие, – повторил опять Сабакеев.

– Да, и Шиллер, и Гете, и Шекспир – ступайте к чорту! Дрянь они, – продолжал досадливо Бакланов.

– Шиллер, Гете и Шекспир делали в свое время хорошо.

– А теперь на поверхности всего мы с вами, не так ли?

– Нет, не мы, а идеи.

– Желательно бы мне знать, какие это именно? – проговорил Бакланов.

– Идеи народности, демократизма, идеи материализма, наконец социальные идеи.

– Все это около 48 года мы знали, переживали, и все это французская революция решила для нас самым наглядным образом.

– Ну, что французская революция! – произнес с презрением Сабакеев.

– А у нас лучше будет, не так ли?

– Вероятно, – отвечал Сабакеев.

– Почва целостнее!.. непосредственнее, чище примем.

– Конечно!

Евпраксия улыбнулась, а Бакланов развел только руками и с обеих спорящих сторон продолжалось несколько минут не совсем приязненное молчание.

– Вы, например, – продолжал Бакланов снова, обращаясь к шурину, – вы превосходный человек, но в то же время, извините меня, вы нравственный урод!

– Почему же? – спросил Сабакеев.

Евпраксия тоже взглянула на мужа вопросительно.

– Вы не любили еще женщин до сих пор, – объяснил Бакланов.

Сабакеев немного покраснел.

– А мы в ваше время были уже влюблены, как коты… любовниц имели… стихи к ним сочиняли…

– Оттого хороши и женились! – заметила Евпраксия.

– Что ж, я, кажется, сохранил еще до сих пор пыл юности.

– Уж, конечно, не идеальный! – ответила Евпраксия.

– Нет, идеальный! – возразил Бакланов: – вот они так действительно материалисты, – продолжал он, указывая на шурина: – а мы ведь что?.. Поэтики, идеалисты, мечтатели.

– Вот уж нет, вот уж неправда! – даже воскликнула Евпраксия: – они, а не вы, идеалисты и мечтатели.

– Ты думаешь? – спросил ее брат.

– Да! А Александр чистейший материалист.

– Почему же ты это так думаешь? – спросил ее тот.

– Потому что ты только о своем теле и думаешь.

– Вот что!.. так объяснить все можно! – произнес Бакланов, уже начинавший несколько конфузиться: – ну-с, так как же: угодно вам перемениться именами? – спросил тот, обращаясь к шурину.

– Не знаю, что вы такое, а я не идеалист! – повторил тот настойчиво.

– Идеалист, идеалист! – повторила ему еще настойчивее сестра.

– Но почему же?

– А потому, что это все то же, как и они в молодости восхищались стихами, а вы – теориями разными.

– Браво, – подхватил Бакланов.

18. Обличитель чужих нравов в своих домашних, непосредственных движениях

На столе горела сальная свечка; в комнате было почти не топлено.

Виктор Басардин сидел и писал новый извет на Эммануила Захаровича.

Он описывал историю сестры и только относился к ней в несколько нежном тоне: он описывал эту бедную овечку, которая, под влиянием нужды, пала пред злодеем, который теперь не дает ей ни копейки…

«Во имя всех святых прав человечества, – рисовало его расходившееся перо, – я требую у общества, чтоб оно этого человека, так низко низведшего и оскорбившего женщину, забросало, по иудейскому закону, каменьями, а кстати он и сам еврей и живет в К…, на Котловской улице».

Последнее было прибавлено в виде легонького намека на действительный случай.

Единственная свидетельница его писательских трудов, Иродиада, все это время лежала у него преважно на диване и курила папироску.

Виктор, дописав свое творение, потянул исподлобья на нее взор и несколько поморщился. Ему не нравилась ее чересчур уж свободная поза.

– Иродиада, поди, сними с меня сапоги: ноги что-то жмет! – сказал он, желая напомнить ей, кто она такая.

– Да что вы, сами разве не снимете? – отвечала она.

– Снимай! – сказал ей Виктор, не отвечая прямо на вопрос и протягивая к ней ногу.

Иродиада очень неохотно и неловко принялась стягивать с него сапоги.

– Очень весело! – говорила она.

– Тащи сильней! – сказал ей Виктор.

Иродиада стащила сапог и бросила его с пренебрежением на пол.

– Тащи сильней! – сказал ей Виктор.

– Подите! Силы у меня нет, – отвечала Иродиада.

– Говорят тебе, тащи! Хуже, заставлю, – продолжал Виктор, уже бледнея.

– Как же вы меня заставите? Руки еще коротки.

– А вот и заставлю! – проговорил Виктор и, не долго думая, схватил Иродиаду за шею и пригнул ее к ноге.

– Тащи! – повторил он.

– Караул! – крикнула было Иродиада.

– Не кричи, а то бить еще буду! – проговорил он и в самом деле другою рукой достал со стола хлыст.

Иродиада лежала у ног его молча, но сапога не снимала. Так прошло с четверть часа.

Виктор ее не пускал.

– Ну давайте, уж сниму! – сказала наконец она и сняла.

Виктор ее сейчас же отпустил. Иродиада опрометью бросилась бежать от него.

– Чорт!.. дьявол!.. леший!.. тьфу!.. – проговорила она в передней.

Виктор только посмотрел ей вслед, потом, взяв шляпу, надел шинель и пошел к сестре. Главная, впрочем, причина его неудовольствия на Иродиаду заключалась в том, что он просил у нее перед тем взаймы денег, а она разбожилась, что у нее нет ни копейки, тогда как он очень хорошо знал, что у ней есть больше тысячи, которые она накопила, когда была любовницей Иосифа.

– Ты Иродиаду прогони! – начал он прямо, придя к сестре.

Та знала уже о его связи с ней и сначала не обратила было никакого внимания на его слова.

– Она чорт знает, что про тебя всем рассказывает! – продолжал он.

Виктор хотел придать вид, что он в этом случае оскорбился за сестру.

Софи сконфузилась и взглянула на брата не совсем спокойными глазами.

– Что же она может про меня рассказывать? – спросила она.

– Во-первых, как ты хотела за Бакланова выйти замуж и как тот тебя прибил, – говорил Виктор.

– О, вздор! – воскликнула Софи.

Ее красивые ноздри начинали уже раздуваться.

– Рассказывала еще…

– Перестань, Виктор! – прикрикнула на него Софи.

Иродиада, во время нежно-любовных сцен, в самом деле, многое ему порассказала.

– Я ей откажу, – проговорила Софи прерывающимся от досады голосом.

– Нет, ее прежде надобно обыскать… Она, я думаю, у тебя денег

наворовала… я сначала ее обыщу да деньги у нее отберу!.. – бил Виктор прямее в цель.

– Нет, пожалуйста! Я только прогоню ее и больше никаких с ней объяснений не желаю иметь, – сказала Софи.

Она боялась, что Иродиада еще больше наплетет на нее.

Виктор, по своему обыкновению, рассердился и на сестру.

– Обе вы, видно, Даха Парахи не лучше! – проговорил он и стал прощаться.

Софи сделала вид, будто этих последних слов не слыхала.

– Иродиада! – крикнула она после его ухода.

Та вошла к ней с довольно покойным видом.

– Ты беспрестанно куда-то уходишь; я вижу, что тебе служба у меня неприятна, а потому можешь искать себе другого места, – сказала ей Софи.

Иродиада, слышавшая, что Виктор был у сестры, почти ожидала этого.

– Что ж, мне не на улицу же сейчас идти и выбросить себя! – сказала она дерзко.

– Ты можешь еще жить у меня; только я услуги твоей больше не желаю.

Иродиада на это усмехнулась.

– Не раскайтесь! – пробормотала она себе под нос.

– Что такое? – спросила ее Софи.

– Не раскайтесь! Найдите еще другую такую, которая так бы вам служила, как я, – сказала вслух Иродиада и, хлопнув дверью, ушла.

Затем, собрав все свои вещи, перетащила их из горницы в баню.

19. Израильтянин и русский

В своем роскошном кабинете Эммануил Захарович, в очках, с густо-нависшими бровями, озабоченно рассматривал наваленные на столе книги, бумаги, письма, счеты.

Перед ним стоял рыжеватый, худощавый мещанин, тоже один из его поверенных и молокан по вере.

– Сто зе такое с ним? – спрашивал с досадой Эммануил Захарович.

– Бог их знает-с! – отвечал поверенный, пожимая плечами. – Изволили приехать домой… затосковали… хуже, хуже, так что за доктором послать не успели.

Эммануил Захарович сделал грустное и печальное лицо.

– Отцего зе могло быть? – повторил он.

Поверенный стоял некоторое время в недоумении.

– До свадьбы своей они гуляли, значит, с горничной госпожи Леневой.

– Н-ну?

– Ну, и как люди вот их тоже рассказывают: опять начали свиданье с ней иметь-с.

– Сто зе из того?

– Да то, что как есть тоже наше глупое, русское обыкновение: приворотить его снова не желала ли к себе, али, может, и так, по злости, чего дала.

– Ну, так взять ее и сазать в острог.

– Нет, уж сделайте милость! – отвечал поверенный с испуганным лицом: – она и допреж того, изволите знать, болтала; а тут и не то наговорит, коли захватят ее. Изволите вот прочесть, что пишут-то!

– Ну, цитай, сто писут! – произнес сердито Эммануил Захарович.

Сам он не совсем хорошо разбирал письменную русскую грамоту.

Поверенный взял со стола письмо, откашлянулся и начал читать его.

«Ваше высокостепенство, государь мой, Эммануил Захарович!

Так как будучи присланный от вас Михайла очень пьянствует, стал я ему то говорить, а он, сказавши на это, что поедет в К…, я ему делать то запретил; он вчерашнего числа уехал секретно на пароходе „Колхида“ к барину своему, г. Басардину, как говорил то одному своему знакомому другу армянину, который мне то, будучи мною уговаривае, открыл за 5 руб. сер.

Переговоры же о том шли через какую-то девицу Иродиаду, которая, надо полагать, была его любовница, о чем вашему высокостепенству донести и желаю и при сем присовокупляю, что на цымлянское…»

Дальше поверенный не стал читать.

– Ну, взять его, как приедет «Колхида»… Я плацу им деньги… Сто зе? Пускай берут! – проговорил Эммануил Захарович.

Поверенного при этом точно передернуло.

– Нет-с, и этого нельзя! Теперича Иосиф Яковлевич жизнь кончили… Я, значит, один в ответе и остался… – сказал он.

– Ницего я не знаю, ницего! – возразил Эммануил Захарович, отстраняясь руками.

– Ваше степенство, – начал поверенный, – слов Иосифа Яковлевича тоже слушались мы, все равно, что от вас они шли…

– И не говорите мне, не знаю я ницего того! – перебил опять

Эммануил Захарович, зажимая уши.

Поверенный вздохнул.

– Маленького человека погубить долго ли… Хорошо, что тогда поостерегся, – через другого, а не сам дело делал: теперь хоть увертка есть. Никаких бы денег, кажись, не взял в этакое дело влопаться.

– Ну, молци, позалуста, без рассуздений! – прикрикнул на него Эммануил Захарович.

– Спина-то, ваше степенство, своя-с, за неволю рассуждать начнешь: не вас, а нашу братью на кобыле-то драть станут.

– Молци! – прикрикнул на него еще раз Эммануил Захарович: – грубый народ… музик!

Поверенный замолчал, но по-прежнему оставался с мрачным лицом.

Эммануил Захарович принялся снова разбирать и рассматривать бумаги.

– Подайте зе это ко взысканию! – сказал он, подавая поверенному заемное письмо.

Тот с удивлением посмотрел на него.

Заемное письмо было на имя Софьи Леневой в 25 тысяч рублей серебром.

20. Разные взгляды на общественное служение

В газете Петербургское Бескорыстие было с благородным негодованием напечатано:

«Скажите, отчего в директоры акционерных компаний выбираются люди, не специально знакомые с делом, а по большей части графы и генералы? Откуда и каким образом могли у акционеров явиться подобные аристократические вкусы? Зачем они позволяют этим господам говорить себе в собрании дерзости, и из каких, наконец, видов благополучия допускается, что главный директор компании „Таврида и Сирена“, сам начальник края, производит разработку каменного угля у себя в имении, который стоит таким образом обществу вдвое дороже, чем привезенный и купленный из Америки? (См. отчет общества за 1859 г. и американскую газету Herald)».

Строк этих достаточно было, чтобы начальник края, ни с кем не переговорив и не посоветовавшись, стукнул по столу два раза линейкой.

Вошел адъютант.

– Полицеймейстера мне-с! – произнес начальник края, по-

видимому, спокойно.

Адъютант ушел.

Начальник края, будучи не в состоянии удержаться, продолжал одним глазом заглядывать в продолжение статьи.

Там Бог знает чего уж не было наговорено. Говорили, что «на Солдатской пристани, для житья чиновников, на деньги акционеров, построен целый городок».

И в самом деле это было так!

«Машина, выписанная для паровой мельницы, не входила в само здание, так что или ее надо было ломать, или здание».

И то была правда.

Гневом и горестью исполнялось сердце старика.

Полицеймейстер наконец явился.

– Где здесь живет некто Басардин? – спросил генерал каким-то таинственным голосом.

– Живет-с! – отвечал полицеймейстер.

– Взять его сейчас в часть и произвести у него в доме обыск.

– Это, верно, ваше превосходительство, по случаю акционерной статьи… – начал было полицеймейстер.

– Да-с!

– Статью эту, ваше превосходительство, писал Никтополионов.

– Пожалуйста, без возражений!.. Я и в тот раз по вашим стопам шел, да недалеко дошел.

О том, что виновником прошлой статьи был Виктор Басардин, начальник края узнал от Эммануила Захаровича.

– Извольте произвести строжайшее следствие! – заключил он.

– О чем-с?

– О чем? – крикнул генерал. – Вы спрашиваете меня: о чем? Человек пишет на честных людей пасквили, человек подрывает общественный кредит, и вы преспокойно говорите: «о чем»? Полковник! Вы служить после того не можете!

Полковник поклонился и прямо отправился к исполнению возложенного на него поручения.

Виктор в это время только было засунул свою, известную нам, статью, в конверт, чтоб отправить ее для напечатания в журнал, как вбежала к нему впопыхах нанимаемая им кухарка.

– Батюшка, Виктор Петрович, – сказала она: – полицеймейстер с солдатами пришел.

Виктор побледнел. Но полицеймейстер входил уже в комнату и прямо устремился к письменному столу.

– Письмо!.. – проговорил он, тотчас же беря конверт и распечатывая его.

– Но как вы можете чужие письма… – возразил было Виктор.

– Могу, – отвечал полицеймейстер. – Это уж об родной сестре сочинили, – прибавил он, прочитав и передавая письмо жандармскому офицеру.

Затем начался обыск.

Виктор ходил за всеми, как потерянный.

– Колокол!.. – произнес мрачным голосом жандармский офицер.

– Откладывайте! – сказал ему полицеймейстер.

– Ненапечатанные русские стихотворения, – продолжал офицер.

– Какие это? – спрашивал полицеймейстер.

– Да я не знаю-с, О, ты, Рылеев, друг… – прибавил он, пробежав первый стих.

– Откладывайте! – сказал полицеймейстер.

– Еще стихотворение: Буянов мой сосед, – произнес жандармский офицер.

– Откладывайте! – сказал полицеймейстер.

– Картины голых женщин, – продолжал жандарм.

– Тоже! – повторил полицеймейстер и потом, обратившись к Басардину, прибавил: – Я думал, что вы молодой еще очень человек, а уж по лицу-то, видно, собрались с годками… Стыдно… очень стыдно…

– Но, скажите, что же я сделал? – говорил Басардин, стараясь улыбнуться, но в сущности совершенно упав духом.

– Сами понимаете, я думаю… не маленькие… Собрали бумаги? – спросил полицеймейстер у жандарма.

– Собрал-с!

– Ну, поедемте и вы! – прибавил полицеймейстер Виктору: – в часть вас свезу. Велите себе принести матрац, что ли: у нас ничего там нет!

– Как в часть?.. Это… это… – говорил Виктор: – это уже подло! – возразил он наконец.

– А пасквили писать благородно? – спросил его полицеймейстер.

– Это я писал для пользы общества, – объяснил Басардин.

– А я вас для пользы общества сажаю в часть… Вы так понимаете, а я иначе!

– Это чорт знает, что такое! – говорил Басардин, садясь с полицеймейстером на пролетки.

– Не чорт знает, а только то, что эта общественная польза – вещь очень многообразная! – объяснил ему полицеймейстер.

21. Новый обличитель

Около К… буря страшно шумела. Ветер, казалось, хотел сорвать флаги и флюгера с крепостных башен. У обрывистого берега валы бились и рассыпались о каменный утес.

Впереди хоть бы капля света, и только дул оттуда холодный ветер; но вот вдали, в бездне темноты, мелькнули две светящиеся точки, скрылись было сначала, но потом снова появились и не пропадали уже более.

Это шел пароход «Колхида». Пассажиров было немного: муж с женой, сидевшие на палубе и завернувшиеся в одну кожу, чтобы спасти себя от брызгавшей на них воды, а у самой кормы, в совершенной темноте, стоял высокий мужик, опершись на перила и глядя в воду.

Матросы заботливо бегали по палубе.

Ветер начинал дуть порывистее и сильнее.

На носу засветили фальшфейер.

С видневшегося маяка ответили тем же.

Мужик спросил проходившего мимо матроса:

– А что, служба, не далече до города?

– Да вон! – отвечал тот, указывая на довольно близкие огни.

– А это таможенная коса? – спросил опять мужик, указывая на огонь, мелькавший вдали от прочих.

– Да, — отвечал матрос, уходя от него.

Вслед затем мужика как бы не бывало на палубе.

– Что такое в воду упало? – спросил капитан со своей вышки.

– Кто свалился? – повторил он еще раз и уж строго.

– Мужик, надо быть, ваше благородие.

– Спустить катер! – скомандовал капитан.

Несколько матросов бросились и стали спускать его, но лодка не шла.

– Спускайте скорей! Разорву вас, как собак! – кричал с вышки капитан.

– Нейдет, ваше благородие, блоки совсем не смазаны!

– Я вам дам, чортовы дети! – кричал капитан.

Лодку, наконец, спустили, и человека четыре матросов соскочили в нее.

– А на смазку-то, я сам видел, в отчетах сказано, что употребляется

по 3.000 руб. сер. в год! – объяснил прозябнувший супруг своей супруге под кожей.

Они, видно, были из несчастных акционеров, а потому ничего больше уж и не сказали, а еще крепче прижались друг к другу.

Матросы в лодке сначала проехали по прямой линии от парохода к берегу, потом заехали вправо. Ничего не видать, кроме пенящихся волн.

– Чорт найдет его! – проговорил один из них.

– Да что его угораздило? Пьян, что ли, был? – спросил другой.

– Нет, чай, надо быть, нарочно! – объяснил третий.

– Где ж тут ловить-то его… Поди, чай, засосало под пароход, и плывет под кормой.

– И пил же он, паря, на пароходе-то шибко.

– Пил?

– И, Господи! Маркитант сказывал, рублев на двадцать он напил у него… Заберите-ка, однакоже, влево! – заключил матрос, но и влево ничего.

– На пароход, робята, ну его к праху, где тут сыщешь! – сказали почти все в один голос и поехали на пароход.

Мужик, между тем, был недалеко от них и, при их приближении, только нырнул в воду и вынырнул потом далеко от них. Подплыв к косе, он стал на ноги. Тут ему было всего по пояс. Он не пошел прямо на берег, а стал обходить всю косу кругом; на том месте, где и подъезду не было, ухватился за камень, стал взбираться, как кошка, на утес и только по временам ругался.

– Все рученьки-то, дьявол, раззанозил каменьями этими… Ну, поехала, лешая! – говорил он, когда нога его случайно скользила и опускалась. – Как идти-то в этой мокроте? – прибавил он, став наконец на вершину скалы и осматривая свой костюм.

– Ну, чорт, велика барыня, – заключил он и пошел.

На набережной он вошел во двор Софи; вероятно, очень знакомый с местностью, он сейчас же забрался через перила на галлерею и приложил свое лицо к освещенному стеклу девичьей.

Там сидела молоденькая горничная.

– О, чорт, это другая какая-то лешая! – сказал он и постучал пальцем.

Горничная с испугом взглянула в окно.

– Иродиада Никаноровна где-с? – спросил у ней мужик.

Горничную успокоил этот вопрос.

– Она не здесь, в бане живет.

– Вот куда чорт ее занес! Родила, что ли? – сказал сам с собою мужик и слез с галлереи.

Где находится баня, он тоже, видно, хорошо знал, потому что прямо пошел к ней и опять приложил лицо к окну.

Иродиада там сидела одна и что-то шила.

Мужик вошел к ней.

– Ай, Господи, Михайла! – проговорила она, взмахнув на него глазами.

– Мы самые и есть! – отвечал тот.

– Да что же ты весь мокрый?

– Водой уж шел, коли сушью не пускают, – отвечал Михайла.

– Ну, разоболакайся!.. Что стоишь? – сказала ему Иродиада с видимым участием.

– Что же я надену? Весь мокрехонек, – сказал мужик, снимая, впрочем, кафтан.

– Пойду, схожу, попрошу у кучера и портков и рубахи.

– Да как же ты скажешь?

– Скажу, что для полюбовника, да и баста!

– Ой-ли! хват-девка! – проговорил ей вслед Михайла.

Читатель, конечно, не узнал в этом человеке того самого Михайлу, который, в начале нашего романа, ехал молодым кучером с Надеждой Павловной. Судьба его и в то уже время была связана с судьбою Иродиады. Он именно был отцом ее ребенка, за которого она столько страдала.

Получив вольную, Иродиада, первое что, написала Михайле своею рукою письмецо:

«Душенька Михайла! Неизменно вам кланяюсь и прошу вас, проситесь у господ ваших на оброк и приезжайте за мной в К…, где и ожидает вас со всею душою, по гроб вам верная Иродиада».

Михайла сейчас же стал проситься у Петра Григорьевича; но тот его не пускал. Михайла нагрубил ему, или, лучше сказать, прямо объяснил: – «дурак вы, а не барин, – право!»

Петр Григорьевич повез его в солдаты. Михайла убежал от него и пришел в К… оборванный, голодный и вряд ли не совершивший дорогой преступления.

Иродиаду он нашел не совсем верною себе. Она была любима управляющим откупом, Иосифом. Михайла, впрочем, нисколько этим не обиделся и просил только, чтобы как-нибудь ему прожить без паспорта и хоть какое-нибудь найти местечко. По влиянию Иродиады, его сделали целовальником; потом, по каким-то соображениям,

перевели сначала в уезд, и наконец отправили на Кавказ. В продолжение всего этого времени Михайла страшно распился, разъелся: краснощекий, с черною окладистой бородой, он скорее походил на есаула разбойничьего, чем на бывшего некогда господского кучера. Запах спирту от него уж и не прекращался, точно все поры его были пропитаны им.

Иродиада, возвратившись, принесла Михайле все чистое белье. Тот при ней же начал переодеваться. Иродиада немножко от него отвернулась.

– Чаю, что ли, хочешь? – спросила она.

– Нет, уж лучше бы горьконького! – отвечал Михайла.

– Все по-прежнему, зелья-то этого проклятого, – сказала Иродиада.

– Человек рабочий, – отвечал Михайла.

Иродиада сходила в горницу и принесла целый барский графин водки и огромный кусок, тоже барской, телятины.

Михайла принялся все это пить и есть.

– Что, ты получил мое письмо? – спросила его Иродиада.

– Получил; на него я и шел.

– С барином твоим несчастье случилось: в часть, али в острог, что ли-то, посадили.

– Ах ты, Боже ты мой! – произнес Михайла с некоторым даже испугом. – За что же это так?

– Сочинение, что ли, какое-то написал на здешних господ, так за то… В Сибирь, говорят, сошлют.

– Как же быть-то, девка, а?

– Чего быть-то?.. Я вот завтра перееду, поживем там, поглядим.

– Эхма! – горевал Михайла: – а мне так было и думалось, что он дал бы мне какую бумагу, я бы ему все открыл.

– Чего открывать-то? Мозер-то помер!

– Вона! Царство небесное! – произнес Михайла. – Что же такое с ним случилось?

– Не знаю, – сказала Иродиада лаконически.

– Беда, значит, теперь без пачпорту-то, – проговорил опять Михайла.

– Ничего!.. Нынче уж насчет этого свободно стало.

– Да, как же? – произнес недоверчиво Михайла.

– Начальство само говорит: – «Живите, говорит, ничего и без бумаг». Воля, говорят, всем настоящая скоро выйдет.

– Слышал я… – отзвался Михайла: – господам-то только под домом землю и оставят, дьяволам этим, – прибавил он и зевнул.

– Так им, злодеям, и надо! – повторяла Иродиада, – Что зеваешь?.. Поди, полезай на полок спать.

Михайла пошел; потом приостановился и хотел что-то такое сказать Иродиаде; но, видно, раздумал и молча взлез на полок.

22. На ярого сатира надет намордник

Виктора все еще продолжали держать в части.

Он начинал терять всякое терпение и в продолжение этого времени успел поколотить полицейского солдата, не пускавшего его одного гулять по саду; об этом было составлено постановление и присоединено к делу. Он показал потом жене частного пристава, когда та проходила мимо его окон, кукиш; об этом тоже составлено было постановление и снова присоединено к делу.

Начальство всему этому только радовалось, чтобы побольше скопить на него обвинений.

Виктор, в отчаянии, начал, наконец, молиться Богу, и молитва его была услышана. В последний вечер перед ним стоял знакомый нам поверенный Эммануила Захаровича, молокан Емельянов, с своею обычною кислою улыбкой и заложив руки за борт сюртука.

Виктор все еще продолжал ершиться.

Емельянов пожимал насмешливо плечами.

– Ведь, это точно что-с… Эммануил Захарыч так и приказывал: «пускай, говорит, он уедет».

– А, испугались?.. – говорил Виктор, самодовольно начиная ходить по комнате.

– Не испугались, а что точно что неудовольствия иметь не желаем… И вам ведь тоже здесь ничего хорошего не будет. Извольте хоть какого ни на есть стряпчего и ходатая вашего спросить… Мало-мало, если вас на житье в дальние сибирские губернии сошлют, а – пожалуй! – приладят так, что и в рудники попадете.

– Да, вот так… как же! – горячился Виктор. – Я и оттуда буду писать.

– Пишите, пожалуй. Мало только пользы-то от того вам будет… Хоть бы и я теперь, за что?.. За то только, что по вере родителей моих жить желаю, попал сюда в степи.

– Тебе-то пуще здесь худо… Ах, ты, борода! – сказал Виктор и тронул Емельянова за бороду.

Он, видимо, начинал уж ласкаться к нему.

– Что ж? Конечно, что – благодарение Богу: не потерялся еще

совершенно, – отвечал тот, стыдливо потупляя глаза, – так Эммануил Захарыч мне и приказывать изволили: «пусть, говорят, он едет в Москву; будет получать от нас по тысяче целковых в год».

– А как вы надуете, да не станете платить? – спросил недоверчиво Виктор.

– Орудие-то ведь ваше всегда при вас; можете написать, что только захотите.

– Да, пиши тут, а вы преспокойно будете сидеть и поглаживать себе бороды.

– Нет-с, мы никогда не можем желать того, – отвечал серьезно Емельянов.

– А вы вот что! – продолжал Виктор, – вы дайте мне вперед пять тысяч целковых, да и баста!

Емельянов грустно усмехнулся.

– Таких денег у нас, пожалуй, нынче и в кассе-то нет – очень нынче дела плохи!

– Дайте векселя на разные сроки… Я подожду, – отвечал Виктор.

– Это словно бы не приходится, – произнес, не поднимая глаз, Емельянов. – Вы, конечно, что господин, дворянин: слову вашему мы верить должны; но ведь тоже человеческая слабость, у каждого она есть: деньги-то вы по векселю с нас взыскать-то взыщете, а писать-то все-таки станете.

– Да какого же чорта я писать буду?

– Да ведь, извините меня, я опять повторю то же: человеческая слабость… Может быть, к пяти-то тысячам вы – еще пожелаете с нас получить; вам-то это будет приятно, а для нас-то уж оченно разорительно, а вы вот что-с: по чести, ежели вам угодно, теперь – тысячу, год вы промолчали – другую вам, еще год – третью.

– Нет, это невыгодно! – сказал Виктор: – теперь, по крайней мере, дайте мне две тысячи вперед.

– Полторы извольте, без хозяина решаюсь на то, по крайности буду знать, что дело покончено.

– Да, дело! Сквалыжники вы этакие, – говорил Виктор, как человек угнетенный и прижатый: – ну, давайте полторы тысячи!

– Слушаю-с… Теперь я вам, значит, подорожную возьму, и хозяин еще говорил, чтобы мне с вами и в Москву отъехать… Чтобы без сумления для него было.

– Хорошо, мне все равно; я ведь и там буду про разных соколиков писать.

– Известно! За что ж так мы одни-то виноваты: надо и с других

могорычи иметь.

– Я им дам! Я тогда сочинил, так триста экземпляров сюда газеты выписали. Мне теперь, — знаешь, сколько за сочинение будут давать.

– Точно что-с, способность, дарованье на то от Бога имеете! – подтвердил Емельянов и потом прибавил, раскланиваясь:

– До приятного свидания, значит!

– Прощайте, друг любезный! – отвечал ему Виктор, дружески пожимая руку.

23. Разорение

По случаю наступившего апреля, балкон в клубе был отворен. Теплая весенняя ночь была совершенно тиха и спокойна; но зато волновались сердца человеческие. Бакланов, стоя около этого самого балкона и созерцая безмятежную красоту природы, был бледен, и губы у него от бешенства дрожали.

Ему что-то такое возражал Никтополионов.

– Я-то чем виноват? – говорил он.

– А тем, что вашими подлыми статьями вы уронили все дело.

– Да, так вот я и стану молчать!.. Меня выгнали, а я буду говорить: прекрасно, бесподобно!

– Отчего же прежде вы лично мне другое говорили?

– Я тогда служил там! Что ж мне товар-то свой хаять, что ли? – отвечал нахально Никтополионов.

Бакланов едва владел собой.

– Знаете ли, за подобные вещи бьют по роже, и бьют больно! – говорил он.

– Да, кто дастся! – отвечал Никтополионов и преспокойно отошел.

Бакланов постоял еще немного и, даже почернев от волновавших его чувствований, уехал домой.

Он прямо прошел в спальню жены.

Евпраксия уже спала.

Бакланов без всякой осторожности разбудил ее.

– Поздравляю вас: мы разорены!.. – начал он прямо.

– Что такое? – спрашивала Евпраксия, едва приходя в себя.

– Так. Акции наши падали-падали, а теперь за них и ничего уж не дают, – отвечал Бакланов, садясь в отчаянии на свою постель.

– О, я думала, Бог знает что! – произнесла Евпраксия, почти совершенно успокоившись.

– Как что? Это для вас не Бог знает что? – вскричал Бакланов.

– Перестань, сумасшедший: детей напугаешь! – сказала Евпраксия и, встав, притворила дверь в детскую.

– Это для нее ничего!.. О, Боже мой, Боже мой! – повторил Бакланов, воздвигая руки к небу.

– Кто ж виноват? Сам же! – сказала Евпраксия, зажигая свечку.

Она знала, что сцена эта не скоро кончится.

– Я же! Да, я! Я хотел разорить и погубить семью. О, я несчастный! – восклицал Бакланов, колотя себя в голову.

Евпраксия пожала плечами.

– Ну, подай только Бог терпенье жить с тобой, – сказала она.

– Что ж? Прогоните меня, как тварь какую-нибудь бесчувственную, как мерзавца, подлеца!

– Ни то, ни другое; а человек без характера… Малейшая удача – мы уж и на небесах: прекрасно все, бесподобно! А неудача – сейчас и в отчаяние! Жизнь – не гулянье в саду: все может случиться.

– Все! Хорошо все! Пятьдесят тысяч потерял! О, я не перенесу этого и убью себя! – воскликнул опять Бакланов в бешенстве.

– Перестань, говорят тебе! – прикрикнула на него Евпраксия строго: – не ты один, а многие потеряли, и победней тебя; может быть, свои последние, трудовые гроши.

– Они теряли свои деньги, а я потерял чужие, ваши, – отвечал ядовито Бакланов.

– Какие же чужие?.. Если я принадлежу тебе, так деньги мои и подавно, и кроме того… конечно, кто говорит, потеря довольно ощутительная; но все-таки не совсем еще разорены… Бог даст, будешь здоров да спокоен, не столько еще наживешь…

Слова жены заметно успокоили Бакланова. Он хотя и сидел еще задумавшись, но не кричал уже более.

– Ну, что теперь станешь делать? Что? – говорил он, разводя руками. – Опять надо впрягаться в эту службу проклятую. Вы, пожалуйста, завтра же отпустите меня в Петербург; я поеду искать должности.

– Сделай милость, очень рада! – подхватила Евпраксия: – а то ведь, ей-Богу, скучно на тебя смотреть: скучает, ничего не делает!

– Поеду! – повторял Бакланов как бы сам с собою и потом, после нескольких минут молчания, снова обратился к жене:

– Вы на меня не сердитесь?

– Уверяю тебя, нисколько.

– Ну, поцелуйте меня в доказательство этого.

Евпраксия подошла и поцеловала его.

– Мне гораздо вот непрятнее было, когда ты тяготился семейной жизнью, а что потеряли часть капитала – велика важность! – сказала она.

– Ты великая женщина! – проговорил наконец Бакланов, вздыхая и слегка отталкивая ее от себя.

Через несколько минут он уже спал, а Евпраксия не спала всю ночь: спокойствие ее, видно, было только наружное.

24. Сцена хоть бы из французского романа

Следующая ночь еще была теплее, темнее и тише.

День этот была среда. У Софи, по обыкновению, были гости и, как нарочно, очень много. Девица Каролина-Мария-Терезия привезла к ней двух сестер, выписанных ею с родины, тоже жить на счет ее друга. За девицею Порховскою приехало ровно четыре кавалера. Сама Софи, впрочем, была скучна и ни с кем не говорила ни слова. Утомленная и доведенная еще до большей тоски болтовней гостей, она встала и пошла было в задние комнаты, чтобы хоть на несколько минут остаться одной; но там застала Иродиаду, сверх обыкновения, в платке на голове, а не в шляпке. Софи отвернулась. Ей стало неприятно и точно страшно встречаться с своею прежнею поверенной.

– Здравствуй! Где ж ты нынче живешь? – спросила она ее, чтобы что-нибудь сказать.

– На квартире-с.

– Не у места еще?

– Нет-с.

И Софи опять возвратилась в залу.

Сев за рояль и взяв на нем несколько аккордов, она все прислушивалась к звонку, но никто не приезжал.

Софи подозвала к себе одного из молодых людей.

– Садитесь тут, у моих ног, – сказала она.

Тот в самом деле поместился у ног ее.

– Ну, говорите мне любезности, говорите, что я, как ангел, хороша, что вы от любви ко мне застрелитесь.

– Первое совершенно справедливо, а второе нет, потому что жизнь свою и себя самого я люблю больше всего, – ответил молодой человек, желая сострить.

– Ох, как это неумно, вяло, натянуто! – говорила Софи. – Какие вы нынче все пошлые.

В девичьей, между тем, происходили своего рода хлопоты.

Молодая горничная вошла с графином оршада и вся раскрасневшаяся.

– Ой, девушка. Так устала, что силушки нет, – говорила она Иродиаде.

– Где у вас чай нынче разливают: в спальне барыниной? – спросила та.

– Да, все там же.

– Дай, я разолью.

– Ой, сделай милость, голубушка! Мне еще за сухарями надо бежать, – сказала горничная и сама ушла.

Иродиада пошла в спальню к Софи. Увидя, что на той полосе гостиной, которая была видна из спальни, никого нет, она обернулась задом к туалету и оперлась на него; потом что-то такое щелкнуло, точно замок отперся, и Иродиада стала проворно класть себе в карман одну вещь, другую, третью. Затем замок снова щелкнул. Иродиада отошла от туалета и стала около чайного стола.

Горничная возвратилась и пошла подавать чай, а Иродиада следовала за ней с сухарями. Лицо ее при этом было совершенно бесстрастно.

Напоив гостей чаем, Иродиада стала собираться домой.

Молоденькая горничная останавливала ее.

– Да накушайтесь сами-то чайку, – сказала она.

– Нет, благодарю, далеко еще итти, – сказала Иродиада и поцеловалась с своею бывшею товаркой.

– Прощайте! – сказала она ей не совсем обыкновенным голосом.

– Прощайте, ангел мой! – отвечала ей та ласково.

В одном из глухих переулков Иродиада сошлась с мужчиной.

– Готово? – спросила она.

– Дожидается! – отвечал ей тот.

– Ну, веди!

Они пошли.

– Все сделали-с? – спросил ее мужчина каким-то почтительным голосом.

– Все!

Пройдя набережную, они стали пустырями пробираться к таможенной косе.

На самом крутом ее месте мужчина, который был не кто иной, как Михайла, стал осторожно спускаться, придерживая Иродиаду за руку.

– Не оступитесь! – говорил он.

– Держись сам-то крепче, а я за тебя стану!..

Спустившись более чем до половины, Михайла крикнул:

– Мустафа!..

– Я! – отозвался снизу с лодки голос по-татарски.

– Ты куда нас повезешь? – спросил его и Михайла по-татарски.

– В деревню Оля… к брату… лошадь даст тебе, и поедешь.

– Смотри, свиное ухо, не обмани!

– Что мне тебя обманывать-то?

Михайла и спутница его соскочили в лодку.

– Отчаливай! – проговорил Михайла; но татарин успел уже махнуть веслами, и они плыли.

Отъехав несколько, татарин приостановился.

– Пересядь, любезный, на эту сторону, а то очень уж валит вправо-то, – сказал он Михайле.

Тот встал и начал пересаживаться; вдруг почувствовал, что его что-то страшно ударило в спину, и он сразу кувырнулся в воду.

– Батюшки, тонет! утонул! – вскрикнула Иродиада.

Татарин между тем греб дальше.

– Постой, чорт, дъявол, – кричала она, обертываясь то назад, то к татарину; но тот продолжал грести, а потом вскочил и повалил ее самое в лодку и наступил ей на грудь.

– Давай деньги! Подай! – говорил он и полез ей за пазуху; но в это время чья-то рука повернула лодку совсем вверх дном. Все пошли ко дну.

У Иродиады глаза, уши и рот захватило водой; она сделала усилие всплыть вверх и повыплыла. В стороне она увидела, что-то такое кипело, как в котле.

Вдруг на воде показался ее спутник и схватил ее за платье.

– Плыви за мной, – сказал он ей.

– Господи, он нас нагонит, пожалуй! – говорила Иродиада, едва барахтаясь руками.

– Не нагонит, – отвечал ей спутник: – у тебя все в кармане?

– Все… Ой, тошнехонько, тону! – кричала Иродиада.

– Не утонешь, недалеко! – отвечал ей спутник и взял ее за косу. – Я нарочно рулем держал, не давал ему далеко от берега-то отбиваться, – говорил он.

В самом деле, они через несколько минут были уже на берегу.

– О-о-ой! – стонала Иродиада.

– Пойдем, делать нечего, пешком, – сказал ей спутник.

– Пойдем! – отвечала она, едва переводя дыхание, и вслед за тем оба скрылись в темноте.

На другой день к пароходной пристани прибило волнами

утопленника-татарина с перерезанным горлом.

25. Неошибочное предчувствие Евпраксии

После разорения своего Бакланов начал еще более скучать.

Здесь мы должны глубоко запустить зонд в его душу и исследовать в ней самые сокровенные и потайные закоулки.

Состоя при семействе и подчиняясь ему, когда около всего этого группировалось сто тысяч денег и крепостное имение, он полагал, что все-таки дело делает и, при подобной обстановке, может жить баричем. Но теперь, когда состояние женино с каждым днем все более и более уменьшалось, значит, и этой причины не существовало. О, как ему, сообразив все это, захотелось и дали, и шири, и свободы!.. Мечты, одна другой несбыточнее, проходили беспрестанным калейдоскопом в его уме, а между тем он жил в самом обыденном, пошлом русле провинциальной семейной жизни… Из-за чего же было это бескорыстное и какое-то почти фантастическое убийство своего внутреннего я?

В одну из подобных минут, когда он именно таким образом думал сам с собой, ему подали записочку. Он прочитал ее, сконфузился и проворно спрятал ее в карман.

– Хорошо, – сказал он торопливо человеку, мотнув ему головой.

Тот вышел.

Евпраксия, обыкновенно никогда не обращавшая внимания, какие и от кого муж получает письма, на этот раз вдруг спросила:

– От кого это?

– Так, от одного знакомого, – отвечал Бакланов, краснея.

– Покажи, – сказала ему Евпраксия, как будто бы и с улыбкой.

– Нет, не покажу, – отвечал Бакланов, тоже стараясь улыбаться.

– Покажи, говорят тебе! – повторила Евпраксия еще раз и уже настойчиво.

– Нет! Я ведь писем к вам не читаю.

– Читай; у меня секретов нет. Ну, покажи же! – говорила она и при этом даже встала и подошла к мужу.

Тот все еще продолжал улыбаться; но карман, в котором спрятал записку, прижал рукою.

– Покажи! – повторила настойчиво Евпраксия.

– Нет, нет и нет! – сказал решительно Бакланов.

– Ну, хорошо же! Я сама буду переписываться! – сказала Евпраксия, села и заплакала.

Бакланов не более, как во второй или в третий раз, в продолжение всего их супружества, видел слезы жены.

– Это глупо, наконец! – проговорил он.

– Нет, не глупо! – возразила ему Евпраксия: – пустой и дрянной вы человечишко! – прибавила она потом.

– Ну, можете браниться, сколько вам угодно, – отвечал Бакланов и вышел.

– Что ты рассердилась из-за таких пустяков, – сказал ей Валерьян Сабакеев, бывший свидетелем всей этой сцены.

– Нет, не пустяки! – отвечала она, продолжая рыдать: – вероятно, от какой-нибудь госпожи своей получил.

– Ревность, значит, – заметил ей с улыбкой брат.

– Вот уж нет!.. Пускай, сколько хочет, имеет их, – отвечала, впрочем, покраснев, Евпраксия. – Сам же ведь после будет мучиться и терзаться… мучить и терзать других! – заключила она и ушла к детям в детскую; но и там продолжала плакать.

Бакланов все это время у себя в кабинете потихоньку одевался, или, лучше сказать, франтился напропалую: он умылся, надел все с иголочки новое платье, надушился и на цыпочках вышел из дому.

– Когда меня спросят, скажи, что я гулять пошел… Видишь, вон пальто и зонтик взял! – сказал он провожавшему его человеку, а сам, выйдя на улицу и пройдя несколько приличное расстояние, нанял извозчика и крикнул ему: – На набережную!

Перед квартирой Софи он соскочил с экипажа и проворно ушел в отворенную почти настежь дверь.

– Друг мой, – говорила она, беря его за руку и ведя его в гостиную, – заступитесь за меня, меня обокрали всю.

– Как? – спросил Бакланов.

– Все брильянты и семьдесят пять тысяч денег.

– Господи помилуй! – воскликнул Бакланов: – но кто же?

– Должно быть, прежняя моя горничная.

– В каком виде у вас деньги были?

– Билет ломбардный.

– Именной?

– Не знаю, кажется.

Бакланов пожал плечами.

– Есть у вас, по крайней мере, номера?

– Да, господин, который привез его ко мне, нарочно записал в столе у меня, – отвечала Софи, несколько сконфузившись, и потом отворила туалет, где на стенке одного потайного ящика были чьей-то

осторожною рукой написаны номер и число билета.

Бакланов списал все это.

– Ничего, поправим как-нибудь! – сказал он и, не объяснив более, уехал.

Софи, оставшись одна, сидела, как безумная.

Часа через три Бакланов возвратился.

– Я думала, что и ты меня покинешь, – сказала она ему.

– Нет! как можно! Я все уже сделал: телеграфировал в петербургский банк и получил ответ, что по билету никому, кроме вас, не выдадут.

– Но как же я-то получу?

– Надобно вам самой ехать в Петербург. Поедемте вместе; я тоже на днях еду!

– Ах, я очень рада! – воскликнула Софи радостно, но потом несколько покраснела.

– Только у меня жена ревнива, – прибавил Бакланов с улыбкою, – отсюда нам нельзя вместе выехать. У вас есть какой-нибудь дорожный экипаж?

– Отличная дорожная карета еще после покойного мужа, – отвечала Софи.

– И прекрасно! – произнес Бакланов, потирая руки.

В голове у него строилась тысяча увлекательных планов.

– Вы поезжайте вперед и подождите меня в первом каком-нибудь городке; я вас нагоню, а потом мы вместе и поедем.

– Это отлично! – сказала Софи, смотря с нежностью на него.

Бакланов в эти минуты решительно казался ей ангелом-спасителем.

– Однако прощайте, мне пора. На меня и то уж супруга сильно сердится! – сказал он, и хотел было поцеловать у Софи руку, но она поцеловала его в губы.

Еще не старое сердце героя моего билось как птичка от восторга: у него наконец заводилась интрижка, чего он так давно и так страстно желал.

26. Кто такой собственно герой мой

По векселю Эммануила Захаровича у Софи описали всю движимость. Она, по необходимости, должна была поскорей уехать.

Бакланову стоило страшных усилий сказать жене, что он едет в Петербург. Ему казалось, что она непременно догадается и разрушит весь его план. Наконец он решился.

– Сделай милость, поезжай! – отвечала ему Евпраксия.

Подозревая, что муж затевает какие-нибудь шашни в их городе, она в самом деле желала отправить его в Петербург, где все-таки надеялась, что он найдет какое-нибудь себе занятие, и тогда уж переехать к нему самой со всею семьей. Почтенная эта женщина, несмотря на то, что ей всего было только двадцать восемь лет, постоянно здраво и благоразумно рассуждала, и мужа за замечаемые недостатки не бранила и не преследовала, а старалась излечивать его от них.

Разговор о поездке, по обыкновению, окончился двумя, тремя фразами.

У Баклановых, по влиянию Евпраксии, осталось прежнее обыкновение ее матери: о серьезных и важных вещах думать много, а говорить мало.

Бакланов всегда этим ужасно возмущался.

– Это какие-то олимпийские боги, которых разве стрелы Юпитера могут потрясти, а обыкновенные житейские дела их не трогают, – говорил он про жену и тещу.

Но на этот раз рад был этому обыкновению и на другой же день собрался и поехал.

При прощании ему жаль было немножко детей, особенно когда старший, Валерка, повис с рыданием у него на груди и, как бы предчувствуя долгую разлуку, кричал: «Папаша, папаша, куда ты?»

Бакланов, совершая столь безобразный поступок, только после сообразил, какие он страшные минуты переживал, не чувствуя и не сознавая их нисколько. Самый младший сынишка не плакал, но своим серьезым взглядом как бы говорил отцу: «Отец, что ты делаешь? Смотри, я так рявкну, что воротишься у меня назад!» И в самом деле рявкнул.

У Бакланова при этом замерло сердце, и он стал спешить прощаться.

Евпраксия, по обыкновению, была спокойна, и только как бы несколько еще солиднее обыкновенного.

– Ну, пиши же, главное, о своем здоровье, а потом и о делах, – сказала она, когда муж целовал ее руку.

Проводив его, она ушла к себе в комнату и долго там молилась.

За все эти поступки, да, вероятно, и за предыдущие, читатель давно уже заклеймил моего героя именем пустого и дрянного человека!

На это я имею честь ответить, что герой мой, во-первых, не герой, а обыкновенный смертный из нашей так называемой образованной

среды.

Он праздно вырос, недурно поучился, поступил по протекции на службу, благородно и лениво послужил, выгодно женился, совершенно не умел распоряжаться своими делами и больше мечтал, как бы пошалить, порезвиться и поприятней провести время.

Он представитель того разряда людей, которые до 55 года замирали от восторга в итальянской опере и считали, что это высшая точка человеческого назначения на земле, а потом сейчас же стали, с увлечением и верою школьников, читать потихоньку Колокол.

Внутри, в душе у этих господ, нет, я думаю, никакого самоделания; но зато натираться чем вам угодно снаружи – величайшая способность.

27. Выход в ширь и гладь!

Июльское солнце, часов в семь вечера, светило красноватым светом. Идущая широкою полосой дорога была суха и гладка. По сторонам, до самого горизонта, расстилалась степь, зеленеющая густою и пестрою травой. Несколько вдали стояла почтовая станция Дыбки, загороженная растущим около нее тальником. По степи гуляло целое стадо дрохв, которые то опускали, то поднимали свои головы. Едва видневшийся человек на беговых дрожках объезжал их.

На закраине дороги сидел Бакланов, щеголевато, по-дорожному, одетый. Около него лежал небольшой чемоданчик и плед.

На лице его было написано нетерпение.

Наконец показалась карета четверкою, и он радостно начал махать рукой и шляпой.

Подъехав к нему, карета остановилась, и из окна ее выглянуло прелестное лицо Софи.

– Александр, это вы? – сказала она, точно не ожидая его встретить тут.

– Да, позвольте уж! – говорил Бакланов, кидая свой плед и чемодан в ноги к извозчику, а потом отворил дверцы и сам вошел в карету.

Для предосторожности Софи ехала одна-одинехонька и даже без горничной.

– Ну, вот, наконец! – проговорила она, подавая Бакланову обе руки.

– Да, – отвечал тот, целуя их несчетно раз.

– Ну, что жена? – спросила его потом Софи после нескольких минут молчания.

– Э, ничего! – отвечал Бакланов: – я намерен, не вдруг, разумеется,

а постепенно, разорвать совершенно мои брачные узы.

– Зачем это? – проговорила Софи более грустно, чем с укором.

– Невозможно! – воскликнул Бакланов: – более безобразного установления, как брак, я решительно ничего не знаю.

Софи продолжала грустно улыбаться.

– Точно двух лошадей припрягли к дышлу: ровны ли у вас ход и скорость ваших ног, или нет, все ступайте, не отпрягут уж!

– Но как же делать иначе? – спросила Софи.

– Дать более свободное движение чувствам: тогда, поверь, между мужчинами и женщинами возникнут гораздо более благородные, более наконец возвышенные отношения.

– А дети? – спросила Софи.

– Что ж такое дети?

– А то, что мужчина с одною народит детей, перейдет к другой, а от другой к третьей. Дети у нас, бедных женщин, и останутся на руках и попечениях.

– Это вздор, chère amie, извини меня! – возразил Бакланов: – Если я хоть сколько-нибудь честный человек, я женщину, у которой есть от меня дети, не оставлю совершенно, и если не буду ее продолжать любить, то все-таки материально обеспечу; а если я мерзавец, так и брак мне не поможет. Скольких мы видим людей, которые губят совершенно свои семьи.

– Но все-таки это немножко их попридерживает.

– Нисколько!

– Как нисколько? Посмотри, сколько этих несчастных любовниц кидают.

– Да потому теперь любовницам и побочным детям мы даем мало цены, что у нас, извольте видеть, есть гораздо более драгоценные существа – законная супруга и законные дети, и, что всего отвратительнее, тут во всем этом притворство таится. Вспомни, например, хоть твой брак.

– Что ж мой брак? – воскликнула Софи, – я скорее вышла за какое-то чудовище, чем за человека; твоя жена – другое дело. Она милая…

– Прекрасно! – подхватил Бакланов, – я поэтому-то, по преимуществу, и привожу себя в пример: жена у меня, действительно, милая, добрая, умная, красивая, но между тем я не могу любить ее потому только, что она моя жена. Я, в сущности, не развратный человек, никогда им не был и теперь не таков, и жене моей не изменял ни разу.

– Я думаю! – подхватила Софи.

– Уверяю… Но поверишь ли, ангел мой, что каждая горничная, пришедшая ко мне, в своем новеньком платьице, подать поутру кофе, возбуждает во мне гораздо более страсти, чем моя супруга. Вот что оно значит, право-то по долгу!

– Очень просто! Женщина, которая принадлежит мужчине, для него не представляет интереса, а другие напротив.

– Нет, тут не то! За любовницей всегда остается право – отплатить мне тем же, такою же изменой, и это всякого удерживает: любовников верных своим любовницам гораздо более, чем мужей женам. За женой же никакого нет права: она моя раба… я могу ее за измену себе судить в суде… ее будет преследовать общественное мнение.

– Значит, надобно только, чтоб одинакие права имели мужчины и женщины.

– Совершенно! – воскликнул Бакланов: – во-первых, чтоб у женщин в обществе был такой же самостоятельный труд, как и у мужчин, и чтоб этим трудом они так же были нам необходимы, как и мы им своим… а что в отношении сердечных связей – надобно еще дальше идти: пускай я иду по улице в страстном, положим, состоянии.

– Ну? – сказала Софи с улыбкой.

– Попадается мне женщина, которая мне нравится и в подобном же настроении.

– Ну? – повторила Софи с заметным уже любопытством.

– Мы объясняемся и сходимся, и ты себе представить не можешь, какое даровитейшее поколение народилось бы таким образом.

Софи подобная теория показалось очень уж смелою.

– У вас, ведь, есть подобные женщины. Мне муж еще покойник сказывал, – проговорила она.

– О, то твари продажные! Я говорю о физически-нравственных влечениях, – сказал Бакланов.

– Ну, тогда бы вы, мужчины, переубивали друг друга: тебе бы понравилась одна, и другому она же.

– Пускай себе! Но все-таки в этом случае были бы искренние и неподдельные чувства, а не так, как теперь: какая-нибудь молоденькая бабенка своему старому хрычу-супругу говорит: «папаша, папочка!», а он ей: «мамочка, мамочка!», а обоим: ей противно и подумать об нем, а он уж не думает и ни о каких в мире женщинах.

– Вы это меня, что ли, описали? – спросила Софи.

– Да хоть бы и вас: а при другом, например, устройстве, вы глядите мне с любовью в очи, и пусть вас защищает какой угодно господин, я смело кидаюсь…

– Меня некому защищать, – сказала Софи, отодвигаясь несколько в угол кареты.

– В таком случае я еще смелей кидаюсь! – воскликнул Бакланов и в самом деле бросился к Софи, обнял ее и начал целовать.

Она сама его пламенно целовала.

– Вас страшно любить!.. – шептала она.

– Отчего?

– Вам наскучишь, и вы полюбите другую.

– Нет, женщину с огоньком, с истинною страстью, я никогда не разлюблю.

– Да где взять этого огонька, и какой он? – говорила Софи.

– О, тебе не для чего искать его!.. Он у тебя в каждом нерве, в каждой жилке сидит, – говорил Бакланов.

– Мне, знаешь, что кажется! – начала она после короткого молчания: – что я в любви к тебе очищаюсь от всей моей прошлой, ужасной жизни.

– А мне тут главное дорого, – отвечал Бакланов: – что у сердца моего покоится женщина не по долгу, а по чувству!

Часть пятая

1. Из крепкого лесу вырубленная кочерга

На Васильевском острове, в пятой линии, в одном из старинных и теплых домов, на дверях квартиры второго этажа, красиво обитых зеленым сукном, прибита была медная доска с лаконическою надписью: Тайный советник Ливанов.

В небольшой уютной зальце, в небольшой затем гостиной, в небольшом потом кабинетце и спальне жил сей мудрец века сего. Холостяк и сенатор, он каждодневно гулял верст по пяти пешком, обедал в Английском клубе и вряд ли не имел еще маленьких развлечений с нанимаемою им молоденькою горничной, потому что та, проходя мимо него, всегда как-то стыдливо и вместе с тем насмешливо потупляла глаза, да и сам Евсевий Осипович при этом смягчал и увлажнял некоторою нежностью свой орлиный взгляд.

В настоящий вечер, впрочем, при небольшом свете от лампы, у Евсевия Осиповича, около столика, уставленного всевозможными сластями, сидело еще другое молодое существо, Софи Ленева.

Сам Ливанов был, видимо, в добром и веселом расположении духа.

– На-ка, голубка, скушай эту дулю, – говорил он, подавая Софи огромную дюшеску.

Софи взяла и начала ее очищать ножом.

– Кушай-ка!.. ишь, сласть какая! словно любовь сладка! – говорил Евсевий Осипович.

– Нет, слаще! – отвечала Софи с улыбкой.

– Слаще? – переспросил Евсевий Осипович. – А ты сама много любила?

– Нет, немного.

– Немного, да хорошо?

– Да, недурно, – отвечала Софи лукаво.

У Евсевия Осиповича глаза поразгорелись.

– Ишь ведь ты какая прелесть – а? Прелестная!

– Состарилась уж, дядюшка!.. Какая уж прелестная!

– Ты-то? Да ты еще каждого человека можешь уморить и оживить.

У старика все больше и больше разгорались глаза.

– Что же я за страшная такая, что уморить могу?..

– Умрет всякий!.. – повторил Евсевий Осипович каким-то растерянным голосом.

Он встретил Софи совершенно случайно в английском магазине; потом сам беспрестанно начал ездить к ней и ее звал к себе.

Бакланов у него тоже бывал, но гораздо реже.

– Ты, говорят, там, – продолжал Евсевий Осипович, не спуская глаз с Софи, – говорят, с жидом каким-то старым жила?

Софи покраснела.

– Как вам, дядюшка, не грех это говорить!.. – произнесла она, не зная, обижаться ли ей или смеяться.

– Право, говорят, – повторил Евсевий Осипович.

Софи отрицательно покачала головой.

– Ну, а этого любишь теперь?.. – прибавил он, таинственно и слегка показав глазами в сторону.

– Какого этого?.. – спросила Софи улыбаясь.

– Ну, этого, свистуна-то, Бакланова! – отвечал Евсевий Осипович.

– Да что это? Что вы все выдумываете?

– Ну, вот, рассказывай!.. Вместе живут в одной гостинице.

– Так что же, что вместе? Мы хорошие знакомые, родня, приехали и остановились в отеле: я в бельэтаже, а он – я там и не знаю, где…

– Да, да, так вот и поверим! – говорил Евсевий Осипович: – ты ведь хитрая.

Он не без умысла хотел напомнить Софи то положение, в котором она находилась.

– Мне, дядюшка, решительно все равно, что бы про меня ни говорили, – сказала она, заметно уже обидевшись.

– Это так! – подхватил Евсевий Осипович: – «Свободный дух укажет мне теченья путь сто крат!» – продекламировал он даже стихами.

Софи опять слегка улыбнулась.

– Жизнь – вещь неповторимая! – продолжал он: – люби кого хочешь и как хочешь, коли желает того душа твоя… Эти, например, беседы у камелька, эти свидания под сенью ветвей древесных, в присутствии одной таинственной царицы ночи, волшебницы Гекаты – а? – я думаю, в сердце твоем поднимают самые тончайшие фибры.

– Я не знаю, – отвечала Софи.

– Дух человеческий, – говорил Евсевий Осипович, нахмуривая брови, – замкнут, заключен в наших телесах, но при этом, так сказать, нервно-электрическом потрясении он обособляется, вне пределов своей прежней силы становится: человек в эти минуты мир

объемлет… трав прозябание чувствует… слышит горний полет ангелов… как вот этот нынешний милый поэт, Фет, кажется, сказал: «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало» – этакая, например, тончайшая способность радоваться и наслаждаться природой, и все от любви это, – великое дело любовь!

– Великое, великое! – повторила за ним и Софи.

– Богатства твои, – продолжал Евсевий Осипович, устремляя пламенный взгляд на свою слушательницу, – неистощимы; не скупись на них и дай, как древняя гетера, от своей роскошной трапезы вкусить и воину, и мудрецу, и юноше, и старцу!

– Что вы, благодарю вас, я не хочу этого! – воскликнула Софи.

– Захоти, не маленькая, как говорит российская поговорка. Ах, ты, лапка! – заключил он и поцеловал у Софи руку, а потом вдруг прибавил:

– А что, ты любишь деньги?

– Люблю, – отвечала та.

– А много у тебя их?

– Есть-таки!

– А все, чай, меньше, чем у меня?

– А у вас много?

– Много! Тысяч триста одними чистыми деньгами, кроме имения и вещей… Все бы, кажется, отдал, кабы какая-нибудь лапка полюбила.

– А вам еще хочется, чтобы вас полюбили? – спросила Софи.

– Очень!.. очень!.. – отвечал почти с азартом Евсевий Осипович. – Во мне есть что-то нестареющееся; как говорится: стар да петух, молод да протух – пониме?

– Как не пониме, – сказала Софи.

Евсевий Осипович умел на все тоны говорить: и тоном ученого человека, и государственного мужа, и просто русского балагура.

– Здесь, вероятно, охотницы найдутся, – сказала Софи.

Старик начал ее уж искренно забавлять.

– Что ж найдутся?.. У нас ведь тоже, мать, рыло есть: разберем, что барское, что хамское… давай нам настоящего!.. Вот этакая бы, например, прелесть, как ты, полюбила, – распоясывай, значит мошну на все ремни!

– Я? – спросила Софи и захохотала.

– Все бы отдал, всего бы именья наследницей сделал! – продолжал Евсевий Осипович, как бы не слыхав сделанного ему вопроса.

Софи пожала плечами.

– Я, дядюшка, не торгую моими чувствами, – сказала она, явно обидевшись.

Евсевий Осипович нахмурился.

– У вас их и не торгуют, а хотят заслужить их…

Софи грустно усмехнулась.

– Очень уж вы меня, дядюшка, дурно третируете, – произнесла она.

Лицо Евсевия Осиповича окончательно приняло злое выражение.

– Я третирую и третировал вас, – начал он с расстановкой, – как прелестнейшую женщину, и если несколько навязчиво возносил мой фимиам вашей красоте, то извините; я все-таки полагал, что бью по нежным и могущим издать симпатичные звуки струнам женского сердца…

Слова эти сконфузили Софи; положение ее сделалось не совсем ловко.

Евсевий Осипович сидел молча и надувшись.

– А что, правда ли, дядюшка, что имения у нас правительство выкупит? – заговорила она, чтобы возобновить хоть сколько-нибудь приличные отношения с хозяином.

– Не знаю-с! – отвечал Евсевий Осипович.

Софи опять на несколько времени замолчала.

– Вы во дворце, дядюшка, у государя бывали? – спросила она, надеясь задеть его за честолюбивую струну.

– Бывал-с! – отвечал и на это лаконически Ливанов.

Софи внутренно покатывалась со смеху.

– Вы, должно быть, в молодости, дядюшка, ужасно были любимы и избалованы женщинами? – свернула было она разговор на прежний предмет; но и то не подействовало: Евсевий Осипович даже не ответил ей.

Вслед затем раздался звонок.

Софи чуть не припрыгнула от радости на месте, а Евсевий Осипович только посмотрел на нее своим холодным и стальным взглядом.

Приехал Бакланов.

Евсевий Осипович почти не ответил ему на поклон.

– Я за вами, кузина, – сказал тот, обращаясь к Софи.

– Ах, да, поедемте, – отвечала она, вставая и надевая шляпку.

Евсевий Осипович продолжал сидеть с нахмуренным лбом.

– Вы, дядюшка, пожалуете ко мне в пятницу? У меня будет кое-кто из моих знакомых, – отнесся к нему Бакланов.

Несколько минут продолжалось довольно странное молчание.

Евсевий Осипович наконец обратился к Софи.

– А вы у него будете? – спросил он ее ядовито.

– Если позовет, – отвечала та, кутаясь в шаль.

– Без сомнения, – подхватил Бакланов.

– Хорошо-с, приеду, – сказал ему Евсевий Осипович.

Молодые люди вскоре потом уехали.

Ливанов продолжал сидеть, по крайней мере, часа два; лицо его почти беспрерывно то хмурилось, то волновалось.

Не мешает при этом заметить, что ему было около 70 лет.

2. Бакланов-эстетик

Бакланов поехал с Софи в одной карете.

– Что этот господин надувшись так сидит? – спросил он.

– Не знаю, что-то не в духе, – отвечала она, не находя, видно, нужным объяснять более подробно. – А ты у кого был? – прибавила она.

– У Проскриптского! – отвечал Бакланов недовольным голосом.

– Ну, и что же там?

– Так, чорт знает что: три каких-то небольших комнатки, и в них по крайней мере до пятидесяти человек, и все это, изволите видеть, новые, передовые люди…

И Бакланов с грустью развел руками.

– В мою молодость, когда я был здесь, – продолжал он, – Петербург был чиновник, низкопоклонник, торгаш, составитель карьеры, все, что ты хочешь, но все-таки это были взрослые люди, которые имели перед собой и не совсем, может быть, чистые, но очень ясные и определенные цели, а тут какие-то мальчишки, с бессмысленными ребяческими стремлениями. Весь город обратился в мальчишек…

– Но где же весь город? – возразила Софи.

– Разумеется, не по числу, но все-таки на них смотрят, в них видят что-то такое… думают, наконец, что это сила.

– Зачем же ты ездишь в это общество, когда оно не нравится тебе? – спросила Софи.

– Что ж не нравится?.. Во-первых, сам хозяин очень умный человек, со сведениями, кабинетный только… все равно что схимник. Я знал его еще в университете. Он и тогда ничего живого не понимал… воздухом дышать не считал за необходимость, искусства ни одного не признавал, а только – вот этак, знаешь, ломать все под

идею.

Софи покачала головой, как будто бы и она в самом деле находила, что это нехорошо.

– Но сам-то еще Бог с ним! – продолжал Бакланов: – может быть, и искренно убежден в том, что говорит… По крайней мере, сколько я его знаю, он всегда более или менее держался одного… Но что это за общество, которое его окружает, этот цвет последователей его ярых, это ужасно! – воскликнул Бакланов.

– Кто ж это такие? – спросила его Софи равнодушно.

– Разные господа, и статские и военные, нелепее которых трудно что-нибудь и вообразить себе: в голове положительно ничего! пусто! свищ!.. Заберутся в это пустое пространство две-три модных идейки… Что они такое, откуда вытекают? – он и знать этого не хочет, а прет только в одну сторону, как лошадь с колером, а другие при этом еще и говоруны; точно мельницы, у которых нет нужных колес, а есть лишние: мелет, стучит, а ничего не вымалывает.

– Это ужасно! – повторила при этом Софи.

– Во-вторых, наша братия помещики: один из них, например, я глубоко убежден, крепостник адский, а кричит и требует в России фаланстерии.

– Что такое фаланстерия? – перебила его Софи.

– Так, чтобы все государство сделать вроде фабрики или казарм; чтобы люди одинаково жили и одевались.

– Что за глупости! – возразила Софи.

Бакланов, в ответ ей, пожал только плечами.

– Наконец семинаристы-дуботолки, – продолжал он, – им еще в риторике лозами отбили печени и воспитали в них ненависть ко всему, еже есть сущего в мире.

– Это смешные, должно быть! – заметила Софи.

– Да, не благоухают светскостью! – подхватил Бакланов: – наконец здешние студенты, которые ничего не делют и ничем не занимаются… Мы тоже ничего в наше время не делали; но, по крайней мере, сознавали и стыдились этого, а они еще гордятся… гражданами они, изволите видеть, хотят быть, права земли русской хотят отстаивать… какие?.. кто их просит о том?

И Бакланов склонил даже голову.

– Чтоб охарактеризовать этот круг, – прибавил он с улыбкой, – дети вашего милого Эммануила Захаровича тут, и в числе самых почетных гостей.

– По богатству, может быть, – объяснила Софи.

– То-то и есть, что нет! А по уму, по направлению своему. Они ходят, говорят, ораторствуют. Это дрянь баснословная! – воскликнул Бакланов.

– Что ж, тебя-то это почему так тревожит? – спросила наконец Софи.

– Нет, это нельзя, нельзя! – говорил он: – этому надобно всеми средствами противодействовать!

– Но как ты будешь противодействовать?

– Я буду издавать журнал на эстетических, а не на случайных основаниях, и буду постепенно обличать их бессмыслицу и безобразие. Главное, мне Ливанова надобно затянуть в это дело. Он человек умный и со связями с настоящими учеными.

– Нет, он не станет: да теперь, я думаю, ничем уж и заниматься не может.

– Станет, потому что – что же может быть почтеннее и благороднее для старика, как не возвращать общество к человеческому смыслу?

Софи опять покачала отрицательно головой.

– Не советовала бы я тебе с ним сходиться: будет еще чаще ездить к нам, а это очень неприятно! – проговорила она.

– Мне кроме связей его, – подхватил Бакланов, – надо для денег втянуть; у него их пропасть, а у меня пока нет!

– Да денег возьми у меня сколько хочешь, а то я хуже проживу их.

– Mercі. А ты много здесь прожила?

– Ужасно! тысяч десять уж! – воскликнул Бакланов.

– Боже мой! Боже мой! – воскликнул Бакланов.

– Я не знаю, они у меня, как вода, так и плывут из рук! – объяснила Софи.

3. Евсевий Осипович совсем прелестен

В Знаменской гостинице есть прекрасная читальная комната.

Бакланов велел ее приготовить для своего вечера.

У содержателя отеля он взял серебряный самовар и весь серебряный сервиз; сказал, чтобы служили двое людей, и велел им надеть белые галстуки.

Он любил эту маленькую роскошь и вообще привык к ней в своей семейной жизни.

На этот вечер, вместе с прочими гостями, был приглашен и автор сего рассказа.

Извиняюсь перед читателем, что для лучшего разъяснения смысла событий я, по необходимости, должен ввести самого себя в мой роман: дело в том, что Бакланов был мой старый знакомый. Приехав в Петербург, он довольно часто бывал у меня, тосковал о том, о сем: печалился, что нет ни одного чисто-эстетического журнала.

Получив приглашение, я предугадывал, что умысел иной тут был.

По приезде моем, Бакланов прежде всего представил меня Софи, которая, совершенно как хозяйка, сидела за чайным прибором.

– Ваша супруга? – спросил я, зная, что он уже несколько лет был женат.

– Нет, это кузина моя, m-me Ленева! Она ненадолго приехала в Петербург и была так добра, что взялась быть у меня хозяйкой.

По маленьким розовым пятнышкам, выступившим при этом на щечках Софи, и по не совсем спокойному поклону, я сейчас же понял, что тут было что-то такое, да не то!

Бакланов, между тем, повернул меня и познакомил с другим молодым человеком, джентельменски одетым и с чрезвычайно красивыми бакенбардами.

– Monsieur Юрасов!.. наш бывший губернский стряпчий, а теперь обер-секретарь, – сказал он.

Я и без того, впрочем, догдывался, что это должен быть правовед и лицеист.

Бакланов затем обернул меня в третью сторону – там стоял в толстом драповом сюртуке, с низко опущенною на талии сабельною перевязью, молоденький офицер, с вздернутым носом и вообще с незначительною физиономией.

– Monsieur Петцолов! – сказал он: – сын нашей бывшей

губернаторши.

Я не без любопытства посмотрел на этого господина, бывшего некогда столь милым шалуном и теперь выросшего почти до сажени. На мой поклон он поклонился полунебрежно и опять оперся на свою саблю. Этой позой он, кажется, по преимуществу был доволен.

Мы уселись.

– Я вот сейчас, – начал Бакланов, – рассказывал этим господам, что намерен приступить к изданию журнала чисто-эстетического.

Я покраснел и потупился при этом.

Последнее время столько господ говорили мне о своем намерении издавать журнал, столько приступали к этому, что стало, наконец, совестно слушать, как будто бы взрослый человек вам говорил: «А я вот сяду на палочку верхом, да и поеду!».

«Ну и поезжай, – думалось мне, – дурак этакий!»

Пробурчав что-то такое в ответ Бакланову и воспользовавшись тем, что в это время был разлит чай, я поспешил отойти от него и сесть около хозяйки. Здесь мое внимание, чтобы не сказать – сердце, было поглощено самым очаровательнейшим образом: изящнее и благороднее выражения лица, как было у Софи, я не встречал. Ее густые смолянистые волосы лежали у ней на голове толстыми змеями. Цвет кожи был нежности Киприды в ту минуту, как та вышла из пены морской. Талия именно там и возвышалась, где желалось того самому прихотливому вкусу, там и суживалась, где нужно было, чтобы было узко. Одета она была не то, чтобы как дома, и не то, чтобы как для гостей.

«Господи! – думал я, – родятся же на свете такие красавицы, от одного созерцания которых чувствуешь неописанный воторг».

Бакланов, кажется, это заметил.

– Кузина – почитательница ваших сочинений, – сказал он.

– Ах да, – отвечала Софи, кидая на меня убийственный взгляд.

Но я видел очень хорошо, что ангел этот не читал ни строчки моих сочинений, да и вряд ли что-нибудь читал!

На моем, довольно продолжительном веку, мне приходилось видеть три формации женщин: девиц и дам моей юности, которые все читали; потом, в лета более возмужалые, – девиц и дам ничего не читавших, но зато отлично наряжавшихся и превосходно мотавших деньги, к разряду которых, собственно, и принадлежала Софи, и наконец, с дальнейшим ходом рассказа, мне, может быть, придется представить вниманию читателя барышню совсем нынешнюю, которая мало что читает, но сейчас все и на практику переводит.

Во время всех моих этих рассуждений лакей вошел и доложил:

– Генерал Ливанов.

Бакланов встал и, как человек светский, нисколько не принял раболепной позы, а, напротив, как-то еще небрежней закинул свои волосы назад; но вошел решительно величественный старик.

– Здравствуйте! – сказал он, клняясь всем общим поклоном, и потом тотчас же сел напротив Софи.

Все мы: молодцеватый Бакланов, ваш покорный слуга, не совсем худощавый, сухопарый правовед и жиденький Петцолов показались против него решительно детьми, и одна только Софи спорила с ним во впечатлении, и то своею красотой.

Когда Ливанов, быв еще старым директором, докладывал однажды министру, тот вдруг обернулся к нему и вскричал:

– Да кто же из нас министр, вы или я? Вы таким тоном мне говорите!

– Приближаясь к розе, ваше высокопревосходительство, невольно приемлешь ее запах! – отвечал на это Ливанов.

И министр поверил ему.

Я видел, что старик был одет в самый новый парик, в отличнейший дорогого сукна фрак, в брильянтовые запонки и в щегольской рубашке. От него так и благоухало тончайшими духами.

Бакланов стал ему рекомендовать нас.

При моей фамилии Ливанов несколько подолее и попристальнее, чем на других, остановил свой взгляд на мне.

Софи налила чаю и подала ему.

Он ее поблагодарил величественным, но молчаливым наклонением головы.

Бакланов между тем все что-то егозил и беспокоился.

– Мы вот, дядюшка, сейчас рассуждали, – начал он, – какое безобразие нынче происходит в литературе: Пушкина называют альбомным поэтом, и всюду лезет грязь и сало этой реальной школы! Какие у нас дарования: какой-нибудь в Москве Варламов, Мочалов, здесь – Брюллов, Глинка, – все это перемерло; другие, которые еще остались – стареются, новых никого не является… Надобно же как-нибудь все это поднять и возбудить.

Евсевий Осипович, слушая племянника, при конце зажмуривал даже глаза, как бы затем, чтобы ярче вообразить себе рисуемую перед ним картину.

– Возбудить никогда ничего нельзя-с!.. – заговорил он наконец. – Все возбужденное всегда ложно и фальшиво: сила и энергия пьяного

человека не есть сила, сон напившегося опиума не есть успокоение.

– Но отчего? Я не так, может быть, выразился; ну, не возбудить, а развить! – возразил ему Бакланов.

– Это все равно, не в слове дело, – перебил его Евсевий Осипович: – вам, например, никак теперь не возбудить и не развить идеальной пластики греческой; в мире, во всем человечестве нет этого представления. Вам рафаэлевских мадонн не возвратить, как не возвратить и самого католицизма с его деталями. Вот вам, французская псевдоклассика и вообще вся эпоха Ренессанс были возбужденные, – что они принесли нам? Звучные, пустые, без содержания слова, прихотливые, затейливые, но без настоящего вкуса и смака формы.

Говоря это, Евсевий Осипович взмахивал глазами то на меня, то на Софи, и вообще, кажется, хотел уронить этим спором в глазах наших Бакланова.

– Однако музыка есть еще до сих пор! – воскликнул тот.

– Какая-с? Революционная! – подхватил Евсевий Осипович: – вы слыхали ли a l'armi?.. Пафос этой оперы на конце блеснувших кинжалов, и раскусите это! – заключил он, подмигнув лукаво на всех гостей.

– Я совсем не то говорю: я не хочу только этого крайнего развития реализма, – возразил было Бакланов.

Ливанов не обратил внимания на его слова.

– Мир есть, – продолжал он, – волнообразное и феноменальное обнаружение одного и того же вечного духа: одна волна стала, взошла до своего maximum'a и пала, не подымешь уж ее!.. Неоткуда этой силы взять и влить ее внутрь мира, да и отверстий нет для того.

– Ведь это, дядюшка, известная старая вещь: мистицизм и пантеизм! – возразил было опять ему Бакланов.

– Что ж мистицизм! – воскликнул, весь побагровев, Евсевий Осипович: – что вы мне в укор ставите то, чего вы и не нюхивали… Для моего Бога нет формы: я верю в Его вечную, вездесущую и всетворящую силу. Шутку какую взяли: мистицизм и пантеизм! Так вот сейчас, как круг пальца повернул, и порешил все!

При этих словах Евсевий Осипович беспрестанно уж кидал на меня взгляды; но я дал себе слово сохранять молчание и, кроме того, нечего греха таить, больше всех их разговоров меня занимала Софи.

«Все это, – думал я, – суета; а вот прелестное-то Божье творенье!»

Петцолов также, видно, разделял мое мнение и, положив по-прежнему руку на саблю, все время глядел на Софи.

Но в разговор вмешался правовед и решился, как видно,

поддерживать Бакланова.

– Вы изволите говорить, – обратился он вежливо к Ливанову, – что не вольешь силы. Однако мы видим, что один человек делает целую эпоху: Петр, например.

– Что ж ваш Петр? – воскликнул и ему Евсевий Осипович: – втиснул в народ несколько насильственных государственных форм, но к чему они годны: и ваша канцелярская тайна, и крепостное право, да и войско ваше, пожалуй, так называемое регулярное.

– Однако без этого регулярного войска другие государства нас завоевали бы.

– Ну, это еще старуха-то надвое сказала; народ целый трудно завоевать. Он как еж; колется со всех сторон. В 1612 и в 1812 гг. народ отбил неприятеля, а вот как вы в Крым-то с одним регулярным войском пошли, так каково нас отзвонили! Формы государственные нельзя-с брать ни у кого; это не наука, которая обща всем!.. Распорядки у каждой страны должны быть свои, сообразно цивилизации народа, его нравственным, климатическим и географическим условиям, а у нас, – нате, вот вам бранденбургские законы, и валяй по ним: ни тпру, ни ну, ни в сторону и вышло!.. Вы ведь, кажется, обер-секретарь сената?

– Точно так.

– Хорошо у нас идет, хорошо? – спрашивал Евсевий Осипович.

На этих словах его я едва не вмешался: Ливанов, вероятно, совершенно забыл, как мы с ним в 44 году обедали в одном доме, и он громогласно и дерзко объяснял целый обед, что все у нас идет хорошо и все имеет полнейший исторический смысл. И что же теперь он говорил?

Бакланов, кажется, тоже это понимал и был в самом досадливом расположении духа.

– По-вашему, значит, – начал он, – надо признать в искусстве совершеннейший реализм; рисовать, например, позволяется только вид фабрик, машин, ну, и, пожалуй, портреты с некоторых житейских сцен, а в гражданском порядке, разумеется, социализм: на полумере зачем уж останавливаться!

– Вы вот опять этакими большими вещами как мячиком играете! – начал ему возражать сначала довольно тихо Ливанов. – Социализм? Что такое социализм? Христианство… сила, с которою распадающаяся Греция смогла стать против вашего государственного Рима… религия рабов… надежда и чаянье бедных и угнетенных. Что вы на социализм-то пофыркиваете? Оближите еще прежде пальчики, да потом и

кушайте.

– Однако нельзя же, – возразил ему правовед, – при том, по крайней мере, состоянии, в котором находится теперь Европа, приводить его в практику: у нас все города, все жилища выстроены не так.

– Я не знаю, что можно и что не можно, а знаю только, чего жаждет душа моя. Хочу, чтобы равен был один человек человеку: хитростью и лукавством мы только вскочили один другому на шею и едем.

– Все это прекрасно, но мы бестолково к этому идем! Посмотрите, что кругом вас делается! – воскликнул Бакланов.

– Не знаю-с, толково ли, не толково ли, – отвечал ему почти с презрением Ливанов, – но знаю, что идем мы!.. идет и Европа!.. Шалит она, если по временам подкуривает настоящему распорядку!.. Все очень хорошо понимают, что человеческие общества стоят на вулкане. Вот откуда идут эти беспокойства и стремления к реформе; но враг идет, дудки! Не убаюкаете его ни вашими искусствами, открытыми для всех в музеях и картинных галлереях, ни божеским, по вашему мнению, правосудием ваших жюри, ни превосходными парламентскими речами, ни канальскими словами в Тюльери, – враг идет! И в лице английского пролетариата, и во французском работнике, и в угнетенном итальянце, и в истерзанном негре, а там, пожалуй, сдуру-то, и мы, русские, попристанем, по пословице, что и наша рука не щербата, – а? Так ли, лапка? Говорит ли при этом твое юное сердце? – заключил Евсевий Осипович, обращаясь уже к Софи.

– Очень, – отвечала она, не поняв и половины его слов.

– Внемли Богу истины и правды, человек! – продолжал Евсевий Осипович, потрясая рукою: – изухищряйся умом твоим, как знаешь, и спускай твой общественный корабль в более свободное и правильное море: не зажимай ушей от стона гладных и хладных! Скорей срывай с себя багряницу и сокровища свои, и кидай их в толпу, иначе она сама придет и возьмет у тебя все…

Старика слушали со вниманием даже стоявшие тут лакеи.

Правовед начал несколько женироваться.

– Опасность, которую вы так поэтично описали, не так еще, кажется, близка! – возразил он не совсем, впрочем, самостоятельным голосом.

– А если б и не так близка?.. Благородно оставлять дело в таком положении?.. Благородно?.. – крикнул на него Евсевий Осипович.

Вежливый обер-секретарь потупился.

– Покуда хлебное дерево не распространено по всему земному шару, дело нельзя поправить: для того, чтобы сделать одного образованного человека, непременно надобно пять-шесть чернорабочих сил!

– Да что вы мне все этими подробностями-то тычете глаза! – восклицал Евсевий Осипович, вставая и смотря на часы. – Я вам говорю о голосе вечной и величайшей правды, раздающемся из-под всякого исторического, материалистического мусору; а вы мне зажимаете рот мелочами… дрянью… сегодняшним… Прощайте-ка однако, мне пора ехать к министру на раут, – прибавил он и начал со всеми целоваться и даже офицера облобызал троекратно. – Ну, сирена, столь же заманчивая и столь же холодная, поцелуй же и ты! – сказал он Софи.

Та его сейчас же поцеловала.

– Прощайте-с, – сказал он собственно мне, лукаво улыбнувшись.

– Каков старичишка, а? – сказал Бакланов, когда дядя уехал. – Эка шельма! – вскричал он и затопал ногами.

Софи покачала ему укоризненно головой.

– Не могу я, кузина, этого переносить! – горячился Бакланов: – теперь вот о Боге, о вечной правде и всетворящей любви говорил; а туда поедет, оду хвалебную Державина будет какому-нибудь господину читать. Что он у вас в сенате, например, делает? – обратился он к обер-секретарю.

– Я не знаю, собственно, – отвечал тот с приличною ему скромностью: – это в другом департаменте; но говорят, что слывет очень умным человеком и ничего не делает, больше рассказывает старичкам разные скабрезные анекдоты.

– А, каков каналья! – продолжал восклицать Бакланов.

Но мне старик, напротив, понравился: предаровитейшей натуры был человек!

4. Иродиада

Через несколько дней Бакланов опять приехал ко мне.

– Какой случай, – начал он: – у кузины моей (при этом он немного покраснел) украдены были деньги в билете. На днях ее воровка явилась в банк; ее захватили, разумеется, и теперь она пишет из тюрьмы и просит приехать к ней меня или Софи.

– Зачем же?

– Не знаю. Поедемте, пожалуйста; вдвоем нас скорее, может быть,

пропустят.

– Извольте! – отвечал я.

Мы поехали; нас сейчас же впустили и провели в большую приемную залу. Через несколько минут к нам вышла Иродиада, худая, бледная, но все еще с довольно красивым, или, по крайней мере, умным лицом.

Бакланов со мною и с нею отошел несколько в сторону.

Иродиада на меня подозрительно посматривала.

– Что тебе, любезная, нужно от меня? – начал Бакланов.

– Я, Александр Николаевич, так как в несчастье моем взята была теперича за кражу денег у Софьи Петровны…

– Ну, так что ж такое? Ведь ты украла их?

– Украла-с, и так как я тоже теперь признание хочу сделать во всем… не знаю, примут ли от меня-то господа чиновники. Я желаю, чтоб и вы были свидетелем тому.

– С большим удовольствием, – отвечал Бакланов, – но к чему тут мое свидетельство?

– Я тоже теперь, – продолжала Иродиада, как бы скорей говоря какую-то затверженную речь, – жила ведь с господином Мозером.

– Знаю это, – произнес Бакланов.

Я хотел было отойти в сторону.

– Ничего, останьтесь! – сказал мне Бакланов.

– Останьтесь, ничего-с! – повторила за ним и Иродиада: – тогда, живши у старой барышни, – продолжала она, – словно в царстве небесном была, покой в душе и сердце своем чувствовала, клятву даже имела, чтобы в монастырь идти…

Проговоря это, Иродиада на несколько времени замолчала и потупилась.

– Отчего же ты не пошла? – спросил уж я ее.

– Враг, сударь, дъявол не допустил мне того! Как вольную в руки взяла, вдруг воли и свободы разной захотелось: вместо монастыря к Софье Петровне пошла-с.

– Ты, любезная, и тут могла бы спасаться, – заметил ей Бакланов.

– Нет-с, сударь, какое уж спасенье в этакой суете… При старой барышне, бывало, как на коленках целые ночи промаливались, враг-то человеческий иной раз и подойдет, да как видит человека-то крестами огражденного, и отойдет, а тут как лба-то с утра не перекрестишь, так и доступ ему всегда есть.

Мы невольно взглянули с Баклановым друг на друга.

– А тут он видит, что я клятву свою преступила, и сам в образ

человека вошел и в когти взял.

– Это в Мозера-то? – спросил Бакланов.

– Да-с, разве люди они? – отвечала Иродиада.

– Не люди?

– Нет-с; Христа убили, что уж тут!

Иродиада опять при этом потупилась.

– Не знаю, как примут от меня чиновники, – снова заговорила она, – а что этот самый Мозер… Конечно, что он человек теперь мертвый, а что он самый и бухгалтера в остроге отравил и полковничьих людей убить господина подговаривал. Через одного человека и переговоры шли; это я за верное знаю.

Мы опять переглянулись с Баклановым.

– Через какого же это человека? – спросил он.

– Для чего других, сударь, путать? Про себя я ничего скрыть не желаю, а других не для чего… Теперь и насчет смерти господина Мозера… может, кого клепать станут… Я говорила господам чиновникам, они мне на это только и сказали: «ну, говорят, плети больше», а что это я ему смерть причинила.

– То есть отравила его? – спросил Бакланов.

– Да-с, тоже они, надругавшись и насмеявшись надо мной, опять было стали ходить ко мне и все спрашивали меня: кто это сочинение тогда написал-с? Я им сначала сказала, а потом, как Виктора Петровича в острог посадили, сама тоже испугалась, чтоб и мне чего не было, и сделала им это.

– Чем же ты отравила его? – спросил Бакланов.

– Мышьячком-с… Для крыс было, для дому-с куплено, – в чай им и подлила-с.

– Неужели же он не расчухал?

– Спрашивали-с: «что, говорит, чем это пахнет?». Я говорю, – вода у нас нехороша.

– Сколько ты, однако, совершила преступлений! – невольно повторил я.

Иродиада посмотрела на меня.

– Что, сударь, так как, значит, первого своего обещания не сдержамши, все одно в геене быть должно… в отчаянности все это больше делала… Здешние муки супротив адских много легче, пускай уж здесь помучат.

– Что же это тебе, тетушка Биби, что ли, рассказывала? – спросил ее Бакланов.

– Что, сударь, тетушка Биби? Не одни они, и сама своим умом

думала.

Бакланов усмехнулся.

– Вы сделайте милость, Александр Николаевич, чтобы все это господа чиновники прописали.

– Вероятно, пропишут… Что им тебя жалеть!

– Сделайте милость! Я за тем и писала к вам-с! – сказала Иродиада, а потом поклонилась нам и уведена была солдатом в отделение.

– Ведь это религиозное помешательство! – говорил мне Бакланов, когда мы ехали с ним домой: – из одного неисполненного обещания целый ряд преступлений… Наделало ли, я вас спрашиваю, что-нибудь столько вреда человеку, как религия! – восклицал он.

5. Бакланов-публицист

Очень невдолге герой мой начал на моих глазах переделываться. Об эстетическом журнале он не говорил уже ни слова, а напротив, – в речах его начали появляться такого рода фразы, что, покуда самый последний бедняк не сыт, ни один честный богач не должен спать спокойно.

Всем этим он становился мне бесконечно мил: какое общее я видел в нем явление всей этой шумящей около меня, как пущенная шутиха, жизни!

Софи также как будто бы становилась ко мне все более благосклонною. Главною причиною ее внимания служило, кажется, то, что около этого времени в нашем постоянном обществе начала появляться любовь к литераторам и происходили так называемые литературные чтения. Чтобы достать на них билет, Бакланов прискакал ко мне, как сумасшедший, велел мне, по приказанию Софи, сейчас же ехать и доставать. Я поехал и достал. Софи была на этом чтении. Я читал, и Софи это видела.

Но, впрочем, как рассказывал мне Бакланов, она говорила, что собственно душки были только Майков и Полонский…

Передав это, Бакланов однако сейчас же прибавил, что Софи непременно требует, чтобы я сегодня же приехал к ней, и все мы поедем прокатиться на рогатку.

Я знал, из какого суетного и минутного чувства был предметом внимания, которое и прежде еще стяжал от коварных петербургских дам; но все-таки не мог удержаться и поехал.

Войдя в номер Софи, мы вошли в какое-то жилище феи. Она успела уже накупить себе ковров, бронзы, фарфора.

M-me Круаль, занявшая при Эммануиле Захаровиче место Софи и приехавшая последнее время с ним в Петербург, была у ней. В прелестной шляпке и прелестном подобранном платье, она смотрела в окно…

Софи тоже была совсем готова.

Петцолов, в несколько мечтательной позе, стоял, опершись на камин.

– Мы давно вас ждем! – сказала Софи. – Вероятно, все это monsieur Писемский! Ему не хочется с нами ехать.

– Напротив! – отвечал я и чувствовал, что покраснел при этом до ушей.

– Я с monsieur Писемским сяду на задней скамейке, а madame Круаль с monsieur Петцоловым на передней, а ты на козла с кучером! – сказала Софи Бакланову.

– Fort bien! – отвечал он.

Мы все вышли и уселись.

В воздухе совсем почти стемнело.

За заставой вьюга начала слепить нам глаза.

Тройка неслась что есть духу.

Я чувствовал, что плечо Софи в салопе прикасалось к моей руке, и, при малейшем наклонении саней, она прижималась ко мне.

По временам я видел ее лицо, блиставшее даже в темноте красотою.

Чорт знает, что такое происходило со мной!

За обедом я держал глаза потупленными вниз и слышал только, что Софи и madame Круаль щебетали между собой, как птички. Изредка к ним приставал и Петцолов.

Бакланов был что-то очень серьезен.

– Вы знаете, Иродиаду совсем выпустили из острога на поруки к какому-то ковенскому купцу, – сказал он.

Я посмотрел на него.

– Как она говорила: в полиции ничего не записано, только и сказано, что билет Софи она нашла.

Я улыбнулся.

– Значит, все подкуплено. Можно ли жить в подобном государстве?

– Тут не государство виновато, – заметил я.

– Нет-с, государство! – возразил с ударением Бакланов. – Я вот написал было об этом статью, – не пропустили… Теперь пишу другую, о крестьянском деле, и тоже что будет – неизвестно.

– Поздно уж! – сказал я.

– Что ж, нельзя же так сидеть, сложа руки, – возразил Бакланов: – не знаю, я читал ее у Проскриптского; хвалят.

– Вас там дурачат, если хвалят, – сказал я ему серьезно.

Бакланов несколько этим обиделся.

Вашим словам в этом случае нельзя вполне доверять: вы человек другого лагеря, – проговорил он.

– Как вам угодно! – отвечал я.

В это время встали из-за стола.

– Mesdames, voulez-vous danser? – сказал Бакланов, садясь за рояль и начав веселую кадриль.

Madame Круаль сейчас сама подхватила Петцолова за руку и стала с ним; но ему, кажется, хотелось не того; он ястребом глядел на Софи.

– Monsieur Писемский! Со мной извольте, – скомандовала та.

Я, делать нечего, пошел.

Софи явно со мной кокетничала.

– Сядемте лучше! – сказала она в четвертой фигуре и ушла со мной чуть ли не в угол.

Я сел около нее.

– Вам все это, верно, надоело… скучно!.. – сказала она.

– С такою прелестной дамой, как вы, разве может быть что-нибудь скучно? – отвечал я.

– А я разве прелестна? – спросила она невиннейшим голосом.

– Больше чем прелестны, вы красавица.

– О, какой вы льстец! – воскликнула Софи.

В это время Петцолов с нахмуренным лбом давно уже стоял перед нами и дожидался.

– Ах, как это несносно! – сказала Софи, нехотя вставая и переходя к нему.

Петцолов, кажется, ужасно на нее сердился; но, не смея ничего ей сказать, окрысился на свою даму.

– Отчего вы не протанцуете канкана? – сказал он ей грубо.

– Voulez-vous? – сказала та.

– Madame Круаль хочет танцовать канкан, – отнесся Петцолов к Бакланову.

– Volontiers, – сказал тот и еще веселей заиграл.

– И Софи должна танцовать, – прибавил он.

Француженка, подняв юбку платья, раза два мотнула ножкой.

– А вы? – обратился я к Софи.

– Вы хотите? – сказала она и прошлась, ловко пошевеливая всею талией и подняв платье довольно высоко.

Обнаруженная при этом ботинка и чулок были восхитительны.

Бакланов, однако, все еще занятый своими общественными соображениями, прекратил наше удовольствие и объявил, что пора ехать домой.

Мы уселись в прежнем порядке и понеслись.

– Я говорила monsieur Писемскому, – начала, обращаясь к Бакланову, Софи, – что его, вероятно, ничто это не занимает.

– Есть-таки, есть холодок и безучастие, – подхватил Бакланов.

– А у вас жар, только не ваш, а ветром надутый, – объяснил я ему.

– Именно, именно! – подтвердила Софи и, прощаясь, крепко пожала мне руку.

«О, сирена, сирена!..» – подумал и я вместе с Евсевием Осиповичем.

6. Ощипанная ветвь благородного дерева

Наступило великое 19-е февраля 1861 года.

В Петербурге ожидали движения в народе.

Французский и бельгийский посланники с утра еще велели заложить себе экипажи и поехали по стогнам града Петра, видеть agitation du peuple, и только около Михайловского дворца увидели толпу помноголюднее.

– Enfin ce lion s'est reveillé! – воскликнули они и, выйдя из экипажа, подошли.

В толпе молодой парень, строго разговаривая, торговал у солдата старые штаны, а другие смотрели на него.

Но зато «ce lion» пошевелился в других местах: в Бездне собралось тысяч шесть народа, и там расстреляли Антона Петрова.

Доктора говорили, что в это время появилась новая болезнь, которую можно было назвать желчно-дворянскою. Герой мой тоже заболел чем-то вроде того.

Последнее время я почти с ним не видался.

Он, как сам даже много раз выражался, совершенно пристал к так называемой крайней партии и писал самые рьяные статьи. Только природное благодушие его и все-таки порядочное воспитание не допускали его сделаться окончательно петербургским обличителем.

Я видел очень хорошо, что все это происходило из того же чувства, по которому он ни за что бы в свете не надел старомодного фрака, как бы ни было ему удобно в нем!

– Искренности, искренности я больше желаю от вас, Бакланов! –

сказал я ему однажды.

– Я совершенно искренен, совершенно! – отвечал он мне.

– Нет и нет! – кричал я ему.

– Совершенно, совершенно! – повторял он.

Софи я тоже видел всего один раз. Она попалась мне в превосходнейших парных санях на Невском и, нарочно остановившись, кричала мне, укоризненно качая головою:

– Хорошо, хорошо!

Вскоре после того я получил от Бакланова записку, в которой он писал, что болен, и просил к нему заехать.

Я поехал.

Больного я застал хоть не в постели, но желтого, как лимон.

– Что с вами? – спросил я.

– Так, простудился…

Несколько времени мы молчали.

– Я в деревню еду, – заговорил наконец Бакланов.

– Зачем?

Он грустно усмехнулся.

– Чтобы спасти хоть последние крохи, а то разорился совершенно, не промотав сам ни копейки.

Я взглянул на него вопросительно.

– За два года перед сим у меня состояние было, – продолжал Бакланов, персчитывая по пальцам: – двести пятьдесят душ моих, двести пятьдесят женины х, семьедсят пять тысяч чистыми деньгами… Деньги все ухнули на акциях… Кредитные места были закрыты; чтоб жить, я занимал в частных руках, чорт знает под какие проценты. Теперь мужики, разумеется, не станут платить оброков и ходить на барщину.

– Капитализируйте скорей! – сказал я ему на это.

– Что ж капитализировать? Сто двадцать рублей за душу, а за вычетом частных и казенных долгов – рублей по пятидесяти, да бумаги эти, вероятно, еще упадут на бирже, и так двухсоттысячное состояние превращается в десятитысячное.

– Скорее кладите эти деньги в землю, обрабатывайте ее.

– Да я не умею этого, не приучен к тому, – отвечал Бакланов, – ни моим воспитанием, ни тем правом, с которым я владел моим состоянием; и так не я один: а и Сидор, и Кузьма, и Петр, целое сословие!

– Почти! – отвечал я.

– Что ж осталось делать после этого?

– Ступайте в службу, – сказал я не совсем искренним тоном.

– Именно! – подхватил Бакланов: – самое уж потаенное место: совершенно не видать, годен ли на что человек или нет.

– Совершенно не видать, – подтвердил и я.

– Ведь это, я думаю, вздор, что нынче не то! – развивал Бакланов. – Так же, как и прежде, одни только протеже возвышаются и любимы; так же встряхивают казну, так же ничего не делают, а если делают, так пустяки.

Бакланов в этот раз был очень зол.

– Это ужасно, ужасно! – повторял он, ходя взад и вперед.

– Чем отчаиваться, не лучше ли каждому взять себе за правило: «врачу, исцелися сам», – сказал я.

– Ну что ж? Это одна только фраза… Ах, кстати, – прибавил он: – Софи просила меня, не прочтете ли вы у ней что-нибудь… У ней соберутся: дядя наш Ливанов, друг наш правовед, Петцолов этот… Пожалуйста!

– С удовольствием, – отвечал я.

Читать перед Софи!.. Это что-нибудь, должно быть, очень приятное, или, по крайней мере, оригинальное!

7. Окончательная перемена

Когда наш великий Пушкин ехал куда-нибудь читать в великосветский салон, то уж, конечно, своими двумя-тремя волшебными стихами побеждал целый рой красавиц своевольных.

Наш бесценный друг Иван Сергеевич Тургенев, опахивая как бы ветром каким благоухающим сердца прелестного пола, возбуждает в них самые благородные и возвышенные чувствования, давая им и философии немного, и чувств и страстей, сколько это принято в хорошем обществе.

Ольга Гончарова, на наших глазах, произвела на одну очень милую, умную и молодую даму такое впечатление, что она зажала себе глаза рукой, закачала головкой и произнесла: «О, как бы я хотела встретить Обломова, полюбить его и влюбить в себя».

На наших, наконец, глазах, в Александринском театре, зрительницы обливались горькими слезами в Грозе, сочувствуя страстям Катерины.

Ничего подобного на йоту, на мизинец автор никогда не производил своими слабыми творениями на прекрасный пол. К равнодушию молодых, прелестных дам, как это ни грустно для него,

он давно и совершенно уже привык.

Да на что же он, безумец, надеялся, чего ожидал, ехав читать к Софи?

В нем как будто бы два человека были в эти минуты: один из них говорил, что он истерзает эту бедную женщину скукою, что совершенно уже упадет в ее глазах, а другой говорил: ступай! Что тебе за дело до ощущения других; для тебя лично будет наслаждение читать сему чудному существу, и поезжай!

И автор поехал.

В салоне Софи все уже были в сборе: Петцолов в этот раз на своем толстом, драповом сюртуке имел золотой аксельбант; Евсевий Осипович приехал, по-видимому, на целый вечер; у правоведа бакенбарды заметно подросли и сделались еще более солидны.

– Merçi, monsieur Писемский, merçi, – говорила Софи, ангельски улыбаясь и пожимая мне руку.

Ливанову я поклонился, не подходя к нему, и он, не привставая с своего места, склонил свою голову.

С Петцоловым мы тоже раскланялись издали.

– Что вы именно будете читать нам? – спросил меня Бакланов, бледный и худой.

– Последнюю мою вещь: Старческий грех, – отвечал я не без ударения.

Я с умыслом хотел страданиями моего бедного романтика намекнуть, кому надо, на мои собственные чувствования.

– Ах, это мой милый Иосаф, – воскликнула вдруг Софи.

– Вы читали? – спросил я ее. «Софи читала! – подумал я: – уж в самом деле не влюбилась ли она в меня!»

Бакланов между тем отнесся к Евсевию Осиповичу.

– Он будет нам читать свое произведение: Старческий грех.

Ливанов опять величественно склонил свою голову.

– Все, что вышло из-под пера их, мне приятно, – сказал он ласково-обязательным тоном.

– Господин Писемский реалист, – сказал Петцолов.

Я ничего ему не возразил, а удивился только. что он знает это ученое слово.

Читать меня Софи посадила против себя, и при этом я должен был сложить со столика Петербургские Ведомости, Современник и Русский Вестник.

«Странно что-то это», – думал я.

Евсевий Осипович тоже сел против меня.

Петцолов наклонился за стулом Софи.

Бакланов сел в углу. Ему, видимо, было не до того.

Приступив к чтению, я хотел поскорее перейти к сценам любви; но, к удивлению своему, заметил, что слушатели мои, как только я стал описывать гимназическое воспитание, ужасно заинтересовались.

На том месте, где моего героя секут, я видел, что большие глаза Софи в ужасе раскрылись. Я нарочно в конце этой сцены поприостановился.

– Это ужасно! – говорила она. – У нас в пансионе точно так же… меня секли!

– Вас, Софья Петровна? Господи! – воскликнул я, воображая себе, как это можно, чтоб ее секли.

– Уверяю вас, а голодом так по целым неделям морили!

– А помните, – отозвался из угла Бакланов, – у нас учитель латинского языка в гимназии – схватит за волосы и начнет таскать по полу, да пинками еще бьет в грудь.

– У нас в корпусе, когда четыреста розог давали и мальчик закричит, так подлецом считали! – добавил Петцолов с своей стороны.

Не делали мне никаких замечаний только правовед и Евсевий Осипович. Последний даже с некоторою гримасой сказал мне:

– Продолжайте, пожалуйста!

Я перешел наконец к сценам любви и чувствовал, что голос мой дрожал душевными нотами, которые, казалось бы, должны были проходить в то сердце, в которое предназначались.

Замечания, впрочем, начались тогда только, как я начал описывать разных лиц, к которым Иосаф ездил занимать деньги.

– Вот кто проприетеры-то! – воскликнул Бакланов, когда я прочел о скупом молодом купце: – их бы надобно душить…

На том месте, где я описывал пьяного майора, вмешался Петцолов.

– У нас до сих пор еще есть батальоный командир, который каждогодно по два месяца пьет запоем.

– Читайте, пожалуйста, дальше! – перебил его, обращаясь ко мне, Евсевий Осипович.

Я продолжал.

Когда описывалось, как взяли Иосафа в острог, как производилось следствие над ним, участие со всех сторон было полное.

– Какой гадкий этот полицмейстер! – заметила Софи.

Когда же я прочел, как тело Иосафа в тюрьме, упав, звякнуло, она даже вздрогнула.

– Бедный! – проговорила она.

– Чудесно! чудесно! – воскликнул Бакланов.

– Как славно вы разных этих канальев обрисовали! – заметил Петцолов.

– Этакие случаи возможны только при закрытом суде, – заметил правовед.

– Конечно! – отвечал я ему.

Около двадцати уже лет мое авторское самолюбие получает щелчки оттуда и отсюда, и все-таки я не приучил себя наблюдать, как и что вокруг меня происходит.

Но видел и подметил все это Евсевий Осипович.

В продолжение всего этого чтения и отзывов, у него не сходила с губ насмешливая улыбка.

Стали поспешно подавать ужинать, и мы все уселись.

Я посажен был около хозяйки.

– Чудесно! чудесно! – говорила она.

Я скромно, но не без удовольствия тупился.

– Вы вот, как видно, наблюдали жизнь, – обратился вдруг ко мне Евсевий Осипович: – скажите: какая по преимуществу поражает вас в теперешнем нашем обществе черта?

– Право, не знаю! – отвечал я.

Мне не хотелось с ним говорить.

– Черта все-таки движения вперед, – подхватил Петцолов.

Евсевий Осипович не взглянул даже на него.

– Черта торопливости! – продолжал он, исключительно обращаясь ко мне. – У нас все как-то скоро поспевает. Каково это выходит, того не разнюхивай очень, но зато скоро.

Я сначала и не понял, к чему он эту речь клонит.

– Вот у вас ведь этот аксельбант академический? – обратился он вслед затем к Петцлолову.

– Да-с, – отвечал тот серьезно.

– Я, например, – продолжал Евсевий Осипович, опять как бы обращаясь ко мне: – сам некогда в молодости служил в военной, знаю теперь весь верх военный, и, признаюсь, предполагал в нашем воинстве все возможные добродетели: и храбрость, и честность рыцарскую, и стойкость, но никак уж не ученость: так вот было и изживал с тем век, только раз иду по Невскому, один мне попадается офицер с ученым аксельбантом, другой, третий, наконец сотня. – «Что такое, говорю, это все ученые?» – «Все ученые», говорят. Вот те на! сразу тысяч пять понаделали.

– Это не ученость, а знак один! – проговорил было Петцолов с

насмешливою улыбкой.

– Знак – вещь важная-с! – воскликнул ему Евсевий Осипович: – для французского инженера корде – предмет Бог знает каких честолюбивых мечтаний и трудов. Они, сделав два-три открытия, стяжают это… А вы вот, вам надели это, вы уж думаете: «Э! баста! я ученый…»

Мне самому действительно странно было видеть на Петцолове аксельбант.

Он покраснел и сказал каим-то глухим голосом.

– Я вам позволяю это говорить только как старику…

– Что мне позволять-то? – возразил ему, нисколько не сробев, Евсевий Осипович: – я говорю не лично про вас, а про весь, во всей его окружности, факт.

Затем последовало довольно неловкое и продолжительное молчание.

– Мысль лучше больше поощрять, чем гнать и преследовать ее, – проговорил, наконец, как бы сообразив, Бакланов.

– Это не мысль поощрять, – отвечал Евсевий Осипович, – а бессмыслие, которым, извините меня, и вы и все общество полны: мы вот несколько месяцев назад были у вас, и вы, в противодействии общественному направлению, предполагали издавать какой-то эстетический журнал, а госпожа племянница, кроме как о своих буклях и юбках, вряд ли о чем и думала в то время; но сегодня – приезжаем, и каких граждан в вас встречаем: при каждом намеке на общественное зло сердца ваши наполняются гневом и негодованием. Она, например, молодая и, вероятно, еще пылкая женщина, проходит с невниманием и зевотой, когда ей читают, со слезами в голосе, про любовь: некогда ей заниматься сим бренным удовольствием; в ней один огонь горит, огонь гражданки!

Софи сидела, потупясь, но Бакланов побледнел.

– Не годы же употреблять на то, чтобы начать честно думать! – проговорил он: – для других, кто постарше, конечно, это трудно; но нам еще, слава Богу, не семьдесят лет!

– Нет-с, годы! – закричал на него Евсевий Осипович: – мало того, десятки лет… столетия! Прочтите-ка хорошие истории и поучитесь, как и какими испытаниями делались настоящие-то граждане; а вот она, – прибавил он, снова показывая головой на Софи, – то, что есть в ней, она скрывает, а к чему участвует, то – лжет – того нет у ней в душе.

– Ну, уж и лгунья я! – сказала Софи.

Бакланов опять заступился за нее.

– Откуда же к вам-то, дядюшка, разные христианские, социалистические и мистические идеи пришли? – спросил он насмешливо: – жизнь ваша не совсем же согласна со всем этим была.

– На меня вам нельзя указывать-с! – вывернулся Евсевий Осипович: – я родился, вырос и жил в веке рабства и холопства, я должен был вилять хвостом, а вы призваны на более чистое служение.

Говоря это, он уже поднимался.

– Благодарю! – сказал он, обращаясь ко мне: – ваш полет не высок, не орлиный, но не лживый.

И, отдав прочим холодный поклон, вышел.

– Да ты сказала ему, что мы завтра уезжаем? – обратился Бакланов к Софи.

– Сказала, за это и бесится, – отвечала она с улыбкой.

– А вы завтра уезжаете? – спросил я.

– Уезжаем, monsieur Писемский, уезжаем! – отвечала Софи с сожалением.

– Она едет в свое именьице, а я в свое! – подхватил Бакланов.

Я на это молча только поклонился.

«Так вот чем наслаждались в моем произведении, – думал я, едучи домой, – да и то, по словам Евсевия Осиповича, притворно!»

8. Что собственно занимает ее

Сердце мое не утерпело.

На другой день я поехал проводить моих друзей на железную дорогу.

В первой же со входа комнате я встретил Бакланова, с дорожною сумкой через плечо и в фуражке.

– Mercі, Писемский, – сказал он, с чувством пожимая мне руку и даже целуясь со мной. – Софи там, в отделении первого класса.

Я прошел туда, и так случилось, что подошел к Софи сзади. Возле нее, низко-низко наклонясь, стоял Петцолов. Я невольно приостановился и не подходил к ним.

Говорила Софи.

– Он несносен… Теперь он разоряется и выходит из себя, как будто бы я в том виновата, тогда как я живу решительно независимо от него…

– Надобно не зависеть и от любви к нему.

– Я его не люблю…

– Надобно доказать это на деле.

Софи грустно покачала головой.

– Для женщины это не так легко, – сказала она.

– Для умной женщины это должно быть совершенно легко, – проговорил Петцолов и потом довольно небрежно прибавил: – Я буду писать к вам!

– Нет, невозможно, – отвечала Софи серьезно: – я лучше сама вам напишу.

– Но до тех пор я умру.

– Нет, живите! – произнесла Софи явно нежным голосом.

Я, может быть, и еще бы узнал что-нибудь, но в это время входил Бакланов. Я поспешил к нему навстречу.

– Я все ищу! – сказал я.

– Да вот она, – отвечал он мне.

Мы подошли.

Софи кинула на Бакланова рассеянный взгляд, но, увидев меня, решительно просияла радостью.

– Ах, monsieur Писемский! Как это мило с вашей стороны. Merci, merci, – говорила она и даже отодвинулась, чтоб я сел рядом с ней.

Я сел.

Мне было немножко досадно на нее, но, главное, меня возмущал Бакланов: неужели он ничего не видал, что кругом его происходит, или, может быть, находит в этом удовольствие?

– Скажите, пожалуйста, вы едете теперь к семейству вашему? – спросил я его.

– Нет, семейство мое в К… – отвечал он, как-то еще ниже склоняя свою потупленную голову.

Он по-прежнему был заметно грустен.

– У вас ведь есть дети? – продолжал я его пытать.

– Есть, – отвечал небрежно Бакланов.

– Как вам, я думаю, грустно о них; вы более полугода не видали их.

Бакланов мне на это ничего не сказал, а заговорил о чем-то с проходившем мимо кондуктором.

Софи только мимолетом прислушивалась к словам моим и продолжала грустно любезничать с гусаром. Она в этом случае, кажется, нисколько не стесняясь Баклановым.

– Вы до самой вашей деревни поедете с Александром Николаичем вместе? – спросил я ее.

– Нет, мы только по железной дороге… до Москвы.

– Но ваши имения в одной ведь губернии?

– Да, но потом мы с ним поедем в разное, вероятно, время!..

– Нет, неправда, вместе поедут, – сказал, подмигнув мне, Петцолов.

– Как вы смеете так говорить! – сказала ему Софи, больше шутя.

Об этом предмете они, видно, совершенно свободно разговаривали.

Мне ужасно хотелось сказать какую-нибудь дерзость Софи.

– Вы ужасная притворщица! – начал я прямо.

– Не может быть, нет! – воскликнула она.

– У вас все только для наружности, и даже я знаю, что такое в вас искреннее.

– Ну, что же во мне есть искреннего… что искреннего? Скажите! – пристала она ко мне.

– Сколько могу отгадывать, так любовь к разнообразию.

– В чем к разнообразию?

– Во всем.

– Совершенно верно, совершенно! – подхватила Софи, делая вид, что не понимает, к чему я это сказал.

– Это так, да, – подтвердил и Петцолов.

В это время ударил звонок, все встали.

Софи стояла, поправляя платье сзади. Хороша и величественна в эти минуты она была божественно!

Бакланов простился со мною нежно, и почему-то у нас обоих навернулись при этом слезы на глазах.

Софи, прощаясь с Петцоловым, явно с ним шепталась.

Я еще раз видел ее лицо, когда она, сев в вагоне, приложила его к окну и еще раз кивнула головкой мне и Петцолову.

Мы пошли с ним вместе из вокзала.

– Скажите, что за отношения у madame Леневой с Баклановым? – спросил я невиннейшим голосом.

– Она живет с ним, – отвечал он мне.

– И вы, кажется, не совсем к ней равнодушны.

– Нет, что же! Разумеется, немножко! – отвечал он, не думая нисколько, видно, скрываться в этом случае.

– Ну, смотрите, Бакланов вас убьет: он бешеный, вспыльчивый!

– О, нет, у них это совсем на других основаниях.

– На других?

– Она может делать, что хочет; он тоже… по этим, знаете, новым правилам.

– По новым?

– Да, в наше время убедились наконец, что глупость же хранит верность, ревновать друг друга.

– Разумеется! – подтвердил я.

В это время мы вышли на подъезд. Он сел на превосходную пару, на которой я раз видел Софи, и понесся по Невскому, зацепляя извозчиков и пешеходов.

«И это тоже прогрессист! Несчастная, несчастная моя родина!» – подумал я.

Не об общественном, разумеется, служении говорим мы здесь. Благословенна будь та минута, когда в обществе появилось стремление к нему! Но гневом и ужасом исполняется наше сердце, когда мы подумаем, в чем положили это служение: в проведении не то что уж отвлеченных мыслей, а скорей каких-то предвкушений мыслей. И кто, наконец, эта соль земли, эти избранные, пришедшие к общественной трапезе!.. Остроумные пустозвоны, считающие в ловкой захлестке речи всю суть дела!.. Торгаши, умеющие бесконечно пускать в ход небольшой запасец своей душевной горечи!.. Всевозможных родов возмужалые и юные свищи, всегда готовые чем вам угодно наполнить свою пустоту!..

9. Рассказы Венявиных

Перехожу снова к объективному способу.

Незаконные мои любовники, приехав в провинцию, в свой родной город, и остановясь в грязных номерах лучшей гостиницы, – Софи в одном номере, а Бакланов в другом, – осмелились дать о себе знать одному только старинному другу Бакланова – Венявину. Тот точас же сначала прибежал один, потом побежал за супругой.

Женат он был на доброй Маше, дочери священника. Первый раз он увидел ее у Леневых, приехав к ним визит делать, и сейчас же влюбился в нее. Маша тоже в него влюбилась. Они сочетались и до сих пор столько же раз и с такою же нежностью каждодневно целовались, как и в первый день своего брака. Детей у них было человек десять.

Оба толстенькие, оба коротенькие, расфрантясь сколько возможно, они прибежали к нашим петербургским гостям, сильно взволнованные как приятным этим свиданием, так и вообще разными совершившимися в это время в городе и около происшествиями.

Все поместились в комнате Софи, которая, чувствуя себя не совсем здоровою, сидела печальная и грустная, завернувшись в свою теплую, дорожную шаль.

Венявины беспрестанно говорили один за другим и даже

перебивали друг друга.

– Я не помещик, а чиновник; но это невозможно, невозможно! – кричал Венявин, топорщась всем телом.

– Помещицу Коврову, – подхватила его толстенькая и совершенно с ангельским лицом супруга: – пошла она с девушкой в баню, трое мужиков подошли к окошку, да и смотрят. Она говорит: «Подите прочь!». Они пошли да колом дверь-то снаружи и приперли. Всю ночь в бане-то и просидела: кричала-кричала, никто в целой деревне не отпер!

– Да, да! – подтвердил и муж. – Она пришла к губернатору жаловаться, а он ей говорит: «Вы отсталая, говорит, женщина, крепостница!..»

– Да кто он, из моряков, что ли? – спросил Бакланов.

– Из моряков.

– Ну, так вот что мне про него в Петербурге рассказывали: у него с корабля упал матрос – ему бросили там что-то такое, вытащили его, и он сейчас же велел дать ему сто линьков, зачем смел закричать, когда упал в воду; а теперь человеколюбивый эмансипатор.

– Я тебе говорю, братец! – восклицал Венявин.

– Нашего старика таки удалили наконец! Нашли несовременным! – продолжал Бакланов.

– Но ведь те лучше были, честнее, – горячился Венявин, – те откровенно, по крайней мере, действовали, а это иезуиты: пошли их царство небесное на земле вводить, или, как Ирод, младенцев резать, они одинаково будут это делать за жалованье.

– Поля-то, Господи, – вмешалась опять Маша, не менее мужа взволнованная, – поля-то у помещиков, этакие большущие, наполовину стоят незапаханные и незабороненные.

– Будет голод, непременно, непременно! – поддерживал Венявин.

– Этак неприятно и ехать в деревню, – проговорила наконец Софи, все время молчавшая и даже вряд ли слышавшая, что кругом ее говорили.

– Ай, да вы и не ездите! Просто страшно! – подхватила Маша. – У папеньки столько теперь приезжает помещиков и останавливается: «Не можем, говорят, жить в деревне; очень уж нам грубят и обижают нас!».

– Скоро по дорогам, пожалуй, будут грабить! – прибавил, разведя руками, Венявин.

– Да чтой-то, Николай Гаврилыч, как это ты так говоришь: будут! – прикрикнула на него Маша: – и грабят уж! Вот, к папеньке мужик за

навозом ездит, так ехал пьяный в воскресенье из города – ограбили!

– А мы сегодня ночью думали было выехать! – проговорила опять Софи.

– Ай, нет, душечка Софья Петровна, ангел мой! Не ездите! – воскликнула Маша.

– Нет, нет! – подтвердил и Венявин.

Эти два кроткие существа насказали потом еще таких страхов и ужасов, что даже сами испугались и побоялись идти пешком домой, а попросили послать человека, нанять им извозчика.

Бакланов и Софи, по отъезде их, не сказав друг с другом ни слова, разошлись по своим комнатам, и каждый, с своими грустными мыслями, улегся почивать: видно, незаконная любовь так же имеет свойство охлаждаться, как и законная!

10. Прежнее Ковригино

Были серенькие, мокрые сумерки.

По той же самой дороге, с которой некогда мы начинали наш рассказ, ехала Софи с Баклановым, и какая разница была в том поезде и в этом: вместо домоделанных крытых саней и розвальней – лондонской сборки карета; лошади не крепостные, а вольнонаемные, идущие какою-то развалистою походкой. Высокий малый, извозчик, сидел без всякой церемонии и беспрестанно курил. Наконец, в экипаже сидели не муж с женой, а любовник с любовницей, и не стыдились так ехать в свое имение.

Тетушка Биби, что чувствуют твои кости при этом!

Почтенная девица сия, как только получен был первый манифест об освобождении крестьян, захирела и померла.

– Я родилась и умру госпожой своих людей! – были почти последние ее слова перед смертью.

Наследницей она оставила Софи, единственно потому только, чтоб имение не досталось мерзавцу Виктору.

Когда въехали в усадьбу, первое, что кинулось в глаза, был дом с заколоченными окнами.

Бакланов сам должен был выйти из экипажа, чтобы выкликнуть кого-нибудь из людей.

Он на первую попал на добрейшую и глупейшую Прасковью, сделавшеюся теперь совсем старою девкой.

– Госпожа ваша, Софья Петровна Ленева приехала! – сказал он.

– Ай, батюшки, Господи! Барыня приехала! – воскликнула эта

простодушная девушка и сначала пробежала опять в кухню за ключом от заднего крыльца, отперла его, пробежала по дому и отперла переднюю; потом побежала в кухню за свечкой и чтобы оповестить других людей.

Софи все это время сидела в экипаже.

Наконец Бакланов ее высадил, и они, в сопровождении Прасковьи со свечой, вошли в дом. Оборванные в зале обои висели огромными лопастями. Зимние рамы были еще не выставлены, и к ним пропасть неприставало околевших мух. Круглое, в золотой раме, зеркало, как было в похороны Биби завешено черным флером, так и оставалось; отовсюду пахнуло уже не ладаном и воском, а какою-то могилой и сыростью.

Путники наши прошли в гостиную. Там, в углу, стояло старое кресло майора, точно будто бы сейчас только сняли его с них.

Прасковья поставила свечку на стол.

– Самовар прикажете-с? – спросила она.

– Да! – отвечала Софи.

Добрушка эта убежала ставить самовар.

Бакланов и Софи сели друг против друга. Обоим было грустно. Перед обоими проходила их прежняя молодость: сколько было надежд, в какой богатой перспективе открывалась тогда будущая жизнь, и что ж в итоге?

– Вон, у этого комода, помните? – сказала с грустною улыбкой Софи, показывая глазами на простеночное трюмо: – я в первый раз вас поцеловала.

– Да! – отвечал Бакланов.

– А вот тут, помните, на диване, я раз, в сумерках, прикурнула, а вы стали передо мной на колени, и вдруг тетенька Биби вошла, – как мы перепугались тогда! – продолжала Соня.

– Д-да! – отвечал и на это Бакланов.

Его душу в эти минуты волновало целое море разнообразнейших чувствований.

Софи встала, подошла к нему и оперлась на его плечо.

– Грустно мне, друг мой, грустно! – проговорила наконец она, склоняясь к нему головкой.

Бакланов обнял ее и посадил к себе на колени.

– Что ж тебе грустно? – спросил он ее.

– Так… ты меня не любишь больше!

– Из чего же ты это видишь?

– Так… Ты все стал нынче говорить о жене своей; говоришь, она

умная, честная, чистая женщина.

Бакланов ударил себя в голову.

– О! – воскликнул он: – не напоминай мне об этой несчастной моей мученице!

– Она твоя мученица, а я, значит, твоя злодейка. Вот, посмотри: ты уж и плачешь о ней!

– Нет, не ее я оплакиваю, а долг свой, свои обязанности, над которыми я надругался, как подлец, как мальчишка какой!

– А я-то как живу всю жизнь! Господи! Господи! – воскликнула Софи, в отчаянии разводя руками.

– Нет! Тот безумец, – продолжал Бакланов: – кто говорит, что в браке нет таинства. Сам Бог тут присутствует, и Он один только может освятить эти между людьми отношения!

– Именно! – подтвердила Софи. – Я тебя, например, очень люблю; а прямо и откровенно скажу: мне жить с тобой гораздо тяжелее, чем с покойным мужем моим. Тот мне гадок, противен был; но я знала, что хоть страдаю, но не грешна и не преступна.

– Ну, старого уже не воротишь! – отвечал ей мрачно Бакланов и поспешил спустить ее с колен.

Входила Прасковья с самоваром.

Софи сейчас же принялась сама хозяйничать.

– Подайте сливок! – сказала она.

Прасковья что-то переминалась.

– Не знаю, матушка, сбегаю, – начала потом она, – не доят, чу, барские-то коровы, худые такие!

– Как, неужели же все не доят? Сколько же коров?

– Четыре коровы.

– Как четыре?.. У тетушки, я думаю, их было сорок!

– Околевали-с, умирали… Нет ли хоть у крестьян у кого, схожу! – отвечала Прасковья и опять побежала.

Софи и Бакланов, оставшись вдвоем, грустно усмехнулись.

Прасковья возвратилась и принесла жиденького молочка.

– Ну, уж мы этого пить не станем, – сказала Софи, отодвигая молочник назад, – поесть нам тоже, вероятно, нечего?

При этом вопросе Прасковья даже покраснела.

– Ничего, кажется, нет-с.

– И яиц даже? – спросила Софи.

– Перевели барских-то кур тотчас же, как покойница-то барышня скончалась. У курятницы тоже дочка на волю выдана, все теперь и живет там-с.

Бакланов начинал уже выходить из себя.

– Ты вот скажи старосте, – продолжала Софи, – со мной нарочно приехал брат, – прибавила она с ударением, показывая на Бакланова, – он завтра же примет все по описи, и я вступлю в управление имением серьезно.

– Слушаю-с, – отвечала покорно Прасковья. – Вам где прикажете постель оправить, у тетеньки в комнате-с? – спросила она. – Только в их комнате постелька-то и осталась.

– А прочие где же?

– Не знаю-с.

– Хорошо, у тетки.

– А вам где прикажете-с? – обратилась Прасковья к Бакланову.

– Обо мне не беспокойся, я вот хоть тут на диване засну.

– Ты можешь идти, – сказала ей Софи.

Прасковья ушла.

Бакланов пошел и запер за ней дверь.

– Ты, друг моя, ляг у меня в комнате, – сказала ему Софи.

– Непременно! – отвечал он, и вскоре потом они со свечой вошли в комнату Биби.

Огромная киота с дорогими образами была заперта и даже запечатана печатью.

– Святыню-то Божью пощадили, не разворовали, – сказал Бакланов.

– Да, ужасно какой народ! – сказала Софи.

Затем они, общими стараниями отыскав под образами бутылку с деревянным маслом и засветив лампаду, улеглись; Софи за ширмами на теткиной постели, а Бакланов на полу.

При каждом малейшем шуме на улице или в доме они переговаривались.

– Что такое? – спрашивала обыкновенно сейчас же Софи.

– Не знаю! – отвечал тоже встревоженным голосом Бакланов и потом уж только прибавлял: – нет, ничего!

Они боялись, что мужики придут и убьют их.

11. Староста старый и новый сельский староста

На другой день в комнаты явилась опять одна только Прасковья и, как следует доброй, хорошей крепостной девушке, несколько принарядились по случаю радостного приезда господ.

– Что ж мы будем сегодня есть?.. Ты пошли мне повара.

– Нет его, пса этого. Косить ушел, верст за пятнадцать. Позвольте, я уж состряпаю что-нибудь.

– Сделай милость!.. На вот тебе денег… купи там курицу, говядины, что ли.

– Слушаю-с. У своих-то не укупишь, в Парфеново сбегаю, куплю.

– Но скажи, пожалуйста, отчего же меня все так чуждаются?

– Ну, матушка, народец ведь у вас… сами, я думаю, изволите знать!

Весь это разговор происходил, когда Прасковья одевала Софи.

Та, придя пить чай, рассказывала все это Бакланову.

– Вот я вам этого старосту вызову, – сказал он и вышел на крыльцо.

– Эй ты, любезный, – крикнул он проходившему по двору молодому дворовому малому, который, при виде его, сейчас же насупился и нахмурился, – пошли ко мне старосту сейчас же!

Парень, больше по привычке повиноваться барскому голосу, повернулся и прошел в старостину избу.

Бакланов продолжал стоять на крыльце.

Парень вышел из избы.

– Говорил-с… – объяснил было он коротко и хотел уйти ободворком.

– Да ты не говорил, а чтобы сейчас он здесь был!.. Зуба ни одного у канальи не оставлю… – заревел Бакланов.

Парень вернулся в избу.

Староста, мозглый и худенький старикашка, наконец показался и подошел к Бакланову.

– Ты староста? – спросил тот.

– Я, сударь, я, – отвечал тот, как-то плутовато тряся головой и точно пряча свои глаза.

– Пойдем к барыне, к госпоже твоей! – проговорил Бакланов.

Староста пошел вслед за ним в горницы.

– Вот он-с! – проговорил Бакланов, показывая на него Софи.

Та встала на ноги и собрала, сколько у ней было присутствия духа.

– Отчего вы не хотите ко мне явиться? – сказала она.

– Нам нельзя того! Извините нас, сударыня, на том! – сказал староста, по-прежнему потупляя глаза.

– Отчего нельзя?

– Воля уж, значит, теперь: какое явленье! Под неволею тоже опять-то голову сунешь, так и не выцарапаешь!

– Но воля сама по себе, а мое право на вас само по себе, – говорила Софи.

Староста при этом даже усмехнулся.

– Нету, матушка, прав этаких ныне! – проговорил он.

– Да ты известен или нет о духовном завещании? – воскликнул ему Бакланов.

– Да что, батюшка, конечно, что покойница тогда грех только изволила лишний на душу взять, писавши это самое; а что умереть изволила, значит, мы вольные; порядки-то нынче известны-с! – отвечал староста, не ворочая к нему головы.

– Что ж, вы и работать на меня не будете? – спросила Софи.

– Никак нет-с!

– И оброков платить мне не будете?

– Нет-с!

– Так я вас заставлю! Ах вы, мерзавцы, бунтовщики! – вскричала Софи, вся побледнев.

Госпожа в ней наконец проснулась. Она готова была своими хорошенькими ручками вцепиться старосте в волосы.

– Сейчас чтоб у меня прощения просили, сейчас! – продолжала она, стуча ножкой.

– Мир-то меня, сударыня, может теперь поедом съесть, что я и в дом-то вас допустил! – возражал ей староста.

– Меня в дом? – воскликнула Софи, ударяя себе в грудь.

– Да как же, помилуйте, дом общественный!

При этом Софи и Бакланов переглянулись между собой.

– Calmez vous! – сказал он, беря Софи за руку. – Кто здесь посредник? – обратился он к старосте.

– Не могим знать-с, – отвечал тот.

– Как не знаешь? – спросил Бакланов, задыхаясь от бешенства.

– Делов тоже никаких не имели до них, почему нам знать! – продолжал староста, водя глазами по полу.

– А! не знаешь, не знаешь! – проговорил Бакланов и, схватив старика за ворот, притряхнул его.

Старик позеленел.

– Посредник, ваше благородие, Иван Егорыч Варегин, – сказал он.

Бакланов сейчас же отпустил его.

– Варегин! – произнес он радостно. – Пошел вон! – прибавил он старосте, и тот, как бы ничего особенного не случилось, посмотрел себе на ноги и вышел.

– Ну, вот и прекрасно! Все теперь устроится! – сказал Бакланов, обращаясь к Софи, котрая смотрела на него вопросительно.

– Параша, Параша, – крикнул он убиравшей в соседней комнате

чашки Прасковье. – Нет ли кого послать за посредником-с?

– Пошлите-с сельского старосту! Он у нас тут недалеко в Парфенове живет-с, – отвечала та шопотом.

– Сбегай, ради Бога, – произнес Бакланов.

– Я нищенку пошлю-с; самое-то, пожалуй, наши дьяволы увидят и изобьют еще! – отвечала Прасковья и ушла.

Через несколько времени явился сельский староста, молодой, вежливый мужик.

– Съезди, любезный, за посредником, – сказал ему Бакланов.

– Слушаю-с, – отвечал тот с видимою готовностью.

– Что такое, скажи, пожалуйста, отчего это неповиновение ко мне? – спросила, выйдя к нему, Софи.

Староста модно переложил из руки в руку шляпу.

– Бог знает, сударыня, – отвечал он, как-то особенно ужимая губы. – Надо так полагать, что глупость одна их.

– Так ты им растолкуй! – сказала Софи.

– Нам они, сударыня, не верят, как не по их говоришь… Все одно, вы говорят, от начальства…

– Пожалуйста, съезди! – повторила Софи.

– Слушаю-с! – отвечал староста и уехал.

– Чтобы не обманул он! – сказал Бакланов.

– Нет, съездит-с! Он у Софьи Петровны лесу хочет торговать, так съездит-с! – объяснила Прасковья.

Бакланов и Софи возвратились в гостиную.

– Варегин мне приятель и отличнейший человек: он сейчас все устроит, – заговорил первый.

– Но я боюсь, друг мой, они сейчас, пожалуй, придут, – сказала Софи.

– Пускай идут; у меня револьверы готовы. Прежде чем они дотронутся до тебя, человек двадцать уложу!.. – произнес Бакланов и положил на стол, действительно, два револьвера.

Софи, между тем, принялась плакать: она была очень рассержена.

12. Посредник

Варегин приехал в тот же день.

Молодые хозяева наши все еще продолжали сидеть в гостиной и не смели носу оттуда показать.

Бакланов принял друга в распростертые объятия.

Несколько времени они молчали, и у обоих невольно навернулись слезы на глазах.

– Что это, у вас уж пистолеты приготовлены! – начал Варегин.

– Да, – отвечал Бакланов и представил ему Софи.

– Кузина моя, Ленева, ваша теперь подсудимая и подначальная.

Варегин молча поклонился ей.

– Что, разве уж к дому подваливали? – спросил он.

– Нет; но на всякий случай. Я просил бы тебя сегодня же сделать какое-нибудь распоряжение, – отвечал Бакланов.

– Я уж сделал, ехав мимо, – отвечал Варегин и, как человек утомленный, сел и закрыл глаза.

Софи в это время разливала чай.

– Pardon, monsieur Варегин, – сказала она, – у нас нет сливок; нам не дают здесь ничего, даже и за деньги.

Варегин открыл глаза и, увидев стоящую перед ним Прасковью, сказал ей:

– Поди, скажи скотнице, чтобы сейчас же прислала госпоже вашей сливок: посредник приказал.

Прасковья убежала и возвратилась с превосходными сливками.

– Но как же, скажи, друг сердечный, как ты сюда попал? – начал Бакланов. – Естествоиспытатель, исследователь микроскопический – мировым посредником!

– Исключен-с был из прежней службы за позорное гражданское поведение, – отвечал Варегин ядовито.

– Я слышал что-то такое в Петербурге, – подхватил Бакланов.

– Да, как же-с! И не начальством, это было бы еще сносно, а общественным мнением.

– Нынче общественное мнение, monsieur Варегин, кажется, такое благородное, – вмешалась было Софи.

– Не знаю-с, – отвечал он ей, – знаю одно, – продолжал он, опять обращаясь к Бакланову, – что как только я на одном из наших университетских советов сказал, что молодые люди поступают к нам

ничего не смыслящие, в университете ничего не делают и потом все гуртом выпускаются кандидатами… Что же это такое? Кукольная комедия одна!

– Да чего тут! – подхватил Бакланов. – Нам вот дорогой один господин рассказывал, что становой получил бумагу очень безграмотную и говорит: «Это, верно, говорит, господин студент писал», и в самом деле, оказывается, студент.

Варегин грустно усмехнулся и покачал головой.

– Сказал я, разумеется, – продолжал он, – и насчет преподавания, что у нас, вместо науки, с кафедры раздаются пикантные фразы, очень, может быть, выгодные для популярности преподавателя, но далеко не полезные для слушателей…

– Ну, и что ж потом? – спросил Бакланов.

– Потом, через несколько дней, мне господа студенты стали на лекциях шикать и свистать… Я остановился и спросил, что именно возмущает их в моих словах?.. Они выслали ко мне депутатов, которые объявили мне, чтоб я переменил свое гражданское поведение. – «В чем же, говорю, оно так провинилось?» – «В том, говорят, что вы таким образом говорите в советах». – «О, в таком случае, я вижу, что вы так наглы, а передавшие вам люди так подлы, что я уж, конечно, ни с ними, ни с вами не останусь»; затем поклонился и не возвращался более в свою аудиторию.

Проговоря это, Варегин опять качнулся головой.

– Вот вам и награда вся! – снова он начал: – за двадцать лет трудов, за потерянное зрение; и то бы все им простил, Бог с ними; но зачем они потеряли мои сведения… Знатоков моего дела в России немного, а они меня, как мусор, как щепки ненужные, взяли да и вышвырнули.

– Ужасно! – подхватил Бакланов. – Но здесь, по крайней мере, как ты устроился? Ведь ты, кажется, семейный человек?

– Четверо детей.

– А душ сколько?

– Душ нет!.. Сто десятин земли всего!

– Но чем же ты жил до сих пор?

– Потому уж и жил! Только что сам земли не пахал.

В это время вошла с довольным лицом Прасковья.

– Барыня, где стол-то накрывать, в зале или столовой? – спросила она.

– Да разве есть что-нибудь у нас? – спросила ее Софи.

– Есть: теленка закололи и карасей в пруду наловили. Выбил сельский староста всего-с… И повар тоже пришел-с.

Бакланов, Софи и Варегин невольно усмехнулись.

– И ключи вот от посуды-с наш староста-то, чорт, дал-с, – прибавила Прасковья еще с большим удовольствием и пошла хлопотливо накрывать на стол в зале с ободранными обоями.

Через несколько минут все уже сидели при полном освещении четырех свеч в старинных шандалах и при вкусно дымившихся теплых блюдах.

– Скажите, пожалуйста, как народ принял эти мирские учреждения? – спросил Бакланов.

– Да как принять-то? Обыкновенно, как принимал он чиновников. Это ведь подкуп, – прибавил Варегин, показывая на блюда, – вам бы без меня не дали этого: это меня хотят ублажить.

Прасковья, ко всем благам, нашла в буфете еще две бутылки наливки и поставила их перед господами.

Приятели, прекратив печальные разговоры, выпили по нескольку рюмок наливки; Софи тоже с ними выпила и совершенно смело, в сопровождении одной только Прасковьи, отправилась ночевать в комнату Биби.

Бакланов и Варегин легли в гостиной на толстейших и мягчайших пуховиках, которые тот же сельский староста «выбил» им от прежнего господского старосты.

13. Бунт

На другой день Софи, как только проснулась, подошла к окну своей комнаты и ахнула от ужаса.

Красный двор был полнехонек мужиками, человек до ста, с мрачными все лицами, без шапок. Между ними ходил, тоже серьезный, Варегин и о чем-то с некоторыми из них переговаривал.

Софи сейчас же бросилась к Бакланову, который еще спал.

– Александр, посмотри, что такое у нас на дворе: народ собрался! – сказала она.

– Что такое? – произнес тот, надел халат и, положив в карман револьвер, вышел.

– Зачем это они? – спросил он Варегина.

Тот подошел и мрачно сел на ступеньку крыльца.

– Дурят! – произнес он после нескольких секунд молчания.

Бакланов смотрел на него с испуганным лицом.

– Что же, совсем не хотят повиноваться?

– Торговаться хотят до конца, – произнес Варегин.

К нему робко подошел довольно доброй наружности мужик.

– Можно, Иван Егорыч, уйти-то? – спросил он.

– Нет, нельзя… сами заварили кашу, так не пеняйте, дьяволы экие, право!

– Да ведь, Иван Егорыч, мир-с, а не я, батюшка.

– Мир?.. Из собак, что ли, мир-то состоит? Из вас же, чертей!

Мужик конфузливо перебирал шапку в руках.

– Как гнилая горячка-то была, – продолжал Варегин, – так умирал с дьяволами, хоть бы тому поверили.

– Это точно что-с, – произнес мужик.

– Так что ж «точно что-с»!.. Стану я вас обманывать!

– Да мы, батюшка, и сумненья в том не имеем.

– Ну коли не имеешь, так пошел и уговаривай!

Мужик пошел, сказал что-то такое двум-трем мужикам, да так тут на месте и остался и не возвращался более.

– Может быть, он уговорит, – произнес Бакланов.

– Нет, – отвечал с прежнею мрачностью Варегин, – я уж к исправнику и за военною командой послал, – прибавил он.

– Господи! – воскликнул Бакланов, – да нельзя ли как-нибудь уговорить так?

Варегин усмехнулся.

– Попробуйте, подите, поговорите… Вы спали, а я целую ночь их в сборной избе уговаривал, так будет: наговорился.

Бакланов пошел к Софи, чтобы предупредить ее.

– За командой уж послали, – сказал он больше шуткой.

– Как! – воскликнула та, побледнев. – Нет, мой друг, не надо, не надо! Я от всего лучше отступлюсь.

– Да Варегин не отступится; ему это надо для общего порядка.

– Нет, нет, не надо мне ничего! – кричала между тем Софи, становясь перед Баклановым на колени.

– Ты вот кричишь, они услышат это и еще больше будут упираться, – уговаривал ее Бакланов.

– Жаль мне их, не могу я этого… – говорила Софи, упадая на руки Бакланову.

– Что ж делать-то? – отвечал он, сажая ее на диван.

Послышался колокольчик. Софи задрожала.

– Ничего, ничего! – успокаивал ее Бакланов: – я буду целый день сидеть около тебя и не отойду.

При звуке колокольчика толпа мужиков тоже зашевелилась несколько; один из них отделился и побежал ворота отпирать.

Въезжал исправник, довольно полный и расторопный, должно быть, мужчина, с птичьим, совиным лицом. Он сейчас же выскочил из тарантаса и прямо подошел к толпе мужиков.

– Что, любезные, выстроились уж, – а? Здравия желаем!

– Здравствуйте, батюшка! – проговорили ему несколько голосов.

Исправник повернулся и увидел Варегина.

– А, ваше высокородие, честь имею кланяться! – продолжал он, весело прикладывая руку к фуражке. – Прикажете внушать-с? – прибавил он с улыбкой.

– Внушайте! – отвечал Варегин.

Исправник обратился к мужикам.

– Что ж, вы решительно не повинуетесь?.. Сейчас команда придет.

Мужики не отвечали ему ни того, ни сего.

– Я вас спрашиваю, повинуетесь вы, или нет? – крикнул уже исправник.

– Да говори, старый! – толкнули несколько мужиков старика-старосту.

– Нет, батюшка, нельзя нам того, – прговорил тот, наконец.

– Отчего же бы это нельзя, позвольте вас спросить?

– Государь Император, батюшка, Александр Николаевич не

приказывает того.

– А я не знаю, что государь приказывает, или нет?

– Не знаю, батюшка, знаешь ты, аль нет!

– Нет, ты знаешь: врешь, бестия ты этакая! Я вот тебя первого взъерепеню, первого!

Староста мрачно нахмурился.

В это время на двор въехала еще пара в тележке, и из нее соскочил нарядный мужик, с русою окладистою бородой.

– Старшина! – прошел легонький говор между мужиками.

Старшина сейчас же подошел к посреднику.

– Команда идет в версте, ваше высокородие, – донес он.

– Поди, поговори, не усовестишь ли дураков! – сказал Варегин.

Старшина подошел к мужикам и обратился к ним с речью, сильно ударяя на о.

– Государь Император делает вам теперь эткие милости, – начал он, – и что ж вы делаете? Госпоже вашей законной не покорствуете!

– Наша законная-то госпожа, господин старшина, умерла, – отвечал ему старик-староста.

– Погоди, друг любезный, погоди! – возразил ему на это старшина: – ты теперича имеешь сам имущество, оставляешь ты его сыну, что ли, али сродственнику, и кто ж может его отнять у него? Корову ты ему оставляешь: неужели корова не пойдет к нему на двор?

– Нынче, господин старшина, насчет того порядки другие, – опять ему возразил старикашка-староста. – Госпожа померла, значит, мы и вольные; другой господин жив, властвуй, а умер, тоже ослобождаются… Молодые пускай сами себе наживают. Как же ты иначе волю-то сделаешь?

– Ишь как рассудил, складно! – перебил его насмешливо старшина: – а словно бы не так в царских-то указах сказано.

– Знаем мы, господин старшина, как в царских-то указах сказано, знаешь и ты сам! Грех только тебе так говорить: миром, кажись, тебя выбирали.

– Да мне, дьявол вас возьми и с вашею должностью! Тьфу мне на нее! – воскликнул старшина. – С вами, дураками, только время потратишь, да себе беспокойство… – заключил он и, отойдя от толпы, молодцевато прислонился к стене дома.

Прошло еще с полчаса самого ужасного, томительного времени. Наконец, на двор прибежали две маленькие крестьянские девочки.

– Солдатушки уж идут! – как-то робко они оповестили.

Толпа, как бы вся в один момент, опустила голову.

Варегин проворно встал и пошел по деревне навстречу команде.

Впереди всоей роты ехал верхом на лошади молоденький офицер. На лице его написана была гордость и серьезность. Солдаты же, напротив, шли вольно, развязно, и большая часть весело между собой перешучивались.

Варегин пошел рядом с солдатами.

– Вы, братцы, имейте лицо-то посерьезнее, посуровее, – сказал он.

– Нахмуримся, ваше благородие, – отвечали ему несколько солдат в один голос.

– Ну, и сначала оцепите только некоторых, – обратился он уже к офицеру.

– Знаю-с, – отвечал тот самодовольно.

– Что огонь употреблять, кровь понапрасну проливать! – обратился опять Варегин к солдатам.

– Известно, ваше благородие, – подтвердил ему фельдфебель, – оцепим по-первоначалу, а тут, коли упираться очень начнут, так в приклады.

– Знаем, ваше благородие, не в первый уж раз, – подхватил молодой и с умным лицом солдат: – я этта в Спирове не то, что прикладом, а схватил за волосы главного-то зачинщика. «Господин служивый!» – закричал, и на колени, а за ним и прочие другие.

Все почти солдаты захохотали.

– Бунтовщики тоже, робята, важные, – произнесло опять несколько голосов.

– Смирно! Ружья на плечо! – скомандовал офицер.

В это время входили уже в самую усадьбу.

Солдаты сейчас же поправились и нахмурились. Офицер махнул барабанщику. Тот громко, так что раздалось на все селение, ударил марш.

Варегин, проворно опередя солдат, опять подошел к мужикам.

Лицо его было бледно, волосы растрепаны.

– Братцы, образумьтесь, смерть вам угрожает! – вскричал он.

Толпа вся дрожала с первого же звука барабана, но ничего не говорила.

Солдаты стали обходить ее и выстроились против нее.

– Братцы, образумьтесь! – произнес еще раз Варегин.

Молчание.

Он махнул белым платком офицеру.

– С левой по одному марш! – скомандовал офицер.

Цепь солдат отделилась и стала входить в толпу, которая и не понимала, что это такое с ней делают.

– Сомкнись! – скомандовал офицер.

Солдаты сомкнулись, человек двадцать мужиков остались у них в цепи.

Один молодой парень хотел было выскочить из нее, солдат ткнул ему прикладом в лицо.

Старикашка-староста что-то топтался на одном месте. Этот молодой парень был его единственный сын.

– Тятенька! – закричал он ему оттуда.

– Ну, черти, дьяволы! Становитесь на колени! – вскрикнул старик и сам стал на колени, за ним стали несколько мужиков.

– Виноваты, матушка наша Софья Петровна, виноваты! – завопили они.

Варегин подошел к одному из неставших на колени мужиков и ударил его по плечу.

– Ну, становись! Еще за зачинщика сочтут.

И вслед затем все остальные коленопреклонились.

Оцепленные давно уже стояли на коленках, а нежный старостин сын даже ревел.

– Надо зачинщиков отобрать! – сказал исправник Варегину.

Тот махнул ему рукой и, совершенно утомленный, опять опустился на рундучок крыльца.

– Кто зачинщики? – продолжал исправник, подходя к стоявшему все еще на коленях старосте.

– Да, батюшка, из Питера к нам сходил человек, – отвечал старик, молебно простирая к нему руки.

– Какой?

– Да вот барыни-то нашей кучер бывший, Михайла; он в бегах был и проходил с дворянином одним: «не повинуйтесь, говорит, а то хуже, говорит, под крепость опять попадете!»

– С каким дворянином?

– Да как его, батюшка, забыл, как и прозвище-то… регистратором каким-то себя называл.

Варегин при этом вслушался немного.

– Кто же здесь-то собственно был зачинщик? – продолжал исправник допрашивать, не поднимая старика с колен.

– Здесь я, батюшка, я самый главный! – отвечал тот.

– Ступай в сторону.

Старик встал и отошел в сторону.

– А кто еще? Кто еще был зачинщиком? – обратился исправник опять к толпе.

– Я-с! – отозвался сам один из мужиков.

– В сторону!

Мужик отошел и встал.

– Кто еще? – продолжал опять исправник.

Варегин рвал у себя из бороды волосы.

Толпа перешептывалась между собой.

– Да кто еще? – послышался шопот.

– У Матрены они приставали! – ответил чей-то один голос.

– Давайте Матрену сюда! – крикнул исправник, подслушав эти слова.

Двое мужиков пошли за Матреной, и вслед же затем раздался пронзительный крик на всю усадьбу.

– Батюшки, виновата!.. виновата! – кричала Матрена, выгибаясь всем телом, между тем как двое мужиков тащили ее.

– Давай ее сюда! – проговорил исправник.

Матрену подтащили к нему.

– Приставал у тебя, как вот его, – Михайла, что ли?

– Приставал, батюшка!.. приставал!.. – отвечала она поспешно.

– Михайла и барин?

– Оба, батюшка, оба!

– Что ж они говорили?

– По всей, говорят, Росеи ходим, – сомущаем народ.

– Где ж они теперь?

– Не знаю, батюшка.

– Врешь, бестия! – закричал исправник.

– Не знаю, батюшка!.. не знаю!.. – заревела почти в отчаянии Матрена: – все расскажу тебе!

– Ну, рассказывай. Давно ли они были у тебя?

– С месяц, батюшка.

– Что ж они делали?

– Пили они, батюшка, все три дня, что ни были.

– Ну?

– Молоденький-то, тот все шутил со мной!

– С экой-то стервой?

– Да, батюшка, и сам-то он нехороший такой; и на барина-то не похож!

Варегин в это время встал и ушел в горницы.

– Поедемте лучше ко мне, – сказал он Софи и Бакланову. – тут

исправник будет производить следствие и приведет все в порядок.

– Ах, да, поедемте, monsieur Варегин, пожалуйста, – говорила Софи, чуть не целуя его.

Вслед за тем они все прошли садом и только что сели в поданный Варегина экипаж, как из усадьбы раздались пронзительные вопли.

Это исправник пробирал, с одной стороны, неженку старостина сына за батьку, причем оба они кричали, а с другой стороны – Матрену, которая только и вопила: – «Шут им дьяволам! шут! Вот их бы так!»

– Пошел скорей! – крикнул Варегин кучеру. – А ведь есть господа, – продолжал он, обращаясь к Бакланову, – которые радуются этой бестолочи… Готовы даже подстрекать на нее народ… Движение здорового общественного организма в этом видят… Не подлость ли, я вас спрашиваю, кровью этих детей омывать свои безумные фантазии!..

– Ужасно! – подтвердил в свою очередь и Бакланов.

14. Изобличение

Друзья наши, проехав Ковригинское поле, сейчас же очутились в свежем, спокойном лесу.

Софи все это время смотрела на серьезное лицо Варегина, на его голубые, спокойные глаза, на его запыленные бакенбарды. Не давая себе отчета – почему и отчего, она чувствовала, в одно и то же время, страх и уважение к нему.

Бакланов, между тем, припоминал те мириады фраз, которые раздавались около него в Петербурге, – фраз, против которых он сначала ратовал, а потом и сам стал повторять их.

Голос Варегина разбудил, наконец, их обоих от их собственных мыслей.

– Вот и мое пепелище! – сказал он.

Перед домом, в небольшом садике, два мальчика и две девочки рылись в земле.

Самый дом, или, скорее, большая крестьянская изба, был разделен на две половины: в одной жил сам хозяин, а в другой – дети.

В комнатах было чрезвычайно чисто и просто: дубовый обеденный стол, ситцевая мебель, термометр и барометр на стене.

– Милости просим! – сказал Варегин, вводя своих гостей.

Вошла красивая крестьянская женщина в белой рубашке и опрятном сарафане.

Варегин велел ей подавать обед.

Когда стали садиться за стол, он отнесся к Софи:

– Не угодно ли вам занять место хозяйки?

Софи села.

– А вот эту команду позвольте ко мне, – продолжал Варегин, передвигая к себе приборы всех четверых детей: – всем бы они народ исправный, да сами резать еще не умеют.

И вслед за тем он начал им резать.

Дети, как маленькие голубятки, смотрели ему в рот и на руки.

Бакланов при этом вспомнил своих детей и незаметно вздохнул.

– Вы давно лишились вашей супруги? – спросила Софи хозяина.

– Да в тот же год, как и из службы выгнали: почти вместе получил эти два удовольствия.

– Вам недаром судьба такие испытания посылает. Она знает, что вы крепыш и выдержите, – сказал ему Бакланов.

– Никакой тут нет судьбы: в первом случае российская глупость, а во втором – петербургский климат, – отвечал Варегин.

После обеда Софи ушла с детьми погулять в поле, а приятели сели у открытого окна пить кофе…

– Вы не думаете жениться, Варегин? – сказал Бакланов.

– При детях-то? – спросил тот.

– Да при детях обыкновенно и женятся, чтобы мать им дать.

– Дети такое нежное и хрупкое существо, что требуют всей нежности человеческого сердца, а это возможно только в родителях, которые обыкновенно органически к ним бывают привязаны.

– Но мачеха будет любить их из любви к вам.

– Н-ну! – произнес Варегин: – я в эти тонкие чувства, признаюсь, не очень верю; их обыкновенно достанет только месяца на два после брака.

Друзья на несколько времени после того замолкли.

– А эта красивая женщина, которая подавала нам обедать, на каком положении? – спросил Бакланов.

Варегин улыбнулся.

– Вы все по себе судите? – сказал он. – А вот кстати за откровенность откровенностью отплачу: в каких вы отношениях с этой госпожой, кузиной, что ли, вашей?

Бакланов очень сконфузился.

– Я ей родня… – пробормотал он.

– Я это потому вас спрашиваю, – продолжал Варегин, – что мне мужики на сходке говорили: «Вот-де, говорят, мало что сама приехала, да и любовника еще своего привезла!»

– Им-то, скотам, что за дело! – проговорил Бакланов и потом, помолчав, прибавил: – конечно, в этом случае скрываться перед вами не стану…

– Ну, а жена-то как же, а? – спросил с улыбкою Варегин.

– Жена у меня такая холодная и спокойная женщина, что ей решительно все равно.

– Все равно, что вы живете с любовницей? – повторил Варегин.

– Я не то, что живу… – отвечал, начиная теряться Бакланов, – жить постоянно таким образом я не намерен и, как вот все это поустроится, опять возвращусь к семейству.

– Что ж такое поустроится? – допрашивал Варегин.

Бакланов окончательно сконфузился.

– Там… дела разные… – отвечал он как-то неопределенно.

Варегин не спускал с него внимательных глаз.

– Все это, друг любезный, – начал Бакланов после нескольких минут довольно неловкого молчания, – я сам очень хорошо вижу и понимаю, но что делать – затянулся, любовь!

– Э, вздор какой! – перебил с сердцем Варегин.

– Как вздор?.. Неужели ты не веришь в любовь?

– Разумеется, кто ж в нее поверит… Одно только баловство и обманывание самого себя, а между тем у вас есть дети, а перед этою обязанностью, я думаю, все другие мелкие страстишки должны замолкнуть.

– Я детей и люблю, а разлюбил только жену.

– Да ведь и все не целую жизнь пылают к женам страстью, а руководствуются в этом случае чувством дружбы, уважения к женщине, – чувством, наконец, собственного долга.

– Хорошо чувство дружбы! – воскликнул Бакланов. – Ты знаешь ли, – прибавил он уже полушопотом, – что я последнее время говорить не мог без злобы с женой, звука шагов ее слышать без ужаса.

– Что ж, она нехорошая разве женщина?

– Напротив, ангел по душе и собой красива.

– Так отчего же?

– А оттого… Я, например, человек вовсе не злой, а бывали минуты, когда готов был совершить преступление и убить ее.

– Господи помилуй! – воскликнул Варегин.

– Да, да! – повторил Бакланов.

Варегин несколько минут усмехался про себя.

– Никогда бы вы никакого преступления не совершили, – проговорил он, – и, вероятно, к этой госпоже получите точно такое же

чувство, потому что вся ваша любовь и нелюбовь есть не что иное, как развращенное воображение и стремление к чувственному разнообразию…

Замечание это было слишком верно. Бакланов почесал у себя только в затылке.

– Никогда я к этой женщине не чувствовал ничего подобного, – проговорил он глухим голосом.

– Ну, так будете чувствовать! – сказал спокойно Варегин.

– Может быть, – отвечал Бакланов.

Он заметно обиделся.

– Все это я говорю, опять повторяю, – продолжал Варегин, – потому, что мужики прямо сказали: «мы, говорят, его изобьем, если он командовать нами начнет».

– Да я никем и не командую, – отвечал, как бы оправдываясь, Бакланов: – наконец я и совсем могу уехать к себе в имение.

– Это, я полагаю, самое лучшее!

– Для спокойствия этой женщины уеду…

– Для спокойствия этой женщины уезжайте! – повторил Варегин.

Едва заметная усмешка пробегала в это время у него по лицу.

Софи, наконец, возвратилась с детьми с прогулки.

– Не пора ли нам? – спросила она.

– Теперь можете ехать-с; все уж, вероятно, утихло, – отвечал Варегин.

– Merçi, monsieur Варегин, merçi, – говорила Софи.

Во всю обратную дорогу Бакланов был задумчив и ни слова не проговорил. Беседа с Варегиным произвела на него сильное впечатление, и, по преимуществу, его беспокоила мысль, чтобы крестьяне в самом деле чего-нибудь не затеяли против него: тогда срам непоправимый для него и Софи!

Возвратившись в Ковригино, они нашли, что в комнатах, кроме Прасковьи, сидели еще две горничные, а в залу были внесены разные вещи из амбаров, сушилен и кладовых.

15. По-прежнему бодр и свеж

На другой день с красного двора из Ковригина один экипаж с Баклановым уезжал, а другой, с Петром Григорьевичем, которого Софи оповестила о своем приезде, въезжал.

– А-а! – произнес было равнодушно Басардин, узнав старого знакомого.

– Здравствуйте и прощайте! – отвечал ему тот скороговоркой, не велев даже остановиться своему кучеру.

Петр Григорьевич, однако, долго еще смотрел ему вслед.

Бакланов и Софи в это утро поссорились. Напуганный и образумленный словами Варегина, Бакланов решился уехать к себе в деревню и сказал о том за чаем Софи. Та надулась.

– Как же вы оставляете меня в этаком положении? – сказала она.

– Что ж положение?.. Теперь все тихо… Мне надобно же в своем имении побывать… Жена узнает, если я совсем не буду.

– Ну, так вы бы и ехали к своей жене!.. Зачем же со мной поехали?

– Как ты странна! Тут не о жене дело, а у меня, наконец, дети есть… В твоем положении ничего нет страшного. Я тебе, пожалуй, револьвер оставлю.

– Благодарю!.. Револьвер! Дурак этакий! – проговорила, не утерпев, Софи и вышла.

Бакланов сам почувствовал, что сказал величайшую глупость; однако не отменил своего намерения и в тот же день собрался.

– Я приеду через неделю, много через две, – говорил он, прощаясь с Софи.

– Как хотите, – отвечала ему та, сидя на диване со сложенными руками и не поднимаясь даже с места.

«Ну, слава Богу, развязался, – думал Бакланов, садясь в экипаж: – как приеду домой, так сейчас же напишу жене длиннейшее письмо».

Софи осталась тоже сильно взволнованная.

– Хорошо, Александр Николаевич, хорошо! – говорила она, кусая свои розовые губки.

Небольшое отхаркиванье и негромкие шаги в зале прервали ее досадливые размышления.

Входил, растопырив руки, Петр Григорьевич, совершенно уже седой, но по-прежнему с большими глазами и с довольно еще нежным цветом лица.

– Ах, папа! – воскликнула Софи, радостно бросаясь ему в объятия.

– Совсем не ожидал; вдруг получаю письмо… ах ты, Боже мой! – думаю. Лошадей, говорю, скорей мне лошадей, – бормотал Петр Григорьевич, с навернувшимися на глазах слезами.

Под старость он сделался несколько почувствительней.

Софи почти рыдала у него на руках.

– Ну, усядься, успокойся! – говорил он, усаживая ее на диван и сам садясь около нее.

– Ах, папа! Какие ведь у меня неприятности! – начала Софи,

несколько успокоясь: – у меня люди бунтовали.

– Везде одно, везде! – отвечал таинственно Петр Григорьевич: – у меня так яровое до сих пор не засеяно… не слушаются, не ходят на барщину! – прибавил он больше с удивлением, чем с огорчением.

– Как же, папа, чем же вы будете жить? – спросила Софи с участием.

– Да не знаю! Не все же государь император будет гневаться на дворян, простит же когда-нибудь!

– Так вы, папаша, думаете, что государь рассердился на дворян, взял у них, а потом опять отдаст?..

– Да, полагаю так, – отвечал Петр Григорьевич, делая свою обычную, глубокомысленную мину.

– Нет, папа, совсем уж не воротят, – отвечала Софи: – а вот что можно сделать: вас ведь никак теперь люди не станут слушаться…

– Да, грубиянят очень, – отвечал Петр Григорьевич, припоминая, вероятно, тысячи оскорблений, которые были ему нанесены.

– Ну, так вот что: вам из казны выдадут по 120 рублей серебром за душу, а вы им должны дать по четыре десятины наделу земли, – поняли?

– Да, то-есть как тебе сказать! – начал Петр Григорьевич, усмехаясь и потупляя стыдливо свои глаза: – слаб нынче очень стал соображением, – прибавил он уже серьезно.

– Слабы?

– Очень… И по хозяйству это бы еще ничего; но, главное, дом меня беспокоит: стар очень!

– Да как же не стару быть, папа! Пятьдесят лет ему, я думаю?

– Да. В наугольной и в девичьей потолок уж провалился! Меня чуть не убило! Я стоял да из кресел клопов кипятком вываривал… вдруг, вижу, сверху-то и полезло, я бежал… так и грохнуло!

– Скажите, пожалуйста!.. Ах, бедный папа!.. Что же вы мне не написали, я бы вам помогла!

– Что же писать? Случай ведь это несчастный! – отвечал Петр Григорьевич.

Он во все время, терпя иногда страшную нужду, ни разу не обратился к дочери. «Где ей, – говорил он: – сама молода; на разные финтифанты нужно».

– Я стал потом этим мерзавцам дворовым говорить, – продолжал он, как бы сообщая дочери по секрету: – «Подставьте, говорю, подставки в остальных комнатах, а то убьет!..» – «А что, говорят, мы плотники, что ли?» – и не подставили.

– Вот что, папа, вы больше не ездите домой, а оставайтесь жить у меня. Здесь дом еще славный, крепкий!

– Как прикажешь, я на все готов! – отвечал добродушный старик.

– А я поеду за границу, потому что жить в этих дрязгах и в этом воздухе я решительно не могу; у меня и то уж грудь начинает болеть с каждым днем больше и больше.

– Ну да, где же тебе с твоим образованием, разумеется! – подтвердил Петр Григорьевич.

– А вы, папаша, душка, оставайтесь здесь у меня – хозяйничайте; посредник здесь добрый, он вас научит всему! – продолжала Софи, обнимая и целуя отца.

– Да уж это надобно, чтобы господин посредник… а я-то очень слаб памятью, – что еще давно было, помню, а что вчера, – хоть зарежь! – повторил еще раз старик.

При этаком состоянии головы в такие трудные времена ему очень уж тяжело приходилось жить.

– За границу, за границу! – шептала радостно Софи, улегшись на свою постель и как-то вытягиваясь всем своим прелестным телом.

16. Один из модных врале́й

При отличном светлом вечере, в Лопухах, на балконе господского дома сидели Бакланов и предводитель его уезда, тот самый способный, из военных, господин с pince-nez, которого мы когда-то встретили у старой фрейлины на празднике. Он даже не постарел ничего, а по-прежнему, по его словам, работал с народом. Одет он был, как и Бакланов, франтовато; у обоих лица были бойкие, развязные, не так, как у необразованных помещиков, у которых и без того уж не совсем благообразные физиономии сделались какие-то удивленные и печальные.

Предводитель беспрестанно шевелился, говорил, доказывал что-то такое.

Перед ними стоял чай на серебряном подносе.

В лугах огромная согнанная вотчина, почти вся находившаяся в виду господ, лениво косила.

– Скажите, пожалуйста, как идут мировые съезды? – спрашивал Бакланов.

– Отлично! превосходно идут! – восклицал предводитель. – Я как?.. Посредники у меня, надобно сказать, все отличный народ, умный, развитой; но они не жили, не выросли с народом, как я… У меня

встречается теперь распря, недоразумение между помещиком и мужиком, я ставлю вопрос так…

И предводитель поставил руку на перила балкона, желая, вероятно, показать, как он именно ставит вопрос.

– Ставлю вопрос так… Беру господина помещика… мужика еще нет у меня… «В чем ваш вопрос?» – «В том-то и том-то!» – «Прекрасно! Вот вам ответ на него… самый полный, ясный, отчетливый…» Со мной он не может спорить, совестится… Мужика я еще не видал и говорю, значит, это по своим собственным хозяйственным соображениям; во мне он слышит голос такого же дворянина, как он.

– Все это прекрасно! – возразил Бакланов, – но мужик-то будет пороть свое.

– А в том-то и штука, – подхватил с некоторым лукавством предводитель, – что я всегда скажу в духе мужика, в натуре его.

– Стало быть, вы выдаете дворян.

– Нет! нет-с! – воскликнул опять лукаво предводитель: – все дело в подготовке… У меня крестьянский вопрос был решен прежде, чем правительство имело его в виду…

Бакланов посмотрел на руководителя с недоумевающим видом.

– Был решен-с, – повторил тот, – то-есть в том отношении, что лично у меня крепостной труд давно уже был отменен и существовал наемный; значит, цены на него для мужика и барина были установлены; тот и другой видели благодетельные последствия этого: барин – превосходство наемного труда перед крепостным, мужик – пользу заработка, хоть и по невысокой цене, но дома, где он не тратится на дорогу, ни на дороговизну городского содержания. Второе, у меня давно уже введено машинное хозяйство: я знаю, какая машина для нашей почвы годится, какая нет!

Бакланов решительно не знал, врет ли он, или правду говорит.

– Значит что же-с, – говорил предводитель, заметив произведенный им эффект: – каждый из нынешних земледельцев только подражай мне. Мужик – моему мужику, барин – мне! И вот результаты этого, – продолжал предводитель: – у вас тихо… у соседа вашего тихо… у какого-нибудь Крикунова и Дуралева тихо. Чего ж мне больше?.. Дворянство, конечно, мне говорило: «Сделайте милость, позвольте ваш фотографический портрет повесить в предводительской!». «Господа, – говорю я, – я не один; позвольте уж, если снимать с меня портрет, так вместе с посредниками», – а в сущности ведь один, один все это сделал, не хвастаясь скажу! – воскликнул предводитель и,

заметив на лице Бакланова некоторое недоумение, снова постарался рассеять его фактами.

– Я как действую?.. Как получено было положение, я сейчас же поехал к мужикам; ну, и мне тоже не привыкать с ними разговаривать; я вот теперь хожу во французских перчатках, а умею сам срубы рубить. «Братцы, говорю, так и так быть должно, – поняли?» – «Поняли, говорят, батюшка!». Ихним, знаете, языком сказано, не свысока… Еду к помещикам: – «Вот как, говорю, господа, быть должно!» – «Разумеется», – говорят. У меня, как новый дворянин приехал, я сейчас же еду к нему и внушаю. Вы вчера только приехали, а сегодня я уж у вас! – заключил предводитель с гордостью.

Бакланову сделалось окончательно совестно слушать самохвальство своего гостя.

– Это хорошо… – говорил он, не зная, куда глядеть.

– Хорошо ли, худо ли, я не знаю, – отвечал предводитель, – но только это мои правила. Я прямо мировым посредникам говорю: «вы, господа, за крестьян, а я за дворян»; но в то же время я не крепостник, – нет-с! По убеждениям моим, я человек свободомыслящий, но чтобы дело у меня было делом…

«Чорт знает что такое!» – думал между тем про себя Бакланов, которому в это время подали письмо, запечатанное благообразнейшею печатью.

«Многоуважаемый и любезный родственничек!

В то время, как ты, чортова перечница, катаешься, как сыр в масле, твой друг и брат Иона в нищете, наготе, гладе и болезнях. Приезжай, дружище, и помоги, чем можешь!

Ограбленный Иона Дедовхин».

– Что такое с Ионой Мокеичем приключилось? – спросил Бакланов предводителя.

– С Дедовхиным это? – переспросил тот с улыбкой презрения. – О, помилуйте! – воскликнул он: – это человек с такими понятиями! Засыпал нас просьбами и жалобами на своих людей.

– Ну, чего ж от Ионы и ожидать было! – произнес Бакланов.

– Нет-с: ведь он умен!.. он ядовит! при этаком великом движении, для кого бы нужна гильотина, чтоб они своими устарелыми понятиями не мешали общему ходу! – произнес предводитель, подняв высоко брови.

– Ну что, Бог с вами! За что Иону на гильотину! – возразил Бакланов.

И ему в эту минуту старый враль Иона почему-то показался

гораздо лучше сего молодого говоруна.

Предводитель, наконец, встал и взялся за шляпу.

– Au revoir! Мы, как люди образованные, кажется, поняли друг друга! – проговорил он.

– Да-с! – отвечал Бакланов, а в уме у него вертелось: «Прескотина, должно быть, ужасная этот господин!»

17. Злой помещик

Прошел час, два, три. Бакланов чувствовал решительную потребность освежиться от трескотни, которая продолжала еще раздаваться в его голове после беседы с предводителем.

Он велел заложить экипаж и поехал к Ионе.

Подъезжая к самой Дмитровке, он был очень удивлен: половина почти полей оставалась незапаханною.

На лугах несколько бедных дворян, с стриженными головками и выбритыми лицами, косили.

– Что это, господа, как у вас поля запущены? – сказал он им.

– Не слушаются нынче нас рабы наши, – отвечали ему некоторые из них какими-то дикими голосами.

Около дороги бедная дворянка, с загорелым, безобразным лицом, но в платьишке, а не сарафане, кормила толстого, безобразного ребенка и, при проезде Бакланова, как дикарка какая, не сочла даже за нужное прикрыть грудь.

Собственно жилище старого грешника Ионы тоже поразило его: сад, как запущенная борода, еще более разросся и позеленел; кругом его тын и вокруг красного двора решетка обвалились. Самый дом точно совсем присел к земле. Бакланов толкнул ногой в дверь. Она сначала было покачнулась, потом вдруг остановилась, зацепившись за перекошенную половицу. В зале сообразительная картина голой женщины все еще висела, но вся была засижена мухами. Бакланов прошел в соседнюю комнату, в спаленку; там он увидел Иону, совсем плешивого, с седою, отпущенною бородой, лежащим на грязных подушках, под грязным, худым одеялом.

Висевшая здесь сообразительная картина не была ничем уж и закрыта. Нарисованный на ней господин, по преимуществу кидавшийся в глаза, кем-то, должно быть, возмутившимся его позой, был проколот в нескольких местах.

– А! друг сердечный! – воскликнул Иона.

– Что это вы? – говорил Бакланов, садясь около него на стул.

Запах и всюду видневшаеся нечистота были невыносимы.

– Болен! – отвечал Иона хриплым голосом, – без ног совсем.

– Что ж это такое?

– Да вон, дурак доктор говорил, что за девками бегал, а я, Матерь Божья, никогда не бегал: все ездил.

– Лечиться надо! ничего, пройдет! – утешал его Бакланов.

– Га! – воскликнул Иона: – лечиться надо! Мне есть нечего, Саша, да! Что вот, спасибо, напротив, старушка, бедная дворяночка, живет, что придет да уберет около меня, то и есть, Саша, друг мой!

И старик зарыдал.

– Где же ваши люди?

– Люди – да! Где вода весенняя, поищи-ка ее летом! Я было дьяволов их всех в дворовые в прошлую ревизию припер, и они, как вышло положение, и разлетелись, как птички Божьи! И ну-ка, Саша, и Марфутка-то ушла. Сколько тоже жил с ней, не жалел на нее ничего: под конец, что есть, била уж меня, и то ушла… хоть бы на нее, окаянную, взглянуть перед смертью-то…

И старик снова горько, горько зарыдал.

– Что ж, у вас земля осталась, – вздумал было опять утешить его Бакланов.

– Возьми у меня ее всю!.. не хошь ли? – прокорми только до смерти.

Бакланов молчал.

– Возьми! – повторил Иона.

– Что же! – произнес наконец тот.

– То-то что же!.. А я за имение-то десять тысяч дал; пятнадцать раз из-за них, окаянных, в уголовной палате был; чуть на каторгу два раза не сослали… За что ж меня теперича ограбили совсем как есть?

– Нельзя же, Иона Мокеич, для вашего благосостояния пожертвовать благосостоянием двадцати миллионов. Вы вот недовольны этим, а другие помещики рады.

– Кто рад-то, кто? – воскликнул Иона. – Подлецы вы, вот что… Язык-то у вас, видно, без костей, так и гнется на каждое слово. Рады они?.. Вот предводителишки так рады – жалованье дьяволам дали! И вдруг говорят мне: «Ты-де, говорят, с земли будешь платить по пятнадцати копеек!». Меня ограбили, а я плати!

– А предводитель здешний говорит, что все устроил по крестьянскому делу.

– Все он, все! – отвечал Иона с исказившимся лицом.

– Он говорил, что у него крепостной труд давно заменен

наемным, – продолжал Бакланов.

Ему почему-то приятно было подзадоривать Иону, чтоб он хорошенько продернул предводителя.

– Как же, – продолжал Иона, – давно уж на винокуренный заводишко мужиков гоняет, в летнюю пору, за гривенник в день; два раза уж поджигали у него это вольнонаемное-то заведение. Раз самого-то было в затор толкнули, да ловок – выскочил!

– Он говорит, что и машинное хозяйство у него давно существует.

– Давно! – отвечал Иона и на это спокойно, хотя злобе его и пределов не было. – Раз как-то – я еще служил, – заехали мы к нему. Стал он нам показывать свои модные амбары, – гляжу, хлеба ни зерна. Я ему и говорю: «Вели-ка, говорю, брат, сусеки-то войлоками обить; при батьке твоем крыса с потолка упадет, все-таки в хлеб попадет, а теперь на голые-то доски треснется, убьется до смерти, – мне же, земскому чиновнику, придется тело поднимать»…

– Он говорит, что у него на мировом съезде отличный порядок, – продолжал Бакланов пилить Иону.

– Как же? Отлично! Ха-ха-ха! – захохотал старик диким голосом. – Был я, сударь, Александр Николаич, у них, был на этих съездах… столпотворение вавилонское – и там, я думаю, не подобный шум. Кто что говорит, словно лошади степные скачут; никто никого не слушает… У нас прежде по крайности в присутственных местах благочиние было, а тут я омерзение почувствовал… Посредники эти молокососы: пик-пик тоже!.. Предводителишка врет, по обыкновению, несет свою околесную, а дурачье-мужичье, брюхо распустивши, и слушают.

– Что ж в этом особенно худого? – возразил Бакланов.

– Хорошо, хорошо! – продолжал Иона: – а сами, подлецы, себя так не забывают… «Что, говорят, не придете ли к нам, мужички, на помочь повеселиться?». Ну как, батюшка, подначальные – совсем как не придут? И привалят, разумеется, целая тысяча; а у нас-то… Пришиби ты меня, друг сердечный, лучше!.. По крайности буду мертв и ничего того не буду ни видеть ни чувствовать…

Говоря последние слова, Иона, кажется, не помнил уж сам себя.

– Ну что ж? К чему так отчаиваться! – сказал ему Бакланов: – я вот теперь вам немножко помогу, а там и сами станете поправляться, – прибавил он и подал Ионе Мокеичу двадцатипятирублевую.

– Спасибо! – произнес тот, сначала пожимая только у Бакланова руку. – Спасибо! – повторил он еще раз с каким-то особенным чувством и вдруг поцеловал у Бакланова руку и оттолкнул ее потом от

себя. – Да! – забормотал он, опускаясь на постель. – Иона плут, мошенник был, но никогда не думал нищим быть…

При последних словах у него голос был даже не хриплый, как у умирающего.

– Ну-с, прощайте! – сказал Бакланов, вставая.

Ему тяжело было более оставаться.

– Прощай! – сказал Иона, как-то чмокнув губами. – Прощай!.. А я теперь опять один, опять! – произнес он и заревел на весь дом.

Бакланов поспешил уйти и уехать.

18. Добрый помещик

В одно из ближайших утр Бакланов лежал в своем кабинете с камином, с картинами, с мебелью (все это было перевезено из городского дома покойного отца). Перед ним стоял приказчик, тот самый молодой лакей, живший когда-то с ним в Москве, а теперь растолстевший и раздобревший до довольно почтенной и солидной фигуры. Впрочем, лицо его было печально и как бы выражало, что звезда его счастья закатывается.

– Что, скажи, любят меня крестьяне? – спрашивал Бакланов.

– Любят-с! – отвечал приказчик.

– Пожалуй, и на волю бы не пожелали?

– Да известно, что есть дураки, – гайгайкуют, радуются тому; а который мужик поумней, так понимает тоже…

– Ну что, скажи, пожалуйста, мир этот ихний?

– Что мир! Не дает тоже спуску никому: теперь уж какой бедный, али промотавшийся недоимщик не надейся, шабаш!.. Этта вон, у нашего Гаврюшки, по полтиннику сбор был, не было денег, так последнюю овцу со двора стащили да продали.

– А много уж этих поборов-то было?

– Да году еще нет, а уж рубля по три сошло с души… вскочит тоже им эта забавка-то в копеечку, одному старшине жалованья 200 рублей серебром, он и сам-то весь того не стоит.

– Отчего же не стоит?

– Да оттого, что-с, где вот тоже эта ссора или неудовольствие промеж помещиком и мужиками, приедет тоже, разговаривает, рассуждает, а толку ничего из того нет.

– Это так сначала, а после обойдется.

– Нет-с, николи это не обойдется… У нашего вон тоже Кирила сына-то выбрали в старосты, как батька кучился, оченно-с!.. «Что-что,

говорит, пятьдесят рублей серебром жалованья положили, мы через это самое мастерство наше колесное запускаем, – подороже, поближе сердцу-то нашему всякой должности».

– Неужели же они не понимают, что это для общей пользы?

– Что ему общая польза-то? Мужик, осмелюсь, сударь, доложить вам, умен на своем только деле, а что про постороннее судить али разговаривать, он ничего того не может.

– Пожалуй, старшины эти потом и взяточки начнут побирать?

– Непременно-с! Посредников-то еще теперь маненько побаиваются.

– Ну, а посредники люди все хорошие?

– Молодые все больше господа… Небольшого рассудка, и на речах не так, чтобы складные… Кто ж, помилуйте, разве хороший господин, настоящий, служащий, пойдет в эту должность, на экие неудовольствия. Так сунулись, кому в другом месте негде уж приткнуться было.

– Это пустяки, я сам знаю, сколько отличных людей тут.

– Попервоначалу так-с! А что после – все вышли, потому самому: видят, что никакого ладу нет ни с мужиками, ни с барами. Пустое это дело, барин, ей-Богу, так, – заключил прикзчик.

– Ну, скажи, пожалуйста, дворовые у меня не желают ли взять надел земли?

Приказчик даже вспыхнул от радости.

– Как не желать-с, помилуйте, с великим удовольствием, – отвечал он: – крестьянам теперь экие милости оказаны, а нам дворовым… два года эти пройдут, хоть топись совсем… у другого семейство большое, сам дела настоящего делать никакого не может, другой – старик тоже старый, ветхий.

– Детки прокормят!

– Гм, детки! Нечего нынче, батюшка, никому на деток надеяться… Мы вот тоже, Александр Николаевич, вместе с вами росли и родителей имели, жалели их тоже маненечко, а нынешние молодые ребята никакого чувства к старикам не имеют… Али опять теперича к женам, к хозяйкам: что есть, что нет ее, все ему единственно!

– Ах, кстати, к женам! – произнес Бакланов: – где, скажи, пожалуйста, Марья?

– Да здесь у нас, в нашу же вотчину вышла-с. Славная женщина из нее вывалялась, умная такая, расторопная.

– И хорошо живет с мужем?

– Да ничего особливого не видать… Все ведь они одинаково

живут… В Питере муж-то… Не часто тоже сходит!

– Знаешь что, я желал бы, во-первых, потолковать с мужиками об уставных грамотах и, наконец, поблагодарить их за любовь ко мне.

Приказчик смотрел на барина.

– Вели приготовить им сегодня ужин: вина там ведра три купить, пива. Пусть придут с поля часов этак в восемь, попьют, поедят… Я потолкую в это время с стариками и вообще отпраздную с ними нашу общую радость.

– Слушаю-с, – отвечал управляющий, решительно недоумевая, к чему все это господин хочет делать.

– Ну, и женщины чтобы пришли, и Марья также, попели бы, поплясали бы! – заключил Бакланов.

– Да это сколько угодно, удовольствие вам сделают, – отвечал приказчик.

Оставшись один, Бакланов был очень доволен своим прежним крепостным неуправлением.

19. Братский праздник с народом

Из лугов, где сгребали сено, вотчина шла в усадьбу – мужики в красных ситцевых рубахах, женщины тоже в ситцевых сарафанах и в чистых белых рубашках, все с граблями и с вилами на плечах, все, по большей части, красивые и молодые.

Бакланов стоял на балконе и прислушивался. Толпа пела песню, и чем ближе подходила, тем голоса становились слышнее. Бакланов заметил впереди идущую фигуру в белой рубахе, синих штанах, которая разводила руками и помахивала платком. Это был гайдук Петруша, совсем седой, как лунь, но еще бодрый…

Голоса совсем уж стали слышны; Бакланов стал, наконец, различать слова:

«С поля, с поля едет барин», – пели мужики и бабы.

«Две собачки впереди!» – слышался, по преимуществу, дребезжащий голос Петруши.

«Поровнявшися со мною, кинул он умильный взгляд!» – пели, кажется, по преимуществу женщины.

«Здравствуй, милая красотка, из которого села?» – пробасили уж мужчины.

«Вашей милости крестьянка, отвечала ему я!» – опять залились женские голоса.

Всю эту штуку выдумал и управлял ею старик Петруша.

Бакланов, стоя на балконе, все ниже и ниже наклонял голову; наконец, не мог выдержать и, убежав к себе в кабинет, упал на диван и зарыдал.

Покуда он лежал там, толпа пришла на двор, и слышалась уже другая песня:

«Башмачки, башмачки,
Башмачки мои тороченые!
Три рубля за них платила.
Только день в них походила.
Башмачки, башмачки,
Башмачки мои тороченые!»

При этом какой-то малый, из простых деревенских мужиков, неистово ломался перед народом.

Бакланов, наконец, вышел на крыльцо.

– Ура! наш батюшка, барин! – вскрикнула толпа, подкидывая шапки на воздух. – Ура! – повторила она.

И опять этим распорядился старик Петруша, который стоял на правом фланге и выше всех поматывал рукой.

Бакланов снова прослезился.

– Благодарю вас, братцы! – начал он взволнованным голосом. – Что же водку-то?.. Подавайте водку-то! – прибавил он.

Управляющий, с огромным бочонком и со стаканом в руках, пошел обносить.

– Давай по два стакана за раз! – сказал Бакланов.

Мужики при этом отхаркивались, отплевывались, однако выпивали.

– Земли вам, братцы, – продолжал между тем Бакланов, стоя перед ними, – по Положению назначено по четыре десятины; но вы владеете, вероятно, больше?

– Да, словно бы есть маленький излишечек, – произнесло несколько стариков-мужиков.

– Весь этот излишек оставлю вам, не отрезываю ни клочка.

– Благодарим, батюшка, покорно! – произнесли опять те же старики.

– Земля-то больно плоха, – сказал стоявший несколько вдали рыжий, с перекошенным лицом, средних лет мужик: – каменья да иляк.

– Ну уж, любезный, мне для тебя земли не выдумать, не сочинять, – отозвался ему Бакланов, услышав его слова.

– Что, пустяки!.. Земля как быть надо земле… У всех здесь одинакая, – сказал опять старик.

– Такая, небось, как у тебя, у старого. По сороку телег на одну полосу навоза-то валишь, – возразил ему, в свою очередь, мужик.

– А тебе кто мешает, какой леший? – окрысился на него старик.

– Ну-с, дворовые теперь, – перебил их Бакланов, – желаете ли оставаться у меня временно-обязанными крестьянами?

– Лучше того нам быть не может! – сказал ему первый Петруша.

– Старики пусть живут здесь, а молодые промышляют и будут платить за них оброк, – сказал Бакланов.

– Нам тоже, Александр Николаевич, все про них да для них взять негде-с! – сказал молодой парень.

– А ты вот найдешь у меня, как тебя на миру-то раза два поучат; их вспоили, вскормили, а они батек и знать не хотят, – сказал Бакланов.

– Так, батюшка, Александр Николаевич, справедливо! – отозвались с удовольствием старики.

– Ну, садитесь, кушайте!

Мужики повернулись и стали усаживаться за приготовленные для них столы.

– А я вот к бабам пойду и побеседую с ними, – прибавил Бакланов и пошел.

Он давно уже видел между женщинами Марью, которая с заметным любопытством смотрела на него и даже, как показалось ему, с некоторым чувством.

Он прямо подошел к ней.

– Здравствуй, Марья! – сказал он и протянул к ней руку.

Она хотела было поцеловать ее.

– Как можно! Этого уж нынче нет, – говорил Бакланов, не давая ей руки, и хотел поцеловать ее в лоб; но Марья протянула к нему губы, и они поцеловались, и оба покраснели.

Другие женщины смотрели на всю эту сцену с усмешкой.

– Ну, садитесь!.. Садись, Марья, и я сяду около тебя!..

Марья продолжала смотреть на него с любопытством.

– Я стану с вами ужинать и выпью водки. Эй, дайте сюда!..

Приказчик подал.

– Ну, вы теперь, – продолжал Бакланов, выпив сам рюмку и обращаясь к женщинам.

Большая часть из них отхлебнула только, а Марья так и совсем отказалась.

Подслеповатая старуха, та самая, которая так сильно выла, когда он

в первый еще раз уезжал из Лопухов, не спускала с него глаз.

– Как бабушка-то на барина смотрит, – заметила одна женщина.

– Что ты, старушка? – обратился к ней Бакланов.

– Да больно как, батюшка, гляжу, баря-то просты ныне стали! – отвечала та.

– Просты они, матушка, ныне все! – отвечала ей прежняя женщина.

Марья, сидя около Бакланова, заметно модничала.

– Коли ты не хочешь водки, мы вино будем пить. Помнишь, как когда-то пивали с тобой? – обратился он к ней.

Приказчик, по его приказанию, принес из горницы бутылку мадеры.

– Нет, барин, не хочу, не стану! – отказывалась Марья, отстраняя рукою стакан, который подавал было ей Бакланов.

На мужской половине, между тем, начинали все больше и больше пошумливать.

– Мне таперича, Яков Иваныч, что значит – ничего, – заговорил уже прежний покорный старичок.

– А я его, дъявола, вот как ссучу! – говорил с перекошенной рожей мужик и показывал даже руками, как он кого-то ссучит.

– Тсс! Тише! – скомандовал достаточно выпивший Петруша. – Песню господину петь!

– Песню, изволь! – повторила толпа.

– Братцы, пойдемте в сад, там вам попривольнее будет веселиться! Эй! вино несите в сад! – сказал громко Бакланов.

– В сад, ребята, уважим барина! – раздалось несколько голосов.

Вся толпа тронулась.

Бакланов постоянно старался быть около Марьи.

Он нарочно затеял идти в сад, чтобы в тенистых аллеях удобнее с ней объясниться.

Солнце в это время закатилось, и горела одна только яркая заря.

Перед балконом мужики расположились по одну сторону, а бабы по другую.

Бакланов оставался между последними.

Загорланили песню там и там: сначала пели было одну, а потом стали разные.

Бакланов взял Марью за зад сарафана и посадил ее около себя.

– Ой, барин, не трожьте! – прговорила она, отодвигаясь от него.

Другие бабы, заметив это, поотошли несколько.

– Пойдем в горницу, шепнул ей Бакланов.

– Я еще, барин, не сошла с ума… – отвечала она, устремляя на него

насмешливый взгляд.

– Да ведь прежде ходили же?

– Мало ли вы прежде крови нашей пили? – отвечала Марья.

Бакланову сделалось стыдно и досадно.

– Я, кажется, тебя не принуждал?

– Волей, значит, видно, шла! – отвечала насмешливо Марья.

– Да ведь это глупо же, – произнес Бакланов, – прежде там как бы то ни было, но были же отношения; отчего же теперь… Я денег тебе дам, сколько хочешь!

– Не надо, барин, никаких мне ваших денег, – проговорила Марья и потом, прибавив тихим, но решительным голосом: «пустите-с!», отошла на более приличное ей место.

Такое холодное и насмешливое обращение ее рассердило Бакланова. Он перешел на балкон и сел на мужскую половину.

Бабы, точно в насмешку, запели какую-то звончайшую песню, и Марья впереди всех выводила.

Перед Баклановым встал раскорякой один совсем пьяный мужик.

– Барин, я пляшу, смотри, – говорил он и, обернувшись спиной, начал приплясывать. – Да ты гляди, хорошо ли? – говорил он.

– Обернись, дуралей, к барину-то лицом, – усовещали его другие мужики.

– Изволь, сейчас!.. – отвечал мужик и, обернувшись к Бакланову лицом, показал язык.

– Экий дурак! экий скотина! – проговорили ему на это другие мужики.

– Дурак и есть! – подтвердил Бакланов, вставая и уходя в комнаты.

«И это люди!» – говорил он мысленно сам с собой.

Через полчаса к нему пришел приказчик, тоже выпивший.

– Говорили с Марьей-с? – спросил он его с улыбкой.

– Неприступна уж очень стала! – отвечал Бакланов в том же тоне.

– Все они, проклятые, набрались этой фанаберии! – объяснил приказчик.

– Что это они так шумят? – спросил Бакланов с досадой.

– Да разные там свои глупости врут; разберешь у них!

– Прогони их! Скажи, чтобы шли по домам. С ними нельзя повеселиться хорошенько!

– Бесчувственный народ – как есть самый! Докладывать-то только давеча не смел, а стоят они этого! – отвечал приказчик и ушел.

Бакланов слышал потом его голос и несколько ругавшихся с ним голосов. Шум не только не умолкал, но становился все больше и

больше в саду и на дворе. Бабы продолжали визжать песни.

Бакланов, наконец, нашел нужным затворить окна, запер потом двери и осмотрел свой револьвер. «Чорт их знает, чего им ни придет, пожалуй, в пьяные-то башки!»

20. Возвратившаяся любовь

На другой же день после этого, Бакланов, в легонькой бричке, на наемной тройке, несся что есть духу по дороге к Ковригину.

Софи его известила коротеньким письмецом, что она уезжает на днях за границу, и вдруг эта женщина выросла в его глазах: ему показалось, что он жить без нее не может. Он решился ее нагнать и ехать вместе с нею. Он трепетал одного, – что не нагонит Софи: тогда уж решительно не знал, что с собой делать, хоть стреляйся!

В Ковригине, не доехав еще до крыльца, он выскочил и побежал в дом. Сердце его забилось радостною надеждой. Двери в сени были не заперты и даже не затворены.

Бакланов прямо прошел через коридор в комнату Биби, отворил дверь, и странное зрелище представилось его глазам: на постели, в одной рубашке и босиком, лежал Петр Григорьевич и, закрыв глаза, держал одно ухо обращенным в правую сторону. На деревянном стульчике около него сидела старуха и что-то беспрестанно ему говорила, покачивая в такт головой.

При виде Бакланова, Петр Григорьевич вскочил и ужасно сконфузился.

– Извините, сделайте милость, – заговорил он.

– Где Софья Петровна? – спрашивал его тот задыхающимся голосом.

– Сейчас… часа с два как уехала, – отвечал Петр Григорьевич.

– Сделайте милость, тройку мне лошадей… я ее догоню… мне до нее и ей до меня крайняя надобность.

– Сейчас лошади будут! – отвечал самонадеянно Петр Григорьевич и, в одной рубахе, босиком, пошел на улицу.

Бакланов остался в тоскливом и нетерпеливом ожидании.

– Где лошади-то!.. Нету лошадей-то! – бормотала между тем старуха.

– Вы что тут делали? – спросил ее Бакланов.

– Сказки барину-то рассказывала… охотник… очень уж любит это! – отвечала старуха.

«Вот, чорт, чем занимается!» – подумал Бакланов.

Петр Григорьевич возвратился что-то не с веселым лицом.

– Говорят, лошади не съезжены, не пойдут! – проговорил он.

– О, вздор! у меня пойдут! – проговорил Бакланов и, видя, что надеяться больше на распорядительность добродушного старца нечего, сам пошел. На дворе стояли старик-староста, молодой сын его, сельский даже староста и ямщик, приехавший с Баклановым. Все они в каком-то раздумье рассуждали.

– Пустяки, братцы, у меня пойдут; я вам заплачу за это! – говорил Бакланов.

– Нам, батюшка, не жаль, – отвечал старик-староста: – пятнадцать лошадей на дворе стоят, ни одна не езжена; тетенька при жизни-то не приказывала, а после смерти их – мы сами не смели.

– Карька-то сходит; раз в телеге ездил я на нем, – подхватил молодой парень.

– Пустое дело, как тройки не выбрать из пятнадцати животин! – насмешливо заметил извозчик Бакланова.

– Выбери-ка, попробуй, и поезжай сам! – отвечал ему старикашка-староста.

– Ну и выберу, – али нет! – отвечал ему молодцевато извозчик.

– Попробуйте-ка в самом деле, ребята! – распоряжался между тем сельский староста, начинавший явно принимать тон полицейского чиновника.

– Ну и попробуй, и поезжай! – говорил старик-староста, идя с сыном и с извозчиком в конюшни.

– И поеду, покажу вам в зубы-то, как это дело надо делать! – говорил извозчик.

Вскоре они привели тройку лошадей и выкатили из сарая телегу.

Смотреть на сцену закладыванья вышел на крыльцо и Петр Григорьевич, по-прежнему в одной рубашке.

Коренная вошла в оглобли с некоторым приличием; впрочем, извозчик имел осторожность, вынув из своего собственного кармана бечевку, взнуздать ее этим. Молодой парень стал ее держать. Лошадь как-то глупо-сердито поводила глазами.

Из пристяжных одна, когда ей поворачивали, как следует, голову, она зад отворачивала; зад подвернут, голову отнесет. Другая же при этом и лягнула. Старик-староста, отскочив от нее, проговорил: «дьявол, что ты!». Обеих их взялись держать под узцы сельский староста и пришедший какой-то уж новый мужик.

– В трок им головы-то, в трок, – кричал было с крыльца Петр Григорьевич, но его никто не слушал.

У извозчика, заправлявшего всем эти делом, заметно дрожали руки.

– Отпускай! – крикнул он, проворно вскакивая в телегу и подбирая возжи.

Все трое расскочились. Лошади сначала пошли хорошо.

В телегу поскакали молодой малый, сельский староста, новый мужик и даже бежал было и старик-староста, да не успел уж вскочить.

– Пойдут, ничего, пойдут! – ободрял с крыльца Петр Григорьевич.

Лошади, однако, начинали все больше и больше забирать.

– Батюшки, бьют, кажется! – проговорил бежавший за ними старикашка.

– В самом деле бьют! – говорил Бакланов, тоже бежавший за ними.

– Держи! держи! – кричали между тем в самой телеге, и все хватали за возжи и тянули в разные стороны.

Но коренная перекусила уже бечевку, одна из пристяжных беспрестанно взлягивала, другая попала ногой в постромку. Извозчик был бледен, как полотно.

Телега адски стучала.

Из усадьбы побежало еще несколько народу, и один только Петр Григорьевич оставался спокоен на крыльце.

– Сдержать, сдержать! – толковал он вышедшей на крыльцо старухе-сказочнице.

– Держите на стену! на стену! – кричал сельский староста, соскакивая сам с телеги.

Но на стену не попали, а вылетели за околицу, а там на пашню, на косогор, в овраг. Телега перевернулась, но лошади продолжали нести. Извозчик потащился было на возжах, но бросил; новый мужик побежал было, держась за задок телеги, но упал.

Молодой парень лежал и охал.

К нему подбежал батька.

– Что, батюшка, не убился ли?

Но парень ничего ему не ответил, а вскочил и побежал за лошадьми. Те, как неопределенная масса какая-то, мелькали вдали.

– Черти! лешие! – говорил извозчик, возвращаясь в усадьбу. – Поедемте, барин, я вас на своих отвезу. Недалеко тут. В Захарьине, говорят, барыня-то кормит, – обратился он к Бакланову.

– Сделай милость, – отвечал тот.

Извозчику более всего было стыдно, что он хвастался, а лошади его разбили.

– Поедемте сейчас же! – прибавил он и затем, приведя еще дрожавшую от усталости свою тройку, заложил ее снова в бричку.

Бакланов сел.

– Прощайте! – произнес ему с крыльца своим добродушным голосом Петр Григорьевич.

Бакланов молча кивнул ему головой.

– Кричат все, лешие, а то бы я справился с ними! – продолжал, как бы оправдываясь перед Баклановым, извозчик, а потом, от сдержанной, вероятно, досады, стал неистово сечь свою тройку, так что та снова заскакала у него. Сердце Бакланова замерло в страхе, когда они стали подъезжать к Захарьину. «Ну, как ее нет тут!» – подумал он, и у него волосы на голове стали дыбом от ужаса. По крайней мере за версту еще он стал в повозке своей раком, выглядывая, нет ли на улице Захарьина экипажа Софи. Но его не было. Почти не помня себя, Бакланов обежал все дворы, и на одном из них сказали ему, что Софи приставала ненадолго, но уже с полсуток как уехала.

Выйдя на улицу, бедный герой мой сел на валявшееся бревно и горько-горько заплакал. О, как он любил в эти минуты Софи!

Часть шестая

1. Изучение искусств

В Петербурге судьба сжалилась над моим героем: он отыскал Софи, помирился с ней, и они вместе отправились за границу.

В одно светлое блистающее утро, оба они, счастливые и довольные, выходили из гостиницы Гота в Дрездене.

Рядом с ними шел немец, чичероне.

– Мы куда это? – спросила его Софи.

– O, madame, в Grünes Gewölbe, – отвечал тот.

– Это где сокровища хранятся, – пояснил ей Бакланов, внимательно заглянув в красную книжку Бедекера.

Немец многозначительно кивнул ему, в знак согласия, головой.

Войдя во двор королевского замка, он таинственно посадил их в каких-то сенях. Тут уже сидели полная дама с двумя девицами и толстый господин, должно быть, русский купец с бородой, в пальто, непривычно на нем сидевшем, и мрачно склонивший голову. Полная дама бранилась с дочерьми.

– Ты глупа, что не надела коричневой шляпки! – говорила она.

– И не надену! – отвечала дочь.

– И я не надену! – подхватила и другая.

– Дуры! – сказала им на это мать.

Все это, разумеется, было говорено по-немецки и самым скромным образом.

– Сейчас, как выйдут, так и мы войдем! – сказал таинственно и лукаво немец.

Купец при этом приподнял на него лицо и почесал у себя за ухом.

Наконец двери отворились, и из них стала выходить толпа.

Немец, почти с азартом, схватил Бакланова и Софи за руку и втолкнул их в дверь, а потом сделал им, в знак поздравления, ручкой.

Там их уже встретил сам господин профессор, с почтенною физиономией, в очках и ермолке. Купец и дама с дочерьми тоже вошли вслед за ними.

Профессор ввел их в первую, с статуэтками, комнату и, закрыв как бы от удовольствия глаза, начал им рассказывать.

– У нас это в каждом магазине есть, – сказала Софи.

– Да, – отвечал Бакланов, – но это древность!

В одной из следующих комнат, с шпагами и орденами, Софи уже села.

Но зато внимательно и как-то злобно рассматривал все купец.

Дочери полной дамы тоже восхищались разными поддельными и настоящими брилльянтами.

В следующих затем комнатах и Бакланов зевнул, и больше уж стал обращать внимание на изображения королей саксонских, смутно соображая, как это они, из этаких диких рыцарей, делались все больше и больше образованными принцами.

С купца пот градом катился; но он, как человек привычный ко всякому черному делу, продолжал смотреть и слушать.

– Ух! – сказал наконец Бакланов, когда их выпустили из «Грюнес Гевельбе».

– Голова заболела, – подтвердила и Софи.

С одной только дамой немецкою ничего не случилось, может быть, потому, что она прошла, решительно ни на что не смотря.

– Угодно в галлерею? – произнес было провожатый Бакланову и Софи.

Те переглянулись между собой.

– Нет, мы бы поесть хотели, – сказали они.

– О, да! – произнес немец и вежливо повел их из дворца.

Выйдя на площадь, он приостановился и принял несколько театральную позу.

– Мост! – начал он, показывая в самом деле на мост: – был разрушен французами… император русский восстановил его… Приятно вам это слышать?

– Да, – отвечал Бакланов.

– Терраса! – продолжал провожатый докторальным тоном, ведя наших путников на известную Брюлевскую террасу.

– Здесь очень мило! – сказал Бакланов.

Внизу, перед самыми почти их глазами, не очень шумно, да и не совсем мертво, катилась Эльба. По ней приплывали и отплывали веселые на вид и с веселым народом пароходы. Впереди, на другом берегу, раскидывался старый город, весь перемешанный с зеленью.

Софи села и спросила себе кофе.

Бакланов сел около нее.

Проводник с серьезным видом начал толковать им:

– Все это министр и любимец Августа, курфюрста саксонского, Брюль сделал!.. Это его место и дворец.

– Брюль? – переспросил Бакланов.

– Да, – отвечал немец, – но слава наша на земле – дым: он умер, и потомок его таким же ремеслом занимается, как и я…

Подкрепившись кофеем и освежившись воздухом, путники наши объявили о своем желании идти в картинную галлерею.

Немец гордо пошел вперед.

Бакланов повел Софи под руку. За границей они новою какою-то любовью стали жить, точно снова ее начинали.

– Софи! – шептал потихоньку, но с восторгом, Бакланов: – ведь мы будем видеть Сикстинскую Мадонну, пойми ты это!

– Да, – отвечала она.

– Софи, смотри: это Гвидо Рени настоящий! – начал он восклицать с первого же шагу.

Купец тут же похаживал своею здоровою походкой и на все, не столько со вниманием, сколько со злобою посматривал.

– Каков Караччи-то, каков? – кричал на всю залу Бакланов. – Отойди вот туда, сядь вот тут! – говорил он, отводя и сажая Софи на диванчик: – смотри, видишь эту перспективу капеллы и спину этой молящейся женщины?

– Вижу, – говорила Софи.

Румянец снова начинал пропадать у нее на щечках, и появлялась бледность утомления.

– Пойдем, я хочу поскорее Мадонну видеть! – сказала она.

– Ах, душа моя, нет! – сказал было сначала Бакланов, но, впрочем, пошел.

– Это вот Рембрандт, это Джулио Романо, это Клод Лоррен; наперед вижу и знаю, не подходя.

Софи заглянула на надпись.

– Нет, это Тициан подписано! – сказала она.

– Да, ну, они схожи в манере, – произнес Бакланов, и они вошли к Мадонне.

В первое мгновение Софи и Бакланов взглянули на картину, а потом друг на друга.

– А! – произнес он, увлекая и сажая Софи на диван. – А! – повторил он. – Тебя что больше всего поразило?.. – прибавил он почти шопотом.

– Младенец, я уж и не знаю, что это такое! – отвечала Софи.

– А, младенец! – повторил Бакланов по-прежнему тихо: – да ты видишь ли, что это будущий аскет, реформатор?

– Божеский какой-то огонь в глазах.

– А ты видишь эти волоски сбившиеся… это они ведь на облаках плывут… это ветер их немножко раздул, – продолжал Бакланов.

– А вот она-то хороша!

– Она плывет… идет… она мать… она уничтожена, чувствует Бога на руках…

Софи продолжала смотреть.

– Это ведь не картина!.. Это разверзлись небеса, и оттуда видение!.. – толковал ей Бакланов.

– Да, – подтверждала Софи.

Ей почему-то в эти минуты вдруг припомнилась вся ее жизнь, и ей сделалось как-то неловко.

– Ну! – сказала она после целого получаса молчания, в продолжение которого Бакланов сидел, как в опьянении.

– Пойдем! – отвечал он ей, и оба, молча и под влиянием каких-то особенных мыслей, вышли.

2. Немецкий обед и немецкий вечер

– Я не могу больше уж этого есть, – говорил Бакланов отодвигая от себя восьмое блюдо, которое подавали им на Брюлевской террасе.

– Ужасно! – сказала Софи, тоже отодвигая от себя тарелку.

– Garçon! – крикнул Бакланов.

– Monsieur! – отозвался тот с шиком парижского гарсона.

– Возьми! – сказал Бакланов.

– Monsieur trouve que cela n'est pas bon?

– Напротив, совершенно bon, но es ist genug.

– Vous êtes russische gentlemen! – произнес одобрительно, но Бог уж знает на каком языке, гарсон.

Невдалеке от наших героев обедал, или, точнее сказать, хлебал бульон с вермишелью русский купец. Бакланов решился, наконец, к нему обратиться.

– Вы тоже путешествуете? – сказал он.

– Да-с! – отвечал купец, боязно на него посмотрев.

– Что же вы, для здоровья или для рассеяния вояжируете?

Купец обвел кругом себя глазами.

– По делам своим, – известно-с! – сказал он, и тот же недовольный взгляд перевел на подавшего ему счет гарсона, и при этом совершенно чисто и свободно заговорил с ним по-немецки.

«И языки еще иностранные знает, скотина этакая!..» – подумал про себя Бакланов.

Купец, отдав деньги, сейчас же ушел, и через какую-нибудь минуту уже видна была далеко-далеко мелькающая фуражка в саду.

Бакланов стал наблюдать над другими посетителями.

Часа в четыре пришли музыканты; пришло несколько приезжих семейств, прибыла и полная дама с двумя своими дочерьми. Девушки на этот раз покорилась родительской власти и были в коричневых шляпках, которые в самом деле были ужасно смешные и совершенно к ним не шли.

Бакланов заговорил с ними.

– Вы, вероятно, тоже иностранка?

– О, нет, мы саксонки! – отвечали обе девушки в один раз и с заметным удовольствием.

– И осматриваете древности?.. Делает честь вашему патриотическому чувству!

– О, да, мы должны все осмотреть, – крикнули девушки.

Бакланову показались они очень глупы, и он прекратил с ними беседу.

Прошло четверо офицеров, эффектно постукивая саблями, в нафабренных усах и в вымытых замшевых перчатках.

– Посмотри, как эти господа похожи на аптекарей! – сказал он Софи.

– Да! И точно, знаешь, не настоящие офицеры, а для театра только принарядились!

Заиграла музыка, и музыкальная немецкая душа почувствовалась в каждой флейте, кларнете, в какой-нибудь второстепенной валторне.

Бакланов все это время поколачивал ногой и мотал в такт головой.

Софи опять почему-то взгрустнулось, и стала ей припоминаться прошлая жизнь.

В антрактах публика пила кофе, пиво, ела мороженое, а кто и ростбиф: немцы могут есть во всякое время и что вам угодно!

Путешественники наши наконец утомились.

– Домой! – сказала Софи, приподымаясь.

– Allons! – произнес Бакланов.

Возвратившись в отель, где занимали два номера рядом, они сейчас же разошлись по своим комнатам, разделись и улеглись, но вскоре стали переговариваться между собой.

– Как чудно сегодня день провели! – заговорил Бакланов первый.

– Да! – отвечала Софи.

– Завтра, – продолжал он, – как встану, отправлюсь в картинную галлерею и уж стану серьезно изучать ее.

– А я, – подхватила Софи, – пойду гулять: я заметила прелестное место в саду.

– Сойдемся мы, значит, на Брюлевской террасе часам к двум?

– Да, – подтвердила Софи.

3. Другой день в Дрездене

Поутру Софи отправилась на прогулку гораздо позднее Бакланова. Он еще часов в десять, проходя мимо ее номера, торопливо крикнул ей:

– Ну, я иду!

– Ступайте! – сказала ему Софи. Из отеля она потом вышла какою-то несколько таинственною и робкою походкой.

– Ayez la complaisance, monsieur, de me dire où est la poste? – обратилась она к одному человеку.

Тот сделал какую-то мину из лица, развел руками и прошел мимо.

Софи сконфузилась и обратилась к более уже пожилому мужчине (по белому галстуху она догадалась, что это должен быть пастор).

– Montrez-moi votre lettre! – сказал ей тот почти строгим голосом.

Софи робко подала ему письмо.

– A Pétersbourg, monsieur Petzoloff! – произнес вслух немец.

Софи все это время обертывалась, как бы боясь, чтобы не подслушал кто.

– Voilà! – произнес пастор и тут же опустил письмо в прибитый перед самыми их глазами ящик.

Софи поблагодарила его милым наклонением головы и прошла в сад.

Сначала она села на одну из лавочек, с целью помечтать.

Помечтала и пошла потом ходить.

Походила, остановилась и с большим вниманием посмотрела на один из открывавшихся видов.

Снова села.

Скука ясно была видна на ее лице.

Она встала и пошла из сада по улице, остановилась перед одною церковью, полюбовалась и хотела-было внутрь зайти, но заперто!

Сойдя со ступеней храма, она вошла не то в лавочку, не то в аптеку, купила там мыла и духов; но, отойдя немного от лавочки и понюхав духи, бросила их на тротуар: такие они были гадкие!

Далее она решительно не знала, что с собой делать, и возвратилась на Брюлевскую террасу.

Всего еще было 12 часов.

Через полчаса, впрочем, явился туда и Бакланов, запыленный и усталый.

Он поутру прямо и проворно прошел в галлерею; в двух комнатах останавливался перед каждою картиной, справляясь с каталогом, делал глубокомысленную мину, записывал у себя что-то такое в книжке; в третьей начал он хвататься за голову; с каталогом уж более не справлялся, и наконец следующие комнаты прошел совершенно быстро и сел против Мадонны. Потом вдруг вскочил, как бы вспомнив что-то, и вышел снова в прежние комнаты, снова начал останавливаться перед каждою картиной, записывать в памятную книжку… Между тем у него во рту стало становиться сухо и поламывало ноги. Не давая себе хорошенько отчета, он пошел, пошел и совсем вышел из галлереи.

Но на террасу ему совестно было идти. Он решился пройтись по улицам и, не желая встретиться с Софи, бродил по самым глухим переулкам; а тут, как нарочно, поднялся ветер, который дул ему в глаза и рот, так что Бакланов беспрестанно отплевывался и уж самым скорым шагом отправился на террасу.

– Фу, поработал же сегодня! – сказал он, усаживаясь подле Софи.

– Все осмотрел? – спросила она.

– Все!.. – отвечал Бакланов.

– Стало, мы можем уехать сегодня отсюда. Мне через месяц непременно надобно быть в Париже.

Последние слова Софи почему-то произнесла не совсем спокойным голосом.

– Куда же ехать? – спросил Бакланов.

– В Баден, на воды; там препиятное, говорят, общество, – подхватила Софи с живостью.

– Хорошо, – отвечал Бакланов, зевая во весь рот.

4. Рулетка

Баден-Баден был в самом разгаре своего сезона. Опершись на перила мостика, идущего от отеля «Европы», стоял Бакланов в каком-то упоении. Под ним шумел источник. Кругом пели птицы. Воздух был как молоком пропитан. Впереди виднелся Conversation's Haus, а за ним высокие горы.

Они часа уже три как приехали, но Софи все еще одевалась. Горничная хлопотливо и беспрестанно входила и выходила от нее то за водой, то гладить платье, воротнички.

– Что ты так хлопочешь? – спрашивала ее другая горничная, служащая в нижнем этаже.

– С одной госпожой!.. Она очень хороша собой, – отвечала первая горничная и показала своей подруге, вынув из кармана, червонец.

– Гм, гм! – произнесла та.

Когда Софи вышла, наконец, из номера, в шляпке и белом бурнусе, горничная не утерпела и сказала ей:

– Vous êtes bien jolie, madame!

Софи с улыбкой поблагодарила ее наклонением головы.

Стоявший внизу обер-кельнер в белых штанах и белом галстухе, когда проходила она, закусив как-то губы и засунув палец в ключ, стал им колотить себя по ноге.

Софи прямо подошла к Бакланову.

– Как ты хороша, однако, сегодня! – невольно проговорил он.

Софи, гордо закинув головку, подала ему руку. Чтобы нарядиться и выйти на водах на гулянье, она как будто была рождена для этого!

Перед Конверсационною залой играла музыка.

Софи и Бакланов сели.

При этом обратила на них внимание даже одна, как впоследствии оказалось, владетельная особа, путешествующая инкогнито, которая несколько времени лорнировала их.

Сидевший рядом с Софи молодой англичанин тоже каждый раз вспыхивал, когда она взглядывала на него.

– Allons dans la salle, – сказал наконец Бакланов.

Софи встала.

– Madame, votre gant, – сказал англичанин, подавая ей уроненную перчатку.

– Merçi, monsieur, – сказала она, долго протянув эти слова.

– Madame est francaise? – прибавил он совсем уже робко.

– Non, monsieur, je suis Russe, – отвечала Софи.

Англичанин в почтении склонил перед ней голову.

В первой же великолепной зале, в которую они вошли, раздался радостный голос:

– Бакланов, Боже мой! Кого я вижу!

Но Бакланов при этом дрогнул и даже побледнел. К ним подходил, с бородой, одетый совершенным франтом и, как видно, чище обыкновенного умывшийся Никтополионов.

Софи невольно отняла руку от Бакланова и даже отошла от него.

– Скажите, пожалуйста! – кричал между тем тот, подмигивая своим единственным глазом: – вы совершенно пропали из К…

– Я был в Петербурге, в деревне, а теперь за границей, – отвечал Бакланов, желая поскорее уйти от своего соотечественника.

– А у нас Бог знает какие слухи про вас! – воскликнул Никтополионов и потом вдруг обратился к Софи.

– Il me semble, que j'ai l'honneur de voir madame Leneff?

Софи слегка, но серьезно и ничего не сказав, поклонилась ему.

– У нас Бог знает что говорят, – продолжал Никтополионов, снова обращаясь к Бакланову: – что вы вашу супругу бросили… в разводе с ней…

– Сплетни в нашем городе не новость, – отвечал Бакланов.

– Где рулетка?.. Я рулетку желаю видеть, – перебила их разговор Софи.

– Позвольте мне быть вашим кавалером! Я здесь как дома, – сказал Никтополионов и ловко предложил Софи руку.

Она должна была идти с ним.

– Вы вместе путешествуете с Баклановым? – спросил он ее невиннейшим образом.

– Мы встретились с ним в Дрездене, так же как вот и с вами теперь, – отвечала Софи небрежно.

– Да!.. разумеется, – подхватил Никтополионов: – как приятны эти встречи!

За границей он был хотя так же ядовит, но по крайней мере гораздо вежливее.

– Про Бакланова там решительно говорят, что он бросил жену и влюбился в какую-то даму…

– А, так вот какая рулетка! – перебила его на этих словах Софи, останавливаясь перед огромным игорным столом.

Бакланов пошел и стал на другом его конце. Он хотел показать, что

вовсе не с Софи приехал.

– Как же тут играют? – продолжала та, смотря с вниманием на груды золота и серебра, которые беспрестанно переходили то к банкометам, то к играющим.

– Очень просто: положите деньги на какое угодно вам место, там уж не обсчитают! – объяснил ей Никтополионов и бросил сам два талера.

Ему дали четыре. Он положил их в карман.

– Ах, это весело! – воскликнула Софи и бросила пять талеров. У нее взяли. Она еще; опять взяли.

Никтополионов попросил одного сидевшего тут господина, чтоб он уступил ей место.

Тот встал.

Софи поместилась к столу.

Она бросила пять червонцев. У нее взяли. Она еще десять. У нее взяли.

– Приостановитесь немножко!.. Ставьте поменьше! – научал ее Никтополионов.

Софи поставила червонец. Ей дали три. Она еще три. Ей дали шесть. Потом она опять проиграла.

– Теперь увеличьте куш! – шептал ей Никтополионов.

Софи поставила двадцать червонцев.

У нее взяли.

Софи поставила еще пятьдесят.

У нее взяли.

– Софи, что вы делаете? – кричал ей Бакланов с другого конца.

Но Софи даже и не отвечала ему. Лицо ее горело…

Она поставила билет в четыреста франков, взяли!

Она высыпала все золото из кошелька, ей дали немного.

Она все это поставила и приложила еще билет в четыреста франков, – взяли!

– Нет больше пока денег! – проговорила она, обращая к Никтополионову свое взволнованное лицо.

– Как? Все проиграли? – спросил тот ее с удивлением.

– Кредитив у меня в Париж! – отвечала с досадой Софи и потом вдруг обернулась к Бакланову. – Дайте мне денег! – сказала она.

Тот, растерявшись, и всем этим очень недовольный, вынул портмоне.

– Давайте все, сколько есть! – проговорила Софи и, потом повернувшись, сейчас же начала ставить.

В два приема портмоне Бакланова был пуст.

Софи по крайней мере часа три сидела около стола; глаза ее неустанно бегали за золотом: ей очень было жаль тех денег, которые она проиграла, и ужасно хотелось выиграть те, которые она видела перед собой.

На другой день, еще часов в одиннадцать, Никтополионов зашел за ней, увел ее под руку в Salle de Conversation, записывал для нее проигравшие на рулетке номера и учил, на которые ставить.

Бакланова более всего беспокоило то, где Софи брала денег, но обер-кельнер объяснил ему это.

– Monsieur! – окликнул он его раз, когда тот проходил мимо его будки. – Дама эта – ваша родственница?

– Да! – отвечал Бакланов, заранее предчувствуя что-то недоброе.

– Вам известно, что она заложила у хозяина все свои брильянты за пятнадцать тысяч франков?

Бакланов пожал плечами.

– Ее дело! – сказал он с улыбкою.

– О, здесь это часто бывает! – произнес обер-кельнер.

Вечером, впрочем, когда Софи, утомленная и усталая, возвратилась в свой номер, Бакланов решился постучаться к ней в комнату. Она отворила ему не совсем поспешно и не совсем с удовольствием.

– Вы все играете? – начал он.

– Да.

– Выиграли?

– Проиграла.

– Зачем вы это, Софи, делаете?

– Я не на ваши деньги играю, а на свои.

– На чьи бы то ни было, все-таки это безумство и наконец неприлично.

– Моя вся жизнь была неприличие и безумство, – отвечала Софи, вынимая из косы гребенку и закладывая волосы за ухо, видимо, приготовляясь спать.

Бакланов принужден был уйти.

Так прошел еще день, два, три… Чтобы спасти себя от невыносимой скуки, Бакланов однажды утром решился съездить, на осле верхом, на одну из соседних гор, на которой, говорили ему, были развалины. Местность, чрез которую он проезжал, была восхитительна, но на душе у него было скверно. При подъеме на самую гору он увидел, что навстречу ему спускается другой господин, который, поровнявшись с Баклановым, сейчас же повернул своего осла

рядом с ним.

– Господин Бакланов! – проговорил тот.

Бакланов узнал в нем старшего Галкина.

– Вы тоже оставили Росиию? – начал молодой человек.

– Да, – отвечал Бакаланов, погоняя осла.

– Это невозможно там оставаться!.. Чорт знает что такое происходит!.. – продолжал Галкин.

Бакланов молчал.

– Вы знаете, меня не пускали совсем за границу! – проговорил он с гордым видом.

«Тебя бы не только надо пускать, а выгнать из каждой страны!» – подумал Бакланов.

– Кого еще я здесь встретил? – заговорил молодой человек уже с хохотом и видя, что прежний разговор не занимает его спутника. – Madame Леневу!.. Помните, которая жила с отцом… Она вдруг меня спрашивает об нем; видно, опять желает обирать его!..

– А батюшка ваш здесь? – спросил Бакланов.

– Да, но он еще не выезжает… Мы всего здесь три дня… Госпожа эта ужасная мерзавка!.. Она столько у него перебрала.

Бакланов наконец не выдержал.

– Послушайте, вы еще мальчишка и позволяете себе подобным образом говорить о женщине.

Галкин сконфузился.

– Женщина женщине рознь!.. – пробормотал он.

– Нет, не рознь! – воскликнул Бакланов: – она моя родственница, понимаете ли вы это?..

Галкин совсем растерялся.

– Я не знал этого!.. – сказал он.

– Ну, так я заставлю вас знать! – кричал Бакланов: – и сейчас же вас, с вашим ослом, отправлю в эту пропасть! – прибавил он, показывая на крутейший обрыв, мимо которого они проезжали, и вслед затем, в самом деле, начал толкать Галкинова осла в спину, в зад, чтобы он подошел к обрыву.

– Перестаньте, Бакланов, перестаньте! – кричал во все это время молодой еврей.

Бакланов разбил себе ногу, руку, но ничего не сделал с ослом.

– Эмансипаторы тоже женские! – заключил он бешеным голосом.

Но Галкин успел уже в это время повернуть осла и уехать под гору.

– Вы ужаснейший чудак! – говорил он, обертываясь к Бакланову, которого главным образом в эти минуты взбесило то, что Софи

проигрывала и, пожалуй, опять продаст себя Галкину.

Возвратившись с своей прогулки, он решился еще раз, и уже в последний, иметь с ней объяснение.

К удивлению своему, он на этот раз застал ее дома и, грубо отворив дверь, вошел к ней в номер.

Софи, с изнуренным и истощенным лицом, стояла около своего дорожного сундука и укладывала в нем.

Бакланов начал прямо:

– Вам, вероятно, приятно здесь, но я никак не мог этого сказать про себя, а потому я уезжаю.

– Я сама уезжаю, – отвечала она ему спокойно.

– Куда же это?

– В Париж.

– Но ведь мы, кажется, предполагали с вами ехать сначала в Швейцарию, подышать чистым воздухом.

– Поедемте в Швейцарию, для меня все равно, – отвечала Софи, садясь уже на стул.

Бакланов опять ожил от радости.

– У меня только денег нет; я должна спешить, – прибавила она.

– Да деньги у меня есть, возьмите на путешествие.

– Хорошо!..

Через несколько минут Бакланов решился ее спросить о главном:

– А что, Софи, вы много проиграли?

– Много, – отвечала она с улыбкой, – тысяч сорок франков проиграла.

– Сорок тысяч! Зачем же вы это делали?

– Так, от скуки… скучно… – отвечала Софи.

– Много ли же теперь у вас осталось от всего капитала?

– Немного уж! – отвечала Софи опять с улыбкой и затем, выслав Бакланова от себя, занялась своим туалетом, и к обеду вышла, блистающая красотой и нарядом.

5. Восхождение на гору Риги

По Цугскому озеру к Арту шел пароход.

На нем ехали наши путешественники. Тут они уже входили в настоящие швейцарские горы, которые, сдавляя взор то зеленеющими, то обрывистыми и почти голыми скалами, окружали их со всех сторон. Неба чистого, голубого, блистающего полуденным солнцем, был виден только клочок. На нижних склонах гор были рассыпаны деревеньки, а на верхних – изредка мелькали пастушьи хижины. Все это как будто бы было на театре, а не в жизни и не на земле.

Бакланов беспрестанно повертывался из стороны в сторону.

– Нет, тут жить нельзя, – говорил он. – это слишком все как-то искусственно… Жизнь человеческая должна проходить обыкновеннее.

– Что в нашей-то обыкновенной жизни! Наскучила уж она! – возразила Софи.

– Посмотри, – прибавил он: – ты видишь дым около этой горы? Это облака.

– Это гора Риги! – объяснил им стоявший около них господин, в плоховатом пальто, но с чрезвычайно добродушною физиономией.

– Риги… Мы туда и поедем? – переспросил Бакланов.

– Туда, на самый верх; его еще не видать в облаках.

– Софи! Мы будем в этих облаках! – воскликнул Бакланов.

Но Софи в это время была занята другим. Она уже несколько минут не спускала глаз с того самого молодого англичанина, который подал ей перчатки в Бадене и который решительно теперь ехал по следам их: куда они брали билеты, туда и он.

Софи, конечно, на мгновение, но придала такое выражение глазам, что в значении ее взгляда не оставалось никакого сомнения; англичанин при этом слегка улыбнулся и потупился.

– Madame! – обратился к Софи господин в поношенном пальто (это был их проводник): – угодно вам пешком или на лошади ехать на гору?

– А как страшнее? – спросила она его.

– Некоторые дамы боятся верхом, а другие нет.

– Ну, так я поеду верхом и на самой сердитой лошади! Смотрите, такую мне и дайте!

– Вы получите коня, достойного вас! – сказал ей вежливый швейцарец.

Софи говорила громко и при том опять взглянула на англичанина.

Тот опять улыбнулся своею хорошею улыбкой.

Всего этого Бакланов или не видал, или не хотел видеть, и только, уж вслушавшись в последние слова Софи, проговорил:

– Что за глупости ехать в гору на сердитой лошади!

– Я так хочу, и в ледники еще пойду, – отвечала Софи.

Бакланов пожал плечами. Они, как выехали из Бадена, все ссорились.

В Арту проводник провел их в гостиницу.

Англичанин тоже пришел туда.

Софи переменила туалет и вышла в черном с длиннейшим шлейфом платье и шляпке à la Гарибальди.

Бакланов все это время был на улице и смотрел, чтобы в самом деле не привели бешеных лошадей.

– О, нет! У нас таких нет! – успокаивал его проводник.

Софи стояла перед зеркалом и начала поправлять свои волосы, которые, по густоте своей, никак не укладывались под шляпку.

– Как идет к вам этот наряд! – осмелился наконец обратиться к ней с первыми еще словами англичанин, и при этом весь вспыхнул.

– Вы находите? – спросила Софи.

– Да, – проговорил англичанин.

– Вы едете на Риги? – спросила его Софи.

– Д-да! – протянул еще раз англичанин. – А вы потом куда поедете? – прибавил он уже робко.

– В Париж.

– И я! – сказал англичанин.

– О, это хорошо! – воскликнула Софи и, молодцевато похлопывая себя хлыстом по платью, пошла навстречу Бакланову.

– Все готово, – сказал тот.

– Allons! – обратилась Софи к англичанину.

Тот пошел.

Софи, как только усадили ее, сейчас же начала свою лошадь бить хлыстом и поскакала.

– Софи! Софи! – кричал Бакланов, едва поспевая за ней.

Англичанин ехал от них в некотором отдалении около своего проводника, который нес ему плед, подзорную трубу и стулья в палках.

– Monsieur! – воскликнула вдруг Софи, обертываясь к нему: – угодно вам ехать со мною рядом?..

Англичанин подъехал к ней.

Бакланов нарочно стал отставать, чтобы не подать виду, что ему неприятно.

– Поскачемте! Кто из нас кого перескачет! – сказала Софи: – дайте руку; вот этак виднее, кто у кого впереди!.. – прибавила она, протягивая свою ручку. Англичанин, совсем сконфуженный, взял ее.

– Тише, тише, Софи! – закричал опять Бакланов, поскакав.

Проводники тоже бежали.

– Так, messieurs, нельзя! Нельзя! – говорили они.

– Так ездить на чужих лошадях нельзя! – передавал их слова Бакланов Софи.

– Я им заплачу! – отвечала та и вскоре потом, вместе с англичанином, совсем скрылась из глаз Бакланова и проводников, которые нашли их уже около маленькой гостиницы, где Софи преспокойно сидела и пила пиво.

– Что это, Софи: и пиво, наконец, пить! – воскликнул Бакланов, не могший удержать своей досады.

– Оно очень вкусно, – отвечала Софи и затем ловко и без всякой помощи сама вскочила в седло.

Проводник умолял ее ехать осторожнее.

Тронулись.

Дорога шла чем дальше, тем круче и опаснее. Там, где она суживалась и к ней с одной стороны прилегали нависшие скалы, а с другой – почти прямою стеной шел обрыв, которому дна было не видно, там именно Софи и начинала понукать лошадь. Умное животное не знало, как вести себя: оно и не слушалось ее, и слегка трусило…

Англичанин, на своем коне, преспокойно следовал за нею.

– Madame est fort imprudente! – восклицали почти беспрерывно проводники.

Вблизи самой гостиницы есть выдающийся мыс, по которому идут две дороги: одна несколько отступя, а другая по самой закраине, и с нее действительно открывался великолепный вид склонов гор, лесов… летевшие внизу в воздухе птицы казались маленькими черными точками… человек, двигающийся по одной из тропинок на утесе, понагнулся несколько вниз, и казалось, что вот-вот упадет; города и деревни представлялись шишками, пароход – крошечною лодочкой.

Сердце замирало, мутился разум глядеть вниз!.. Какое-то странное желание ринуться туда поднимало ужасом на голове вашей волос.

Софи нарочно поехала по прежней дороге. Лошадь ее раза два обрывалась в пропасть. Англичанин тоже проехал за ней; но Бакланов

– нет.

Перед отелем, наконец, они спешились. Горный воздух сейчас же дал себя почувствовать. Бакланов советовал Софи идти переодеться, но она отвечала ему только насмешливым взглядом.

– Давайте, побежимте вниз! – сказала она англичанину, показывая на один из крутейших скатов.

Тот молчаливым кивком головы изъявил согласие.

Они побежали. Видно было, как Софи все быстрее и быстрее стремилась и заметно не имела сил остановить самое себя; вдруг, при одном изгибе дорожки, перед ней, в нескольких саженях, открылся обрыв. Софи сделала движение назад; но нет: ее несло вперед!.. Перед глазами ее уже чернела пропасть!.. Англичанин в это время, совершенным козлом, перебежал ее, на всем маху повернулся к ней лицом и, с нечеловеческим усилием опершись одною ногой, распустил руки. Софи упала ему в объятия. Несколько минут они колебались: в пропасть ли им упасть, или остаться на месте.

Бакланов, видевший все это с горы, всплеснул руками и отвернулся в ужасе.

Софи, опершись на руку своего кавалера, начинала тихо и томно взбираться на гору.

Солнце, между тем, начинало садиться.

Вся наехавшая публика вышла любоваться его закатом.

Горы, как остроконечные волны, шли кругом всего горизонта. Миллионы оттенков пробегали по нем. По вершинам большей части из них вспыхивали ледники и снег. Солнце красноватым шаром спускалось в разрез двух гор.

С долин и с озер, как бы к собратам своим, поднимался и лез по утесам туман. Деревень и озер было почти не видать. Думы Бакланова невольно возвысились. Ему мечталось, что тут, где-нибудь на вершине, в облаках и на своем золотом от солнца престоле, восседает сам Саваоф, в громах и славе царствующий и управляющий вселенною!

Туманы земли окончательно слились с туманами неба, и все превратилось в какое-то безразличное, темно-сероватое море. И так осталось на несколько часов…

Наконец тени ночи дрогнули. Туман побелел; между несколькими горами прорезалась бледно-розовая полоса утренней зари. На противоположной стороне, как бы умывшись и обрядившись, ясно белели лежащие на вершинах снега.

Публика опять высыпала на край горы.

Молодой англичанин тоже стоял тут, завернувшись в свой плед. Но ни Бакланова, ни Софи не было.

Наша смелая путешественница чуть не умерла в ту ночь: с ней сначала была истерика, потом жар, а теперь она лежала в постели, с лицом пылающим, вся разметавшаяся и со взбившимися волосами.

Бакланов сидел около нее с испуганным лицом и держал ее руку.

– Как можно быть такой неосторожной! – заговорил он наконец, видя, что Софи несколько успокоивается.

– Что ж, когда мне грустно!.. тошно!.. скучно! – воскликнула она со слезами на глазах.

– Все оттого, что ты ничем не хочешь заняться. Ты читать даже не хочешь и не любишь.

– Ты много сам читаешь? – возразила она ему с насмешкою.

– Наконец, это путешествие тебя, я вижу, нисколько не занимает.

– Что же, ахать по-твоему на каждом шагу?

– А главное, ты никого не любишь!

Последние слова Бакланов проговорил и потупился.

– Он-то любит! Кто бы говорил, только не ты! – вскричала Софи с досадой. – Отойдите от меня, мне и так душно!.. – прибавила она.

Бакланов отошел.

Софи, между тем, начала мало-по-малу смыкать глаза. Обрадованный этим Бакланов, свернувшись кое-как на диванчике, тоже начал дремать.

Когда они проснулись, полдневное солнце совершенно сняло с окружающих видов таинственный характер вечера и рассветающего утра, и очень уж хорошо было видно, что там, пониже, вблизи человеческих жилищ, гораздо лучше, чем на этих голых мертвых вершинах.

– Поедем отсюда поскорее! – было первое слово Софи.

– Сейчас, – отвечал Бакланов, проворно вставая.

– Только, пожалуйста, где бы этих гор проклятых не было: противны они мне! – восклицала Софи.

– Самое лучшее в Веве: там нет ни гор, ни людей, отдохнем и вполне насладимся деревней.

– Да, – подтвердила Софи.

Бакланов вышел распорядиться. Софи встала и потянулась. Она чувствовала ломоту во всем теле. Цвет лица у ней был очень нехорош.

– О, какая скука это путешествие! Все болит, вся грязная!..

И Софи чуть не заплакала.

При съезде с горы, она не шалила больше и не гнала лошади, и

хоть смело, но как-то мрачно смотрела вниз.

Бакланов шел около нее пешком.

Когда они проехали первую долину, то, обернувшись назад, оба невольно и в голос воскликнули:

– Господи! Где мы были!

Дорожка, по которой они сходили, казалась тоненькою леноточкой.

Вдруг на ней появилась движущаяся масса.

– Это monsieur англичанин едет, – сказал проводник.

– Чтобы чорт его драл! – произнес Бакланов.

Но Софи ничего не сказала.

6. Жан-Жак Руссо, Шильонский узник и Вольтер

Веве – красивое местечко на берегу Женевского озера. Набережная у него отделана базальтом. Впереди рисуется противоположный берег своими мягкими очертаниями. Шире, нежней, привольней этого ландшафта трудно что-нибудь себе вообразить.

Бакланов и Софи сидели на набережной и любовались этою водой, этими горами и облаками.

По небу беспрестанно пролетали птицы и точно восхищались тем, что видели.

Бакланов толковал о Руссо, о том, как этот философ желал возвратить человечество к более естественному и натуральному состоянию.

– Что за глупости! – сказала ему на это Софи.

Потом он объяснил ей, как madame Варран и из каких побудительных причин полюбила юного и мечтательного Руссо.

– Что за гадости! – сказала на это Софи.

Они долго потом, почти до самых сумерек, гуляли рука об руку.

Софи, впрочем, была более скучна, чем весела.

На другой день она решительно отказалась идти гулять, говоря, что ей не очень здоровится; но, оставшись одна, сейчас же заперла дверь и написала французскую записочку:

«Si vous voulez me voir, je serai à Paris dans une semaine et je m'arrêterai à l'hôtel de Bade.

Sophie Leneff».

На конверте она обозначила: «à Paris, monsieur Plumboque, poste restante».

Запечатав письмо с своею обычною, несколько лукавою физиономией, она спросила у горничной, где почта и сама сходила и

отнесла его.

Бакланов, желая показать, что ему ужасно весело в Веве, целое утро ходил по окрестностям, но на самом деле ему под конец стало очень скучновато. Красота природы приглядела, а другим ничем он не был связан с представляющейся ему жизнью.

Впрочем, возвратясь домой, он уговорил Софи съездить покататься на лодке.

Они поехали. Вдали виднелась башня.

– Знаешь ли, Софи, какая это знаменитая башня? – спросил ее Бакланов.

– Нет!

– Это Шильонский замок!

Софи из этого названия ничего не поняла.

– Да неужели же ты не знаешь поэмы Байрона?

И это нисколько не пояснило дела.

– Переведенной Жуковским? – сказал Бакланов.

– Мало ли у него поэм! Где ж их запомнить? – отвечала, наконец, Софи.

– Эта очень известная, – отвечал ей, с некоторою досадою, Бакланов и желал, видно, пополнить ее сведения в этом случае: – их три брата были посажены тут и прикованы к столбам. Один из них видел, как двое братьев его умирали, и не мог ни подать им руки, ни принять их прощального взора. Наконец освободили человека, а он не идет, не хочет: в темнице своей все похоронил, и любовь свою, и молодость!

– А долго ли он сидел? – спросила Софи.

– Долго.

– Когда же это было, давно?

– Давно.

– А за что его посадили?

На этот вопрос Бакланов решительно не знал, что отвечать.

– За совершенно правое и законное восстание, во время, знаешь, этих религиозных войн и всего этого вообще движения, – отвечал он ей общею фразой.

– Может быть, это и не правда, – заметила Софи.

– Все равно это!.. Тут главное дело в ощущениях узника, которые схвачены у поэта неподражаемо! – подхватил Бакланов.

Но Софи, кажется, оставалась совершенно равнодушна к этому достоинству.

– А вот это ведь Женева белеет. Это Женева? – спросил он гребцов.

– Oui, monsieur! – отвечали те в один голос.

– Вот, около нее, – продолжал Бакланов, обращаясь снова к Софи, – в Фернее жил другой философ, Вольтер, «сей циник, поседелый», «умов и моды вождь, пронырливый и смелый»! Знаешь эти стихи?

– Знаю, – отвечала Софи и сказала неправду. – А что, в Париж чрез Женеву надобно ехать? – прибавила она.

– Через Женеву.

– Так поедемте лучше туда. Здесь решительно больше нечего делать.

– Как нечего? Гулять надобно! – возразил Бакланов.

– Мы и то уж нагулялись, – заметила на это Софи.

– Вот кататься бы в лодке! – продолжал Бакланов.

– Сегодня накатались! – опять объяснила Софи.

На другой день они в самом деле поехали на пароходе в Женеву.

При виде каменных тротуаров и с большими окнами магазинов, героиня моя точно ожила. Не теряя времени, она пошла и купила себе цепочку, часы, бинокль.

– У тебя ведь все это есть! – заметил было ей Бакланов.

– Но у меня все такое дрянное, – отвечала Софи.

– Где ж дрянное? – возразил он и пошел нанимать коляску, чтоб ехать в Ферней.

Проезжая мимо маленького, с памятником островка, Бакланов сказал Софи с увлечением:

– Это остров Жан-Жака Руссо!

Она кивнула головой, как бы дело шло о знакомом и надоевшем предмете. Дорога шла все в гору. Когда поднялись на довольно значительную вышину, извозчик обернулся и, указывая хлыстом на даль, проговорил:

– Это Монблан!

– Чудо, прелесть! – восклицал Бакланов.

Софи сидела молча.

Наконец они доехали до цели своей поездки.

– Это такой-то замок! – воскликнула Софи, увидя весьма небольшой домик.

Бакланов стал по ступеням крыльца подниматься с каким-то благоговением.

– C'est le salon de monsieur Voltaire! – произнес провожавший привратник.

Софи осмотрела кругом.

– Печи точно у старинных помещиков в домах, – проговорила она,

как бы даже с сожалением.

На урне, стоящей на пьедестале, было написано:

«Son esprit est partout,
Et son coeur est ici!»

– Тут пепел от его сердца хранится! – пояснил Бакланов.

Софи ничего ему на это не сказала, но сделала больше насмешливую, чем уважительную мину.

В спальне великого мыслителя и поэта они увидели альков с оборванным потолком и портрет императрицы Екатерины.

– Каким же образом тут портрет нашей императрицы? – спросила Софи Бакланова.

– Она была друг Вольтера, неужели ты этого не знаешь? – отвечал он ей.

– Очень мне нужно было это знать! – произнесла Софи.

Бакланов покачал только головою.

Он уж очень хорошо понимал, что подруга его для искусств, для поэзии, для красоты природы была решительно существо непроницаемое!

7. Бакланов в Париже

Поезд железной дороги не шел, а летел.

На станциях все красивей и красивей стали попадаться наполеоновские жандармы.

Софи свое запыленное личико обтерла одеколоном и поправила несколько свой костюм.

Бакланов, в каком-то лихорадочном волнении, беспрестанно заглядывал вперед.

– Видать уж! – произнес он, почти со слезами в голосе и откидываясь на спинку дивана.

– Я остановлюсь в гостинице Баден; а ты, пожалуйста, где-нибудь в другом отеле! А то в Париже пропасть русских… – сказала ему Софи.

– Хорошо… ты это мне пятый раз говоришь! – отвечал он ей с досадой.

Стали, наконец, мелькать дома чаще и чаще, и наши путешественники въехали под арки вокзала.

Вышли.

– Что-то увидим? – произнес Бакланов.

– Да и у меня сердце бьется, – отвечала ему Софи.

Софи, в покойном, красивом ремизе, весело мотнув головой, сейчас

же скрылась в ближайшем переулке.

Бакланов взял себе другой экипаж.

– Куда угодно ехать господину? – спросил его извозчик.

– В какой-нибудь отель, недалеко от отель де-Бад.

– В отель де-Лувр! – произнес кучер, получивший из отель де-Лувр более на водку, чем в других отелях.

– Ну хоть туда! – сказал Бакланов.

Солнце, между тем, светило полным своим блеском на белые дома и на гладко вымощенную мостовую.

При въезде на бульвары, у Бакланова, наконец, зарябило в глазах. Экипажи ехали ему навстречу, поперек, объезжали его. По тротуару, как бы на празднество какое, шла целая непрерывная толпа народа, и все такие были по виду бодрые, нарядные, веселые. Прошел, наконец, и полк с барабаном, бой которого поднимал все ваши нервы. На каждом углу стоял городской сержант, в своей треугольной шляпе и синем мундире. При повороте, около Вандомской колонны, мелькнула площадь.

– Провезите меня туда, пожалуйста!.. – сказал Бакланов.

– Bien, monsieur! – отвечал с гордостью извозчик и повез.

– Pas si vite! pas si vite, mon cher! – говорил, беспрестанно приподнимаясь из экипажа, Бакланов.

– Это обелиск! – сказал извозчик. Он поставлен был на том месте, где казнен Людовик XVI и была гильотина.

– Но эти фонтаны, фонтаны. Боже ты мой! – говорил Бакланов, смотря на в самом деле прелестные фонтаны: из рогов изобилия, в руках нереид, огромными снопами била вода, и нимфы держали головы свои обращенными несколько назад, как бы смотря, туда ли она попадет, куда надо.

– Что это за здание? – спрашивал Бакланов, совсем как бы растерявшись.

– Тюльери!.. Император тут теперь живет, – отвечал извозчик.

Бакланов обернулся в другую сторону и замер от удивления.

– А это?

– Это, – отвечал извозчик, – Елисейские поля, а вон арка триумфальная. Это место, господин, хорошее, красивое!

– Чудо что такое! таких ощущений нельзя вдруг подолгу переживать: везите меня поскорее в отель!

Извозчик поехал.

– Это место хорошее, господин, хорошее! – повторял он в одно и то же время добродушно и многозначительно.

В отеле Бакланову предложили номер в пять франков.

В мило убранной комнате, с камином, с коврами, с мраморным умывальником, он наконец снял с себя пыльное дорожное пдатье и сел.

– Да, матушка Россия, да! – начал он вслух повторять: – далеко тебе еще до Европы: и теплей-то она тебя, и умней, и изящней, и богаче.

Умывшись и переодевшись, он отправился в Пале-Рояль.

«Что такое этот Пале-Рояль? Вероятно, что-нибудь великолепное», – решал он мысленно, но, подойдя, должен был спуститься несколько ступеней вниз и очутился на каком-то четвероугольном дворе, окруженном со всех сторон домами с магазинами и ресторанами.

Он зашел в один из них и спросил себе обед.

– И это за четыре франка все, за наш целковый! – говорил он, допивая последний глоток довольно сносного вина.

Кофе пить он пошел в одну из бульварных кофеен.

Открывшаяся тут ему панорама показалась просто сказочною.

Начинали уже зажигать газ. Магазины совершенно показывали свои внутренние, богатые, красивые убранства. В каждом почти из них виднелось хорошенькое личико торгующей мадам.

Около Бакланова тоже сели две дамы. Одеты они были роскошно, но с заметно набеленными лицами, и как сели, так сейчас же постарались поднять высоко-высоко свои платья.

Бакланов им невольно улыбнулся. Они ему тоже улыбнулись.

– Этот monsieur очень хорош собой! – сказала одна из них, громко и явно показывая на него.

– Да, я желала бы его поцеловать! – отвечала другая.

Бакланову это не совсем понравилось; он встал и пошел.

Увидав на одном из домов надпись: «Hotel de Bade», он зашел и спросил о Софи.

– Mais madame n'est pas à la maison! – отвечала ему черноволосая привратница.

«Где ж это она, ветреница, до сих пор?» – подумал не без досады Бакланов и кликнул извозчика.

– Au Bal Mabil! – сказал он.

– Oui, monsieur! – отвечал тот и повез.

«Там, должно быть, что-нибудь вакхическое, одуряющее!» – мечтал герой мой, проезжая Елисейскими полями.

Целая масса огня горела на воротах Баль-Мабиля.

Бакланов вошел не без удовольствия.

Свет и газ пробегал по газонам, светился в самых цветах и горел в разнообразнейших, развешанных по деревьям шарах.

Бакланов пробрался к толпе, где танцовали.

Две девицы, очень некрасивые собой, наклоняясь под музыку, поднимали платья.

Бакланову сделалось жалко, зачем это они делали.

Перейдя на другую сторону, он увидел девицу получше, которая, совсем почти лежа на плече кавалера, танцовала; потом вдруг подняла ногу и задела при этом одного господина за нос. Он и вся стоявшая публика захохотали.

Бакланов наконец захотел поговорить с какою-нибудь из этих госпож.

– Mademoiselle! – обратился он к одной из них не совсем смело.

– Ci-devant, monsieur! – отвечала ему та с грустью.

При этом шедшая с ней подруга захохотала осиплым и почти мужским голосом.

Еще с полчаса, Бакланов не знал, как и просидеть.

Выйдя из сада и пройдя по Елисейским полям, он наконец вздохнул посвободнее.

– Все то мерзость; а это вот и это – прелесть! – произнес он, показывая на весело и беспечно идущую по широким панелям толпу и на виднеющееся на высоте темно-синее небо. В воздухе между тем было что-то раздражающее. Он опахивал в одно и то же время теплотой и свежестью. Бакланов живо чувствовал во всем теле своем какую-то негу и сладострастие.

8. Софи и Париж

Не менее разнообразно проводила свое время и Софи.

В гостинице Баден она сняла номер в десять франков.

Надев свое лучшее платье, свою новую шляпку и бурнус, она сейчас же вышла на улицу; но, Боже мой, как показался ей весь наряд ее несвеж и старомоден!

– К Ротшильду в контору! – сказала она.

Извозчик подвез.

Софи робко вошла в грязноватое помещение.

– Сколько угодно вам получить по вашему кредитиву? – спросил ее плешивый кассир.

– Десять тысяч франков.

Ей сейчас же отсчитали золотом.

Она совершенно небрежно положила эту чувствительную сумму в свой кармашек и вышла.

– В лучший магазин, где дамские наряды делаются! – сказала она своему вознице.

Тот мотнул в ответ головой и подвез ее к целому дому-магазину.

Софи вошла сначала по мраморной, а потом по чугунной, с золотом, лестнице. Красивые французы и красивые француженки окружили ее.

– Мне нужно платье, или, лучше сказать, весь туалет.

– Avec grand plaisir, madame, avec grand plaisir! – восклицали француженки и повели ее.

При виде некоторых материй и фасонов, у Софи даже дыханье захватывало.

Часа четыре, по крайней мере, она ходила, пересматривала; с нее снимали мерки, восхищались ее красотой. Наконец она вышла и поехала в магазин белья.

Там ей говорили:

– Вам нужно батистовое белье. Вам нужно сделать ночное особенное, с длинными рукавами.

Сама содержательница магазина обиделась, когда Софи сказала ей, что у ней есть для ночи кофты.

– Кто ж, madame, нынче кофты носит?.. Кто носит?.. – восклицала она.

Софи, чтоб успокоить ее, поспешила заказать белье с длинными рукавами.

Из магазина белья она поехала в магазин обуви.

– Ваша ножка восхитительна! – говорил ей француз, сняв с нее ботинку, и даже пожал ей при этом ножку, а когда надел свою ботинку, то попросил ее встать и походить.

Софи встала.

– Вы ведь, madame, не ходите, а летаете.

Софи в самом деле чувствовала какую-то особенную легкость и живость. Она взяла у него пар восемь разного рода обуви.

Было уже часов семь.

Софи, вспомнив наконец, что она еще ничего не кушала, возвратилась в свой отель и прошла прямо в обеденную залу.

Там сидело за столом человек пятьдесят. Софи робко села на одно пустое место. Она в первый еще раз обедала одна. Впрочем, ей было весело: все почти мужчины с заметным вниманием и любопытством

смотрели на нее.

Откушав и выйдя на улицу, Софи решительно не в состоянии была вернуться в свой номер. Ей так все нравилось, так все ее прельщало!..

Она взяла экипаж и поехала в Елисейские поля, где пошла было пешком, погулять. Тысячи огней горели в аллеях и придавали всему несколько таинственный вид.

Софи шла по дорожке.

К ней, на первых же шагах, пристал какой-то господин.

– Я вас провожаю! – сказал он.

– Non, non, non, monsieur! – поспешно отвечала Софи.

Она уже струсила и опять села в экипаж.

При возвращении домой, привратница, подавая ей ключ, объявила:

– У вас были три господина: один высокий, с бородой, другой черноволосый, с усами, третий блондин.

Софи, не без гордости и не без удовольствия, мотнула ей головой в ответ и начала взбираться в свой номер.

Там она в утомлении, но с заметно довольным лицом, села и начала припоминать, что она видела.

Вдруг в двери постучали.

– Entrez! – сказала она.

Вошел мужчина: Петцолов в штатском платье и с бородой.

– Ах, какой ты смешной!.. – было первое слово Софи.

– А что же? – спросил молодой человек, как бы несколько обидевшись.

– В штатском платье…

– Надоела уже эта ливрея-то, да здесь и нельзя.

– Знаю это; но зачем однако пришел так поздно?

– Три раза был у вас, – говорил Петцолов, беря обе руки и целуя их.

– Нет, нельзя так поздно, – отвечала Софи, не отнимая, впрочем, рук.

– Позвольте, по крайней мере, хоть насмотреться на вас немножко! – произнес молодой человек с заметным чувством и сел на диван.

– Ну, смотрите! – сказала Софи, вставая против него.

– Вот так! – произнес Петцолов, обнимая ее и притягивая к себе.

– Ну, вот, поцелую вас, и будет: отправляйтесь домой! – сказала Софи.

– Не вижу к тому никакой побудительной причины! – думал было шуткой отыграться молодой человек.

– Александр ведь тоже в Париже. Очень может быть, что зайдет еще ко мне.

– Но ведь он не ревнив!

– Да, не ревнив! Отправляйтесь, отправляйтесь!.. Я к вам или пришлю, или напишу, или сама заеду.

– Вы знаете, я стою в отель де-Бирон!

– Знаю, отправляйтесь! – торопливо говорила Софи и почти что насильно выпроводила своего гостя за двери.

Потом сейчас же разделась и улеглась на упругий тюфяк.

– Как тут славно! – сказала она, ударив по нем ручкой и покачнувшись при этом всем своим прелестным телом.

9. Глупое положение

В совершенно приличный час для визитов, в дверь Софи раздался несмелый стук.

Она в эти минуты была вся обложена разными рюшами, газами, материями. Перед ней стояла такая же, как и она сама, красивая француженка.

– Entrez! – сказала Софи на второй уже стук.

Дверь отворилась: вошел англичанин, в светлейшей шляпе, в перчатках огненного цвета и сапогах на толстейших подошвах.

– Bonjour! – весело проговорила ему Софи: – pardon, что я займусь еще несколько минут.

– О, madame! – произнес англичанин и чопорно сел.

Софи принялась смотреть на рисунок, который чертила ей портниха, и только по временам с улыбкой и ласково взглядывала на своего гостя.

Тот при этом всегда немножко краснел.

Наконец раздался опять стук в двери. Софи с беспокойством взглянула на них.

– Entrez! – сказала она.

Вошел Бакланов.

Увидев англичанина, он, как ни старался это скрыть, заметно выразил в лице своем неудовольствие и недоумение.

– Bonjour! – говорил он, протягивая без церемонии руку Софи. – Je vous salue! – прибавил он англичанину и, затем, усевшись на диване, небрежно развалился.

– Я зашел к вам, Софи: когда ж мы с вами поедем прокатиться по Парижу?

– Все занята! – отвечала ему Софи.

– Если позволите мне предложить вам мой экипаж, – сказал англичанин: – он и лошади у меня очень хороши!

– Ах, пожалуйста! Я ужасно люблю хорошие экипажи и хороших лошадей, – воскликнула Софи.

– Но у вас, как у путешественника, вероятно, тоже нанятой, – заметил ему Бакланов.

– Нет, мой дядя здесь посланник: все семейство наше очень любит лошадей! – отвечал скромно англичанин.

– Monsieur Plumboque – лорд, – пояснила Софи.

Замечание это показалось Бакланову глупо и пошло.

– Теперь час гулянья в Булонском лесу: угодно вам, madame, и вам, monsieur? – продолжал вежливо англичанин, сначала обращаясь к Софи, а потом к Бакланову.

– В восторге, monsieur Plumboque, от вашего предложения, в восторге! – произнесла Софи и ушла вместе с модисткой в следующую комнату, чтобы надеть там свой новый наряд.

Туалет ее, разумеется, продолжался около часу, и в продолжении этого времени англичанин несколько раз обращался к Бакланову с разговорами, но тот отвечал ему больше полусловами и зевая.

Он соглашался с ними ехать, единственно не желая показать, что он тут что-нибудь подозревает или ревнует.

Софи вышла шумно и гордо. Модистка тоже вышла за ней не без гордости.

Лошади и экипаж англичанина оказались действительно такие, что Софи и Бакланов подобных еще и не видывали. Он упросил их сесть на заднюю скамейку, а сам сел напротив.

Понеслись.

Кто видал цепь экипажей часа в три, от Тюльери до Триумфальных ворот, тот знает, сколько тут роскоши, красоты и изящества, какие львы и львицы сидят, какие львы, запряженные у дышла, несутся.

Софи совершенно была счастлива своим нарядом и своим экипажем. Одно только неприятно ей было, что рядом с ней сидел Бакланов в довольно поношенном пальто.

Впереди их скакал взвод старой гвардии, конвоировавший маленького принца Наполеона.

Софи ужасно хотелось обогнать их, и они обогнали.

Она увидела в коляске двух дам и какого-то маленького мальчугана.

В Булонском лесу они, как водится, остановились у искусственного

водопада.

Софи сейчас же весело побежала туда. Англичанин пошел за ней.

Бакланов не пошел: ему странно показалось бегать за этой госпожой, куда только ей было угодно.

Он видел, как на верх утеса Софи всходила, опираясь на руку англичанина. Потом видел, как они спустились оттуда и стали проходить под водою, по темноватой пещере, и довольно долго оттуда не выходили. Наконец они вышли и, как бы совершенно забыв о его существовании, снова скрылись в лесу.

Бакланову, наконец, показалось смешно его положение.

Он велел подать себе завтрак, съел его, выпил бутылку вина, но товарищи не возвращались.

Терпение его истощилось.

Он взял первого попавшегося извозчика и уехал.

10. Конец истории любви

Бакланов целую ночь не спал от досады и ревности.

Встав поутру, он прямо отправился к Софи, чтоб иметь с ней решительное объяснение.

Дорогой он все прибирал самые резкие выражения.

«Если это одно только кокетство, так глупое, неприличное кокетство, – думал он. – Если же любовь, так зачем не сказать прямо: я люблю другого, а не вас».

В гостинице Баден, взбежав по винтообразной лестнице к номеру Софи, он услыхал там ее веселый и не совсем естественный смех.

Не столько с умыслом, сколько по торопливости, он, не постучавшись, отворил дверь.

– Ах! – раздался голос Софи.

Петцолов в это время целовал ее в шею.

– Pardon, madame! – сказал Бакланов, проворно отступая назад и захлопнув дверь. – Pardon! – повторил он и пошел.

– Александр! Александр! – послышался было с лестницы ее голос.

Но Бакланов не обернулся.

На душе его бушевала уже не ревность, а презрение к Софи: такого поступка он все-таки не ожидал от нее.

Целый день после этого он ходил по Парижу, чтобы как-нибудь забыться; на другой день тоже. Главным образом его мучила мысль, что ему с собой делать (он собственно и за границу поскакал за Софи, потому что не знал, что с собой делать в деревне). Все женщины, жизнь которых была не безукоризненна и которыми он так еще недавно восхищался, стали ему казаться омерзительны, но зато, о Боже мой, в каком светозарном ореоле представилась ему его чистая и непорочная жена! Без мучительной тоски и тайного стыда он не в состоянии был видеть маленьких детей, воображая, что и он тоже отец!.. С чувством искренней зависти он смотрел на каждого солидного господина, идущего под руку с солидною дамой, припоминая, что он некогда гулял так с Евпраксией, при чем обыкновенно всегда ужасно скучал, но теперь это казалось ему величайшим блаженством!.. Десять лет жизни он готов был отдать, чтобы только возвратиться к семейству, но в то же время не смел и подумать об этом!..

Наконец скука и одиночество пересилили его; он решился, что бы

там ни было, написать Евпраксии совершенно откровенное письмо и звать ее к себе в Париж. Если она приедет к нему, значит, еще любит его, а потому все ему простит, а если напишет письмо только, то там видно будет, какое именно.

«Бесценный друг! – писал он. – Ты в Петербурге теперь. Приезжай, Бога ради, в Париж и спаси меня от самого себя. Как велико было мое преступление против тебя, так велико и раскаяние. Я бы сам к тебе летел, да не смею этого сделать, и притом тяжело болен!»

Даже за прощеньем он не хотел сам идти, а желал, чтоб ему принесли его: баловень и счастливец был судьбы!

11. Обращение к более серьезным занятиям

В полицейском отделении Palais de Justice происходил суд над пятьюдесятью человеками, которые хотели произвести демонстрацию при представлении пьесы адъютанта наполеоновского.

Бакланов, значительно успокоившийся после отправки письма к жене, тут же сидел около стенографов.

Он в первый еще раз был в открытом суде и видел политических преступников.

Судьи и адвокаты в мантиях и шапочках тоже сильно его занимали.

Императорский прокурор, с испитым лицом, показался ему противен.

Два главных агитатора: бывший аптекарь, почти уже старик, с большою седою бородой, и другой – молодой человек, черноволосый, сидели отдельно. Их выразительные и характерные физиономии чрезвычайно понравились Бакланову.

Прочие преступники помещались все на амфитеатре против судей; почти около каждого из них сидел солдат.

Бакланов все высматривал присяжных.

– Скажите, где же присяжные? – обратился он к одному молодому адвокату.

– О, здесь нет присяжных! – отвечал тот с некоторым удивлением: – это суд полицейский.

– Но преступление ведь, кажется, очень важное.

– Нет, что ж: нарушение правил благочиния, уличный скандал.

– Однако я сам читал их прокламацию и воззвания не к уличному скандалу.

– Да, – отвечал с улыбкою адвокат, – но император не желает придавать этому никакого особенного значения.

– Однако, может быть, этих людей сошлют на галеры? – прибавил Бакланов.

– Вероятно, – подтвердил адвокат.

Бакланов исполнялся удивления и негодования и, придя домой, сейчас же начал писать статью: Об открытом суде вообще, и каков он во Франции. Весь запас старых университетских сведений, все, что прочтено потом в журналах, все это было воскрешено в памяти, статейка вышла весьма, весьма приличная.

– Вот это жизнь! – говорил он, проработав с утра до самого обеда.

Трудом своим ему ужасно хотелось с кем-нибудь поделиться.

Раз, идя по бульвару, он увидел Галкина, шедшего с каким-то господином.

Юноша сей, заметив его, сейчас же хотел было дать тягу в сторону, но Бакланов сам подошел к нему.

– Здравствуйте-с! – сказал он ему довольно приветливо.

– Ах, да, здравствуйте! – отвечал робко и с удовольствием Галкин.

Шедший с ним господин тоже поклонился Бакланову. Тот всмотрелся в него.

– А, monsieur Басардин! Здравствуйте.

– Скажите, пожалуйста, – начал тот, – вы с сестрою моей сюда приехали?

– Нет, – отвечал Бакланов смело, но в сущности весьма сконфуженный. – Мы были с ней в Бадене, а потом она поехала куда-то в Швейцарию, а я в другое место.

– Досадно! – проговорил Виктор, крутя усы.

С молодым Галкиным он не только не был враг, а, напротив, в дружбе с ним находился, и Галкин, по преимуществу, уважал Басардина за то, что он продергивал в печати его отца.

Когда потом узналось, что Басардину платят из откупа за то, чтоб он молчал, то молодой человек и это в нем уважил, говоря, что с этаких скотов следует брать всякому.

– Я либеральному человеку, – пояснил он, – все прощаю, что б он ни сделал.

Теперь они жили даже вместе и постоянно ходили под руку.

– А что, господа, не свободны ли вы как-нибудь вечерком? – заговорил вдруг Бакланов несколько заискивающим голосом.

– А вам что? – спросил Галкин.

– Да мне бы хотелось прочесть вам мою статейку, которую я написал по случаю разных парижских распорядков. Вот и вам, господин Басардин.

– Я очень рад, я свободен! – произнес с восторгом Галкин.

Басардин молчаливым поклоном изъявил согласие. Несомненный ли успех его новых произведений, в которых он называл уже прямо по именам тех лиц, о которых писал, или Виктор имел в голове своей какое-нибудь еще новое и более серьезное предприятие, только он заметно важничал и был как-то таинственен.

Чтение условлено было на другой день вечером.

Отойдя от своих будущих судей, Бакланов несколько даже устыдился, перед кем это он будет читать.

«Что же, – успокаивал он себя: – молодой этот человек хоть и недалек, но по стремлениям своим благороден, а Басардин – сам известный обличительный писатель!»

12. Красные

На среднем столе, в номере Бакланова, стояли сифон содовой воды, сахар в серебряной сахарнице, красное вино, и посреди всего этого лежала тетрадка.

Часов в восемь пришли гости.

Басардин был по-прежнему мрачен и серьезен, а Галкин, хоть и вольнодумен, но доволен.

Бакланов, с свойственным всем авторам нетерпением и робостью, ожидал начала чтения.

Судьи его, наконец, уселись.

Басардин, как опытный литератор, сел поближе у самого стола, а Галкин на диване в глубоко-внимательной позе.

– Ну-с, так я начну, – говорил Бакланов, слегка откашливаясь, и зачитал: «Все великие истины просты и часто даются человечеству непосредственно: первобытные народы судили своих преступников судом открытым, гласным; впоследствии это предоставлено было лицам избранным, судьям, и только уже с развитием цивилизации, с внесением в общественный распорядок высших нравственных идей, общество снова обратилось к первоначальной форме суда».

– Да позвольте-с, – перебил его Галкин, – в первобытных обществах совсем другое считалось преступлением: воровство там было ловкостью, а убийство – молодчеством.

– Да так и надо! – подхватил, с мрачным выражением, Басардин: – пусть всякий защищается сам, а у нас статью, вон, про кого напишешь, так сейчас в острог ладят засадить.

– Да я не про то совсем, господа, говорю! – возражал удивленный и

сконфуженный этими замечаниями Бакланов. – Я объясняю только, как в обществах человеческих шел исторически суд.

– Ничего я не вижу из ваших объяснений, ничего!.. – возражал ему Галкин.

Бакланов сделал заметно недовольную мину.

– Я говорю-с, – начал он пунктуально, – что суд сначала принадлежал вполне самому обществу, судили, так сказать, простым мирским приговором; наконец, стали судить по обычаям, преданиям; а там, после разных комбинаций, он делается, например, во времена феодальные, принадлежностью начальника – барона. Это ведь бессмыслица!

– Разумеется, – подтвердил Галкин.

– От барона он передается судье-специалисту, произвол которого все-таки связывается преданиями и законами. Согласны вы с этим?

– Совершенно! – подтвердил Галкин.

Но Басардин, заметно делавший над собой усилие, чтобы понять, что тут говорилось, на этом месте вдруг поднял голову.

– Вы говорите, в феодальные времена начальники-бароны судили… Вот на Кавказе я служил… Там дикий совершенно народ, а тоже начальники судят: возьмет да и застрелит, и баста!

– Я не то совсем говорю! – отвечал ему с досадой Бакланов. – Судье-специалисту, – продолжал он, – придали, наконец, суд по совести, то есть присяжных, или, другими словами, внесли элемент прежнего общественного суда.

– Я не понимаю, к чему вы все это ведете? – возразил Галкин.

– И я тоже! – подтвердил Басардин.

– Веду к тому-с, – отвечал Бакланов, – что у нас, собственно в России, вопрос этот теперь на очереди. В противодействие ему обыкновенно ставят то, что у нас не может быть присяжных, что они необрзованы. Прекрасно-с. Но они должны быть таковы, потому что таковы и преступники. Человек живет в известном обществе, знает все его условия. Только это общество и имеет право судить его. Странно было бы, если бы краснокожего людоеда стали судить английские присяжные, а madame Лафарж – калмыцкий суд.

– Что ж из этого будет, если вы одну эту форму введете, а тысяча других, старых ветошей останется?

– Что ж делать с этим?

– Надобно все изменить, – отвечал Галкин: – уничтожить сословия; сделать землю совершенно свободною, как воздух, пусть всякий берет ее, сколько ему надобно; уничтожить брак, семью.

– Это земля там, и сословия, все это пустяки! – перебил его Басардин: – а главное, чтоб деньги у этих каналий-богачей не лежали!

– И чтобы деньги не лежали!

– Да кто же вам позволит сделать это, господа? – возразил Бакланов.

– Идти, так позволят! – подхватил Галкин, выворачивая при этом глаза, чтобы сделаться пострашней.

– Взять топор, так позволят! – подхватил Басардин, грозно тряхнув головой и подняв кулак на воздух.

– Господа, вы рассуждаете, как дети, как мальчики! – воскликнул Бакланов.

– Нет, мы рассуждаем, потому что знаем…

– Что вы знаете?

– Знаем, чего хочет народ.

– Какой?

– Русский!..

– Да народ вас первых побьет каменьями, – вскричал уж Бакланов.

– Ха-ха-ха! – ответили ему на это молодые люди.

Затем сделался всеобщий шум.

– Глупо, господа, глупо! Как хотите! – восклицал Бакланов.

– Я не понимаю вас, не понимаю! – отвечал, топорщась, Галкин.

– Так говорить подло, низко, скверно! – произносил, скрежеща зубами, Басардин.

Спор этот прерван был вошедшим человеком.

– Monsieur, madame votre épouse est arrivée! – сказал он Бакланову.

У того мгновенно выскочили из головы и статья, и открытый суд, и невежественные оппоненты его, и в воображении представлялась сердитая и укоряющая Евпраксия.

– Где она?.. – говорил он робким голосом, выходя за лакеем в коридор, и очень был рад, что там было не так светло.

– Monsieur! – сказал ему лакей, показывая на стоявшую невдалеке даму с мужчиной: последний был Валерьян Сабакеев.

– Une chambre! – сказал Бакланов лакею и подошел к жене.

– Приехали! – проговорил он радостно-заискивающим голосом.

Евпраксия ничего ему не отвечала и вошла в отворенную лакеем дверь.

Бакланов заметил, что она очень похудела, и в то же время похорошела, хотя выражение лица ее было почти суровое.

– Ну, здравствуйте-с! – сказал было он опять ласково и поцеловал у жены руку, но Евпраксия и тут ему ничего не сказала.

Не зная, как себя держать, Бакланов заговорил с шурином.

– И вы, Валерьян, приехали, – это прекрасно!

– Приехал, – отвечал Валерьян.

В голосе его Бакланову тоже послышались как бы насмешка и неудовольствие.

Евпраксия, видимо утомленная дорогой, села. Бакланов осмелился взглянуть на нее повнимательнее и хоть бы малейшее заметил в чертах лица ее снисхождение к себе.

– Что ж ты, здоров? – проговорила, наконец, она.

– Здоров! – отвечал Бакланов какою-то фистулой.

– Как же ты писал, что болен?

– Выздоровел.

В это время в номер вошел лакей.

– Ваши гости спрашивают, возвратитесь вы к ним или нет? – сказал он Бакланову.

– Убирались бы к чорту! – отвечал тот.

Лакей с улыбкой вышел.

Сабакеев обратился к сестре.

– Ну, так я пойду, – сказал он.

– Ступай! – отвечала ему та с ласковой улыбкой.

– Куда это, мой милейший? – спросил его Бакланов.

– Нужно! – отвечал Сабакеев и ушел.

Оставшись с женою вдвоем, Бакланов решительно не находился, что ему делать.

– Куда это брат пошел? – поспешил он о чем-нибудь заговорить.

– К невесте своей, – отвечала односложно Евпраксия.

– Вот как!.. Кто же она такая?

– Елена, дочь madame Базелейн.

– Ах, Боже мой! – воскликнул Бакланов, как бы и с живым участием: – девочкой еще маленькою помню!.. Как же она в Париж попала?

– Приехала с матерью, с вод.

– Что ж, милая особа?

На этот вопрос Евпраксия ничего не ответила.

В коридоре между тем раздался русский говор.

– Резню хорошую устроить, так… – говорил Басардин.

– Д-да! – подтвердил Галкин.

Евпраксия посмотрела на мужа.

– Это у тебя, верно, были? – спросила она.

– У меня!

– Кто такие?

– Так, шуты одни гороховые! – отвечал Бакланов.

Он разрывался в душе от стыда: лучше бы Евпраксия сердилась, укоряла, бранила его, чем устремляла на него этот холодный и презрительный взгляд.

13. Еще новая героиня

Прошел день, два. Положение Бакланова продолжало оставаться очень неловким: Евпраксия ездила с ним по Парижу, все осматривала, всем очень интересовалась, но о прошедшем его поступке хоть бы слово. Бакланов, однако, очень хорошо видел, что это было не прощение, а скорее равнодушие и невнимание к тому, что он делал и даже впредь намерен был делать.

Он решился, наконец, сам заговорить:

– Я, конечно, виноват против тебя; но что делать? Первая любовь!

– Первая любовь… к содержанке! – повторила насмешливо Евпраксия.

– Какая же содержанка! – сказал Бакланов.

Ему показалось уж обидно, что Евпраксия таким образом третировала Софи. Ему хотелось, чтоб она в этом случае видела некоторое торжество и победу с его стороны.

– Ты сама тоже неправа: хоть бы слово мне написала и намекнула, что тебе это неприятно… Я и думал: что ж?.. Значит, для нее все равно.

Евпраксия с насмешкой пожала плечами.

– Я никак не предполагала в человеке столько низости душевной: бежать с одною женщиной, и в то же время жене писать нежные и страстные письма, – проговорила она.

– Это не низость душевная, – сказал, покраснев Бакланов.

– Что же это такое? – спросила Евпраксия.

В тот же день, когда супруги возвращались часу в четвертом с прогулки из Булонского лесу, превосходный воздух, чистое голубое небо, прелестный Париж так разнежили Бакланова, что он непременно решился помириться с женой. Все время по приезде ее в Париж она ужасно казалась ему хороша собой. Войдя в номер и видя, что Евпраксия уселась в кресла, с своим, по обыкновению, спокойным лицом, он подошел к ней и стал перед ней на колени.

– Прости меня! – проговорил он, склоняя голову на ее колени и ловя ее руки.

Евпраксия отодвинулась от него.

– Не унижайте себя, по крайней мере, этим! – сказала она.

– Но ты еще любишь меня, Евпраксия! – умолял ее Бакланов: – ты приехала по первому моему зову!

– Я приехала к отцу моих детей, но не к мужу! – проговорила строго Евпраксия.

Бакланов сейчас же встал, гордо тряхнул своими красивыми и начинавшими уже седеть кудрями, прошелся несколько раз по комнате, потом опустился в небрежную позу на первый попавшийся стул и проговорил:

– Стальная и бездушная вы женщина!.. Вы даже не стоите минуты раскаяния, которой я предался теперь.

Евпраксия хоть бы бровью повела и только кинула взгляд на домашнюю чудотворную икону, привезенную ею даже в Париж.

– Во всю жизнь, – продолжал Бакланов, – хоть бы одному чувству, одному порыву вы ответили, и после этого требовать, чтобы муж оставался вам верен!

– Прекратите, пожалуйста, ваши рассуждения; кто-то идет сюда, – перебила его Евпраксия.

Двери в самом деле отворились, и вошел Сабакеев с сияющим лицом, а за ним шла молодая девушка в черном, наглухо застегнутом платье, с обстриженными волосами и в шляпке à la mousquetaire.

– Bonjour! – сказала она, как-то резко пожимая руку у Евпраксии.

– Муж мой! – сказала та, указывая ей на Бакланова.

– Bonjour! – сказала и ему девушка, так же смело протягивая руку.

Героя моего, привыкшего к порядочному кругу, такие манеры в девушке странно поразили и даже показались ему несколько натянутыми и неестественными.

– А я недавно слышала, – начала она, садясь на диван, – что monsieur Бакланов спорил с одними молодыми людьми и был в этом случае совершенно неправ.

– Я спорил? С кем же это? – сказал Бакланов не без удивления.

– С Галкиным.

– А вы его знаете? – спросил он уже насмешливо.

– Он друг мой! – отвечала девушка.

– Друг ваш! – повторил Бакланов, склоняя голову.

Сабакеев во все это время не спускал пылающих глаз с своей невесты.

– Евпраксия! – обратилась она к Баклановой. – Мы с Валерьяном предположили заехать за вами и взять вас с мужем – ехать обедать к

Дойену в Елисейские поля. Там есть русские щи; я их только и могу есть.

– Пожалуй! – отвечала Евпраксия и при этом не взглянула на мужа, как бы не желая и знать, хочет ли он ехать или нет.

Бакланов однако счел за лучшее ехать, и через несколько минут Сабакеев поехал с невестой в одной коляске, а он с женой в другой.

Бакланова заинтересовала невеста шурина.

– Что это за странная госпожа? – спросил он Евпраксию опять уже ласковым голосом.

– Ты знаешь ее мать!.. Что ж могло выйти от подобного воспитания? – отвечала та своим обыкновенным тоном, как бы ничего между ними не произошло.

– Но зачем же у нее рукава и воротнички грязные?

Что-то в роде усмешки показалось на лице Евпраксии.

– Собой-то нехороша, ну и хочет показать, что всем этим пренебрегает и занимается наукой и политикой.

– Чем ей заниматься? Она глупа, должно быть.

– Напротив, преумненькая и очень добрая девушка.

Бакланов пожал плечами.

– По крайней мере вся изломана, и изломана в самом дурном тоне, – проговорил он.

14. Миросозерцание новой героини

Наступили сумерки. Елисейские поля осветились газом.

Евпраксия ушла с Валерьяном в café chantant.

Бакланов и Елена ходили по довольно темной аллее и спорили.

– Я не понимаю, как можно Галкина иметь своим другом, – говорил Бакланов.

– Да, он не умен, не даровит, это так! – возразила с ударением Елена: – но он человек с характером.

– С характером? – повторил насмешливо Бакланов.

– Да и да, – утверждала Елена. – У нас, например, – продолжала она, прищуривая глазки, – есть одно общее дело, и он в нем действует превосходно, смело, не отступая, а Валерьян – нет!

– Валерьян умный человек, образованный!.. – произнес Бакланов, разводя руками: – а это чорт знает что такое!

– Нам Бог с ними, с этими умниками!.. – воскликнула весьма настойчиво и в то же время ужасно мило Елена: – нам нужны люди с характером, с темпераментом, люди твердых убеждений, а не

разваренные макароны!..

– Господи! где вы этаких фраз нахватались?.. Вас, вероятно, всем этим нашпиговала наша литература.

– Да, литература! Уж, конечно, не мое дурацкое институтское воспитание и не мать, у которой едва достало силы родить меня, а потом ее жизнь вы сами знаете! – заключила Елена с презрением.

– Что такое? – спросил Бакланов.

– Ее позорная интрига!

«Ну, это хоть бы и Галкину! Недаром они друзья!» – подумал Бакланов.

– За подобные отношения вы, по вашей собственной теории, не должны бы, кажется, винить ее, – сказал он.

– Я бы ее не винила, – подтвердила Елена, опять нахмуривая свой лоб, – если б она отдалась какому-нибудь бедняку, а не генерал-губернатору.

– Но если она любила его?

– Не должна была любить, потому что он лицо официальное, а собственно брак она могла и должна была нарушить.

– Должна?

– Да! Что вы меня так спрашиваете? Вы сами нарушили брак.

– Однако я опять к нему же возвратился, – отвечал Бакланов, конфузясь.

– Что ж, это оттого, что вас повертели? – спросила насмешливо Елена.

Вопрос этот несколько смешал Бакланова.

– Оттого ли или не оттого, я не знаю, но только мне было неловко в моем положении.

– Слабость характера, больше ничего! – сказала с гримасой Елена.

– Но зачем же вы сами выходите замуж и будете венчаться?

– Да потому, что заставляют это делать; наконец, я выхожу за человека, которого я люблю.

– А потом, если разлюбите его?..

– Если разлюблю его, так полюблю другого.

– А если он полюбит другую?

– Скатертью дорога, – отвечала Елена, пожимая плечами.

– Это ваши правила?

– Да, мои правила!.. Чтобы в этом случае ничего не было насильственного и принужденного!

– Правила хорошие-с! – подхватил Бакланов.

– Недурные! – сказала Елена и потом, как бы сообразив, прибавила:

– конечно, если бы требовали того какие-нибудь политические цели…

– То есть? – спросил Бакланов.

– То есть, если бы требовало этого благо родины. Как, например, Юдифь, которая пришла, отдалась Олоферну и отрубила ему голову.

– Ой, это уж и страшно! – сказал Бакланов.

Елена сама, впрочем, насмешливо посмотрела на него.

– Вам кажется все это смешно? – проговорила она.

– Смешно не смешно, а несколько странно.

– Странны-то вы, а не мы!

– Кто же это мы? – спросил Бакланов.

– Люди без зрения!.. слепые!

– А вы, значит…

– А мы – зрячие! – подхватила Елена.

В это время из кофейной выходили Евпраксия с братом.

– Валерьян, Валерьян! – закричала Елена.

Тот подошел.

– Что ж, ты мне купил потаенные русские стихотворения?

– Нет еще! – отвечал, краснея, Валерьян.

– Неужели же вы их читать будете?.. – спросила Евпраксия.

– Я уж все почти читала, – отвечала Елена.

– Даже царя Никиту? – спросил Бакланов.

– И царя Никиту! – отвечала Елена. При этом она сама даже не могла удержаться, улыбнулась и добавила: – конца, впрочем, не дочитала; сказали, что очень уж нехорошо!

– Я бы на месте Валерьяна не позволила вам читать этих вещей, – сказала опять Евпраксия.

– Напротив, он должен был бы заставить меня прочесть их!.. – отвечала, разводя ручками, Елена: – мы в этом случае делаем оппозицию русскому правительству… оно не хотело, чтобы мы это знали, а мы знаем!

– Да, разумеется; ему, должно быть, очень это будет неприятно, – сказал Бакланов.

Сабакеев, заметив в словах зятя насмешливый тон, посмотрел на него зверем.

– Елена совсем не то хотела сказать, как вы это поняли, – произнес он и, когда стали прощаться, он даже не подал руки Бакланову.

– Что это такое? Что такое? – почти кричал тот всю дорогу.

Евпраксия ни слова не говорила.

– Эта госпожа в корень развращена! – произнес наконец Бакланов.

– Э, вздор какой! – сказала Евпраксия.

– Как вздор?

– Да так! говорит только; а слова и поступки – две вещи разные.

– Да достаточно, если и говорит только! Я понять не могу, каким образом Валерьян мог влюбиться в такую девушку.

– Он сам таких же убеждений.

При этих словах выражение лица Евпраксии сделалось мрачно и печально.

– Сам?

– Да! Бог знает только, откуда и как все это появилось в нем, – прибавила она и вздохнула.

15. Три женщины

В номере Сабакеева были он сам, в дорожном пальто и с сумкой через плечо, Галкин и Басардин, тоже оба с сумками, и Елена.

Последняя с жаром и увлечением что-то толковала им.

– Раскольников надо поднять! Денег у них, чертей, пропасть! В Рогожское затесаться к ним надо! – говорил, с искаженными чертами лица, Басардин.

– Прекрасно! прекрасно! – ободряла его Елена.

– Надобно только, чтоб они с молодым поколением сошлись, только! – подхватил Галкин.

– Всех готовее мужики, когда нарезку замли станут делать, – сказал спокойным, но невеселым голосом Сабакеев.

– Да, да! – подтвердила и ему Елена. – Главное надобно, чтобы почвы в этом случае больше было, чтобы мы на почву погли опираться…

– Были бы деньги, почва будет! – заметил на это Басардин.

В это время вошли Евпраксия и Бакланов. С первою Елена радушно поздоровалась, а последнему едва даже поклонилась. Из разговора с ним в Елисейских полях, из расспросов о нем Галкина, Басардина, она убедилась, что он слепенький, и потому презирала его.

– Chère Eupraxie! – воскликнула она: – maman меня не пускает с ними ехать в Лондон.

– И прекрасно делает: я бы на ее месте тоже не пустила, – отвечала та.

– Почему же?

– Потому что как же девушке одной ехать с молодыми людьми?

– Я еду с женихом, – возразила Елена.

– Тем больше неловко; вы еще не жена его.

– Какая же тут разница, какая? – спрашивала Елена.

Евпраксия не находилась, что и отвечать ей.

– Что я не обвенчана еще с ним, так, я думаю, это все равно! – пояснила сама Елена.

– Да зачем и венчаться-то? – подхватил Галкин.

– Не знаю! – отвечала Елена, пожимая плечиками.

В эти минуты она была до бесконечности мила. Сабакеев держал глаза потупленными, но видно было, что он готов был расцеловать это юное и смелое существо. Евпраксия окончательно покраснела.

Басардин между тем отнесся к Бакланову и сконфузил его.

– Я ведь сестры-то не видал, – сказал он: – говорят, что она тут ходит с Петцоловым; вы знаете его?

– Никого и ничего я не знаю-с! – отвечал с досадой Бакланов.

Путешественники наши, наконец, собрались. Елена поехала их провожать на железную дорогу, а Баклановы уехали домой. Евпраксия была еще грустней обыкновенного. Бакланов в последнее время заметил в жене еще две новые черты: во-первых, по утрам она очень долго оставалась в своей комнате и, видимо, молилась там; во-вторых, в среду и пятницу или совсем ничего не обедала, или, если иногда садилась за стол, то приказывала подавать себе только зелень и то без масла.

– Неужели ты в Париже хочешь соблюдать посты? – спросил он ее однажды.

– Кажется, для вас все равно, соблюдаю ли я что-нибудь, или нет, – отвечала она ему.

Бакланов пожал плечами.

– С тобой говорить, Евпраксия, невозможно, до того твой характер испортился.

– Вы хоть чей характер испортите!

– Все я…

– Кто же?.. Я сама, что ли?

Обращаясь таким образом холодно с мужем, Евпраксия была чрезвычайно нежна с братом. Она, кажется, прислушивалась к каждому его слову, присматривалась к каждому его движению. Когда он сказал, что поедет в Лондон, она сейчас же объявила, что и они поедут, тогда как прежде и слышать не хотела об этой поездке.

Из всего этого Бакланов ничего не понимал. Чтоб избежать неловких tête-à-tête с женою, он почти целые дни таскался по Парижу и один раз, возвращаясь из Булонского лесу, услышал несущийся ему

навстречу топот лошадей и говор людской. Это ехала целая кавалькада: дама и несколько мужчин. Когда они нагнали его, Бакланов узнал Софи, англичанина и еще несколько молодых людей: она им улыбалась, перекидывалась с ними словами. Заметив Бакланова, она даже ему не поклонилась, а, напротив, как-то еще гордее подняла свою головку, ударила лошадь хлыстом и понеслась. Кавалеры ее последовали за нею. Поднялась страшная пыль и всех их скрыла.

«Совсем госпожа закружилась!» – подумал Бакланов, и в воображении его невольно промелькнули три женщины: Софи, которая так прилично всегда себя держала и так мало говорила; Елена, вероятно, ничего еще не сделавшая, но зато Бог знает что говорившая, и наконец Евпраксия, которая во всю жизнь свою, вероятно, не сказала ни одного лживого слова и нецеломудренно не подумала, и вместе с тем была совершенно непонятна Бакланову.

Сойдясь после такой долгой разлуки с женой, он, в одно и то же время, любил и ненавидел ее, уважал и презирал. Сколько мечтаний было посвящено им, пока он ожидал ее в Париже, что вот она приедет, пожурит его немного, а потом будет по-прежнему добра и ласкова с ним, – но ничего подобного не случилось: он встретил один только холод и презрение.

– Эта женщина – лед, могила! – говорил он иногда со скрежетом зубов, и вслед же затем в сердце его болезненно отзывалась мысль: «что, если она полюбила кого-нибудь другого»; так что он однажды спросил ее:

– Уж вы не влюбились ли в кого-нибудь?

Евпраксия взглянула при этом на мужа.

– То-то, к несчастью, нет; а уж, следовало бы! – сказала она.

– Кто ж мешал?

– Конечно, уж не вы! – отвечала Евпраксия с гримасой.

Бакланов, не чувствуя сам того, покраснел от досады.

– Вы даже лишаете меня права поревновать вас, – произнес он полушутя, полусерьезно.

– Эта ревность не из любви.

– Из чего же?

– Из самолюбия. Первую я всегда бы оценила, а вторую презираю.

Бакланов покачал только при этом головой.

«Да, эта женщина прощать не умеет», – решил он мысленно.

16. Таинственное посещение

Лондон!

К зданию всемирной выставки подъехал, между прочим, кэб, из которого вышли Бакланов и Евпраксия.

– Не отставай, Бога ради, не отставай! – говорил он ей с обыкновенною своей торопливостью.

– Иди уж сам-то! – отвечала та ему с досадой.

У Бакланова, по-прежнему, начались поддельные восторги.

– Евпраксия, посмотри, ведь это полисмены! – восклицал он радостно, как бы увидев братьев родных.

Затем они сейчас же попали в совершенно сплошную массу народа.

– Где ж мы с братом увидимся? – спросила Евпраксия.

– Он хотел прийти в русское отделение, – отвечал Бакланов.

– Ну, так и поедем туда, – сказала Евпраксия и, спросив по-английски первого попавшегося господина, повела мужа.

– Боже мой, как скудно и бедно наше отделение! – начал опять восклицать Бакланов. – Турция, посмотри, – и то какое богатство сравнительно с нами.

– Не кричи, пожалуйста! здесь все ходят молча! – возразила ему Евпраксия, а потом, взглянув вдаль, прибавила с удовольствием: – А вон и брат!

Сабакеев в самом деле подходил к ним с Басардиным.

– Madame, угодно вам руку? – сказал последний.

Евпраксия, хоть и не с большим удовольствием, но подала ему руку.

Бакланов пошел с Сабакеевым.

Евпраксия несколько раз обертывалась к ним и заметно прислушивалась к их разговору.

– Мне бы очень хотелось, ужасно!.. – говорил Бакланов.

– Куда это вы собираетесь? – спросила она, наконец, не утерпев.

– Так, ужо, в кофейную, на одно представление, – отвечал ей муж.

– Хорошо, я думаю, представление…

– Не бойся, в худое место не заведу его, – сказал с улыбкой Сабакеев.

– Боюсь, что ты более чем в худое заведешь, – сказала с ударением Евпраксия.

После обеда Бакланов вдруг пропал, так что Евпраксия и не видала – когда. Это ее заметно встревожило. Она часов до двенадцати его дожидалась.

Наконец он возвратился, очень, по-видимому, веселый и довольный.

– Где ты был? – спросила она.

– У наших эмигрантов, – отвечал Бакланов с самодовольством.

– Зачем же тебе это так понадобилось?

– Во-первых, они сами пожелали меня видеть.

– Я думаю! – отвечала Евпраксия насмешливо: – что ж у тебя может быть с ними общего?

– Как что общего?

– Да так: ты их не старый знакомый, не революционер; ты простой, обыкновенный человек, помещик, значит, лицо ненавистное им.

– У них не я один, а все бывают.

– Это-то и глупо: люди печатно говорят, что они в Бога не веруют (при этих словах все лицо Евпраксии вспыхнуло), называют все ваше отечество нелепостью, вас – гнилым, развратным сословием, а вы к ним лезете.

– Это, значит, нельзя быть знакому ни с одним сатириком! – произнес с насмешкой Бакланов.

– Какая уж тут сатира; они прямо мужикам говорят, чтобы они топоры брали и головы рубили вам. Наконец, если разделяете их убеждения, так и действуйте так; а то дома кресты и чины получать готовы, а к нему приедут – вольнодумничают; что ж вы после этого за люди?

Бакланов как-то мрачно слушал жену.

17. Заговор зреет

С огромной лестницы среднего здания Хрустального дворца сходили наши путешественники.

Рядом с Евпраксией шел Басардин. Он, видимо, старался быть умен и любезен.

– Вот это Европа! Чувствуешь, что на высшей точке цивилизации находишься, – говорил он.

В это время Блонден шел уже по канату, по крайне мере на высоте пятидесяти саженей.

Евпраксия взглянула вверх и отвернулась.

– Что ж, вы уж и испугались? – сказал ей Басардин насмешливо и в то же время с нежностью.

Евпраксия шла, ничего ему не ответив.

Басардин старался нагонять ее и идти с ней рядом.

– Это уж несчастие русских, – говорил он, – что мы не можем и не хотим ни на что взглянуть прямо.

– Что ж тут приятного смотреть прямо? – проговорила она.

– Я не про это говорю, а про другое, – отвечал Виктор лукаво.

– Не знаю, про что вы говорите, – сказала ему почти сердито Евпраксия.

– Я говорю, – продолжал Виктор, понижая голос, – что вы вот, например, несчастливы в вашей семейной жизни, а между тем остаетесь верны вашему долгу.

Евпраксия сначала было рассердилась, а потом рассмеялась.

– Вы ужасно глупы, извините вы меня! – проговорила она.

Басардина при этом только слегка передернуло. Впрочем, он сейчас же поправился и с насмешливой улыбкой продолжал следовать за Евпраксией.

С Баклановым, между тем, шел Галкин.

– Вам всего достанется каких-нибудь двести или триста штук… – толковал он.

– Тут не в количестве дело!.. – возражал Бакланов.

– Вам все это в пояс уложат, – объяснял Галкин: – ведь пояс нигде не осматривают, согласитесь с этим.

Бакланов молчал.

– Не понимаю я вашего дела, господа, как хотите! – произнес он наконец и покачал с грустью головой.

– Земскую думу надобно собрать!.. Согласитесь, что без этого нельзя.

– А потом что?..

– А потом разложение и федерация…

Бакланов усмехнулся и задумался вместе.

– Ну, так до свидания! – сказал Галкин.

– Вы куда? – спросил его робко Бакланов.

– В типографию.

– А Сабакеев там?

– Там; с утра сидит…

Галкин ушел.

Бакланов остался в сильно-мрачном настроении. К вящему его неудовольствию, он увидел вдали Петцолова, который прямехонько шел на него.

– Bonjour! – говорил он, дружески подходя и протягивая руку, как будто бы между ними ничего неприятного не было. – Вы знаете, что произошло с madame Леневой? – начал он сейчас же.

– Ее брат тут идет! – шепнул было, указывая на Басардина, Бакланов.

– Ничего!.. Я ему сам все говорил: он нисколько не в претензии, – говорил Петцолов. – Imaginez! – присовокупил он: – она нанимает на улице Saint-Honoré бельэтаж!.. имеет ложу в опере!.. Словом, живет с каким-то англичанином-крезом.

– Которого предпочла вам, как вас мне! – сказал Бакланов.

– Oui! – подтвердил весело Петцолов: – a, écoutez: вы были у здешних господ?

– Был, – отвечал Бакланов.

– Не правда ли, какие чудные люди?

– Превосходные!

– Как они ласкают молодежь! чудо!.. Adieu!

– Вы уж уходите?

– Да! Я завтра из Лондона уезжаю.

– Что так?

– Так!.. Нужно еще в Австрию заехать, просить тамошнего раскольничьего митрополита сюда переехать!.. – прибавил Петцолов уже полушопотом.

Бакланов только посмотрел на него.

«Чорт знает что такое!» – подумал он, когда молодой человек отошел.

18. Агитатор и раскольник

В одной из самых сытных лондонских таверн, в Сити, сидело, между прочим, много и русских купцов, приехавших на выставку.

Купец, попавшийся нам в Дрездене, тоже тут обедал.

Его решительно поедал глазами сидевший невдалеке от него Виктор Басардин. Наконец, заметив, что купец доел последнее блюдо и стал утирать свою бороду, он прямо подошел и сел против него.

– Вы знакомы, кажется, с господином Баклановым?.. – сказал он.

– С каким господином Баклановым? – спросил купец не без удивления.

– С одним моим знакомым; на выставке вы с ним кланялись.

– Не знаю-с! – отвечал односложно купец.

– Но мы вас знаем и уважаем!.. – продолжал Виктор заискивающим голосом. – К вам ведь приходил на днях человек?.. – прибавил он таинственно.

Купец посмотрел на Басардина внимательно.

– Приходил-с! – отвечал он как-то отрывисто.

– Ну, сами согласитесь, у нас ведь Бог знает что с раскольниками

делают… наконец с вами самими!..

Купец несколько времени переводил беспокойный взгляд с Виктора на салфетку и с салфетки на Виктора.

– Что кому за дело-с, что со мной ни делают! – проговорил он наконец.

– Да, конечно, – отвечал Виктор, потупляясь: – но тут общая польза!

– Какая это польза такая! Ничего мы такого не знаем и не наше дело.

– А я полагал было… – произнес Басардин.

– А коли полагали, так не угодно ли самим: площади у нас в Питере и Москве большие, рассказывайте там, что вам охота.

– Тут, вы знаете, если бы Христос пришел, так и Того бы в полицию взяли, – возразил Басардин.

– Так что ж вы других-то к тому подводите?.. Вы здесь наболтаете Бог знает что, а потом за вас ответствуй.

– Ну, уж вы можете быть спокойны, что здесь вас никто не выдаст.

– Как не выдаст?.. Как вы бумаг-то в руки насуете, так тут с поличным словят. Вы, значит, только одно и есть, что человека-то под гибель подводите!

– Ну, уж нас никто не может укорить, – возразил Виктор, поматывая головой: – чтобы мы простого русского человека не любили и не желали ему добра.

– Благодарим на том покорно-с! Только словно бы того, пожалуй, нам и не надо: вы, баре, сами по себе, а мы, мужики, сами по себе. Вы вот Государя Императора браните, а мы ему благодарствуем и полагаем так, что собака лает, а ветер носит… В Бога, вон, вы пишете, чтобы не веровать, и то мы ничего: считаем так, что от нерассудка вашего это происходит.

– Что ж, мы не из-за денег же к вам стремимся?

– Да денег мы вам и не дадим; деньги у нас не ворованные, а пóтом и трудом нашим нажитые.

– Чиновникам давали же их! – возразил Виктор ядовито.

– Чиновники-то все-таки маненечко царские слуги, а не самозванщина…

Басардин, наконец, встал.

– На вас, значит, и надежды никакой питать нельзя!.. – произнес он.

– Мало че, что надежды, а что ежели бы теперь во Франции али в Австрии было, я бы, себя оберегаючи, комиссару вас представил, – отвечал внушительно купец.

– Как это глупо! – сказал Виктор, уходя.

– Что делать-то! Неученые! Инако думать и полагать не умеем! – отвечал купец.

19. Прокламации

Три дня уже как Сабакеев и Бакланов с женой ехали обратно в Петербург. Последний всю почти дорогу не пил, не ел ничего и был чрезвычайно грустен; а Сабакеев, напротив, оставался совершенно спокоен и все сидел на палубе и смотрел на море.

По случаю небольшого числа пассажиров, Бакланов с женой занимал отдельную каюту. В один вечер, ложась спать и снимая с себя, между прочим замшевый пояс, он проговорил вполголоса:

– Ах, обуза, обуза проклятая.

– Что такое это вы сказали? – спросила вдруг его Евпраксия.

Последнее время она заметно присматривала за мужем.

– Так!.. Ничего!.. – отвечал Бакланов.

– Какая это у вас обуза? – продолжала Евпраксия.

Бакланов молчал.

– Да ну же, говори! – сказала она.

Бакланов усмехнулся.

– Да вон… из Лондона… порученье дали.

– Что-о-о? – воскликнула Евпраксия.

– Да не кричи, пожалуйста! – перебил ее Бакланов: – из Лондона!.. – прибавил он шопотом.

– Что из Лондона?

– Прокламации!

Евпраксия даже отступила несколько шагов назад.

– Ах, вы, сумасшедший человек! Сумасшедший! – воскликнула она: – где они у вас, подайте сейчас!

– Как возможно!.. Я не хочу подлецом быть!

– Подлецом вы будете, если привезете их. Для чего вы это делаете?

– Чтобы возбудить.

– Кого? к чему?

– Да к чему бы то ни было. Все лучше, чем оставаться при настоящем порядке.

– Как к чему бы то ни было! – воскликнула Евпраксия: – да вы в самом деле после этого злодеи какие-то!.. Кто вам дал это право делать?.. Кто вас уполномочивал?

– Вся Россия, все общественное мнение.

– Вся Россия вас растерзает, если ей хоть пальцем указать на вас.

– Ну, оставьте меня, пожалуйста, в покое!

– Нет, не оставлю. Вы, кажется, совершенно забыли, что у вас есть дети, у которых вы промотали все состояние и для которых должны теперь трудиться, а не в рудники идти.

– До рудников еще далеко, – проговорил Бакланов с улыбкою.

– Очень недалеко! Не успеете, я думаю, носу в Петербург показать, как всех вас в крепость пересажают.

– Кто же узнает?

– Да уж и знают, вероятно, давно. Не один раз уж, вероятно, телеграфировали об вас.

Замечание это заметно сконфузило Бакланова.

– И кем увлекся?.. Кому подражать стал?.. – продолжила между тем Евпраксия: – мальчишкам!.. Неужели настолько рассудку-то нет, чтобы понять это своим умом?

– Однако в числе этих мальчишек и брат ваш.

– Брат увлечен несчастною любовью своею. Она этаких и подбирает: или энтузиастов, или дураков… Подайте сейчас, где у вас эти бумаги? – заключила она, вставая и подходя к мужу.

– Да вон… в поясе!… отвяжись только! – отвечал Бакланов как бы с досадой.

Евпраксия сейчас же проворно взяла пояс. Оборвав до крови ногти, она сама расшила его и начал выкидывать из него в отворенное окно бумажки.

– Все ли тут? Нет ли еще?

– Все тут, ей-Богу!.. – отвечал Бакланов.

Евпраксия и самый пояс бросила в море. После такого поступка жены, Бакланову стало как-то легче.

– Чорт с ними, в самом деле! – сказал он, сибаритским образом разваливаясь на койке.

Евпраксия уселась в кресла.

– Как это вам могло прийти в голову, скажите, пожалуйста? – сказала она.

Евпраксия с грустью качала на него головою.

– Я было сначала и отнекивался, – продолжал Бакланов: – надулись, перестали со мной говорить… мне уж и неловко стало.

Евпраксия усмехнулась.

– Вашему ничтожеству я уж и слов не нахожу; да хороши и они, хороши! – проговорила она и на другой день не оставила в покое и брата.

Она взяла его за руку, увела к себе в комнату и заперла дверь.

– Что это такое ты с собой везешь? – спросила она его прямо.

– Что везу? – спросил, в свою очередь, мрачно Сабакеев.

– Я знаю уж что! – отвечала Евпраксия.

Валерьян посмотрел себе на руки.

– Проболтался тот, болтушка-то! – сказал он.

– Мало что он проболтался, я все у него отняла и выкинула.

Валерьян продолжал спокойно глядеть себе на руки.

– Точно то же и с вами намерена сделать! – продолжила Евпраксия уже с улыбкой.

Сабакеев молчал.

– Сделаю, а? – спросила она, ласково взяв его за руки.

Сабакеев грустно усмехнулся.

– Ты ведь сама очень хорошо знаешь, что со мной ты этого не сделаешь ни ласками, ни угрозами… К чему же поэтому и говорить? – добавил тот.

– Знаю, – отвечала Евпраксия со слезами на глазах: – но я думала, что ты это сделаешь для меня!.. Что ты этим погубишь себя, в этом я совершенно уверена, а твоя погибель для меня все равно, что погибель всех детей моих, значит, более чем моя собственная.

– Очень жаль! – отвечал, по-видимому, совершенно равнодушно Валерьян: – и если бы от этого в самом деле погиб я сам, мать, ты, дети твои, все-таки я ни на шаг бы не отступил.

– Бог с тобой! – сказала Евпраксия.

– В Бога я не верую, но что поступаю так, как следует поступать честному человеку, в этом убежден, – сказал он и, хлопнув дверьми, вышел на палубу.

Евпраксия поняла, что больше с ним говорить было нечего, и остальную дорогу она уже ничего не ела и целые дни почти все плакала.

Сабакеев все это видел, зеленел от волновавших его чувствований, но не сказал ей ни единого слова в утешение.

20. Петербургский пожар

Пассажиры шли в таможенную кронштадтскую залу. Вещи разложены были по идущим вокруг столам. На среднем столе лежали паспорта. Чиновник в очках перебирал их и не совсем спокойным голосом произнес:

– Господин Сабакеев!

Сабакеев вышел. Евпраксия, бледная как перед смертью, видела, что у брата в это время подергивало щеку.

– Потрудитесь пожаловать вон в эту комнату! – произнес чиновник, показывая на одну из дверей.

Сабакеев пошел. Вслед за ним вошел также и солдат-жандарм.

Все пассажиры переглянулись между собой. У Евпраксии были полнехоньки слез глаза. Она старалась их смигнуть, но утереть не смела.

В залу вошли еще несколько лиц и что-то такое объявили. Пассажиры заволновались и стали беспокоиться. Таможенные чиновники принялись торопливо осматривать вещи.

Бакланов и Евпраксия, занятые своим положением, не обратили сначала на это внимания.

– Господин Бакланов! – провозгласил, наконец, тот же чиновник.

Бакланов переглянулся с женой и побледнел.

– Пожалуйте в следующую комнату! – сказал чиновник.

Бакланов пошел.

Прочие пассажиры продолжали торопливо прятать свои вещи и бегом уходил из залы.

Бакланов, наконец, с раскрасневшимся лицом возвратился к жене.

– Всего осматривали, – произнес он.

В это время молоденький чиновник подал Евпраксии записку. Она как прочитала ее, так и опустил руки. Это писал Сабакеев:

«Не дожидайтесь меня. Я арестован!»

Евпраксия пошла.

Она беспрестанно оступалась и, кажется, совсем не видела, куда идет. Бакланов принужден был поддерживать ее.

Они прошли на пароход. Там капитан что-то торопливо бегал по палубе и отдавал приказания.

– Скоро мы поедем? – спросил его Бакланов.

– Надо скорее… Петербург горит… – отвечал ему тот.

– Как Петербург? – повторил Бакланов.

В ответ на это пассажиры указали ему на видневшееся облако дыму, окрашенное во многих местах красноватым цветом пламени.

– Евпраксия, Петербург горит! – не утерпел и сказал жене Бакланов.

– Господи, дети мои! – воскликнула та.

Бакланов понял, что сделал глупость.

– Где именно горит-то? – обертывался он и спрашивал всех.

– Апраксин двор, говорят, – отвечали ему.

– Апраксин двор, он далеко, – утешал было он жену.

– Два шага всего тут… – произнесла та и начала беспрестанно подходить к капитану и спрашивать: – скоро мы приедем, скоро?

– Самым полным ходом идем, – отвечал тот.

Пройди еще с час времени, и Евпраксия или бы с ума сошла, или бы у ней лопнуло сердце.

У пристани едва бросили трап, как она проскользнула по нему и побежала по Английской набережной, по площади, по Невскому.

Народ толпами валил по тротуару, перекликался, перебранивался. Неслись пожарные; на думе был выкинут красный флаг.

Чтобы избежать давки, Евпраксия повернула на Екатерининский канал.

Бакланов едва успевал следовать за ней.

В переулке их остановила целая куча народа.

– Ваше благородие… ваше благородие! – закричал из толпы голос к Бакланову.

– Что такое тут? – спросил тот.

Толпа напирала на двух каких-то господ, из которых одного огромного мужика несколько человек держали за руки; а другой, совершенный старичишка, дрожащею и слабою рукою повертывал ему галстук, с видимою целью удавить его.

– Кто тебя научал?.. Кто?.. – говорил он.

– Что такое? – повторил еще раз Бакланов.

– Поджигатель… У старичка дом-то поджигал, – отвечал кто-то ему.

– Кто научил? – повторял, уже покраснев от бешенства, старичишка.

– Поляки, ваше благородие, Матерь Божия! – пробормотал мужик.

– О-го-го-го! – заголосила толпа и повалила в сторону от Бакланова.

– Го-го-го-го! – слышалось ему еще несколько раз.

– А супружницу-то его швырнули в огонь, – объяснил ему проходивший мимо молодой мещанин.

Остановленный всею этой сценой, Бакланов едва догнал Евпраксию.

– Дай мне руку! – сказал он.

– На!! – отвечала та, как помешанная, и все шла вперед.

Бакланов между тем припоминал черты мужика: не оставалось никакого сомнения, что это был Михайла, кучер Басардиных, а супружница его, вероятно, Иродиада.

На Садовой, перед банком, толпа снова остановила их.

Раздались какие-то клики, и вдали мелькал белый султан.

Бакланов сам невольно приостановился. Это шел государь.

– Батюшка наш… батюшка!.. – стонали и охали женщины.

– Ваше Императорское Величество, – повторяли мужики.

У чиновников некоторых головы дрожали.

Бакланов почувствовал, что и у него невольно навернулись слезы.

Евпраксия продолжала сама расталкивать народ, и им удалось, наконец, снова выбраться на Невский.

– Вези в Графский переулок! – сказала она, проворно садясь на первого извозчика.

Бакланов поспешил сесть с нею.

– Кто это такие поджигают? – спросил он у извозчика.

– Да кто их знает, батюшка!.. Этта вот тоже я ехал… так молодой баринок… как вот их?.. на Васильевском острову еще ученье-то им идет…

– Да, знаю! – подхватил Бакланов.

– Так как тоже от народу-то бежал, схватить было его хотели.

Бакланов невольно при этом припомнил, как он всегда спорил с молодыми людьми и уверял их, что они народа не знают. Они думали, что народ с ними, а он заподозрил их в первом скверном преступлении.

– А болтают тоже, и поляк этот жжет, – продолжал разговорчивый извозчик.

– Очень может быть!

– Болтают так… сказывают, – подтвердил извозчик.

Перед одним домом Евпраксия остановила извозчика и проворно пошла по лестнице.

Бакланов последовал за ней.

Она дернула за звонок.

Отворили, и в зале стояли Валерьян и Митя уже в курточках, а

Петя еще в рубашечке. Она сразу всех их и обняла и прижала к груди.

Бакланова дети не узнали, и только один Валерьян сказал наконец:

– Ах, это папаша!

В дверях гостиной стояла старуха Сабакеева.

Бакланов едва имел духу подойти к ней к руке.

– Что, батюшка, отыскали наконец! – произнесла она голосом, исполненным презрения: – а где Валерьян? – прибавила она.

Бакланов молчал и смотрел на жену.

– Валерьян арестован! – отвечала та.

Старуха несколько времени смотрела на дочь, а Евпраксия на нее.

– Этого надобно было почти ожидать! – пояснила она матери.

– Да! – произнесла старуха, и обе потом, не сказав ни слова больше, разошлись по своим комнатам.

Как ни велик был у обеих нравственный закал, но на этот раз однако, видно, не хватило его!

21. Через полгода

На Васильевском острове знакомая нам гостиная Ливанова представляла далеко не прежнее убранство: в обоих передних углах ее стояли киоты с дорогими образами. Образ Спасителя с пронзенною стрелками головой тоже был тут. Перед обоими киотами корели лампады. В комнате, сильно натопленной, вместо прежнего приятного запаха духами, пахло лекарствами. Сам Евсевий Осипович, худой, как мертвец, совсем плешивый, но еще с сверкающими глазами, лежал на постели под пуховым одеялом. У кровати его сидела, в черном платье и с заплаканными глазами, Евпраксия. Около года уже старик был тяжко болен; ни от трудностей и невзгод житейских, ни от коварства и изменчивости людей никогда Ливанов не поникал гордою головой своей; он знал, что он все поборет и над всем восторжествует умом своим. Но чего не сделала вся жизнь, то сделал страх смерти. Евсевий Осипович смирился духом; прежнее его мистическое направление приняло чисто религиозный характер; он сделался кроток со всеми в обращении, строил на свой счет больницу, рассылал деньги по бедным церквам, ко всем родным своим написал исполненные любви и покаяния письма, в том числе и Бакланову, который сейчас же приехал к нему и привез жену. Больной старик с первого же разу заинтересовал Евпраксию; он так умно и красно говорил о разных религиозных предметах. Евсевий Осипович, в свою очередь, заметив в племяннице настроение, схожее с своим, с удовольствием взялся ее довоспитывать:

он все еще любил, хотя бы то и на самых чистых основаниях, сближаться с женщинами. Евпраксия стала к нему заезжать раза по два в неделю: во-первых, чтобы посетить его, как больного, а во-вторых, чтоб и побеседовать с ним. В настоящее свидание, несмотря на заметную слабость, Евсевий Осипович говорил очень много и красноречиво.

– Мирной и скорой кончины мне Бог не пошлет! – пояснял он: – я очень много грешил мыслями и делом, но ты чиста и невинна…

– Я ни в чем не виновата, – подтврдила и Евпраксия.

– Ты только искупительная жертва вашего рода, – продолжал старик: – род ваш умный, честный, но жестокий: прапрадед твой был наказным дьяком в пытной палате… Дед твой в двенадцатом году, на моих глазах… я еще молодым человеком был… настиг отряд французов; те укрылись было с лошадьми в церковь деревянную и потом сдавались, просили пощады, но он не послушался и всех их сжег за оскорбление храма.

Выражение лица Евпраксии как бы говорило, что дед хорошо сделал, что сжег.

– Я для себя ничего уж не желаю и не прошу, и молюсь только за детей.

– И молись больше!.. Молитва – великое дело… молитва разрушает и созидает города и повелевает стихиями; когда на Устюг шла каменная туча, весь народ по церквам молился и коленопреклонствовал, ничто не отвращало гнева Божья; но стал молиться преподобный Прокопий, растерзал на себе ризы, всплакал кровавыми молитвенными слезами, Бог его услышал…

Евпраксия слушала; она и сама в это время вряд ли не шептала про себя молитвы.

– Я к вам дня через два опять заеду, – сказала она и встала, заметив, что старик сильно утомился, так что у него лицо как бы несколько перекосилось и голова склонилась на подушку.

– Прощай, голубица! – проговорил он.

Евпраксия поцеловала у него руку.

Евсевий Осипович перекрестил ее.

В зальце Евпраксию остановила горничная Евсевия Осиповича, та самая, которую и мы знаем и которая с тех пор только очень пополнела…

– Вчера-с с ним ночью очень дурно было… Боюсь, чтоб и сегодня чего не случилось.

– Главное, чтобы причастить и исповедать успеть, – отвечала на это

спокойно Евпраксия.

– Это-то успеем; священник в нашем доме живет – сказала горничная.

– Только это! – повторила Евпраксия и с тем же печальным лицом, какое имела, села в карету и поехала. Перед Казанским собором она начала креститься и продолжала это до самой квартиры.

Дома она нашла: мать, тоже в черном платье и с печальным лицом, сидевшую за средним столом; мужа, скучавшего вдали в креслах, и Варегина, который стоял и грелся у камина. Последний был по-прежнему спокоен и солиден…

Евпраксия при входе приветливо поклонилась ему, почтительно поцеловалась с матерью и села; потом сейчас же, придав еще более серьезное выражение лицу, позвонила. Вошел человек.

– Позови детей, – сказала она, и через несколько минут в комнату вошел старший, Валерьян, уже в гимназическом сюртучке.

– Что, перевел? – спросила его мать.

– Перевел-с!

– Ну, давай!

Мальчик стал переводить.

– А брату из арифметики показал? – спросила Евпраксия тем же серьезным голосом.

– Показал-с! – отвечал ей мальчик тоже серьезно.

– Поди, позови его.

Пришел и второй сынишка, совсем еще капля.

– Знаешь из арифметики? – спросила его Евпраксия почти строго.

– Знаю-с, – пролепетал ребенок.

– Ну, рассказывай!

Мальчик начал отвечать, беспрерывно вскидывая на мать большие голубые глазенки.

– Ну, теперь можете идти гулять, – сказала Евпраксия.

Мальчики солидно вышли.

– Славно дети выдержаны! – сказал Варегин, с удовольствием мотнув на них головой.

На лице Евпраксии при этом ничего не выразилось, как бы говорилось о совершенно постороннем для нее предмете, но старуха Сабакеева, прислушавшись к их разговору, произнесла:

– Я своего тоже не баловала, да немного толку-то вышло!

Евпраксия посмотрела на мать.

– Валерьян, maman, еще ничего дурного не сделал! – сказала она каким-то твердым голосом.

– Что же он хорошего-то сделал? – перебила ее резко старуха.

– Валерьян Арсеньич был втянут общим потоком, – вмешался Варегин.

– Еще бы! – подхватила Евпраксия: – люди постарше и поопытнее его в жизни Бог знает на какие глупости решались.

При этом Бакланов пошевелился в своем кресле.

– Скажите, пожалуйста! – начал он, чтобы замять этот разговор и обращаясь к Варегину: – вы совсем уж оставили посредничество?

– Думаю!.. Делать становится нечего.

– Везде, значит, теперь тихо, везде порядок установился?

– Почти!.. Только вот, помните, в том именьи, где я усмирял у этой госпожи, все не слушаются старика отца ее. Я по этому случаю, ехавши сюда, заехал к нему, оказывается, он умер, и представьте себе: на столе-то лежит румяный и белый, как живой.

– А мне так, – опять поспешно перебил приятеля Бакланов, – из деревни пишут, что один сосед мой и немножко родственник, Дедовхин… так тот от досады помер, что, кому ни пожалуется на посредника, никто просьбы от него не принимает!

– Да, сильно старики подбираются! «Последние тучки рассеянной бури»! – заключил Варегин.

В продолжение всего этого разговора Евпраксия и старуха Сабакеева заметно к чему-то прислушивались. Наконец раздался звонок.

– Вот, кажется, и он! – подхватила первая.

Старуха встревоженно посмотрела на нее.

Вошел знакомый нам правовед Юрасов, в настоящее время обер-прокурор и член разных комиссий.

Евпраксия с пылающим лицом пожала ему руку и просила садиться около себя.

Старуха тоже смотрела на него, как-то моргая носом.

Гость, в свою очередь, хоть и улыбался, но заметно был не совсем в покойном состоянии.

– Ну что? Решили? – спросила старуха.

Голова ее при этом дрожала.

– То есть проект решения написан, – отвечал уклончиво Юрасов.

– В каторгу? – спросила старуха.

– Да.

– На долго ли?

– Вероятно, смягчат еще, а теперь на двенадцать лет.

Старуха, тяжело дыша, уставила глаза на образ.

Евпраксия употребила все силы, чтобы совладать с собой; но слезы уже ручьями текли по ее лицу.

– Скажите: не струсил ли он? не трусит ли по крайней мере? – спросила старуха.

– О, нет, напротив, – отвечал Юрасов: – он встречал все совершенно спокойно и на все, кажется, уж приготовился.

– А что же эта госпожа? – спросила Евпраксия, и по лицу ее пробежала презрительная улыбка.

– Mademoiselle Базелейн? – спросил Юрасов.

– Да!

– Судится тоже.

– За что же вы ее-то судите? – вмешался в разговор Варегин.

– По связи и знакомству ее с разными господами, да еще за дневник.

– За дневник?

– Да!

– Что же она пишет в дневнике?

Юрасов, кажется, несколько затруднялся отвечать на этот вопрос.

– Пишет… – начал он с расстановкой и довольно тихо: – что, во-первых, она в Бога не верует, что, когда родители посылали ее в церковь, так она презрение к себе чувствовала…

– Мерзкая! – произнесла Евпраксия.

– Потом говорит, что раз, встретя одного студента, она спросила у него: есть ли у него диван и подушка, и что она придет заниматься к нему; и приходила… Можете судить, какая безнравственность!

– Нисколько, ни капли нет той безнравственности, которую вы понимаете, – перебил его опять Варегин.

– Ни капли?

– Нисколько! Тут безнравственно совершенно другое: безнравственна ложь, желание порисоваться. Я убежден, что она, при малейшей зубной боли, усерднейшим образом молится Богу, что ни к какому студенту и не ходила, а все это солгала на себя из служения модной идейке, как из тех же побудительных причин лжем все мы…

– Все? – спросил правовед.

– Все! – отвечал резко Варегин. – У меня есть приятель в Москве, кротчайшее существо, всю жизнь сидит около своей любовницы и слушает у себя соловьев в саду, а говорит: «давайте крови!». Какой-нибудь господин, палец о палец не умеющий ударить и только дышащий тем, что ему по девяти рублей с души будут выбивать с его бывших крестьян оброку, и тот уверяет: надо все сломать.

Чиновник, целое утро, каналья, подличавший перед начальством, вечером придет в гости и засыплет сейчас фразами о том, что авторитетов нет и не должно быть.

На этих словах старуха Сабакеева, кажется, и не слышавшая, что около нее говорилось, снова обратилась к Юрасову:

– А что, мне можно будет за сыном ехать?

– Вероятно! – отвечал тот.

Она нахмурилась, подумала что-то, встала и пошла. Евпраксия последовала за ней.

– Где ж корень всему этому злу? – воскликнул Бакланов по уходе жены и тещи.

– Да, я думаю, всего ближе в нравственном гнете, который мы пережили, и нашем шатком образовании, которое в одних только декорациях состоит, – так, что-то такое плавает сверху напоказ! И для меня решительно никакой нет разницы между Ванюшею в «Бригадире», который, желая корчить из себя француза, беспрестанно говорит: «hélas, c'est affreux!», и нынешним каким-нибудь господином, болтающим о революции…

– Неужели же во всем последнем движении вы не признаете никакого смысла? – спросил Бакланов.

Варегин усмехнулся.

– Никакого!.. Одно только обезьянство, игра в обедню, как дети вон играют.

– Хороша игра в обедню, за которую в крепость попадают, – сказал Бакланов.

– Очень жаль этих господ в их положении, – возразил Варегин: – тем более, что, говоря откровенно, они плоть от плоти нашей, кость от костей наших. То, что мы делали крадучись, чему тихонько симпатизировали, они возвели в принцип, в систему; это наши собственные семена, только распустившиеся в букет.

– Если под движением разуметь, – начал Юрасов, – собственно революционное движение, так оно, конечно, бессмыслица, но движение в смысле реформ…

Варегин придал какое-то странное выражение своему лицу.

Бакланова между тем, видимо, что-то занимало и беспокоило.

– Скажите, Петцолов взят? – спросил он.

– Взят! – отвечал Юрасов и потом, помолчав, прибавил: – по-моему, этот господин или очень ограниченный человек, или просто сумасшедший.

– Что ж он делал такое? – спросил Варегин.

– Он заезжал в Австрии к раскольничьему митрополиту и уговаривал того переехать в Лондон.

Варегин потупился и развел руками.

– Потом заезжал к Гарибальди и просил того, чтобы он с поляками шел спасать нас от нас самих.

– Что за мерзости! – произнес уже Варегин.

Бакланов между тем сидел насупившись.

– К чему же он меня-то собственно приплетает? – спросил он.

– К тому, что вы вот в Лондоне с ним виделись и что жили в связи с одною госпожой, с которою и он после жил.

– К чему же он это-то говорит? – сказал удивленным тоном Варегин.

– Он все говорит; объяснил даже, как эта госпожа сначала его промотала, потом англичанина и теперь сама сидит в Клиши.

– Это madame Ленева, – сказал Бакланов, немножко покраснев, Варегину.

– А! – произнес тот: – жаль!

– А, скажите, брат этой госпожи взят? – спросил Бакланов Юрасова.

– Нет, он остался за границей и, как вот тот же Петцолов говорит, вряд ли не он и донес на них.

– А Галкин что? – продолжал Бакланов.

– Галкин ничего, освобожден.

– Как освобожден? – воскликнул Бакланов.

Варегин улыбнулся и покачал головой.

– Богат-с! – произнес он и почесал у себя в затылке.

– Ну, однако, что же мне-то будет? – договорился наконец Бакланов до того, что по преимуществу его беспокоило.

– Ничего! – успокоил его Юрасов.

– Уж и потрухивает, а революционер еще! – подхватил Варегин и стал искать шляпы. – А что, к Евпраксии Арсеньевне можно? – спросил он.

– Можно! – отвечал Бакланов.

Варегин прошел.

Евпраксия как ни была огорчена, но сидела и уже учила детей.

– Учите, учите их хорошенько! – сказал Варегин: – чтобы лучше были папенек и дяденек.

– Мне уж даже и это не верится! И этой надежды не имею!

– Страна, где есть такие жены и матери, как вы, не погибла еще! – говорил Варегин, прощаясь и целуя руку у Евпраксии.

Она ему ничего не отвечала: вряд ли она уже и подобное приветствие со стороны мужчины не считала излишним для себя.

В гостиной Варегина остановил Бакланов, сидевший там один и, по-прежнему, с печальным и растерянным лицом.

– Вы знаете, что жена переезжает в Москву? – сказал он.

– Вот как!

– Отговорите ее, Бога ради, как-нибудь. Она вас так уважает. Она там окончательно окружит себя монахами да богомолками. Теперь почти по целым дням из церкви не выходит.

– Сами виноваты, сами разбили это сердце! – сказал, чмокнув губами, Варегин.

Бакланов только поник при этом головой.

Варегин ушел.

«Да, – говорил он сам с собою, идя по Невскому: – одна в Клиши умирает; другая в крепость попала; третья совсем в церковь спряталась, а все ведь это наши силы, и хорошие силы».

Да! скажем и мы вместе с ним: все это наши силы, и много и всюду мы их чувствовали, проходя рука об руку с нашими героями, но что делать? Все это еще не устоялось и бродит!

Рассказ наш, насколько было в нем задачи, кончен. За откровенность нашу, мы наперед знаем, тысячи обвинений падут на нашу голову. Но из всех их мы принимаем только одно: пусть нас уличат, что мы наклеветали на действительность!.. Мы не виноваты, что в быту нашем много грубости и чувственности, что так называемая образованная толпа привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не делать, или делать вздор, что, не ценя и не прислушиваясь к нашей главной народной силе, здравому смыслу, она кидается на первый фосфорический свет, где бы и откуда ни мелькнул он, и детски верит, что в нем вся сила и спасение!

В начале нашего труда, при раздавшемся около нас со всех сторон говоре, шуме, треске, ясное предчувствие говорило нам, что это не буря, а только рябь и пузыри, отчасти надутые извне, а отчасти появившееся от поднявшейся снизу разной дряни. События как нельзя лучше оправдали наши ожидания.

Напрасно враги наши, печатные и непечатные, силятся низвести наше повествование на степень бесцельного сборника разных пошлостей. Мы очень хорошо знаем, что они сердятся на нас за то, что мы раскрываем их болячки и бьем их по чувствительному месту, между тем как их собственная совесть говорит за нас и тысячекратно повторяет им, что мы правы.

Труд наш мы предпринимали вовсе не для образования ума и сердца шестнадцатилетних читательниц и не для услады задорного самолюбия разных слабоголовых юношей: им лучше даже не читать нас; мы имели совершенно иную (чтобы не сказать: высшую) цель и желаем гораздо большего: пусть будущий историк со вниманием и доверием прочтет наше сказание: мы представляем ему верную, хотя и не полную картину нравов нашего времени, и если в ней не отразилась вся Россия, то зато тщательно собрана вся ее ложь.

1863